

НОВЫЙ Журнал



НЬЮ-Йорк

**THE
NEW REVIEW**
Новый Журнал

Основатели М. Алданов и М. Цетлин – 1942
С 1946 по 1959 редактор М. Карпович
С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев
С 1966 по 1975 редактор Роман Гуль
С 1975 по 1976 редакция: Р. Гуль (главный редактор)
Г. Андреев, Л. Ржевский
1976 – 1981 редактор Роман Гуль
1981 – 1983 редакция: Р. Гуль (главный редактор),
Е. Магеровский
1984 – 1986 редакция: Р. Гуль (главный редактор),
Ю. Кашкаров, Е. Магеровский
1986 – 1990 Редакционная коллегия
1990 – 1994 редактор Юрий Кашкаров
1994 – 2005 редактор Вадим Крейд

Восемьдесят первый год издания

Главный редактор – Марина Адамович

Редакционная коллегия:

Марина Гарбер, Ренэ Герра, Елена Дубровина, Мария Рубинс,
Александра Смит

Ответственный секретарь – Наталья Бернадская

Редакция: Владимир Гандельсман, Наталья Гастева, Рашель Миневиц

The New Review, Inc.:

T.Chebotareva; G.Glinka; M.Jordan; P.Khlebnikov; V.Kreyd;
G.Mesniaeff; A.Neratoff; I.Sikorsky; P.Tcherepnine; L.Vulfina,
Y.Vulfin, M.Adamovitch.

Обложка художника М. Добужинского

THE NEW REVIEW

№ 311, июнь 2023

© 2023 by THE NEW REVIEW

Рукописи не возвращаются

Перепечатка материалов «Нового Журнала» без письменного разрешения редакции запрещается. Размещение материалов «Нового Журнала» онлайн без письменного разрешения редакции запрещается.

Редакция не несет ответственность за содержание публикуемых материалов. Авторы несут ответственность за достоверность приводимых ими фактов и цитат.

THE NEW REVIEW (ISSN 0029–5337) is published quarterly
by The New Review, Inc., 1216 Broadway, 2nd floor, New York, N.Y.
10001. Periodical postage paid at New York, N.Y. Publication No.
596680. POSTMASTER: send address changes to The New Review,
1216 Broadway, 2nd floor, New York, N.Y. 10001

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА, ПОЭЗИЯ

<i>Бенцион Парзен</i> – Сыновья царя Менаше. Повесть	5
<i>Владимир Батиев</i> – Серым по белому. Роман	30
<i>Игорь Джерри Курас</i> – Охотники Брейгеля. Стихи	83
<i>Владимир Козлов</i> – Трепетание в одиночестве. Стихи	89
<i>Елена Дубровина</i> – Стихи	95
<i>Амин Алаев</i> – Везение. Рассказ	99
<i>Ада Круг</i> – Прореха бытия. Рассказ	120
<i>Александр Вейцман</i> – Стихи	144
<i>Василий Львов</i> – Преимущественно вода. Стихи	149
<i>Ольга Андреева</i> – Нельзя привыкать. Стихи	156
<i>Михаил Сипер</i> – Стихи	161
<i>Владимир Гржонко</i> – Девочка. Рассказ	167
<i>Александр Беляев</i> – Мнимый воздух. Стихи	184
<i>Мартин Мелодьев</i> – Стихи	187
<i>Настя Тим</i> – Из цикла «Прильнем к тишине». Стихи	190
<i>Роман Смирнов</i> – Стихи	195

КУЛЬТУРА. ИСТОРИЯ. ФИЛОСОФИЯ

<i>Сергей Бычков</i> – «Свободы сеятель пустынный...» Жизнь и труды русского мыслителя Г.П. Федотова	198
<i>Елена Кулен</i> – Николай Ульянов. Долгий путь к свободе	280
<i>Юкио Накано</i> – «Новый Журнал». 1950-е годы	340
<i>Михаил Сергеев</i> – Религия в глобальном мире	348

ЭССЕ. ОЧЕРКИ

<i>Сергей Манукян</i> – Очерки подлых времен: 1950-й	366
ОБ АВТОРАХ	377

Поздравляем *The New Review Corporation* с 70-летием!

22 июня 1953 года, ровно 70 лет назад, была основана Корпорация «Новый Журнал» / The New Review Inc., некоммерческая издательская организация с широкими общекультурными задачами. Согласно Уставу, Корпорация создавалась исключительно в благотворительных, научных, литературных и образовательных целях для поддержки культуры многонациональной русскоязычной диаспоры в ее рассеянии. Мы и сегодня сохраняем эти приоритеты.

Мы поздравляем всех членов Корпорации с юбилеем! На протяжении семи десятилетий их энергия и поддержка обеспечивают существование «Нового Журнала», уникальной платформы свободной русской литературы и независимой мысли. Мы помним о всех ушедших в мир иной членах корпорации, отстоявших в эмиграции незапятнанное имя русской культуры, развивавших ее лучшие традиции; мы благодарны всему нынешнему составу корпорации за их преданность слову и делу диаспоры.

Редакция «Нового Журнала»

ПЕРВЫЙ СОСТАВ КОРПОРАЦИИ:

Члены-учредители: М.В. Вишняк, А.А. Гольденвейзер, М.М. Карпович, Н.С. Тимашев, Д.Н. Шуб

Члены корпорации: М.А. Алданов, В.А. Александрова-Шварц, Р.Б. Гуль, В.М. Зензинов, И.Н. Коварский, Г.М. Лунц, С.М. Шварц, З.И. Юрьева

ПРЕЗИДЕНТЫ КОРПОРАЦИИ:

М.М. Карпович (1888–1959)

Р.Б. Гуль (1896–1986)

Томас П. Витни (1917–2007)

М.И. Раев (1923–2008)

С.Л. Голлербах (1923–2021)

Г.П. Месняев (1958–)

ПРОЗА. ПОЭЗИЯ

Бенцион Парзен

Сыновья царя Менаше*

Глава 1. Вдова

Царевича Амона помазали в последние минуты земной жизни отца его, царя Менаше¹. Власть обязана быть непрерывной, и потому на первосвященнике лежит тяжкое решение: во всеуслышание заявить, что царь скоро присоединится к народу своему, и Ява угодно помазать его преемника на царство. Обычно этого не делают у постели умирающего, дабы не огорчать его последние мгновения, но в этот раз не было необходимости в излишней деликатности. Старый Менаше уже двое суток был не в себе, и если и принимался что-то говорить в горячечном бреду, то всё равно понять его было трудно: он всего лишь слабо шептал, и речь его была невнятна еще и по причине недостающих зубов. Левит Цадок, дежуривший у царской постели, потом утверждал, что сам слышал, как Менаше просил разломать статую Ашеры и убрать медного четырехликого идола из Храма, а потом усадить всех левитов за переписку книг Торы, которых так не хватает бедному народу Иудеи... Впрочем, Цадоку верили только его друзья, храмовые прорицатели, которые уже много лет держали обиду на царя, сильно их притеснявшего все долгие годы своего царствования. Но даже если Менаше и говорил такое на самом деле, это был всего лишь бред умирающего старца, и никто к нему уже не прислушивался. Великий Коэн Шаллум со всей торжественностью помазал елеем непослушные кудри старшего сына Менаше, Амона, и, когда тот распрямился, чтобы посмотреть, как сам первосвященник склоняет перед ним голову, все увидели злорадную усмешку на губах его, и будто бы веселые искорки заплясали в карих глазах юноши.

Он долго ждал этого момента, очень долго. С малолетства ему рассказывали, что отец его воцарился двенадцати лет: вот, мол, бери пример с отца, говорили ему, он в столь юном возрасте уже... Но вот те же самые двенадцать отпраздновали царевичу, а на следующий год наступил возраст исполнения заповедей, и впервые познал он

*Лауреат Премии имени Марка Алданова, 2022 год.

1. Менаше – Манассия, царь иудейский, ок. 697–642 до н. э. Все имена собственные, названия стран, городов и народов приведены в транскрипции с иврита.

сладость женских ласк, каждый раз призывая в свои покои новую рабыню, а через три года дали ему в жены стройную, пышногрудую Едиду, дочь Адаи, которой он толком и не успел насладиться, как она понесла, и Амон в свои шестнадцать уже сам стал отцом – а царский трон был все так же от него далек, как и в раннем детстве.

Отец был крепким жилистым стариком, хоть и разменял седьмой десяток и уже возглавлял Совет Мудрых не просто по праву Помазанника, но и как один из самых старших и в действительности мудрейших мужей Иудеи и покоренного Ашшуром² Израиля. С полководцами и чиновниками Ашшура, с посланниками племен Касдим из Бавеля и даже с министром самого паро³ из Мицраима⁴ старый Менаше говорил на родном языке каждого, и говорил бегло, грамотно, с почтением, но и достоинства иудейского царя не теряя. Амон часто заставлял отца за чтением – ему приносили из Храма папирусы и пергаменты, старые и новые, написанные на разных языках, и даже глиняные таблички, невесть как попавшие в Ерушалаим из Нинве, столицы Ашшура, и Бавеля, столицы земли Касдим. Менаше любил поучать сыновей, пересказывая им понравившиеся мысли и истории, почерпнутые из книг, но у Амона всегда сводило скулы от этой скуки. А вот младший брат его, Равшака, слушал отца внимательно, еще и вопросы задавал, зазнайка. У братьев были разные матери, и Равшака был сыном Яэль, самой юной из жен Менаше, а потому самой любимой. Имя «Яэль» девушка приняла уже в Ерушалаиме, а при рождении была наречена Шепсит, что на языке Мицраима означает «благородная». Ее привезли для Менаше из земель паро, и она действительно была благородных, божественных кровей, ибо в Мицраиме, не знаящем истинного бога, называют богами своих правителей.

Храмовые прорицатели были против этого брака – не хватало еще, чтобы вместе с Шепсит появились во дворце и Храме идолы из далекой земли, откуда народ наш выведен был! Но Менаше хрястнул кулаком по каменной столешнице и приказал выпороть с позором особенно болтливых, и юная Шепсит с почетом въехала в свои новые покои на горе, возвышающейся над всем Ерушалаимом. Оттенком кожи девушка была подобна девам из Таймана, была она намного смуглей дочерей Иеуды и Израиля, а дворцовые служанки на женской половине шептались, что у новой царицы волос на теле ниже ресниц нету вовсе, как это заведено у жен Мицраима и Бавеля. Новонареченная Яэль мазала мочки своих миниатюрных изящных ушек свежим, как утренняя роса, благовонием, и даже на людях надевала соблазнительно короткие одежды – такие, чтобы всем были видны тонкие щиколотки

2. Ассирия

3. фараон

4. Египет

ее ножек и даже чуть выше. Роды счастливым образом не испортили ее фигуры, и теперь, в свои без малого тридцать, она выглядела почти так же, как и тогда, когда впервые появилась во дворце. Судьба-гадалка бросила свои стрелы, и девочке, которая хоть и приходилась самому парю родственницей, но очень и очень дальней, выпал счастливый расклад: царь Иудей Менаше в ней души не чаял. Своего сына от Яэль он назвал в честь погибшего еще в детстве брата – тот, сказывали, свалился, играя, с верхней галереи во двор и свернул себе шею. Прорицатели и тут отговаривали царя – мол, несчастливое имя, но он послал за знатоками звезд, выписанными из Нинве, и те несколько ночей подряд смотрели в звездное небо с дворцовой крыши сквозь какие-то мудреные приспособления, что-то измеряли, записывали и считали, и, наконец, заключили: царь сделал хороший выбор, имя это защитит младенца, и дух покойного дяди будет рядом с ним... Яэль следила, чтобы ее первенец учился у лучших учителей – собственно, как и Амон, о котором мать его, Мешулет, заботилась, разумеется, никак не меньше. Но Амону скучна была книжная премудрость, ему ничего не стоило швырнуть в седого учителя размокшим комком жеваного папируса и с хохотом убежать играть со свитой своих дружков, а вот Равшака старательно, как выражался один книжник из Мицраима, «грыз гранит познания». И в последние годы Амон с беспокойством стал замечать, что отец всё более и более благоволил к младшему сыну, всё щедрее делится с ним, совсем еще сопляком, премудростями управления царством... Конечно, никто не мог отнять у Амона право первородства, право первого, избранного сына заменить отца на троне, но... Своя рука – владыка, дело известное. Посадит Менаше младшенького рядом с собой соправителем – и всё, прости-прощай веселая жизнь! А то, что по восшествии на трон у него, Амона, начнется веселая жизнь, – он не сомневался. Ведь чем хороша царская доля? – говорил он своим друзьям, товарищам по детским играм, которые тоже превратились в молодых мужей, сыновьям дворцовых сановников, писцов, прорицателей, храмовых левитов... – А тем она хороша, что всем вокруг ясно, кто здесь главный! Юноши хохотали, потягивая терпкое вино, привезенное с горы Грзим, на склонах которой теперь жили поселенцы, пригнанные в земли Израиля воинами Ашшура. Каждый надеялся, что их другу-предводителю повезет взлететь к вершинам власти и что он непременно потянет их за собой.

И вот этот день настал. Дворец был погружен в траур, Амон в надорванной в знак скорби простой одежде принимал соболезнующих, сохраняя на лице приличествующее моменту выражение, однако в конце дня, проходя по коридору, он поймал за рукав одного из своих друзей, сына знатных родителей, и шепнул ему:

– Скажи парням, что на исходе седьмого дня, когда окончится

траур, собираемся у Гильяны – вот тогда и начнется настоящий праздник!

Гильяна и ее подруги, иноземные красавицы, именовались «священными девами» и жили в квартале, расположенном ниже дворца и Храма, и совершали ритуальные соития в обмен на жертвенные подношения идолам, которым служили. Разумеется, дворцовых юношей девы принимали у себя не в службу, а в дружбу. На ночных гуляниях, которые по распоряжению Амона устраивались на крышах квартала «священных», девы пели и танцевали, и одежды их были таковы, что совершенно не мешали гостям жадно рассматривать округлые линии тела, и как колышутся упругие груди и блестят в лунном свете гладкие ноги... Приключения, переживаемые молодыми людьми в компании чаровниц кнаанского, по преимуществу, происхождения, были такого свойства, что позволяли им с легкостью переносить прославляемую молвой скромность дочерей Иеуды, суженых им в невесты и, разумеется, никогда не надевавших таких легкомысленных нарядов, не певших и не танцевавших перед своими избранниками. Непорочность отношений до брака, а также чистота и святость самого брака очень почитались в хороших ерушалаимских семьях.

* * *

– Мир тебе и благословение, Меши, мать Помазанника, – почти-тельно сказал Шаллум. – Или теперь к тебе должно обращаться только по полному имени?

– Перестань, Шаллум, – устало вздохнула Мешулет. – Садись вон, пей...

Слуга налил коэну напиток в кубок и исчез в полумраке покоев. Шаллум пригубил вино, с видом знатока вдохнул аромат, посмаковал.

– Что же, – промолвил он, – можно сказать, что мы достигли своей цели? Власть в надежных руках твоего сына...

– Надежных, ты говоришь? – горько усмехнулась женщина. – Вижу, ты давно не беседовал с Амоном... Между прочим, рекомендую тебе этим заняться, потому что у него одни только бабы на уме. Ему, да и всем нам, крупно повезло, что Равшака еще совсем мальчишка. Менаше, разумеется, не делился со мной мыслями, но я его слишком хорошо знаю: он серьезно подумывал посадить младшего одесную... Если бы не... – голос Мешулет прервался, и собеседник увидел слезы в ее глазах.

Надо же, с удивлением подумал Шаллум, а ведь она всё еще любит его... эта пожилая, располневшая жена, мать царского первенца, на ложе которой царь уже давно не всходил, предпочитая более молодых и горячих, – она действительно оплакивает старого Менаше

не потому, что так положено по статусу вдовы, а потому что болит, по-настоящему болит...

– Меши, – ласково сказал он, – постарайся смириться с тем, что случилось... Менаше прожил хорошую жизнь, и сейчас об упокоении его души молятся все: и те, кто почитает одного лишь Ява, и те, кто воскуряет Баалу и Ашере. В пределах Иудеи и на границах ее мир и спокойствие, народ благоденствует – что же лучше этого может сделать царь?

– Да, конечно... – Меши промокнула глаза кусочком льняной ткани и встала: – Теперь главное – чтобы дела и дальше шли так же хорошо...

Женщина подошла к окну и подставила лицо прохладному сквозняку, втягивающемуся во дворец из ночи, накрывшей ерушалаимские холмы. Она досадовала на себя, что проявила свои чувства. Шаллум, конечно, старый друг, но... Нельзя показывать слабость, нельзя.

Шаллум смотрел на Меши, стоявшую у окна спиной к нему, и вспоминал, какой она была красавицей, когда ее только-только привезли во дворец. Больше двух десятков лет прошло с тех пор, целая жизнь... Он был ровесником Менаше и помнил, что в те годы не раз прелюбодействовал с юной Меши в сердце своем. Теперь-то, конечно, даже смешно вспоминать о таком... Меши обернулась, будто почувствовав его взгляд. Ее глаза были сухи, губы сжаты.

– Послушай меня, Шаллум, – сказала она. – Всё только начинается, к сожалению. Завтра же начни заниматься с Амоном – всё, что не успел объяснить ему отец, объяснишь ты. Он должен понять всю тяжесть своего долга перед страной... и семьей. А самое главное: мы должны устранить соперников.

– Яэль?

– Шепсит, – презрительно бросила Мешулет, – она недостойна имени на нашем святом языке... Что там ее родственники?

– На похороны царя приехал сам Нихий. С ним еще несколько, делают вид, что просто сопровождают его, но мне кажется, они люди серьезные... Собираются пробыть здесь до окончания траура и торжеств по поводу восшествия Амона на престол... Царя Амона, – добавил Шаллум.

– Глаз с них не спускай, – приказала Меши, – а как окончится траур – в тот же день переселишь Шепсит вместе со щенком в Моцу. Видеть их не желаю в день торжества...

До Моцы от дворца можно было доскакать на коне меньше чем за одну стражу. Там находился древний храм – не меньший, чем дворцовый в Ерушалаиме, и туда со всей Иудеи свозили зерно и другие припасы, которые подсчитывались и сохранялись тамошними левитами, чтобы затем быть доставленными в Ерушалаим.

– Отличная мысль, – сказал Шаллум и встал. – В Моце за ними присмотрят. Сейчас же пошло туда своего человека всё подготовить.

Мешулет мет движением руки ответила на поклон Шаллума и проводила его взглядом. Грузная фигура старого козна растворилась в темных анфиладах дворца. Женщина прилегла на подушки, прикрыла усталые глаза. Она уже привыкла к одиночеству: сын вырос и более в ней не нуждался, муж был занят государственными делами, а в свободное время – молодой женой и еще более юными фаворитками... но сегодня, похоронив Менаше, она поняла, что теперь одиночество будет совсем другим – много хуже. Раньше она хотя бы раз в несколько дней виделась со своим Мени, порой ей удавалось немного поговорить с ним, а если он бывал в добром настроении – даже и приобнять его, и поцеловать, и получить поцелуй в щеку в ответ... Не то чтобы этого было ей достаточно – вовсе нет, но сейчас в грудь заползло холодное понимание: вот теперь не будет даже этого. Она буквально физически ощущала, что у нее из-под ног выбили какую-то основу. Пусть Менаше в последние годы во многом стал ей чужим – всё равно с ним она чувствовала себя защищенной, как это было и раньше. А теперь...

Она вдруг вспомнила, что уже испытывала раньше похожее чувство – ощущение зыбкости, неверности происходящего. Страх, что вдруг зазвучат в коридоре нежданные шаги, грубые руки откроют двери, и войдут чужие, схватят, потащат на муку... Было так, было: Менаше тогда был еще в силе, и она – молода и стройна, не хуже этой верхивостки Шепсит (да паразит Ашера ее чрево бесплодием!). Менаше вел долгие переговоры с вождями Касдим, из Бавеля приезжали бородастые, с гордым орлиным профилем, мужи, говорили зажигательно и воинственно, и Менаше, чувствуя витающие в воздухе перемены, решился на большое дело: отложиться от Ашшура, и в тот год впервые не послал дань в Нинве, а явившегося оттуда чиновника прогнал, хотя и не причинил никакого вреда посланцу Ашшурбанипалацаря. Неуплаченная дань стала изрядным довеском к государственной казне, и министры двора Менаше уже потирали руки, готовясь израсходовать свалившееся на них богатство, как вдруг, вместо ожидаемых с победными новостями Касдим-бунтарей, в Ерушалаим прибыл отряд ашшурских воинов под командой Син-шар-ишкуна, одного из многочисленных сыновей царя. Син вроде бы явился как гость, но всем было понятно, что дело проиграно. Воины гвардии царя Менаше, конечно, с легкостью могли бы растерзать пришельцев, но было ясно, что это лишь небольшая делегация, и если поднять ее на копыта, то следом придет уже настоящая сила, и вряд ли царю иудейскому повезет так, как его отцу Хизкияу⁵, когда царь Синаххериб чудесным образом снял осаду с Ерушалаима, уйдя от стен города в одну ночь.

5. Хизкияу – Езеккия, царь иудейский, отец царя Менаше. Взошел на трон в 727 или в 715 г. до н.э. Правил 29 лет. Проводил религиозные реформы монотеистического толка, поэтому в Танахе считается одним из самых благочестивых царей.

Продекламировав положенное по законам дипломатии, юный Син вдруг всгал, прошелся по залу, подошел к трону Менаше (охрана было напряглась, но не сдвинулась с места), поскреб ногтем позолоту на дереве.

– Хороший у тебя дворец, царь, – сказал Син, – богатый... Да и Храм вон тоже ничего, – Син кивнул в сторону окна, из которого открывался вид на жертвенники у главного входа в Притвор. Менаше молчал. Син вдруг хлопнул его по плечу и расхохотался:

– Ну что, поедешь с нами, царь Иудеи. Покажем тебе прекрасный Бавель, который твои дружки хотели под себя подмять. Не вышло у них, царь, вот что. Главный-то ихний в огонь бросился, вместе с бабой своей и прихвостнями. А кто струсил и пощады попросил – тех мы сами проучили. Кому язык отрезали, кому кол в жопу загнали, – и Син снова заржал, как жеребец, завидевший кобылу. Мешулет, сидевшая рядом с мужем, понимала арамейский, и слова Сина пронзали ее холодом, будто сидела она на голом камне в зимний дождливый день.

Приглашение к царю Ашшурбанипалу, да не в его столицу, Нинве, а в разоренный им Бавель, на пепелище подавленного восстания, было из тех, от которых не отказываются. И без того оно было больше похоже на плен. Соблюдая видимость вежливости, Син позволил Менаше взять с собой в караван слуг, нескольких приближенных и вооруженный отряд личной охраны. Мешулет напрасилась сама – муж был против, но она сказала: куда ты, туда и я, чем бы это все ни закончилось. Трижды родился месяц с того дня, как караван вышел из Ерушалаима, и вот, после унылого, пыльного и тряского путешествия по пустыням, разделяющим Эрец-Исраэль и Бавель, четырнадцатый царь Иудеи Менаше бен-Хизкияу с женой и небольшой свитой, под охраной (а точнее, под конвоем) отряда Син-шар-ишкуну, прибыл в город, раскинувшийся на обоих берегах Евфрата. Мешулет навсегда запомнила этот страшный запах, которым встретил их покоренный Бавель: запах сгоревшего жилья и разлагающейся человеческой плоти. Син, очевидно, специально провел караван по тем районам города, по которым армия прокатилась с особой жестокостью: на пепелищах домов до сих пор торчали колья с мумифицированными на бавельской жаре телами бунтовщиков. На лицах черепов, обтянутых коричневой кожей, еще сохранялись гримасы невероятного страдания. Жирные мухи роились над развалинами, будто пчелы.

Гостей, более похожих на пленников, разместили в остатках сгоревшего дворцового комплекса, где расположился и сам Ашшурбанипал. Там уцелело несколько пятиэтажных зданий, стоявших чуть в стороне и поэтому пощажённых огнем. Каждое из них было и в высоту, и по площади больше, чем сам ерушалаимский Храм, и это поразило Мешулет. Тут же, с дороги, не дав умыться и

передохнуть, Син вызвал Менаше: великий царь Ашшурбанипал ждет тебя, сказал он, не назвав ни имени Менаше, ни титула царского: Син был у себя дома и мог уже не церемониться с провинившимся вассалом отца. Менаше коротко взглянул на жену, будто прощаясь с ней, и она постаралась улыбнуться, подбадривая его. Даже хорошо, что его вызвали сразу – по крайней мере, скоро всё закончится. Незвестность и ожидание ужасного конца вымотало их обоих за долгую дорогу. Только когда Менаше увели, Мешулет дала волю своему отчаянию. Коэн Цадок утешал ее как мог, убеждая горячо молиться Ява за спасение царя, – Меши не слушала его. Его уже тоже нет на свете, старого Цадока, теперь в Храме служит сын его, молодой Цадок – любят они передавать от отца к сыну имя коэна, служившего при самом царе Шломо... Меши обращалась в сердце своем к Ашере – так, как это делала и ее мать, и мать ее матери, и просила она не за царя Иудеи, а за мужа своего, Мени, отца их маленького сына... Пусть просто оставит их троих живыми, не нужно дворца, Храма, ничего не нужно – просто оставить в живых. И снова несло в окна жутким горелым запахом, снова, стоило закрыть глаза, виделись ей эти высохшие черепа на обочине...

Менаше вернулся к вечеру, и по улыбке на его бледном, усталом лице она поняла, что и в этот раз ее сильный муж победил. Он рухнул в деревянное неудобное кресло, хлопнул ладонями по подлокотникам, потом поднял жилистый кулак и сказал:

– Вот они у меня все где! Вот! Думали – на кол Менаше посадить? Не-ет, шалишь! По повелению царя Ашшура – поставки камня и леса в Нинве возобновить, – р-раз! – он принялся загибать пальцы, считая: – Больше того: отряд иудейских воинов на колесницах будет послан в армию Ашшурбанипала немедленно – два! Кстати, мы свободны, уже скоро сможем отправиться домой...

Цадок принялся восторженно говорить, что вот теперь царь Менаше видит, что только молитвы праведников, обращенные к Ява, спасли его и весь народ Иудеи и Израиля и что когда царь вернется в Ерушалаим, было бы хорошо очистить Храм от чужих идолов в честь великой победы над неверными чужаками... Менаше слушал его, наливаясь злобой, а потом прорычал:

– Победы?! Ты считаешь это победой? А знаешь, как я сегодня унижался перед этим... этим... великим царем Ашшура? Я, царь Менаше из дома Давида? Ведь сандалии ему целовал! Иди-ка сюда, праведник! – и Менаше, встав во весь свой рост, схватил Цадока за шкуру и подтащил к окну, за которым полыхал кровавый закат, заливая красным светом изнывающий от жары, дымящийся развалинами, изнасилованный город.

– Вон туда смотри! Видишь? Ты хочешь того же для Ерушалаима? Не хочешь? А что ты можешь сделать, чтобы этого не случилось и с

нами? Вы все, прорицатели, говорящие устами Божьими, а? Вы только болтать умеете и обещать, как Ява явится вместе со всем воинством небесным, чтобы спасти наши задницы! И ни разу, ни разу он еще не явился, если не считать тех чудес, про которые написано в ваших свитках, что вы храните в Храме! И написали их такие же умники, как и ты! Такие же болтуны!

Менаше отпустил Цадока, тот еле стоял на ногах, ужасаясь царскому гневу. А царь уткнул палец в грудь коэну и заговорил тихо, сдавленно, но ничуть не менее страшно, чем тогда, когда просто орал на него:

– Ты ведь помнишь, Цадок, как пал Лахиш при моем отце? По-о-омнишь, должен помнить! Только что тебе тот Лахиш – ты тогда в Ерушалаиме отсиживался. А я потом с отцом ездил туда, на пепелище. Пацан совсем был, а помню. Солдаты Синаххериба осадную насыпь такую возвели, что городские стены вовнутрь обрушились! Знаешь, скольких наших тогда казнили? Их резали так, как плиштимские крестьяне своих свиней режут! Сотни голов пришлось потом отдельно хоронить! И где был твой Бог тогда, а? Молчишь, Цадок... А я тебе вот что скажу: пока я, Менаше, отвечаю за мир, спокойствие и порядок в Иудее, ты будешь приносить жертвы в Храме кому требуется: и Ява, и Баалу, и Ашере, и Таммузу, и всем, кого так любит наш добрый иудейский народ! И за великого владыку Ашшура будем вслух молиться, если это спасет Ерушалаим от разорения. Понял? Иди, свободен... и скажи спасибо, что я добрый сегодня... Праздновать будем, жена! Велика накрыть нам трапезу на крыше, а то здесь дышать нечем...

И они пили и ели в липкой жаркой темноте бавельской ночи, милосердно скрывшей раны побежденного города, и спать они, по местному обычаю, легли там же, на открытом воздухе, и царь Менаше любил жену свою, Мешулемет, почти до самого рассвета, и она осыпала его горячими ласками, радуясь, что он снова выжил и снова рядом с нею...

Мешулемет вынырнула из дремы и из прошлого. Как странно: те страшные времена вспоминаются ей сегодня как что-то хорошее, радостное... Кудрявый малыш Амон, могучий властный муж рядом с ней... В этом всё дело, в ее собственном уютном мирке, в котором тогда светилось счастье. А окружающий большой мир был страшен – он и сейчас такой. Только вот своего, маленького, у нее больше нет.

Пришла служанка – пора было переодеваться ко сну. Мешулемет снимала украшения, умывала лицо, меняла одежду и думала о том, что она должна справиться. Не может не справиться. Пока всё идет как надо: Шаллум и его левиты с ней, и не может такого быть, чтобы Амон не взялся за ум. Конечно, молодой Цадок мутит воду, и родня Шеспит уже подтянулась из Мицраима, будто грифы на запаха падали,

но с этим она разберется. В Моцу родственничков не допустят, а Шепсит пусть сидит там пока взаперти и молится своим богам с собачьими головами... И Мешулемет легла на свое одинокое ложе с надеждой, что и сейчас ей, быть может, приснится что-то хорошее.

Глава 2. Юный наследник

Яэль стояла в открытой галерее, вслушиваясь в ночь. Моца спала, и спал храм, лишь иногда вскрикивала ночная птица и шумно вздыхали быки и лошади в храмовой конюшне, которая находилась прямо под окном ее покоев. В этом тоже было некоторое унижение: вот тебе, дескать, комнаты с видом на хозяйственный двор, и этим обойдешься, бывшая царица... Уже два года, как она и ее сын Равшака живут здесь, в этой деревне, взаперти. Не то чтобы совсем взаперти – им позволено выходить за стены храмового комплекса, прогуливаться по дорожкам на окрестных холмах... В саму Моцу ходить незачем: обычный иудейский поселок, окруженный виноградниками и оливковыми рощами, несколько больших постоянных дворов для караванов, привозящих в храм запасы... а больше и нету там ничего. Но даже во время прогулок они под надзором: пятеро старых солдат царской гвардии приставлены к ним, живут в соседних комнатах, не спуская глаз ни с нее, ни с сына. Говорят – охраняют, на самом деле – стерегут. Яэль не оставляет неприятное чувство, что если из Ерушалаима вдруг придет приказ – солдатская рука не дрогнет. Поэтому Яэль всё время страшно, но не столько за себя, сколько за сына. Равшака вырос, они вдвоем отметили его возраст инициации. Но не такой судьбы она желала для него... С ним занимаются и здесь, в хранилище книг при храме, но разве сравнить это с теми учителями, что были во дворце? И главное – что дальше? Яэль была бы готова уехать на родину, в Мицраим, и увезти сына, но никто не отпустит претендента на престол так далеко. Для Амона – точнее, для его властной матери – это еще хуже, чем держать Равшака при дворе. Сегодняшнее положение устраивает всех: и не на глазах, и под надзором. Всех, но не Яэль.

Вернуться домой было первым порывом ее души, когда всё рухнуло. После смерти мужа и утраты высокого положения она поняла, что более ничего не держит ее в этом захолустье – земле, долгие века бывшей провинцией великого царства Мицраим. Много лет назад она, совсем еще девчонка, со страхом ехала из отцовского дома в незнакомое место, чтобы поселиться навсегда среди чужих людей, но, быстро освоив здешний язык (к тому же во дворце многие книжники, чиновники и даже левиты неплохо знали ее родное наречие), она обнаружила, что обычаи новой страны чем-то напоминают родину. В небольшом дворцовом храме стояли статуи, хотя это и были местные боги с непривычными именами: Баал, Ашера... На барель-

ефах изображались воинства небесные и герои древности, а одним из самых почитаемых богов был Эль, он же Элоим, или Ява Невидимый – муж Ашеры. Как и в Мицраиме, большой ценностью считались магические заклинания, написанные на полосках пергамента (здесь его предпочитали папирусу для храмовых нужд) – правда, местные жители клали эти тексты в коробочку и прикрепляли ее у главного входа в жилище. Жрецы иудейские брали немалые подношения за изготовление такой коробочки. Как и в Мицраиме, местное население отмечало множество храмовых праздников, и на каждый существовали свои ограничения и запреты: в иные дни нельзя было мыться, в другие – слушать и петь веселые песни и танцевать, а порой запрещалась любая работа и следовало смиренно оставаться весь день дома. Когда Равшака подрос, и Яэль стала водить его на занятия к мудрецам, она услышала местные истории и с удивлением узнала, что в них часто рассказывается о ее стране – правда, о временах очень давних, и божественный паро в этих историях описан без должного почтения, а совсем даже наоборот. Оказалось, что одним из главных учителей древности у иудеев считается жрец Мицраима по имени Моше, который, судя по рассказам мудрецов, взбунтовался против самого паро и посмел увести его рабов сюда, в землю Кнаан, чтобы самому стать их царем. Яэль смеялась про себя над этими наивными историями маленького народа с окраины великой страны: не то, что в древности, а и сегодня до самых южных границ Иудеи тянулась цепочка мигдолов – небольших, но мощных крепостей с сильными, опытными воинами, которые контролировали путь из Мицраима на северо-восток, да и вся армия паро могла в любой момент, как это бывало не раз и в прошлом, совершить стремительный рейд и навести порядок в бывшей провинции. И понятно, что ни сейчас, ни тем более в давние времена, когда героев и великих мужей было больше, чем сегодня, никакие беглые рабы под водительством жреца-изменника не сумели бы безнаказанно покинуть страну. Но Яэль не делилась ни с кем этими крамольными мыслями и уж тем более ничего не говорила сыну – ведь он был царевичем, возможным наследником, и должен был расти и воспитываться как плоть от плоти народа Иудеи, и ему не стоило знать даже родного языка матери, а уж тем более о ее сомнениях в местных преданиях.

Приняв новое, иудейское, имя и поклявшись в верности Богу Дома Давида, Яэль не изменила вере своих предков. Она знала, что и храмы, и хранилища манускриптов, и обычаи ее страны намного древнее и богаче всего того, над чем царствовал ее муж, Менаше. В дворцовом Храме Яэль молилась лишь у статуи Ашеры – прекрасной женской фигуры, для которой местные умелицы шили одежды из самых дорогих тканей, и огонь у алтаря которой не гас ни днем ни ночью. Яэль догадалась, что здешние племена называли Ашерой

Исиду – богиню красоты и женственности, и эти молитвы будто возвращали ее домой.

Со временем, немного разобравшись в дворцовых интригах, она узнала, что среди царских министров, военачальников, родовитых князей и особенно храмовых левитов, предсказателей, писцов и книжников есть группа единомышленников, которые не просто поклоняются Ява, богу племени иудейского, но считают его единственным Богом, Царем Мира, и полагают, что более ничего, кроме его власти и величия, не существует. Оппоненты звали их презрительно – «единобожники», но враждовать с ними открыто опасались: те были людьми весомыми, да и против Бога Царского дома выступать было никому не с руки. Сами же единобожники других богов не боялись вовсе, поносили их почти в открытую и старались держаться подальше от тех, кто приносил жертвы к другим алтарям: не садились с ними рядом в собрании, не делили трапезы и по возможности даже не здоровались, дабы не оскверниться. Чужеземную царицу они тем более презирали, не столько даже за темный цвет кожи и мицраимский акцент, сколько за ее молитвы у алтаря Ашеры. Но презирали они Яэль, конечно, про себя: царь Менаше был крут нравом, и пока он был жив, его любимая юная жена могла позволить себе, задрав носик, пройти мимо Великого козна или группки прорицателей, а потом очаровательно им улыбнуться, введя тем самым праведных мужей в искушение. Но вот Менаше не стало, и не стало у Яэль защиты...

В тот год, когда их только что заперли в Моце, ее навестил тайком Нихий, возвращавшийся из Ерусалаима домой. Охрана не посмела перечить важному иноземному чиновнику, и Яэль смогла беседовать со своим двоюродным дядей несколько часов, не без труда оживив в памяти родной язык. Когда иссякли слезы и слова утешения, Нихий сказал: живи пока здесь, делай, что тебе говорят, тронуть ни тебя, ни Равшака они не посмеют. Мы будем рядом, и придет день, когда наш человек свяжется с тобой. Нихий достал из кармана плоский глиняный осколок разбитого кувшина и без особых усилий переломил его сильными пальцами. Крошки осыпались на пол, Нихий протянул ей половинку с неровным краем. Вторая, сказал он, будет у посланника. Сложишь их, если совпадут – значит, это и вправду верный человек, слушайся его. И с тем уехал.

С тех пор священники храма в Моце дважды справили новолетие, но ничего не менялось в незавидном положении бывшей любимицы царя Менаше. Даже новостей из дворца почти не доходило до этого глухого места. И вот сегодняшним утром, когда на храмовом дворе разгружался очередной караван, пришедший, кажется, из Арада, и вокруг повозок, как всегда, возник маленький стихийный рынок – жители Моцы бойко выменивали продукцию своих хозяйств на изделия, привезенные издалека, – Яэль вышла походить среди

торгующих – без какой-то определенной цели, просто ощутить, что где-то еще бьется жизнь. Хмурый, не проснувшийся до конца охранник вяло плелся следом, то и дело останавливаясь прицениться к жевательной смоле или попробовать подушечкой мозолистого пальца острие нового ножа. Какой-то замотанный по самые глаза в пылевую повязку крестьянин вдруг окликнул ее – глянь, мол, хозяйка, горшки-то какие! Яэль хотела было пройти мимо, но вдруг ей почудился явственный мицраимский акцент в речи незнакомца. Он говорил ей что-то еще, обыкновенное, рыночное, присказки какие-то смешные, какими увлекают покупателей, но черные глаза его не улыбались, и вдруг она почувствовала, как он сунул ей в руку что-то твердое и маленькое. Сегодня ночью, вдруг прошептал он, в западной галерее, жди. И отвернулся, и скрылся за своим возом. Яэль решила разжать ладонь, только когда оказалась одна, в своей комнате. Это был он, глиняный осколок с кривым краем, который полностью совпал с тем, что хранился у Яэль в корзине с одеждой.

* * *

Ночной гость появился внезапно и бесшумно – он словно бы сооткался из темноты в самом углу галереи. Там он и остался стоять, невидимый для охранников, прогуливавшихся по двору и по внешней стене.

– Стой, где стоишь, – приказал он Яэль и пояснил: – Тебя они видят, меня – нет. Смотри на небо и слушай, – и перешел на язык земли паро.

Амон бен-Менаше оказался никудышним царем, говорил гость. Он лишь пьет и развратничает, а всем заправляют Шаллум со своими левитами и мать царя, Мешулемет, и для них главное, чтобы всё оставалось, как раньше. Божественного Паро Псамметиха Первого не волнует, что в Иудее правит плохой царь, но его тревожит усиление Ашшура. Старый, как ствол оливы, но всё еще сильный и хитрый, Ашшурбанипал захватил все прибрежные земли, и теперь морская торговля Мицраима под угрозой. Паро хочет видеть на троне Иудеи верного ему человека. Благословенна ты между женами, Шепсит, ибо выбор Паро пал на плод чрева твоего.

Яэль слушала, не глядя на говорившего, а подняв, как он и велел, лицо к звездному небу, которое порой грозно перечеркивали своим стремительным полетом бесшумные летучие мыши, и слезы радости катились по ее лицу. Наконец-то, наконец ее Равшака станет царем, как мечтала она и как, скорее всего, хотел в сердце своем его отец, ее царственный супруг и повелитель Менаше.

– Когда? – только и спросила она.

– Завтра, – ответил гость. – Будьте готовы не позже завтрашнего заката покинуть Моцу. Из Ерушалаима обязательно прискачут с

вестью. Либо у наших всё получится – и вы отправитесь туда, либо... если Ра не будет к нам милостив, я помогу вам бежать отсюда в Мицраим. Люди Нихия ждут вас в ближайшем к развалинам древней Беэр-Шевы мигдоле. И пока не говори ничего мальчику.

Яэль кивнула и все-таки посмотрела в темный угол, где прятался гость.

– Как твое имя? – спросила она.

– В этом путешествии меня зовут Габриэль, – и она услышала, как он усмехается. – Здешний народ любит имена с именем своего Бога. Называй меня и ты так же. Теперь уходи, и мне пора.

Уже в дверном проеме Габриэль окликнул ее:

– Сестра, – позвал он. Яэль остановилась. – Будь сильной, сестра. У тебя всё получится. Ты долго ждала, подожди еще немного.

За спиной у Яэль раздался шорох, захрустели мелкие камешки на земле под галереей, прошуршали кусты. Габриэль исчез. На внешней стене, звякая амуницией и негромко переговариваясь, сменялась стража.

* * *

На следующий день, когда солнце уже клонилось к закату, на горизонте показалось облако пыли – охране со стены было хорошо видно, что к храму Моцы скачет со стороны Ерушалаима мощный конный отряд. Колыхались копыта над шлемами, блестели медные пластины на могучих торсах воинов. На знамени был выткан золотыми нитями лев – символ колена Иеуды, символ Царского дома Давида. Ворота без промедления распахнулись, отряд заполнил собой храмовый двор. Старшие офицеры, спешившись, поднялись по ступеням к дверям храма, где их ждал здешний коэн. Мужчины переговорили о чем-то коротко, коэну показали свиток, он быстро пробежал глазами по тексту, покивал головой. Один из офицеров повернулся к собирающейся толпе.

– Слушайте, иудеи! – провозгласил он. – Слушайте слово Великого коэна Ерушалаимского, Шаллума! Царь Амон присоединился к народу своему! И завтра же, с восходом солнца, на царство будет помазан сын царя Менаше, да будет благословенна его память, отрок Равшака!..

Яэль слушала его, стоя у окна, и, услышав имя сына, едва удержалась на ногах.

– Мама? – в комнату вбежал Равшака. – Ты слышала?

Она не ответила – голос не повиновался ей. В коридоре послышались шаги, и в комнату вошли все те, кто несколько минут назад стоял у дверей храма. Офицер подошел к Равшака, поклонился ему, затем отсалютовал обнаженным мечом и сказал:

– Мой господин, пожалуйста царствовать!

Равшака своим ломающимся баском, но с какой-то новой, величественной интонацией, сказал:

– Доставь меня во дворец. Немедленно!

Когда процессия покидала Моцу, Яэль не оглядывалась: она знала, что оставляет это проклятое место навсегда, и хотела поскорее забыть его. У городских ворот их провожала восторженная толпа. Яэль разглядела фигуру высокого мужчины, закутанного в походные одежды. Она улыбнулась и помахала рукой толпе, но и улыбка, и этот жест предназначались одному лишь Габриэлю.

Глава 3. Царский летописец

На втором этаже здания ерушалаимского Храма, в просторном зале хранилища манускриптов, за каменной столешницей сидел писец Хозайя. Несколько брусков отполированного сине-зеленого эйлатского камня держали перед ним развернутым свиток великой древней книги – Летописи Царей Иудейских. Накануне Хозайя с величайшей осторожностью приклеил к старому папирусу новый лист, и свиток стал еще длиннее. Сегодня склейка высохла, и можно будет заполнить чистое поле текстом. Писец просматривал свои многочисленные записи, сделанные на обрывках старых папирусов, на оборотной стороне уже отслуживших свое документов. Ему предстояло с первого раза, идеальным почерком и без ошибок занести в летопись рассказ о царствовании Менаше (да будет благословенна его память). Конечно, такая работа не делается за один присест: Менаше правил более пятидесяти лет, и весь его долгий путь и славные дела следует упомянуть в рассказе, так что текст получится длинным. Готовиться к выполнению этой работы Хозайя начал еще при жизни старого царя: читал записи, сделанные своими предшественниками, свидетелями первых лет правления Менаше, беседовал с Великим козном, помазавшим Менаше на царство и помнившим еще отца его, Хизкияу, и был даже удостоен приема у самого царя. Козн, древний старец Цадок, был уже не совсем в ясном уме, когда Хозайя разговорил его. Тряся седой головой на тонкой морщинистой шее, Цадок принялся рассказывать о каком-то обряде Откровения, который он проводил над Менаше сразу после помазания – было там что-то про Храм и даже про Ковчег Завета... Хозайя попытался вытянуть из старика подробности – он понял, что вот сейчас он, возможно, узнает что-то, что знают лишь немногие, но Цадок вдруг осекся, посмотрел невидящим взглядом куда-то поверх головы Хозайи и прошептал как бы сам себе: «Никому! Никогда!», а потом вдруг, хихикая, закончил свой рассказ так:

– А в конце Менаше сказал: «Славная сказка, Цадок. А вот грибочки твои так себе»...

Хозайя решил, что у старого козна уже совсем помутилось в голове, и с почтением попрощался.

А царь принял Хозайю во время прогулки в саду Уззы – в дубовой роще на одном из ерушалаимских холмов, откуда открывался великолепный вид на Храм и дворец. Менаше любил бывать здесь, бродил в одиночестве по дорожкам, раздражаясь, когда охрана попадалась на глаза, изредка брал с собой на такую прогулку какого-нибудь собеседника. Представ перед царем, Хозайя набрался храбрости и сказал:

– Мой царь, я хотел бы записывать твои речения, но я не могу делать это на ходу...

Менаше махнул рукой:

– Оставь это, юноша. Пойдем.

Они вышли на опушку рощи, и Ерушалаим раскинулся перед ними, опоясанный лентой крепостной стены. Медным огнем горели хромовые колонны, Боаз и Яхин.

– Я ведь знаю, что вы там пишете в своих свитках, – сказал Менаше, – и догадываюсь, что неважно, что я расскажу тебе, – все равно в книгах будет написано так, как велют левиты и прорицатели... Поэтому просто будь честным, юноша, и пиши то, что знаешь сам. Ты родился, когда я уже был царем, – так скажи мне, разве твой отец или братья погибли на какой-нибудь войне?

– Нет, мой царь...

– Или, может быть, кто-то из твоих младших братьев и сестер умер, потому что родителям было нечем кормить малыша?

– Такого не было, мой царь...

– Вот то-то же. Прорицатели говорят, что самый страшный грех – это воскурять Баалу и Ашере. А я скажу так: самый страшный грех – это неблагодарность. Вот увидишь: потом они будут говорить, что я залил весь Ерушалаим невинной кровью. Да, несколько раз я велел казнить тех, кто подбивал народ на бунт и беспорядки, кто дергал спящего льва Ашшура за усы и кричал, что нам нечего бояться, потому что Ява с нами. Но чаще я просто велел пороть этих болтунов, этих бездельников... Пока я жив – они боятся меня и сидят тихо, но когда меня не станет... – Менаше горестно покачал головой. – Тогда воистину: пусть Ява поможет этой земле, и чем скорее он это сделает – тем лучше... Более пятидесяти раз Таммуз уходил в царство мертвых с тех пор, как я воссел на трон Иудеи. После смерти отца моего, царя Хизкияу, настали удивительные времена. Хизкияу был хороший человек, но эти прорицатели будущего из Храма задурили ему голову... А он верил им. Верил в то, что нужно только лишь соблюдать Закон – и Ява всегда поможет... И ему действительно везло – он умер в своей постели. Но терпение народное было уже на пределе, и если бы мы не позволили вновь ставить жертвенники на

высотах, не воздвигли бы в Храме статую Ашеры, – толпы просто ворвались бы в город и растерзали нас всех. И мы сделали то, что должно было, и люди плакали, откапывая залитые известью и расколотые обелиски. Страна успокоилась за какие-то несколько лет, и мы платили тяжкую дань Ашшуру, и никто не роптал... А потом мне удалось заговорить зубы чиновникам из Нинве, и Иудея стала платить всего лишь десять мин серебра в год, тогда как с Аммона брали целых две мины золота! Эх, парень, если бы ты жил в то время – поверь мне, ты бы ухватился за полу моей одежды и побежал бы за мной... Я ни о чем не жалею. Что бы сейчас ни говорили эти бесноватые, к чему бы ни призывали народ, как бы ни трясли своим Ява на всех углах – я не жалею и, доведись мне вновь править Иудеей, – сделал бы то же самое. Но увы, увы... – Менаше замолчал, потом вдруг сказал:

– А похоронить я велю себя здесь, прямо в этой роще, а? – и старик улыбнулся, беззащитно показывая голые десны. – Замечательное место, верно? Так и напиши в конце своей книги: и повелел похоронить себя в саду Уззы...

Старого царя действительно похоронили в этом саду, вдали от могил Дома Давида, и в Храме многие шептали, что неспроста это, что грехи поклонения чужим богам не позволили Менаше присоединиться к предкам его. Но разговорчики эти прекратились, когда стало понятно, что во дворце всем распоряжается вдова, Мешулемет, а в Храме – Великий Коэн Шаллум, старый друг покойного царя. Тогда же Хозайя получил официальное задание: написать для летописи главу о славных деяниях Менаше. Два года трудился молодой писец, и вот, наконец, когда он уже был почти готов переписать свою главу набело, случилось невиданное.

Комнаты, где жили храмовые писцы, располагались недалеко от царских покоев, и однажды ночью Хозайя проснулся от шума и криков. Во внутреннем дворе и в галереях метался свет факелов, куда-то бежали вооруженные люди – гнались за безоружными и полуодетыми и, настигнув их, протыкали мечами белеющую в темноте плоть, и леденящие душу визги и хрипы висели в воздухе... В комнату к писцам заскочил коэн Цадок, начальник хранилища свитков, свистящим шепотом проговорил:

– Тихо сидите, не высовывайтесь! Царя-то молодого... того... – и он чиркнул себя ладонью по горлу.

К утру во дворце уже был порядок: трупы убрали, кровавые лужи засыпали песком, писцам велели явиться на свои места и заниматься делом. Конечно, все только делали вид, что работают, на самом деле шепотом обменивались сплетнями:

– Амона-то прямо с Гильяны сняли, распутника! Так голого во дворец и притащили, и ножом по горлу – хватать!

– А Шаллум-то, Шаллум! Его, сказывают, с постели подняли, и только пригрозили – сразу на всё согласился. И к покоям старой царицы их провел, и младшего, что в Моце сидит, прямо завтра помазать обещал...

– Мешулемет не далась им в руки – приняла яд, а перед этим Шаллumu прямо в лицо сказала: молись, говорит, коэн, кому хочешь, чтобы Менаше с тобой там, за чертой, не встретился...

Цадок, надзиравший за работой писцов, поднял голову от разложенного перед ним свитка и прикрикнул:

– Эй, там, хватит трепаться!

Писцы заткнулись, но шепотки по всему Храму и дворцу, конечно же, не утихали. А к вечеру из Моцы прибыла процессия: бывшая любимица царя Менаше, мать его младшенького, Равшака, и сам пацан, уже без пяти минут Помазанник. Хозяин своими глазами, конечно, не видел, но рассказывали, что Яэль, едва расположившись в своих прежних покоях, велела привести к ней Едиду, вдову Амона, и сына ее, маленького Еши. Юная вдова, говорят, стояла ни жива ни мертва перед возвратившейся из небытия царицей, и, наверное, молилась про себя, чтобы ее с сыном оставили в живых и всего лишь сослали в Моцу. Яэль же подошла к ней, потрепала по щеке, сказала: я не такая змея, как твоя свекровь. Живи, как и раньше, и помни мою доброту...

А остальное Хозяин видел своими глазами, да и не осталось в те дни в Храме и дворце несведущих: все праздновали коронацию нового царя, не отсидев даже траура по прежнему, – будто и не было никогда на свете ни Амона, ни его суровой матери Мешулемет, и даже бывшие друзья молодого царя – те из них, кто уцелел в ту страшную ночь, – забыли своего товарища по детским играм и юношеским забавам уже наутро и с радостными улыбками присягали отроку Равшака. А потом во дворце стали появляться новые люди – в основном южане, и все шептались, что именно на их мечях и пришел к власти новый царь... Снова приехали посланники из Мицраима – сам Нихий ходил по дворцу, как у себя дома, подолгу беседовал с Равшака и его матерью, вместе с соратниками осматривал Храм, что-то прикидывал. Цадок, мрачневший с каждым днем всё более, как-то обмолвился, что скоро из Мицраима привезут идола, которого установят в Храме рядом с теми, что уже стоят там стараниями Менаше... А некоего Габриэля, который стал личным телохранителем Яэль и не отходил от нее ни на шаг, а ночью сторожил ее покои (говорили, что он никогда не спит, потому что заговорен каким-то колдовством мицраимским), Хозяин тоже видел сам, и не раз. Габриэль был высоким и жилистым, с лицом суровым, задубленным ветрами пустыни. И везде, где появлялась Яэль, воздвигалась и его мощная фигура. И поговаривали (но уж это совсем шепотом, закатывая глаза и цокая

языком), что сторожит он ночами Яэль не только у дверей ее покоев, а порой прямо в ее постели, и тогда в темных коридорах женской половины дворца слышны крики страсти молодой вдовы старого царя Менаше...

С той страшной ночи, когда сменилась власть, новомесячье отметили уже трижды, и с каждым днем Хозяя ощущал напряжение, нарастающее в Храме. Цадок его работой не интересовался вовсе, и задания не отменил, поэтому сегодня писец и приступил непосредственно к написанию текста. Когда были готовы первые полтора столбца, Цадок вошел в зал и вскоре уже стоял за спиной у Хозяи, чем раздражал его невыносимо: когда за его работой вот так наблюдали, у него начинал портиться почерк.

– «Сии есть дела славного царя иудейского, по счету четырнадцатого, из дома Давида, Менаше бен-Хизкияу...» – прочел Цадок вслух. Хозяя перестал писать, обернулся и поднял глаза на начальника.

– Славного, говоришь... Ладно, ты пиши, пиши... Пока пиши так, а там видно будет, – и вышел. Хозяя посмотрел ему вслед, потом перечитал написанное, уставился в свои заметки. Странные времена наступили. Странные и нехорошие...

* * *

Выйдя из зала Хранилища книг, Цадок отправился на верхний этаж, где под самой крышей гнездились небольшие комнатки различных служб Храма и дворцового комплекса. Подойдя к одной из дверей – тяжелой, темного от времени дерева с железными скобами, – он постучал условным стуком. Дверь отворилась без скрипа – петли были смазаны хорошим оливковым маслом, и Цадок проскользнул внутрь. В маленьком помещении стоял полумрак: окон здесь не было, имелись только узкие прорезы в камне под самым потолком, и оттуда лился слабый рассеянный свет. Вдоль стен, на скамьях, сидели солидные мужи, и несколько масляных светильников, стоявших на столе, освещали их суровые, задумчивые лица. Свободным оставался лишь табурет в торце стола, на него и сел Цадок, кивнув присутствующим. Впустивший Цадока человек остался стоять у двери – это был офицер, один из подчиненных и, очевидно, доверенных лиц сотника Михайи, командовавшего дворцовым гарнизоном. Сам Михайя сидел напротив Цадока, а остальные присутствующие были и годами, и положением своим старше и коэна, и сотника: сидели здесь священники Иммэйр и Шафан, дворцовый распорядитель Ацальяу, был здесь и старый Хасра – хранитель царских одежд, и еще несколько столь же почтенных мужей, левитов и храмовых прорицателей. Но главное, что объединяло их, были не зрелый возраст и не высокое положение при дворе. В отличие от многих обитателей дворца и большинства «народа земли», они верили только в Единого Бога,

Царя Мира, Ява, избравшего народ Авраама. Все они следовали в жизни своей только одному Закону, который Моше-Учитель получил из рук самого Всевышнего на горе Синай. Все они происходили из семей хорошей крови – списки предков каждого восходили ко временам царя Давида, а некоторые утверждали, что и к более давним годам. Все они тщательно подбирали невест для своих сыновей и подробно изучали родословные женихов дочерей своих, ибо далеко не всякому позволялось войти в общество Господне. Но если породниться с обедневшим, но родовитым семейством считалось приличным и не было зазорно иметь дело даже и с некоторыми из изеров-северян, то от тех, кто поклонялся другим, ложным, выдуманнным богам, следовало держаться как можно дальше, и не только в брачном деле. За службу иным богам, кроме Ява, было одно наказание – смерть. Так гласили древние книги Закона, так говорили отцы и отцы отцов тех, кто сидел сейчас в полутемной комнате, и в этом была для них истина. И поэтому, когда Цадок, сев на табурет и внимательно оглядев присутствующих, сказал негромко:

– Ява – Господь наш! – ответом ему был такой же негромкий, но слаженный хор голосов:

– Ява – один!

– Я созвал вас, братья, – продолжал Цадок таким же негромким голосом, чтобы ни звука не было слышно в коридоре, – потому что ждате более нельзя. Мы должны решить, здесь и сейчас: либо мы покоримся подлой силе из Мицраима, которая вползла во дворец и уже готовится осквернить наш Храм, либо мы поступим подобно мужам древности и докажем, что мы достойны завета с Ява.

– Великий Коэн Шаллум уже взялся за обучение Равшака, – сказал священник Иммэйр. – Есть надежда, что он наставит юношу на путь истинный – путь к Единому Богу...

– Шаллум – предатель, – резко сказал Цадок. – Он не противился грешнику Менаше, который поставил идолов в Храме, и он будет вылизывать под хвостом у этих псов из Мицраима. И неважно, кто будет обучать Равшака, – даже если за это возьмешься ты сам, Иммэйр, или ты, Шафан. Равшака – инородец, сын многобожницы с юга. Он не достоин быть царем святого народа.

Слово было сказано. Воцарилась тишина. Потом старый Хасра сказал, покряхтев:

– Всё ж таки он – Помазанник...

– Помазание рукою Шаллума недействительно, – ответил Цадок. – Мы должны восстановить справедливость и помазать настоящего, иудейского, царя, чья мать – безупречного происхождения, из колена Иеуды.

– Мы сможем это сделать, – сурово сказал Михайя. – Мечи моих людей пожрут плоть грешников!

Собрание одобрительно загудело. Ацальяу сказал:

– Нам следует поторопиться, братья. Из Мицраима сюда движется большой отряд – через несколько дней их уже ожидают в Лахише, я видел донесения. Плохо, если они доберутся до Ерушалаима до того, как...

– Вопрос еще вот в чем, – задумчиво произнес священник Шафан, – поддержит ли нас народ?

– Народ? – усмехнулся Цадок. – А мы не будем спрашивать весь народ, мы спросим только тех, кто не поклоняется истуканам и не проводит своих сыновей через огонь! Мы призовем их сюда, под окна дворца, и спросим: хотят ли они царя, чей отец из Дома Давида и мать того же рода? Или они предпочитают склониться перед сыном черномазой блудницы?

– Еошияу еще мал, – сказал священник Иммэйр. – Кто удержит бразды правления вместо него?

– Тот – а точнее, те, – кто будет рядом с ним днем и ночью и станут обучать его, – сказал Цадок. – Новый Великий Коэн и верные только истинному Богу храмовые служители. Едида, мать Еошияу, не будет возражать. Мы возложим на нового царя наши чаяния и надежды, и он, возмужав, оправдает их.

– Малыш Еши получит хорошее воспитание. И мы, и наши прорицатели позаботимся об этом, – сказал Шафан. – Он искупит грехи своего отца и деда и будет достоин своего предка, праведника Хизкияу, очистившего Храм от скверны!

– Значит, решено, – Цадок цепким взглядом оглядел каждого, сидевшего вокруг стола, и ни один не отвел взгляда. – Сей же час разрабатываем план и выступим через два дня, за одну стражу до рассвета, в самый глухой час, когда грешники слабы, а праведники могучи...

* * *

В тесный внутренний двор влетели несколько всадников из сотни Михайи, смяв охрану, а за ними хлынула разношерстная толпа с факелами в руках, и дворцовый комплекс наполнился криками и топотом. Если бы кто-нибудь мог охватить взглядом всю эту толпу и если бы он умел видеть в темноте, то непременно заметил бы среди беспорядочно мечущихся и орущих людей небольшие группы вооруженных мужчин в военных перевязях или даже в обычной одежде, но хорошо вооруженных. Они явно знали, что делали: каждая такая группка уверенно шла (вернее, бежала) к своей цели, не тратя сил и времени на пустые крики и суету. В самых охраняемых покоях дворца залязгали было мечи, но всё кончилось очень быстро: полусонная охрана не могла противостоять четким, хорошо спланированным действиям мятежников. Почти всех приговоренных грешников закололи в постелях, спящими – они не успели ничего понять. Правда,

мальчишка-царь сумел забиться под кровать, но ловкие сильные руки вытащили его на середину комнаты, и короткое царствование Равшака закончилось с позором, потому что в последние свои минуты он визжал, как девчонка, и опачкался.

В соседнем коридоре Габриэль бился, как лев, у дверей покоев Яэль, но чья-то твердая рука метнула из темноты нож, и он вошел телохранителю под левую ключицу. Истекая кровью, он дергался в агонии, что-то бормоча. Принесли факел, сам Михайя склонился над Габриэлем, прислушался к его бреду.

– Роженицы и умирающие всегда говорят на родном языке, – удовлетворенно сказал сотник. – Он из Мицраима, как я и подозревал. Интересно, как его настоящее имя... Где эта блудница? – вдруг рывкнул Михайя и первым ворвался в оставшуюся без охраны дверь. Но комната была пуста.

Цадок стоял в галерее, вцепившись сильными руками в перила. Двор был полон народа, факелы слепили глаза, они были везде, даже на крыше, куда забрались самые отчаянные, чтобы лучше слышать. Рядом с Цадоком стоял Шафан, а его левиты охраняли перепуганную Едиду. Она прижимала к себе сонного, еле стоящего на ногах восьмилетнего Еошияу.

– Иудеи! – надсаживаясь, крикнул Цадок, и море факелов дрогнуло – его услышали. – Настал славный час! Ярмо ненавистного Мицраима сброшено! Полукровка больше не властвует над святым народом!

Гул прокатился по толпе, и Цадок заорал еще громче, не жалея горла:

– Вот он, наш царь – Еошияу, сын отца и матери из колена Иудеи! Согласны ли вы провозгласить его царем Иудеи?

– Аааа! – взревела темнота, и заколыхались огни факелов. – Согласны!

– Согласны ли вы, – продолжал Цадок, – своею волей, волей народа Авраамова, назначить меня, Цадока, сына Цадока, Великим Коэном?

Шафан метнул на Цадока гневный взгляд, но было поздно, – толпа взревела еще громче:

– Согласны! Цадока в Коэны! Еошияу на царство!

– Ява – Господь наш! – крикнул Цадок в пылающую темноту, и она отозвалась яростным и восторженным:

– Ява – один!

* * *

Небольшая группа всадников скакала на юг, оставляя позади растревоженный Ерушалаим. Один из коней нес двоих – впереди всадника, уткнувшись лицом в жесткую, пахнущую потом гриву,

лежала женщина. Шепсит была почти без сознания, и всадник держал ее, чтобы она не упала. Звериное чутье не подвело Габриэля – он сообразил, что происходит, буквально за мгновения до того, как люди Михайи ворвались во дворец. Он успел вытащить Шепсит из постели и передать ее своим людям, которые без объяснений знали, что делать. Потом он бросился спасать Равшака, но опоздал.

Небо розовело по левую руку скачущих – занимался рассвет. Кони не знали усталости, и утренний ветер сушил слезы на лице Шепсит. Она вдруг подумала, что так и не узнала настоящего имени Габриэля, последнего мужчины в своей жизни...

* * *

Великий Коэн Цадок принял писца Хозайю в своих покоях, во дворце, где он обосновался совсем недавно. И на новой своей должности Цадок продолжал надзирать за работой Хранилища книг, за переписыванием старых свитков и составлением новых. Когда немного улегся шум от последних событий, сотрясших дворец и Храм, да и весь Ерушалаим, Хозайе передали с самого верха, что задание написать главу в Летописи о деяниях царя Менаше не забыто, но Великий Коэн просит представить ему тезисы того текста, который Хозайя намеревается внести в Летописи Царей Иудейских. Писцу выдали новый папирус (правда, из недорогих и не очень большого размера), на котором он изложил вкратце весь тот материал, который собирал в течение последних нескольких лет. И теперь Хозайя стоял перед Цадоком, а тот сидел, постукивая свернутым манускриптом по своей левой ладони.

– Ты проделал хорошую работу, юноша, – сказал Цадок, и Хозайя усмехнулся про себя: Великий Коэн был всего-то лет на пять старше писца, но важная должность, казалось, прибавила ему и возраста, и солидности. – Теперь осталось переписать этот текст заново – и можно заносить в Летопись.

– Как это – заново? – писец не мог сдержать удивления, и получилось не очень почтительно.

Цадок нахмурился, встал и протянул Хозайе свиток.

– Мы не можем рассказывать потомкам о царе Менаше так, как написал ты.

– Великий Коэн, я написал так, как всё было. Сам Менаше просил меня об этом...

– Написать, как оно все было, – этого мало. Наша задача – объяснить потомкам события нашего времени. Вот ты пишешь: при Менаше Иудея жила мирно и процветала. А как насчет того, что Менаше делал злое в очах Господних? Воздвиг идола Ашеры в Храме? Приносил жертвы чужим богам? По всей стране воскуряют на высотах – это ты называешь процветанием?! Иудея погрузилась во

мрак многобожия! Самое страшное, что могло произойти с нашим народом, – он стал забывать своего Бога!

– Идолы и сегодня стоят в Храме... – заметил Хозайя.

– Не торопись, юноша, мы только начали наш путь! Ты еще станешь свидетелем удивительных перемен! Собственно, они уже начались – народ Иудеи отверг притязания Мицраима! В ту великую ночь тысячи иудеев стояли здесь, под окнами дворца, и провозгласили свою волю: Еошияу – царь иудейский, Цадок – Великий Козэн! А знаешь, почему? Потому что такова воля самого Ява! Вот что: ты закончишь главу о Менаше описанием именно этого события! Запомни – тысячи, тысячи пришли сюда, чтобы исполнить Закон! Тысячи скромных и праведных мужей, и это не считая женщин и детей! А что до царя Менаше... Ты напишешь, как он залил кровью праведников весь Ерушалаим! Как отвергал слова Ява, которые доносили до него наши прорицатели! Ты напишешь, как в наказание за бесчисленные грехи Ява наслал на него силу из Ашшура, и как его с позором, в кандалах, угнали в Бавель, на поклон к Ашшурбанипалу! В общем, ты напишешь про несправедного царя Менаше так, чтобы нашим потомком стало ясно: самое страшное преступление – это бесчестить Завет с Богом! И никакой мир, и никакое благополучие нельзя покупать такой ценой! Всё, ты свободен, иди. Надеюсь, ты понял меня.

От Великого Козэна писец Хозайя возвращался на свое рабочее место через тот самый двор, который ему было велено описать в конце текста. Сам Хозайя не был здесь в ту ночь (и слава Ява, подумал он), но теперь, оглядываясь вокруг и вспоминая слова Цадока, он вдруг подумал: какие такие тысячи иудеев? Здесь человек пятьдесят, и то с трудом, поместятся, от силы – сто, и то если стоять плечом к плечу и не дышать...

«Н-да, – думал Хозайя, разложив на столе свой свиток и подыскивая, на чем бы ему начать писать заметки по новой версии своей главы. – В одном прав Цадок – перемены, похоже, действительно уже начались...»

Перемены и вправду начались, и даже более серьезные, чем казалось писцу. Вскоре Цадок с многочисленной свитой отправился в поездку по городам Иудеи и бывшего Израиля – посетить верных Ява жрецов. Из долгого путешествия он возвратился, приведя с собой целый караван: новые левиты, коэны и их помощники со своими семьями размещались в Ерушалаиме. Цадок призвал в столицу праведных книжников, чтобы укрепить завет Ява со святым народом и тем спасти царство, – так говорили.

Так начиналось правление Еошияу бен-Амона – шестнадцатого царя Иудеи из Дома Давида.

Эпилог

«Двенадцать лет было Менаше, когда он стал царем; и пятьдесят пять лет он царствовал в Йерушалаиме. И поступал он дурно в очах Г-сподних, следуя мерзостям тех народов, которых прогнал Г-сподь от сынов Йисраэля. И снова построил он (жертвенные) возвышения, которые разрушил Йехизкийау, отец его, и поставил жертвенники Баалам, и восстановил Ашэйры, и поклонялся он всему воинству небесному (звездам и планетам), и служил ему. И построил он жертвенники в доме Г-споднем, о котором Г-сподь сказал: 'В Йерушалаиме будет имя Мое вечно'. И построил он жертвенники всему воинству небесному в обоих дворах дома Г-сподня. И провел сыновей своих через огонь, в долине Бэн-Инном, и гадал, и ворожил, и колдовал, и завел вызывающих мертвецов и чревоещателей; много сделал зла в очах Г-спода, чтобы прогневать Его».

Книга «Диврей А-Ямим-2» 33:1-6⁶

6. Цитируется по: Книга «Диврей А-Ямим-2» 33:1-6. URL: <https://toldot.com/limud/library/ktuvim/dhy2>

Владимир Батшев

Серым по белому

*Книга первая романа-приквела**

УКРАИНА 1932. АРТУР

В ту пору Артур представлял себе тот образ России, который создала советская пропаганда: сверх-Америка, страна величайшего исторического эксперимента, полная сил, энергии, энтузиазма. Девиз первой пятилетки гласил: «Догнать и перегнать Запад!», и с этой задачей страна справилась даже не за пять лет, а за четыре года. Другой лозунг сулил: «На границе вы переседете в поезд, идущий в XXI век!».

Граница проходила в Шепетовке. В качестве репортера он пересекал границы многих европейских и азиатских стран, но с таким досмотром не сталкивался.

Таможенники не довольствовались обычной процедурой – сунуть руки в чемодан, прощупать дно и боковые стенки, вытащить и повнимательней оглядеть два-три предмета, – нет, они распаковали весь багаж, разложили на стойке и на грязном полу все свертки, вскрыли коробки конфет и пакетики с запонками, просмотрели каждую книгу, проверили каждый листок бумаги. Потом они принялись упаковывать всё, как было. Это заняло полдня, и пока досмотр не закончился, в вагоны пассажиров не пускали – купе тем временем подвергались столь же тщательному обыску.

Большинство пассажиров в поезде составляли русские. Они везли еду. На стойке и на полу таможи громоздились сотни фунтов сахара, чая, масла, сосисок, лярда, печенья и консервов. Артура поразило выражение лиц таможенников, перебиравших продукты: зависть и алчность явно проступали на них. Ему приходилось голодать, и он ни с чем не спутал бы тот жуткий блеск в глазах, с каким голодающий бережно и любовно берет в руки палку колбасы.

Поезд, пыхтя, тащился по украинской степи, часто делая остановки. На каждой станции толпились оборванные крестьяне, протягивали белье и иконы, выпрашивая в обмен немного хлеба. Женщины

*«Серым по белому» – приквел к роману В. Батшева «1948», НЖ, № 302, 2021. Журнальный вариант. Действие начинается в 1920-х годах, когда герои еще молоды и полны сил и планов. Начало см. НЖ, № 309, 2022, № 310, 2023.

поднимали к окнам купе детей – жалких, страшных, руки и ноги как палочки, животы раздуты, большие, неживые головы на тонких шеях.

Артур не подозревал, что попал в эпицентр голода, который опустошил целые области и унес несколько миллионов жизней.

При виде того, что творилось на станциях, он начал догадываться, что произошла какая-то катастрофа, однако понятия не имел ни о ее причинах, ни о масштабах.

– Это кулаки, богатые крестьяне, – объясняли ему русские попутчики, – они противятся коллективизации земли. Пришлось согнать их с наделов, иного выхода не было.

Когда поезд подъехал к реке, через которую строили мост, проводник прошел по вагону со стопкой картонных листов под мышкой, закрывая ими все окна. Артур спросил, зачем он это делает, и тот с улыбкой ответил, что таковы меры предосторожности против любой попытки сфотографировать мост, ибо все мосты относятся к военным объектам.

Артур посчитал подобный бред проявлением революционной бдительности.

В Харькове на перроне его должны были встретить друзья – ученый физик Александр Вайсберг и его жена Ева, которую Артур не видел несколько лет. Алекс состоял в коммунистической партии Австрии. Артур встречался с ним в берлинской мастерской Евы еще до их свадьбы; поживившись, они уехали в СССР, – Алекса пригласили заняться интересной исследовательской работой.

(Знали бы тогда Ева и Алекс, что в России их ждут годы тюрьмы и пыток, что трагический опыт Евы станет документальной основой романа, который напишет Артур.)

Артура никто не встретил. Он хотел позвонить Вайсбергам, но единственный телефон-автомат на центральном вокзале Харькова не работал. Роль такси исполняли конные «дрожки» – точно, как у Чехова. Ему удалось-таки разыскать квартиру Вайсбергов, а телеграмма, посланная из Германии, пришла через 18 часов после того. В 1932 году письма путешествовали по России неделями, телеграммы внутри страны шли несколько дней, а пользоваться междугородним телефоном могли исключительно партийные и государственные служащие.

Реальность разбивала его иллюзии. Он был смущен, озадачен, но партийная выучка включала внутренние амортизаторы, и они смягчали шок.

Артур успокаивал себя, что он пишет книгу и сможет избавиться от сомнений и страхов, высмеяв их на бумаге. Работа над книгой превратилась в трудотерапию; с ее помощью он преодолевал «заблуждения» и придавал нужную форму «сырым впечатлениям». Он научился автоматически относить всё, что его возмущало, к

«наследию проклятого прошлого», а всё хорошее именовать «семенами светлого будущего». Включив в мозг подобную автоматическую сортировочную установку, европеец еще мог оставаться коммунистом, живя в России в 1932 году.

Такой аппарат шелкал в головах всех знакомых ему иностранцев и наиболее интеллигентных русских.

Они знали,

что официальная пропаганда – сплошная ложь, но оправдывали ее «отсталостью масс»;

они понимали,

что уровень жизни в капиталистических странах несравненно выше, чем в России, но оправдывались тем, что при царизме русским приходилось еще хуже;

их тошнило от поклонения Сталину,

но они считали, что «мужик» нуждался в новом идоле взамен содранных со стены икон.

Артур искал спасения в самообмане.

В мозгу истинно верующего внутренний цензор прекрасно справляется с работой цензора государственного: не дожидаясь требований власти, коммунист сам принуждает себя соблюдать строжайшую дисциплину, сам себя запугивает и подавляет свою совесть.

По-русски Артур говорил неверно, зато бегло. Он выучил язык за четыре месяца, перед самой поездкой, тем же ускоренным способом, что и иврит перед своей палестинской эпопеей, и жонглировал словарным запасом в тысячу слов на манер гидов и портье, пренебрегая грамматикой и синтаксисом. Это позволяло выходить одному на улицу, ездить в трамвае, а не в казенном автомобиле, самому делать покупки, общаться с теми, кто соглашался вступать с ним в разговор.

Единственным видом транспорта в Харькове служили старые трамваи, ходившие с интервалом в 20-30 минут. В них набивалось вдвое и даже втрое больше пассажиров, чем предполагалось «нормой вместимости»: люди висели гроздьями снаружи, цепляясь, словно акробаты, за ручки, окна, решетки, буфера и крышу.

В первую же поездку у него вытащили не только бумажник, но и ручку из нагрудного кармана, а из кармана брюк – сигареты. В такой давке, что он бы не почувствовал, как ему отрезают штанины.

В 1932 году в Харькове в свободной продаже имелись лишь марки, липучки для мух и презервативы. Кооперативные магазины, снабжавшие население продуктами и бытовыми товарами, опустели.

Артур не сразу ощутил размеры постигшего Украину бедствия, поскольку в магазине для иностранцев царило сравнительное изобилие, но с первого же дня его насторожило отсутствие потребительских товаров: ни обуви, ни одежды, ни писчей бумаги, ни копирки,

ни расчесок, ни заколок, ни кастрюль – ничего, не было даже иголок для примуса, а без этого инструмента невозможно было прочистить горелку примуса, на котором каждая семья готовила себе еду. Позднее, после аварии на Харьковской электростанции, город остался на зиму без света, и запасы керосина для примусов также иссякли.

Весть, будто в тот или иной магазин что-то завезли, распространялась мгновенно, и люди кидались покупать всё подряд: зубные щетки, мыло, сигареты, фитили или сковородки. Завидев очередь, прохожие тут же присоединялись к ней. «Хвост» заворачивал за угол, и стоявшие в конце понятия не имели «что дают». От скуки они развлекались догадками и слухами. Он пристрастился к этому национальному виду спорта и уже на второй день пребывания в Харькове явился домой с губной гармоникой и пятновыводителем – жидкость прожгла дыру в выходном костюме Алекса.

Самым изматывающим было для харьковчан добывание продуктов. Как только кто-нибудь узнавал, что в магазине сейчас продается что-либо необходимое, сразу вся семья спешила занять места в очереди, потому что признавалась исключительно «живая» очередь и отпускалось в одни руки только положенное на одного человека.

Артур узнал, что в советских магазинах не продают, а «дают», «дают» за деньги. Сложилось даже насмешливое двустишие:

Кто последний? Я за вами.
Что дают? – Хамсу с гвоздями!

Как-то раз в воскресенье соседка Аня сообщила, что в центре в магазине отпускают кусковой сахар по килограмму в одни руки. Артур с Алексом и Евой сразу же поехали туда на трамвае и получили три килограмма сахара.

Сын соседки пришел возбужденный и настойчиво советовал:

– Ребята сказали, в магазине около нас имеются «ходики» и их можно покупать, сколько хочешь. Витька с родителями уже купил пять штук, ведь это редко бывает. Поспешите, а то их скоро все раскупят!

Соседка рассмеялась:

– И что ты будешь делать с ходиками? Солить ведь их нельзя!

По карточкам хлеб населению выдавался по категориям. Самой привилегированной категорией были рабочие – группа «А»; принадлежавшие к ней получали 800 граммов хлеба в день на человека. Категория служащих – группа «Б» – получала уже 400 граммов. А иждивенцы (жены и дети) и пенсионеры – группа «В» – только 200 граммов. Через некоторое время врачи были отнесены к группе «А», то есть приравнены к рабочим.

Хлеб привозили в магазины или «распределители», как их стали

называть, горячим, прямо из печей хлебозаводов. Грузили его на грузовики навалом и прикрывали брезентом, а рабочие – помощники шофера – садились на него сверх брезента. Хлеб привозили в распределитель помятым. Распределитель был открыт целый день, но хлеб реально было получить только сразу после его поступления, так как его быстро разбирали, и опоздавшие оставались без хлеба.

Некоторые семьи, получавшие по карточкам много хлеба, если не съедали его, выменивали излишки на молоко у пригородных молочниц-крестьянок, сохранивших коров. Молочницы приходили в город с бидонами на коромыслах, измеряли молоко кружками и выменивали его на хлеб. Хлеб оставался основным продуктом питания.

Соседям Вайсберга приносила молоко крестьянка Матрена из пригородного села Даниловка. Матрена аккуратно приходила в любую погоду – и в дождь, и в снег. Зато домой она возвращалась с хлебом.

Чтобы в городе не возникли волнения из-за недостатка хлеба, поспешили открыть несколько хлебных магазинов, где хлеб продавался без карточек по полбуханки в одни руки, но дорого. И вот тут-то в Харькове повалили голодные из пригородов – за хлебушком. Очереди выстраивались перед магазином с вечера, а чтобы в очередь не прорывался кто-нибудь нахальный, стоявшие держались друг за друга, как в сказке, «дедка за репку, бабка за дедку, внучка за бабу». Хлеб привозили рано утром – его быстро раскупали, так как не надо было взвешивать, а только разрезать буханку пополам и всунуть в протянутую руку.

Походы на базар тоже могли стать для Артура азартным занятием, кабы не сжимающая горло судорога. Рынок находился на большой пустой площади. Продавцы сидели на корточках в пыли, разложив свое добро на платках. В качестве товара предлагались ржавые гвозди, драное платье, сметана – меркой служила ложка, и вместе со сметаной в нее попадали мухи.

Старухи горбились над одиноким яичком или кучкой засохшего козьего творога, старики с босыми мозолистыми ногами меняли разбитые сапоги на kilo черного хлеба и щепотку махорки. На обмен шли также лапти и даже каблуки и подошвы, оторванные от сапог, – вместо них привязывали тряпки. Старики, которым нечего было продавать, пели украинские песни. Кое-кто подавал им копеечку.

На коленях у женщин или рядом, на мостовой, лежали младенцы; матери брали их на руки покормить – искусанные мухами губы впивались в иссохшие сосцы и тянули оттуда, должно быть, не молоко, а желчь.

У многих были проблемы со зрением – кто косил, кто без глаза, у кого зрачок затянуло непрозрачным, млечным бельмом. У большинства опухли руки и ноги, лица становились не худыми, а одутлова-

тыми, того специфического оттенка, который Толстой, описывая заключенного, сравнил с цветом побегов, прорастающих в погребе из картофельных клубней...

Официально никакого голода не было, о нем лишь глухо упоминали, прибегая к намекам: «Трудности на фронте коллективизации».

В русский словарь Артура вошли насущные для обихода выражения: «пятилетка», «промфинплан», «командировка», «пропуск», «начальник», «ремонт».

Он узнал, что за валюту в Торгсине можно купить любые, самые недоступные товары;

что «сейчас», хоть и означает буквально «в течение часа», на самом деле сулит то же, что испанское «тапапа» («завтра»);

а «культурный человек» – это всякий, кто не плюется, не ругается, умеет обращаться с носовым платком и считает в уме, не прибегая к костяным счетам.

Он обнаружил, что советские часы и прочие механизмы приходится отправлять «в ремонт» четыре раза в год;

научился писать на грубых серых листах бумаги,

мытья под повешенным на стене рукомыльником в форме самовара – вместо крана у него внизу поршень, на который приходится всё время нажимать, чтобы шла вода.

что ни карта города, ни милиционер не помогут найти нужный адрес, поскольку все улицы переименованы, а жители называют их по-старому;

что работников и служащих перемещают по всей стране, словно шахматные фигуры.

Все эти подробности он впитывал с интересом, даже с энтузиазмом, ведь то, что пугало, было наследием прошлого, а всё хорошее – залогом счастливого будущего. К тому же Артур всегда испытывал ностальгию по первобытному хаосу, жаждал апокалипсиса – и вот, наконец, мог в него погрузиться...

Он узнал, что в СССР упразднено право забастовок, что забастовка, даже просто призыв к ней, карается смертной казнью;

что советскому избирателю предоставляется единственный выбор: «за» или «против» – в единственном списке официально назначенных кандидатов,

но в советской прессе не дозволялось делать ни малейшего намека на действительное положение вещей.

Каждое утро, читая харьковскую газету «Коммунист», он находил статистические данные о реализованных и перевыполненных планах, отчеты о социалистическом соревновании между заводскими ударными бригадами, о награждениях орденом Красного знамени, о новых успешных разработках на Урале.

Фотографии изображали молодых людей, которые всегда смея-

лись и всегда несли красное знамя, или же живописных старцев Узбекистана, которые тоже неизменно смеялись и неизменно изучали азбуку.

Ни одного слова о местном голоде, об эпидемиях, о вымирании целых сел; харьковская газета не написала даже о том, что Харьков лишился электроэнергетики.

В результате в Москве не знали того, что происходит в Харькове или, тем более, в Ташкенте, Архангельске или Владивостоке. Вне небольшого круга посвященных никто не мог понять общей ситуации в стране. И если даже средний житель Москвы в большинстве случаев не знал того, что происходило в отдаленных областях его страны, то неосведомленность иностранцев была беспредельной.

Артур насмотрелся вволю на голодающих и стал ходить пешком, чтобы не быть раздавленным толпой в трамвае, не быть ограбленным – да и опасность заразиться тифом была велика.

Харьковским властям не нравилась масса голодных и оборванных, запрудивших город, поэтому вышел указ: «Очистить!» Харьков был столицей Украины, в городе могли побывать иностранцы и увидеть душераздирающие картины. По городу стали рыскать милиционеры, вылавливая пришлых голодающих. Их грузили на грузовики и – по рассказам – увозили далеко за город, сваливая тех, кто сам был не в силах сойти с грузовика. Там они и умирали, не будучи в силах добраться снова до Харькова. Такая жестокая расправа правительства с пришлыми скоро стала известна народу. В городе уменьшилось количество голодающих, зато селы буквально омертвели.

Все улицы были наводнены милиционерами в белых кителях и в белых перчатках. Они должны были смотреть за «чистотой» города.

Как-то соседка Аня пришла домой в слезах. Утром она с сыном вышла в город, держа его за руку, надеясь купить что-либо в магазине. Шли они по самой лучшей, нагорной, части города – по Мироносицкой улице. Улица была совершенно пуста. Навстречу шел старый худой крестьянин в ветхом зипуне. В одной руке он держал пустой котелок – на счастливый случай, если кто-нибудь даст поесть, а другой рукой держал маленького мальчонку, тоже в зипуне, вероятно, внука. Вдруг лицо голодного старика-крестьянина исказилось испугом, он отчаянно завопил, бросился к деревцу на тротуаре, обхватил его руками, как бы ища у него защиты. Анна, недоумевая, что это могло значить, остановилась и стала оглядывать улицу – нет ли чего страшного поблизости. Она увидела спокойно идущего милиционера. Как к жертве, он подошел уверенно к старику и стал отрывать его от дерева. Старик вопил и еще крепче держался.

Женщина стояла, не зная, что делать, не решаясь сцепиться с милиционером.

– Он мог вынуть револьвер и выстрелить в меня, – рассказывала

она. – Вы понимаете? Ничего вы не понимаете! Если бы я вмешалась, это было бы нападение на представителя власти!

На улице не было никого, кто мог бы заступиться за старика.

Жалея сына, она молча ушла.

Ограниченные в праве передвижения, сопровождаемые всюду агентами ОГПУ, не имеющие непосредственного контакта с рядовыми советскими людьми, связанные цензурой и риском быть выброшенными из СССР, иностранные журналисты становились проводниками тех полуистин о советской жизни и строе, целью которых было создать у западного читателя положительное представление об СССР.

Партийное воспитание снабдило Артура искусными амортизаторами и диалектическими подушками; он укладывал всё виденное и слышанное в заранее приготовленную схему. В нее ложились даже анекдоты, которые не боялись рассказывать за дружеским столом после пары рюмок водки и обязательного винегрета на закуску.

«Один за другим»

Приехали ходоки в Москву и дошли до Калинина:

– Дорогой Михаил Иванович! Говорят кругом: «коммунизм», «зажиточная жизнь», а нам – хоть ложись да помирай! Что же это такое – коммунизм?

Калинин подвел ходоков к окну, из которого была видна улица:

– Видите, по улице едет автомобиль. Вот прошел один, а через несколько минут пройдет другой. А как построим коммунизм, так автомобили будут ехать один за другим, один за другим! Надо только подождать. Понятно?

– Понятно, – ответили ходоки, – хорошо ты нам, Михаил Иванович, растолковал про коммунизм.

Приехали домой, собрали сход и рассказывают миру:

– Ну и хорошо принял нас Михаил Иванович! Всё рассказал он нам про коммунизм. Вот посмотрите в окно! – В это время по улице мимо проносили покойника. – Сейчас долго надо ждать, пока пронесут следующего, а как построим коммунизм, так их будут нести одного за другим, одного за другим! Понятно?

«Сталин – вождь»

Как-то раз встретился Сталин с Радеком, которому приписывали составление многих анекдотов.

– Слушай, Радек, говорят, что ты сочиняешь анекдоты. Но про меня ты не должен составлять анекдоты, ведь я все-таки вождь!

На это Радек ему ответил:

– Этот анекдот сочинил не я!

«Встреча наркоминдела Литвинова с английским премьер-министром Ллойд Джоржем на международной конференции»

Клоун Бим спешит сообщить клоуну Бому, что он только что вернулся из-за границы с международной конференции, где видел многих известных политиков:

– Видел и нашего наркоминдела, и английского премьер-министра

Ллойд Джоржа. Литвинов одет так же, как и Ллойд Джорж, и называл его «господином».

– Не могу себе представить, чтобы между ними не было разницы! – не унимался Бом. – На англичанине, наверное, фрак, а на советском наркоме – пиджачная пара?

– Нет, нет, и на Литвинове тоже фрак! – уверял Бим.

– Наверное, на Ллойд Джорже – цилиндр и лакированные туфли, а на Литвинове – шляпа, если не кепка, и простые туфли?

– Представь себе, Бом, на Литвинове – тоже цилиндр и лакированные туфли! – заверил Бим.

Бом продолжал приставать к Биму:

– Но, наверное, когда Ллойд Джорж закуривал, то достал из кармана золотой портсигар с надписью: «Дорогому Ллойд Джоржу от благодарных рабочих», а Литвинов – коробку с папиросами «Казбек»?

– И Литвинов, когда закуривал, тоже достал золотой портсигар с надписью: «Дорогому Савве Морозову от благодарных рабочих»!

PARIS – MÜNCHEN. ВЕСНА 1932

На службе Юрий договорился, что три дня вместо него ночным стражником кто-то другой прошагает ночными улицами и площадями. Он вышел из здания вокзала на перрон, держа в руках билет, и сел в поезд.

Вот он незаметно для себя дошел до горы Святой Женевьевы, ему показалось, что некто знакомый прошествовал мимо, и он пошел вниз, следом, не понимая, зачем это делает. Он шел мимо кафе, в котором пил как-то кофе с ромом, около магазина ИМКИ-Пресс Юрий остановился.

Сегодня назначено.

Что? Где? Зачем? Почему?

Экзамен! У меня сегодня экзамен!

Он хотел побежать назад и снова остановился – какой экзамен, о чем экзамен, что мне сегодня сдавать, Господи, дай мне вспомнить!

И он пошел вниз, к Сорбонне, всё время перебирая в голове события и даты. Да какой же у меня сегодня экзамен, про что рассказывать – не знаю, не помню... но когда уже подходил к факультету, вспомнил и хлопнул себя по лбу – тьфу, разве это экзамен? Чепуха, а не экзамен! Экзамен по английскому языку.

И он пошел сдавать мало ему нужный английский язык, как он считал (*он позже поймет, что язык ему понадобится, и хотя знал язык неплохо, червь сомнения копался в нем: английский – не французский, который был ему почти родным, – ну не родным, а «двоюродным»*).

И он сдал экзамен, а когда вышел из аудитории в коридор, столкнулся с полужнакомым человеком, а когда всмотрелся, то узнал однокурсника – коротко стриженного с маленькими усиками Пьера

Шерно, который произнес, растягивая гласные: пойдём сдавать вместе... Что сдавать? Я только что сдал... что ты сдал... английский язык... а я тебя зову сдавать историю искусств... какую историю искусств, разве надо сегодня... ты больной или как – конечно, сегодня... идем вместе сдадим, ты мне подскажешь, а я тебе... ты ее знаешь, историю искусств... немного... да, немного знаю... и я немного.

И они отправились искать аудиторию, где сдают историю искусств, и, к собственному удивлению, сдали оба, и на радостях Шерно затащил его в какой-то подозрительный кабачок в полуподвале, и они на радостях напились, и у Олонецкого кончились деньги, а Пьер заявил, что деньги – дым, что он платит, и стал гладить Юрия по спине и по заднице, и Олонецкий отодвинулся и сказал, что он по другой части, прости, Пьер, но я по другой части, по женской, сказал, и Шерно засмеялся, заявил, что Олонецкий его не понял, тот ответил, что выйдет в туалет, но сам убежал из кабачка, стало стыдно неизвестно за что и почему, не хотелось обижать однокурсника, но что-то неприятное проползло между ними, как я его сразу не распознал, всякие сексуальные извращения, хотя какие извращения в наше время, каждый пятый педераст, не иначе, а каждый шестой – двустволка, как говорят, то есть любит и женщин, и мужчин.

И скоро оказался в поезде и задремал...

Юрий проснулся только на границе, когда проверяли документы, и снова заснул, и проснулся, когда проводник потряс за плечо и сообщил о пересадке; спать хотелось ужасно, словно отсыпался за бессонные ночи своих хождений под дождем и ветром.

Он пересаживается в вагон чужого, не французского, а немецкого поезда, достает из кармана открытку, написанную матерью, перечитывает. Что бы могло означать загадочное «важное событие в жизни нашей семьи»? Отца пригласили на государственную службу? Едва ли. Олег женится? Едва ли, для футболиста главное спорт, а женщины – между матчами. Что ж, потеряем несколько часов....

Олонецкий-младший идет через парк мимо стадиона. Погода пасмурная, дождя нет, но на небе грязные тучи. А молодые ребята гоняют футбольный мяч. Юрий не специалист по футболу, он даже не профессиональный болельщик, но хорошего игрока видно сразу. Как он остановил мяч, как подбросил его пяткой, поймал на голову и ударом головы послал в ворота.

– Хороший удар, – раздается женский голос справа.

Он поворачивается в удивлении – только что здесь никого не было!

Незнакомая молодая женщина здоровается кивком и поясняет:

– Я их знаю. Видите – там Олонецкий, он раньше играл в «Баварии», а сейчас помощник тренера. Они будут играть на кубок, –

уверенно заключает она. Женщина восторженно смотрит на футболистов.

«Да, ты бы ему отдалась, только он предложи. Впрочем, ты ему, наверно, уже отдалась, раз знаешь такие подробности», – думает Юрий.

Тот, кого женщина назвала Олонецким, а отсюда Юрий не видел – точно ли его брат – машет рукой, вероятно, увидел поклонницу.

«Э-э, – по-своему понимает Юрий, – да ты, браток, футболист наш ненаглядный, времени зря не теряешь, вот какую аппетитную бабенку отхватил...»

Женщина машет кому-то рукой, потом обеими руками, стараясь привлечь к себе внимание. Среди стоящих у кромки поля игроков кто-то высокий машет в ответ, и она кивает головой, словно понимает сигналы, потом показывает рукой в сторону, и высокий кивает несколько раз. Неужели Олег? – не верит Юрий.

Женщина поворачивается к нему.

– Ну, пошли. Он нас догонит.

– Куда пошли? – не понимает младший Олонецкий.

– Домой – куда же еще. Ведь ты приехал к родителям.

Она улыбается ему, а он стоит пораженный таким амикошонством, обращением на «ты».

А женщина неожиданно переходит на русский:

– Что ты стоишь? Пошли, Жорик. Олег нас догонит.

Он вздрагивает. Жорик! Он чуть не задохнулся – так называла его только мать, а тут какая-то...

– Как? Что вы сказали? И по-русски? – он ничего не понимает.

Его передернуло от этого «Жорика».

Теперь она смотрит на него удивленно, потом морщины удивления разглаживаются, и она смеется.

– Ах, вот в чем дело! Ты не понял, кто я? Так я – Лида! Лида фон Тизенгаузен!

Юрий ничего не понимает.

Шум быстрых шагов и прерывистое дыхание повернуло головы в сторону – подходит Олег. Он опирается на костыль.

Он обнимает двумя руками обоих.

– Привет дорогим родственникам! – он целует Лиду, потом брата. – Вы уже познакомились? Лида, это мой младший брат – Георгий. Как Победonosец. Как крест за храбрость. Похож на меня, а? Сразу скажешь – братья. А эта замечательная женщина, Юрка, как ты мог понять, моя завтрашняя жена – Лида. Почему завтрашняя? Потому что завтра у нас в церкви – венчание... Если у тебя нет смокинга, я дам тебе свой старый... Ты у нас, правда, безбожник...

– Почему безбожник? – обижается Юрий. – Я по праздникам всегда хожу в храм...

– Ну, по праздникам все ходят, – отмахивается брат. – Ты в душе безбожник, я уверен, что никакого значения не имеет. Ты же приехал в Мюнхен не Богу молиться? Вот смотри, какая у меня невеста, богатая невеста... Ох, Юрка, мне даже стыдно. какая она богатая... Будут болтать – на деньгах женился...

– Перестань, престань, – хлопает ладонью по руке Лидия, – ты же знаешь, приданное – наш капитал для американских дел...

– Да-да, – переводит стрелки разговора брат.

Ах, так вот какое событие ожидает Юрия!

Собачий лай возвращает родственников на тропу реальности. На ней стоит красивый коричневый сеттер и вопросительно переводит взгляд с Олега на Лиду с Юрием.

– Карлуша, – это свои, это мой брат – он свой, свой, понял?

Пес согласно кивает головой, подходит к Юрию, обнюхивает его, поднимает голову.

– Красив, черт побери! – вырывается у младшего Олонецкого.

– Не поминай черта, – просит Лида.

Юрий удивленно поднимает глаза на нее.

– Не буду, – искренне обещает он.

Лида гладит пса.

– Он преданный пес, – рассказывает Лида, когда они идут дальше. – Провожает Олега на тренировки и ждет, когда он пойдет домой. С места не сойдет, ляжет позади ворот и ждет. Мне иногда кажется, что он следит за Олегом, как он молодых тренирует.

Олег согласно кивает.

– Точно наблюдает. Он молодой, ему года нет, но умный, не скажешь, что собака... Мы его с Лидой покупали щенком – в Берлине на собачьей выставке...

– Дорого? – спрашивает Юрий, хотя цена собаки его совершенно не интересует.

Он искоса рассматривает избранницу брата. Так вот какая героиня газетной хроники, скандальный адвокат Лидия фон Тизенгаузен!

Газеты писали, что благодаря ей – и только благодаря ее ораторскому дару – фирма ИГ «Фарбениндустрii» отсудила у английского концерна два миллиона марок.

Никто из адвокатов не мог совершить подобное, а малоизвестная женщина-адвокат нашла юридическую зацепку и...

– Это мой подарок Олегу на день рождения, – произносит она.

Улыбка трогает губы женщины.

– И объявление о помолвке, – добавляет Олег.

Интересно, сколько же ИГ «Фарбен» заплатил ей за победу? Не меньше одного процента от сделки, мелькнуло в голове (Юрий ошибался – гонорар Лидии составил 2% от выигранной суммы). Олегу всегда везет – и жена с таким приданным...

Младший брат усмехается.

– Ах, что же за привычки цепляться за эти старинные обычаи – помолвки, венчания, брачный контракт, свадебное путешествие... Кстати, куда вы едете?

– В Америку! – отвечают оба.

Юрий останавливается и смотрит сначала на одного, потом на другого.

– Ага... Старая идея на новый лад, так? Бросите якорь в Новом Свете?

– Тсс! – шуточно подносит палец к губам Олег. – Не вздумай об этом дома. Маман и папан еще не привыкли к грядущим событиям.

ПРЕССА

«Горгулов – советский комиссар»

Прага, 9 мая (соб. кор. по телефону). Вашему корреспонденту удалось собрать следующие данные:

В 1926 году Горгулов ездил в СССР. Горгулов субсидировал одно периодическое издание на чешском языке, которым руководил член сменовеховского студенческого союза. Одновременно с Горгуловым на медицинском факультете Праги учился студент, знавший Горгулова еще по России. Этот студент, участник белого движения, не успел эвакуироваться при оставлении белыми одного из южных городов. Под чужим именем он поступил санитаром в один советский госпиталь, комиссаром которого был Горгулов. Горгулов разоблачил псевдоним студента, но студент успел бежать и добраться до Чехословакии. В Праге он встретился с Горгуловым как с коллегой по университету. Горгулов предупредил студента, что родные его в СССР поплатятся, если он сообщит про комиссарство Горгулова. Эту тайну студент хранил пять лет, но по окончании курса, навсегда покидая Чехословакию и уезжая в Америку, он поведал ее одному официальному лицу, которое сочло необходимым сообщить все французскому посланнику и французскому консулу в Праге с точным указанием имени и адреса, дающего возможность полной проверки.

С. Варшавский. «Возрождение» (Париж), 10 мая 1932

«Доклад Марины Цветаевой»

В четверг, 26 мая, в Дом Мютюалитэ (24, рю С.-Виктор, уг. рю Монж), состоится доклад Марины Цветаевой: «Искусство при свете совести». Краткое содержание: Искусство есть та же природа. – Бесцельность, вненравственность и безответственность искусства. – Пушкинский гимн чуме. – Поход Толстого на искусство. – Гоголь, жгущий Мертвые Души. – Поэт – орудие стихий. – Какова правда поэтов. – Состояние творчества есть состояние наваждения. – Кого, за что и кому судить. Заключение.

Приглашены в качестве оппонентов: Г. Адамович, В. Андреев, К.Д. Бальмонт, кн. С. Волконский, Е. Зноско-Боровский, Н. Оцуп, Ю. Поплавский, М.Слоним, Б. Сосинский, проф. Г. П. Федотов, А. Эйсер.

Начало в 8 ч. 30 веч. Билеты (5 фр.) при входе.

«Большевики о Горгулове»

«Правда» посвящает очередной обзор печати вопросу о Горгулове. Позицию иностранной печати она преподносит своим читателям в следующей форме: «Убийство президента Думера послужило новым поводом для братания продажной камарильи, заполняющей редакции печати французского империализма, с белой эмиграцией... Выстрел Горгулова раздался в Париже, а не в Лондоне. Очевидно поэтому лондонские собратья парижских буржуазных писак болтливее и менее сдержаннее, чем их французские коллеги. Передав вздорные слухи, сообщенные было «Дейли Геральд», московская газета продолжает: «Сигнал, данный парижской печати из авторитетных кругов, дошел до лондонских писак, но, по-видимому, с некоторым опозданием, ибо они успели кое-что выболтать».

«Возрождение» (Париж), 24 мая.

«Портфель шпиона»

Член французской коммунистической партии Готье совершил во время последней избирательной кампании поездку в Сен-Назер, где он должен был выступать на собрании избирателей. На обратном пути из Сен-Назера в Париж Готье забыл в поезде портфель, туго набитый бумагами. Находка была передана жел. дор. администрации, которая препроводила ее в Париж. Подвергнув содержимое портфеля поверхностному осмотру, с целью составления описи находившихся в нем бумаг, полиция обнаружила, что эти документы относились к государственной обороне и, по-видимому, составляли военный секрет. Портфель был немедленно передан экспертам, на днях сообщивших свое заключение: Готье, оказывается, хранил у себя планы военных заводов, чертежи судов, описания заводов, работающих на оборону страны. Прокурором отдан приказ об аресте Готье, однако тот скрылся.

«Возрождение» (Париж), 25 мая

«Из зала суда. На процессе Павла Горгулова»

В момент своего ареста, Горгулов владел французским языком довольно плохо. Но в тюрьме, с первого же дня, он усиленно начал работать. Запасся словарем, начал выписывать незнакомые слова. Директор «Сантэ» поражаля его быстрыми успехами. Но еще больше были поражены журналисты на процессе. Ни разу убийца президента республики не прибег к услугам приязного переводчика Цакина.

Горгулов изъяснялся очень красочно, с ошибками, со страшным акцентом, но он сказал всё, что хотел.

Его любимые фразы:

– Моя великая идея! Моя политическая программа! Жизнь мне больше не нужна. Душа моя умерла до убийства! Я – апостол зеленого движения!

И, наконец, возглас, которым он очень гордился и который использовал несколько раз во время процесса:

– Франция, слушай меня, Франция!

Возглас этот неизменно вызывал смех в зале.

Горгулов провел в «Сантэ» и «Консьержери» всего 80 дней. За это время он изменился до неузнаваемости: страшно исхудал, осунулся, – человека этого пожирает какой-то внутренний огонь.

В первый день процесса пишущий эти строки почти час просидел на скамье свидетелей, рядом с несчастной г-жей Горгуловой. Когда ввели подсудимого, она подняла голову, уставилась на мужа и с ужасом прошептала:

– Мой бедный Поль, что с тобой стало!...

Во всем зале это была единственная душа, пожалевшая убийцу президента.

В зале заседания царил невообразимый хаос. Журналисты попали на скамьи свидетелей, свидетели на места адвокатов.

Молодые адвокатессы бесцеремонно влезали на столы и наблюдали за Горгуловым с высоты птичьего полета. Но лучше всех устроился небезызвестный Илья Эренбург.

Каким-то образом он очутился в кресле позади председателя суда, рядом с членами дипломатического корпуса. Может быть, Довгалева уступил советскому писателю свое место?

Только немногие «счастливыцы» смогли получить пропуск в зал суда. За обладание карточкой журналиста шла настоящая борьба.

Беседовский, явившийся в качестве редактора «Борьбы», не достал места на скамьях журналистов и вынужден был сесть среди свидетелей, рядом с седовласым Клодом Фаррером.

Появление его произвело маленькую сенсацию.

– Вы явились с разоблачениями?

– Нет. За материалом, – ответил человек, прославившийся своим прыжком через стенку на рю де Греннель.

Карикатуристы были в восторге от живописного казака Ивана Лазарева, утверждавшего, что Горгулов лично пытал его в Ростовской Чеке.

Лазарев приехал на суд со своей фермы. Лицо его, обожженное южным солнцем, выражало перманентное изумление. Казак чувствовал себя одиноким. Всякий раз, услышав русскую речь, он останавливался как вкопанный, и бесцеремонно начинал прислушиваться к чужим разговорам.

Вокруг Горгулова уже создается легенда. «Энтрансижан» уверяет, что по примеру других знаменитых узников убийца президента республики привязался к пауку, который делил с ним камеру в Сантэ. При переезде в Консьержери, Горгулов взял с собой «своего верного друга»...

Что станет теперь с дрессированным пауком?

Железная маска

«Иллюстрированная Россия», № 31

* * *

Горгулов очень удивлен переменной тюремного режима. Недавно он сказал надзирателю:

– Странные вы, французы, люди. Кормите преступников белым хлебом... А теперь, когда меня приговорили к смертной казни, стали давать каждый день мясо и даже вино...

До суда Горгулов иногда прикупал еду в тюремной кантине. Теперь он в этом не нуждается: смертников кормят отлично.

Адвокат навещает его часто. Убийца президента республики очень любит эти визиты. Он оживляется и начинает убеждать мэтра Жеро перейти в «зеленую веру». Эта «зеленая идея» так поглотила его в последнее время, что он почти ни о чем другом не мог говорить.

Недавно он задумался и вдруг спросил у надзирателя, который постоянно наблюдает за ним через «глазок»:

– Почему на воротах «Сантэ» написано: «Свобода, Равенство, Братство»? Ведь это – ирония... Тут нет свободы, в «Сантэ» сидят арестованные...

Подумал и сам же ответил на свой вопрос:

– Впрочем... Рано или поздно все мы выйдем отсюда. И я получу свободу скорее, чем многие другие.

Каждый раз, когда мэтр Жеро приходит в тюрьму, Горгулов передает ему на хранение всю свою литературную «продукцию». Пишет он много и исключительно по-французски.

– Мэтр, – сказал он на одном из последних свиданий. – Когда меня осудили, я потребовал бумагу и набросал «Песнь смерти».

И Горгулов вручил адвокату листок:

– Это лучшее, что я написал в моей жизни, добавил Горгулов.

* * *

Горгулов, вероятно, предчувствовал, что приближается развязка.

В конце прошлой недели он спросил, почему его больше не навещает о. Жилле. Ему объяснили, что тюремный священник отдыхает на Юге.

– Вызовите его... Мне очень хотелось бы с ним побеседовать.

Просьбу обещали удовлетворить;

В понедельник после сытного завтрака убийца президента республики заявил, что он хочет писать.

– Мне необходимо сочинить «Зеленый Календарь» и написать инструкцию для всех «зеленых».

И он принялся за работу.

«1-го января, – писал Горгулов, – большой праздник Отечества и Свободы. Религиозная процессия.

2-го января – праздник Зимы.

15-го мая – праздник Природы, цветов и бабочек. Религиозная процессия.

29-го июня – праздник лета...»

К вечеру «Зеленый Календарь» был готов. Оставалось еще сочинить «инструкцию».

– Религиозная форма, – лихорадочно писал Горгулов, – должна быть зеленой. Каждый апостол зеленой религии должен надевать по случаю религиозной процессии длинный зеленый хитон. В левой руке он должен держать зеленую вазу с цветами или небольшое деревцо с корнями и землей...

Когда все было готово, Горгулов вызвал надзирателя, передал ему запечатанный конверт и спокойно сказал:

– Теперь я могу умереть. Моя жизненная миссия выполнена!

* * *

В Югославии в преклонном возрасте скончался П. В. Родзянко, брат покойного председателя. Легко примирился он с потерей своего огромного состояния, жил в нищете, на крохотное пособие, но тверд был по части этикета и не мог забыть о своем звании шталмейстера Высочайшего двора.

В табельные дни он извлекал из чемодана все свои ордена – Станислава первой степени, Аннинскую звезду, Владимира – и надевал их на свой потертый, заштопанный на локтях френч...

П. В. Родзянко был представителем «Царя Кирилла» в маленьком городе Герцеговины. Русских здесь мало, делать нечего, но он вечно суетился, писал циркуляры, воззвания, устраивал «особые совещания» и вербовал верноподданных... На дверях его висела карточка:

*Представитель Его Величества,
Шталмейстер Высочайшего Двора П. В. Родзянко,
принимает ежедневно от 2 до 4.*

Однажды какой-то шутник приписал к этой карточке слово: касторку. И получилось, что шталмейстер Высочайшего Двора принимает ежедневно от 2 до 4 касторку... П. В. Родзянко возмущился, подал жалобу в полицию, потребовал расследования. Злоумышленник вскоре был найден. Им оказался кадет второго класса, который приехал на каникулы к отцу, жившему в Герцеговине.

Было в этом старике что-то трогательное, что мирило небольшую русскую колонию со всеми его причудами. Похороны были торжественными. В последний раз перед гробом пронесли ордена, которыми так гордился покойный шталмейстер.

PARIS, 1932. МИШЕЛЬ

После дружеского совместного обеда с коллегой Шарлем, Шарль идет медленно – впереди, Мишель – позади. И почти у самых ворот их обгоняет частник в открытой машине. За рулем – усатый, наглый тип в сером костюме и мягкой шляпе. Сзади, развалиясь и покуривая, полулежит сильно покрашенная женщина с копной ярко-рыжих волос на голове. Посмотрев по сторонам, она распакивает пальто и шоферы с изумлением видят, что оно надето на голое тело.

На тротуаре стоят два пожилых господина, покуривая дешевые сигары. От выпитых аперитивов они не совсем твердо держатся на ногах и трогательно поддерживают друг друга.

Проезжая мимо них, усатый человек оборачивается в их сторону и кричит:

– Cochonnerie!...

Потом он дает ходу и мчит в Булонский лес. За ним следуют по пятам пять или шесть машин, собственных и такси. Двое куривших сигары со всех ног бросаются к машине Шарля. Они указывают на удаляющуюся впереди кавалькаду и возбужденно повторяют:

– Cochonnerie!

И Шарль мчит их за майольские ворота.

Расставшись неожиданно со своим приятелем, Мишель вскоре получает двух пассажирок у большого кафе на площади Терн.

Шикарно одетые дамы нагружены громадным количеством пакетов, картонок и свертков, плодами их «трудового» дня и путеше-

ствий по разным модным «мезонам» и универсальным магазинам. Пошел сильный ливень, на улицах образовались лужи.

Пассажиры говорят по-русски, очевидно не желая, чтобы шофер мог их понять. Разговор бесстыден и циничен. Пока они болтают о вещах интимных, он старается не вслушиваться во всю эту грязь прошедших огонь и медные трубы бабенок. Он только удивляется, откуда могли явиться в русской эмигрантской среде такие, швыряющие деньгами, циничные нахальные «дамы». И вдруг ему всё стало ясно.

– До черта не хочется возвращаться в Москву – говорит одна из них. – Но, к сожалению, перевод Мишки уже окончательно решен.

Мишель вспоминает, что на улице, куда они его наняли, на рю Гренель, помещается полпредство СССР. Ах, советские сволочи!

Он останавливает машину, выпускает воздух из шины, открывает дверцу и говорит по-русски:

– Выкатывайтесь ко всем чертям!..

Изумление, а вслед за ним ярость и злость коммунистических пассажиров были ему наградой за безвозвратную потерю суммы, показанной на счетчике.

– Нахал! Белогвардеец! Бандит! – вопит одна из них, очевидно ударница и активистка, прыгает из машины в лужу и зовет полицейского.

Ажан подходит.

На скверном французском языке «ударница» рассказывает ему о неслыханной дерзости шофера – «белогвардейца». Полицейский вопросительно смотрит на Мишеля. Тот показывает полицейскому свои шоферские документы и комбатантскую карточку и объясняет:

– К сожалению, я не могу дальше везти этих дам. Как видите, у меня лопнула шина. Пусть они возьмут другое такси.

Но другого шофера поблизости нет, и они, навьюченные десятками своих пакетов и коробок, извергая по адресу Мишеля самые изощренные ругательства, удаляются под дождем.

Мишель протягивает полицейскому сигарету, они закуривают.

– Я тоже воевал... Дамы – коммунистки? – спрашивает ажан.

– Коммунистические каналы... – отвечает Мишель, надувая снова шину.

– Богатые пролетарки! – иронически замечает полицейский и интересуется: – Но почему вы не потребовали денег по счетчику?

Мишель пожал плечами и не стал объяснять, до какой степени омерзительны были бы ему их деньги...

Благодаря дождю, у него возникло еще несколько поездок.

Приближается знаменательный для шоферов час. Уже половина одиннадцатого вечера.

В 23 часа вступает в действие двойной ночной тариф.

В 23 часа ко всем парижским вокзалам прибывают поезда дальнего следования.

На Северный вокзал приходят экспрессы из Брюсселя и Голландии. На Лионский вокзал прибывает поезд из Винтимили, на Орзэйской вокзал – поезд из Бордо и на Восточный – экспресс из Страсбурга.

Мишель стоит в районе Восточного вокзала. Все места на стоянках уже заняты. На прилегающих улицах тянутся длинные хвосты такси. Уже без десяти минут одиннадцать, а потому флажки на машинах подняты, и сами шоферы скрылись в бистро и кафе. Кому охота брать пассажира по дневному тарифу за десять минут до вступления в действие двойного ночного...

«Мародеры» медленно поднимались со всех сторон к вокзалу, иногда по два и даже по три в ряд. И, грозно размахивая белыми жезлами и надрывая себе горло, кричали ажаны:

– Авансэ! Авансэ!

Но вот вокзальные часы показывают заветное время. Страсбургский поезд пришел. И сотни такси, стоявших в очереди, и сотни «мародеров» пошли в атаку на прибывших и выходящих из вокзала пассажиров. Белые жезлы полицейских еще энергичнее замелькали в воздухе, но повелительные окрики их заглушает какофония клаксонов...

Баталия длится пять-десять минут. Из пятисот такси быть может только сотня счастливых увозит свою «добычу».

Остальные мчат к ближайшим театрам, чтобы успеть к окончанию спектаклей. Мишелю посчастливилось, и он получил какого-то немца с громадным чемоданом в руке. Немец ни слова не понимал по-французски, но Мишель немного говорит по-немецки – он понял, что пассажира надо отвести в скромный, но приличный отель.

Отелями переполнены соседние с Восточным вокзалом улицы, но глупо же было терять столько времени и ездить кругами только для того, чтобы сделать одну короткую поездку в тысячу метров? Немец не указал, какой район он предпочитает, и шофер считает себя вправе выбрать улицу, более или менее отдаленную от вокзала. Он высаживает пассажира у одного из отелей в районе Сен-Лазар.

Мишель сознает, что он делает глупость и что Шарль этого не одобрил бы. По неписанному шоферскому закону каждый иностранец, не знающий города и языка, должен прежде, чем водвориться в отель, как следует покататься по столице и, хоть и на ходу, но ознакомиться с достопримечательностями... Ведь иностранцы живут на валюту, а все иностранные валюты выгоднее французского франка.

Немец дает приличные чаевые и вежливо говорит на прощание:
– Гуте нахт!

Его пожелание имеет совсем другой смысл. К разъездам в теат-

рах Мишель опоздал и потому скользит по улицам, прилегающим к Внешним Бульварам, Пигалю, Бланш и Клиши. В этом районе у подъездов многих домов от полуночи до двух часов ночи наблюдается оживление, и можно найти пассажиров. Приближается второй важный момент ночной жизни – 2 часа ночи, когда закрываются бары, бистро и кафе (за исключением ночных). Кроме того, после двух часов ночи жизнь веселящегося Парижа начинает понемногу замираться.

На площади Клиши он сажает парочку – плотного, бородатого господина в пенсне и миловидную даму в каракулевом саке. На улице Сен-Жорж господин останавливает машину у одного из подъездов, на котором прибита черная мраморная доска с золотой надписью: «М-м Жоли Вибро – Массаж-Эстэтик».

Дама выходит из такси и нерешительно останавливается. Видно, что она исполняет требование бородатого господина и ее смущает «вибро-массаж-эстэтик». Но господин поспешно звонит, дверь открывается, и на пороге появляется сильно накрашенная, кокетливая горничная в белом переднике и кружевной наколке. Она приветливо улыбается и захлопывает за гостями дверь.

За дверью шла какая-то таинственная, ночная грешная жизнь. По выражению Шарля, «Париж дышал грехом».

Мишель решает постоять у этого подъезда в надежде дожждаться новых пассажиров. Еще одна машина останавливается рядом. На этот раз из такси выходят два господина, и та же горничная впускает их в дом.

К удовольствию Мишеля, за рулем машины Шарль.

– Здорово, дружище! – радостно приветствует он приятеля. – Ты тоже привез сюда пациентов?

– Да, мужчину и даму.

– И мэзон с тобой рассчитался?..

Шарль укоризненно смотрит на него:

– Мишель, ты же не новичок... Ну, я сейчас исправлю твою ошибку.

И он звонит в дверь мадам Жоли.

– Здравствуй, моя милочка!.. – бросает появившейся в дверях кокетливой горничной. – Это я привез двух джентльменов...

– Да-да, я знаю, – отвечает горничная. – Я сейчас принесу.

Шарль ласково кладет ей руку на талию:

– И затем, кошечка, вы забыли моего товарища, который привез вам передо мною кавалера и даму.

Горничная виновато смотрит на Мишеля.

– Я сейчас принесу вам обоим, – любезно обещает она, освобождая свою талию из лапищ Шарля.

Через пять минут она выходит и протягивает несколько кредитных билетов:

– Вот, берите... Ваша парочка заказала синема... Тут 60%, как мы всегда даем. Имейте в виду на будущее...

Шарль также получает причитающееся.

Мишель пересчитывает деньги. Ровно 180 франков.

Быть может, бессмертный Дон Кихот в данном случае поступил бы иначе. Вернее, он вообще ни за какие блага в мире не сел бы за руль такси. И здесь, на улице Сен-Жорж, он просто дал бы шпоры своему Росинанту и, как на ветреные мельницы, бросился бы в атаку на нечестивый дом мадам Жоли. Но наше время не для Дон-Кихотов...

– Шарль, – спрашивает Мишель приятеля, когда они заходят в небольшое ночное бистро. – Что такое кошонери?..

– Название неправильно и несправедливо, – отвечает Шарль. – Ибо настоящим свиньям никогда и в голову не приходило ничего подобного.

Мишель вопросительно смотрит на него.

– Вся эта процессия такси и собственных машин, к которым и мне пришлось присоединиться, – объясняет Шарль, – забралась вглубь Булонского леса, где «шеф» выбрал уединенную лужайку. Машины с шоферами должны сигнализировать клаксонами в случае приближения «летучих мышей»... А на лужайке устраивают «кошонери». – Шарль плюет на пол и продолжает: – Бывает, что полиция всё же накрывает их, тогда вся кампания, в том виде, как была захвачена, отправляется в комиссариат... Там иногда попадается и очень крупная рыба...

И, как бы отвечая на молчаливый и затаенный вопрос, уже садясь с машину, Шарль замечает.

– Дорогой друг! Если шоферы будут возить только священников и новорожденных детей – они умрут с голоду.

...Перед рассветом Мишель медленно едет по бесконечно длинной и скучной улице Вожирар.

Еще темно, но парижская ночь близится к концу. Пятый час утра.

Из грязного, двухэтажного домика, сжатого и сплющенного между двумя восьмизэтажными громадами, выбегает на улицу старушка. Волосы ее растрепаны. Украшенная стеклярусом, черная шляпка-гриб сбита на бок. Она спотыкается. На бледном, сморщенном маленьком лице ее застыл ужас.

Она подбегает к машине, цепляется за дверцу машины и едва слышно произносит:

– На бульвар Араго...

Мишель отрицательно качает головой и говорит, что кончил работу и едет домой. Но та или ничего не слышит, или ничего не понимает. Голос ее шелестит опять:

– На бульвар Араго... На бульвар Араго...

Какой-то свист и шипение сдавливает горло женщины. Может быть, это рыдания, у которых нет сил разразиться. Уже не обращая на шофера внимания, она лезет в такси и шепчет:

– Скорей... ну, скорей...

Старуха действительно куда-то очень торопится, понимает Мишель и прибавляет газу.

– Какой номер? – спрашивает он, проносясь по площади Данфер-Рошера.

Гордый бельфорский лев, задрав свою благородную голову, равнодушно взирает вдаль, не замечая внизу у ног своих никого – ни такси, ни смешной жалкой старушки.

– Это – Сантэ... – слышится мне ее чуть слышный ответ.

Мишель вздрагивает от удивления и оглядывается на пассажирку...

У высокой тюремной стены в предрассветных ночных сумерках стоит молчаливая и сосредоточенная, напряженно ожидающая толпа. За нею виднеются темные фигуры конных республиканских гвардейцев. А еще дальше, там, где черным пятном намечались на серой каменной стене тюремные ворота, как раз против них, – смутный и жуткий, словно видение страшного ночного кошмара, высился на быстро бледнеющем небе силуэт гильотины.

Мишель останавливается в хвосте нескольких дорогих частных машин. На них стоят и сидят шикарно одетые дамы в вечерних открытых туалетах и мужчины в смокингах, фраках и цилиндрах. У многих в руках театральные бинокли.

Ему становится жутко и скверно на душе.

На городских башенных часах бьет пять раз.

Мишель сходит с подножки, глядит по сторонам, потом открывает дверь и помогает старухе выйти.

Она не видит ни его, ни толпы, ни конных гвардейцев, ни каменной серой стены. Она смотрит, не отрываясь, на страшные контуры гильотины и бледные, бескровные и сухие губы ее шепчут что-то невнятное, может, молитву. Чрез мгновение правосудие свершилось.

Кем была старушка – мать ли, близкая родственница осужденного, любительница ли острых ощущений или же просто больная, расчудок которой поразил страшный образ, – он никогда не забудет ею потухшего, мертвого взгляда, жалкой, окаменевшей фигуры.

Удар ножа гильотины по шее Горгулова поразил и ее.

– Хватит с меня ночной работы, – укладываясь в постель, говорит Мишель проснувшейся жене. – Буду ездить только днем... Всех денег всё равно не заработаешь.

Жанна согласна и обнимает мужа теплой рукой.

ПРЕССА

Качнулся от легкого гула
 Японского сна стебелек, –
 Далёко
 в Париже
 Горгулов
 На место Людовика лег

М. Светлов. Пейзаж. «Знамя» (Москва), 1933

* * *

...Горгуловская бессмыслица по происхождению и значению ничем не отличается от бессмыслиц, провозглашаемых (именно провозглашаемых – пышно, претенциозно и громогласно) в других сочинениях того же типа. Форма и содержание этих бредов, по существу, безразличны.

О, если бы дело шло просто о сумасшедших! К несчастью, эти творцы сумасшедшей литературы суть люди психически здоровые. Как и в Горгулове, в них поражена не психическая, а, если так можно выразиться, идейная организация. Разница колоссальная: нормальные психически, они болеют, так сказать, *расстройством идейной системы*. И хуже всего, и прискорбней всего, что это отнюдь не их индивидуальное несчастье. Точнее – что не только они в этом несчастье виноваты. В них только с особой силой сказался некий недуг нашей культуры.

Настал век двадцатый. Две войны и две революции сделали самого темного, самого уже малограмотного человека прямым участником величайших событий. Почувствовав себя мелким, но необходимым винтиком в огромной исторической мясорубке, кромсавшей, перетиравшей его самого, пожелал он и лично во всем разобраться. Сложнейшие проблемы религии, философии, истории стали на митингах обсуждаться людьми, не имеющими о них понятия. На проклятые вопросы в изобилии посыпались проклятые ответы. Так родилась горгуловщина – раньше Горгулова. От великой русской литературы она унаследовала лишь одну традицию – зато самую опасную: по прозрению, по наитию судить о предметах первейшей важности.

Мыслить критически эти люди не только не в состоянии, но и не желают. Любая идея, только бы она была достаточно крайняя, резкая, даже отчаянная, родившаяся в их косматых мозгах или случайно туда занесенная извне, тотчас усваивается ими как непреложная истина, затем уродуется, обрастает вздором, переплетается с обрывками других идей и становится идеей навязчивой.

*Владислав Ходасевич. «О горгуловщине».
 «Возрождение», 11 августа*

Вымирают косматые мамонты,
 чуть жива красноглазая мышь.
 Бродят отзвуки лиры безграмотной:
 с кандачка переход на Буль-Миш.
 С полурусского, полузабытого,
 переход на подобье арго.

Бродит боль позвонка перебитого
 в черных дебрях Бульвар Араго.
 Ведь последняя капля России
 уже высохла. Будет, пойдем.
 Но еще подписаться мы силится
 кривоклювым почтамтским пером.

Владимир Сирин. «Парижская поэма», 1943

* * *

Вернулся в столицу победоносного социализма Эренбург. Правда, ненадолго. На месяц-два. «Знаменитый» писатель очень занят. Его ждут в Португалии и на острове Таити, ему надо работать над фильмом из жизни Крейтера; наконец, без него опустел Монпарнас.

Все-таки Эренбург успел дать интервью сотрудникам московских газет. Успел сообщить несколько важных и ценных новостей. Например, рассказал, что работает над новым романом.

– На какую тему? – осведомился репортер из «Литературной газеты».

– О пшенице, – медленно и задумчиво проронил Эренбург.

Роман о пшенице. Ново, свежо, вполне созвучно колхозному периоду русской литературы. Боборыкин острее не уловил бы последнее веяние эпохи.

«Последние новости» (Париж), 27 июля

* * *

31 июля 1932 на очередных выборах в рейхстаг НСДАП получила 230 мандатов, социал-демократы – 133, коммунисты – 89 мандатов. Национал-социалисты стали самой крупной фракцией в парламенте.

«Иллюстрированная Россия», 1932, № 34

BERLIN. ЛЕТО 1932. ЛИДА И ОЛЕГ

«Как хорошо, что не поехала на автомобиле. Представляю, что бы случилось с машиной», – так она думала позже, а сейчас села на велосипед и поехала в суд.

У здания суда она даже не успела нажать на тормоза, как на нее налетели какие-то люди, и она не сразу сообразила, что это штурмовики.

Ее столкнули с велосипеда, но она смогла встать и закричать от удивления и неожиданного страха, потому что люди с палками изо всех сил колотили по ее стальному коню, стараясь выбить спицы, и она им кричала непонятное, а те орали:

– Мы вам, аристократам, покажем, где раки зимуют! Вы узнаете, что такое трудовые мозоли!

Домой она пришла в синяках и разорванном жакете, даже не пришла, а ее привезли полицейские, которые, по существу, и спасли ее от пьяных штурмовиков.

Олег побледнел, потом побагровел и бросился в пивную напротив дома – там был телефон.

Он набрал номер Шираха. Он злился.

– Бальд, что творят твои молодцы! Это же моя жена! Она что – коммунистка, по твоему мнению?!

Тот хмыкнул в ответ.

– Не стой под колесами истории! Во-первых, я не могу уследить за всем. Во-вторых, это вне моего ведения. Мы стоим за деторождение, за то, чтобы в немецких семьях было как можно больше детей...

– Да я тоже за деторождение! Но зачем скандалить? Это же играет против вашей партии! Вы льете воду на мельницу коммунистов. Это негатив... От вас отшатнутся люди... Бальд, это же играет против вас, неужели непонятно...

– Ничего подобного, – отвечал Ширах. – Наоборот! К нам идут немецкие домохозяйки, они за семью... И не забывай, что гнев масс...

Олег готов был плюнуть в телефонную трубку.

– Что ты врешь! Какой гнев масс! Хулиганы с дубинками нападают на женщину!

– Мы против защиты аборт, это разврат...

Олег понял.

– Ах вот как! Значит, твои хулиганы напали на Лиду не просто так, а как на адвоката, которая выступает за права женщин? Ах ты...

Он хотел бросить трубку, но понял – со стороны покажется позой, «цитатой» из кинофильма, потому повесил трубку и еще пару секунд смотрел, как она раскачивается.

Он не мог успокоиться, Лида пыталась вывести его из этого состояния. На следующий день, в четверг, посыльный принес огромный букет роз и запечатанный конверт.

Муж с женой переглянулись, поняв от кого цветы.

– Все-таки совесть у него есть, – пробормотал Олег, надрывая конверт.

– Осталось немного, – съязвила Лида. – На нашу свадьбу не смог прийти, а на свою приглашает...

Олег кивнул.

– Написал, что не может, поскольку находится в агитационной поездке по стране... Но прислал букет роз.

– Таких же, – подтвердила Лида, разглядывая цветы. – Наверно, его любимые. Если второй раз их присылает...

В конверте было письмо с извинениями, напоминанием о старой дружбе и предложение вскрыть второй конверт как символ союза двух наций и двух их ярчайших представителей.

Лида хмыкнула.

– Вскрывай, ярчайший представитель...

В конверте оказалось... приглашение на свадьбу.

Олег посмотрел на жену.

– Вот тебе и новости! Не хочет ругаться, хочет остаться хорошим... Не пойдем! Еще чего! Его молодцы напали на тебя, а мы идем на его свадьбу... К черту! Пошлем букет... Вот такой же, и письмо с извинениями, что мы находимся в свадебном путешествии...

Лида задумалась, но ненадолго.

– погоди, – рассудительно произнесла она. – Давай все-таки пойдем. Ну, нацист, ну черт с ним! Лучше, чем коммунист... Вдруг пригодится? Может, не сегодня, а завтра?.. Он все-таки из приличной семьи... Дворянин... Да и на свадьбе, я уверена, будут приличные люди. А чем больше приличных людей – тем лучше. Ты не согласен, милый?

– Ну-ну, – ответил муж, обнимая свою умную жену.

Они вошли в зал ресторана. Он был полон.

На возвышении сидел молодежный лидер Бальдур фон Ширах. Он заулыбался и показал рукой, куда Олонецким сесть. Но супруги смотрели не на него. Рядом с молодыми улыбался человек во фраке, в котором можно было узнать лидера партии национальных социалистов – Адольфа Гитлера.

БАКУ. ОСЕНЬ 1932. АРТУР, ПОЛИНА

Потом я влюблюсь.

Я увижу тебя и пойму – это она, это моя любовь, – ничего прекраснее тебя в жизни не видел и не увижу! Необычайно высокий, подымающийся лоб, губы греческой статуи, словно высеченные резцом скульптора. Ты повернешь голову, и я обнаружу в твоем лице тревожный контраст между профилем и анфасом: профиль грозно-прекрасен, анфас очарователен совсем по-иному. Невероятно большие темные глаза (зрачки расширились, принаравливаясь к слабому освещению) покажутся слегка близорукими; хочется приблизить свое лицо к лицу собеседника.

В профиль ты, Полина, – величественная, недосыгаемая знатная дама; в анфас – совсем молоденькая девушка. Бывают же такие лица!

Ты стоишь у окна напротив своего купе, соседнего с моим, любуешься пейзажем.

Я пристроюсь у своего окна. Твоя красота так поразит меня, что я не смогу произнести ни слова. Меня вновь охватит болезненная подростковая застенчивость. Я пойду в вагон-ресторан, и через минуту в дверях появишься ты, Полина. Официант проводит тебя к моему столику, на свободное место, и ты опустишься на стул, молча здороваешься изящным, легким кивком. Подавив охватившую меня панику, я ничего лучшего не смогу спросить, как «Не в Баку ли?» – будто на этом маршруте есть другие станции.

– Да, – ответишь ты, – и вы тоже?

Так завяжется наш самый горестный роман, и воспоминания о нем будут преследовать меня много лет.

Хочешь – верь, хочешь – нет, я сразу же отчаянно влюбился в тебя, Полина. Малейший жест, наклон головы, когда она подносила стакан к губам, – всё наполняло меня ликованием.

Мне уже стукнуло двадцать семь лет, но я вновь пал жертвой вечной романтической иллюзии.

Кухня вагона-ресторана окажется на удивление хорошо снабжена: черный хлеб, огурцы, селедка, водка, чай и красная икра. Я закажу всё, что было в меню. В Харькове я научился пить водку по всем правилам: опрокидываешь маленькую стопочку чистой, прозрачной огненной жидкости, подносишь к лицу ломоть ржаного хлеба, вдыхаешь его насыщенный, чуть кисловатый, освежающий голову аромат и кусаешь засоленный с петрушкой и укропом большой огурец.

Ты сперва удивись, затем улыбнешься и примешься с любопытством наблюдать. Внезапно ты откинешь волосы со лба, отставишь в сторону чай в подстаканнике и протянешь пустую рюмку, предусмотрительно поставленную официантом. Не может быть! Какая чудесная девушка! Твоя рука движется мне навстречу, словно заключая тайный союз.

Мы просидим в вагоне-ресторане до полудня, мы будем болтать и есть красную икру и выпьем всего лишь одну маленькую бутылку водки, которая называется «четвертинка».

Я узнаю, что ты служишь в отделе водоснабжения Горсовета Баку, что возвращаешься из Кисловодска, кавказского курорта минеральных вод, где провела полагавшийся двухнедельный отпуск. Ты свободно говоришь по-французски – с мелодичной русской растяжкой, любой другой акцент в этом языке я буду считать недопустимым; ты немного изъясняешься и по-немецки, и я спрошу, где же ты работаешь, если так хорошо знаешь языки, – и ты еще шире раскроешь свои большие глаза, и я потеряю голову, и повторю:

– Отдел водоснабжения – не может быть!

– Почему? – спросишь ты. – Чем бы вы занялись на моем месте?

Я искренне отвечаю, что принял ее за актрису, за приму-балерину или, по крайней мере, за жену народного комиссара.

Ты улыбнешься, как можешь улыбаться только ты, и насмешливо ответишь:

– В отделе водоснабжения жизнь поспокойней.

Мы продолжим болтать, и три часа я без умолку буду рассказывать о Париже, Вене, Египте и Северном полюсе, и ты всё настойчивее и настойчивее будешь спрашивать о Европе.

Я уже знал, как безнадежно томятся образованные русские хотя бы по отблеску того мира, который им никогда не увидеть. Я буду

сочувствовать тебе всем сердцем и впервые смутно начну осознавать, сколь чудовищен режим, отрезавший двести миллионов своих подданных от всей остальной планеты. А ты забросаешь меня вопросами – то разумными, то обезоруживающе наивными и невежественными, – и на моих глазах изящная, надменная девушка превратится в ребенка, привязанного тяжким недугом к постели, – так больная девочка жадно спрашивает о детском празднике, куда ей не суждено попасть.

Контраст между неприступным, классически прекрасным профилем и внушающим безотчетное сочувствие лицом, повернутым анфас, станет более явным и, в то же время, более понятным мне.

Мы выйдем из вагона-ресторана, ты пригласишь меня в свое купе. Там мы останемся, пока поезд не прибудет в Баку. Мы посмотрим книги, привезенные мной из Европы, потом ты внезапно решишь показать мне наряд, добытый через какого-то знакомого в Кисловодске: шерстяной джемпер и пару импортных замшевых туфель. И то, и другое будет самым заурядным массовым товаром, но в России ни о чем подобном и мечтать не приходилось. Я не сумею скрыть свою растерянность, а ты сникнешь – ты хотела продемонстрировать мне свое приобретение, а я испортил удовольствие. Я поклянусь, что в следующий раз привезу из Европы все сокровища земли, от лионского шелка до персидского нарда; я произнесу эти слова, стоя на коленях на полу купе. И ты в ответ вознаградишь меня на русский манер царственным прикосновением своих губ к моему лбу.

Наконец поезд доберется до Баку, и я приглашу тебя на ужин. Ты скажешь, что живешь вместе с тетей, – и вот мы найдем извозчика, отвезем мой багаж в отель «Интурист» и помчимся на квартиру к тете.

Я увижу небольшую двухкомнатную квартиру: спальня и гостиная – в гостиной Полина спит на диване. Мебель старая, облезлая. Тетя окажется маленькой старушонкой, бесцветной и безучастной, одетой опрятно и старомодно, с кружевным воротником. По-французски старуха станет говорить совершенно свободно. Я опасался, что мое появление придется ей не по вкусу, однако она не обнаружит ни малейшего неудовольствия. Любопытства она будет лишена напрочь.

Ты наденешь свой новый джемпер и замшевые туфли. Поймаешь мой взгляд, улыбнешься, посмеиваясь над собой, но промолчишь. Тетя, заметив твой наряд, воскликнет: «C'est joli».

На улице я спрошу, чем занимается тетя.

– Ничем, – скажешь, – тетя – вдова. А дядя при царском режиме занимал должность бельгийского консула.

– А родители?

– Они умерли, – просто ответишь ты.

* * *

В Баку я оказался вдвойне связан с ГПУ. Должен напомнить, что

все эти события происходили в 1932 году, то есть до Большого Террора. Несмотря на периодические приступы «зубной боли», я оставался верным коммунистом, а потому к товарищам из ГПУ относился примерно так же, как добропорядочный англичанин относится к полиции. Лишь эта организация могла навести относительный порядок в Советском Союзе. Служить в ГПУ было величайшей честью для любого партийца, свидетельством безупречной преданности. «Каждый большевик обязан быть чекистом», – настаивал Ленин, и каждый большевик, как российский, так и иностранный, принимал эти слова за безусловную истину.

На второй или третий день пребывания в Баку я отправился за продуктами в ИНСНАБ, кооперативный магазин, где отоваривались иностранные специалисты. Я питался почти исключительно красной икрой, больше в продаже ничего не было. Рядом в очереди стоял худощавый юноша с искривленным плечом. Он, как и я, говорил с сильным акцентом. Пока наши пайки красной икры заворачивали в старые номера «Правды», мы познакомились.

В реальной жизни его звали Пауль Вернер. Маленького роста, проворный, хрупкий на вид, но выносливый, с бледным острым лицом ребенка, выросшего в трущобах. Правое плечо поднималось намного выше левого, словно защищая лицо от постоянных ударов. Легко было вообразить, как Пауль бежит с газетами по Фридрихштрассе, выкрикивая заголовки вечерних новостей, или катит тележку с овощами по тротуарам, – если б только не темные, кроткие глаза, глаза печального, стареющего горбуна. Тихий сосредоточенный взгляд противоречил порывистым жестам и резким чертам лица. Он как бы предупреждал: «Неважно, как я выгляжу, как говорю, – на самом деле я совсем другой».

Я сразу же потянулся к Вернеру. Какая радость – здесь, на краю света, повстречать товарища из КПГ, человека, говорящего на том же языке, на том же сленге, что и я. С ним можно было болтать, не запинаясь из-за плохого знания русского; с ним мы тут же принялись обмениваться шутками. Я и не догадывался, как мне этого не хватало, а Вернер истосковался по немецкой речи гораздо больше, чем я. Он уже больше года работал в Баку. Пауль сказал, что состоит на профсоюзной работе. Мне это показалось странным: зачем азербайджанской профсоюзной организации понадобился парень из Лейпцига?

– Я – политический беженец, – Вернер пожмет перекошенным плечом, – партия направила меня лектором по европейскому профсоюзному движению.

Я рассмеюсь.

– Не считай меня таким наивным, товарищ из ГПУ! Пойдем ко мне в гостиницу выпьем водки за встречу.

Мы проболтаем несколько часов, а потом я поспешу на свидание с Полиной. Между прочим, я спрошу Вернера, где мне достать для моей книги материал об иностранном шпионаже в Баку. Он изумится и посоветует отказаться от подобной идеи. Я возражу, что придаю этой теме большое политическое значение. Капиталистическая пресса всё время поносит Советский Союз за подозрительное отношение к иностранцам, жесточайший визовый режим и прочие меры безопасности. Мне требуется материал о шпионаже, чтобы показать необходимость этих правил и реальную угрозу вредительства и шпионажа. В Баку, нефтяной столице, поблизости от турецкой и персидской границы, самое место для тайных интриг. Мне бы раздобыть два-три ярких и убедительных примера.

Вернер только плечами пожмет. И тут меня осенит:

– Знаешь что? Я обращусь к первоисточнику. Пойду в ГПУ и попрошу дать мне консультацию. Конечно же, все имена и подробности мы изменим.

Вернер расхохочется:

– Сколько ты уже в Союзе? Шесть месяцев? Пора бы научиться соображать. В ГПУ приходят не задавать вопросы, а отвечать на них. Идиот! Тебя спустят с лестницы, и ты наживешь серьезные неприятности.

На следующее утро я отправлюсь в бакинский отдел ГПУ. Он находится во внушительном здании Белого города – современного европейского квартала, однако атмосфера внутри этого дома покажется мне самой заурядной: перед будкой бюро пропусков выстроились длинной цепью те же угрюмые, плохо одетые люди, каких я вижу повсюду в очередях. Они не выглядят расстроенными или напуганными. У коменданта (так именовались консьержи в официальных учреждениях), невзрачного и неряшливого человечка, было на редкость отталкивающее лицо. Меня это почему-то удивит.

Комендант перейдет в другую кабинку со звукоизоляцией и позвонит по телефону. Мне он велит ждать. Я простою с полчаса, а затем явится человек в форме, отвезет меня на лифте наверх и проведет по коридору в кабинет – маленькую комнату с массивным столом и тремя стульями. За столом – высокий, наголо бритый офицер. Он без улыбки предложит мне сесть и рассказать, в чем дело. Офицер будет вежлив, холоден и напряжен. Я выложу перед ним свои верительные грамоты и кратко поведаю о причинах визита. Офицер несколько минут будет пристально изучать мои документы, перечитывает их трижды, точно захочет запомнить наизусть. Затем уставится на меня – на лице никаких эмоций – и изречет: «Мы не предоставляем такую информацию, гражданин».

Меня заденет, что он назвал меня «гражданином», а не «товарищем».

Я повторю аргументы, которые уже приводил в споре с Паулем. Пока я говорю, в дверь постучат и войдет другой офицер. Он на военный лад козырнет моему собеседнику и положит перед ним стопку бумаг. Начальник займется бумагами, а вновьприбывший, не присаживаясь, всмотрится в меня с любопытством и, кажется, с иронией. Мои документы он изучит внимательно, затем выйдет из кабинета, вновь молодецкато отдав честь, а начальник лишь коротко кивнет в ответ. Затем обернется ко мне: «Мы обсудим ваш запрос с коллегами. Вероятно, мы вас вызовем».

Я спрошу, следует ли мне заглянуть через несколько дней. Он отрежет: «В этом нет необходимости. Мы своевременно дадим вам знать».

С этими словами он меня отпустит. Разумеется, меня никто не вызовет – глупому иностранцу просто преподали урок.

Мне живо запомнится краткая немая сцена с двумя офицерами. Что-то в ней было неправильное, какой-то обман. Вернер разгадает эту загадку.

– Они проделали с тобой обычный трюк: тот, смуглый, молодецкатоый, и был начальником, а за столом сидел его подчиненный. Начальник придумал предлог, чтобы войти, потому что он интересовался тобой.

– Зачем же они поменялись ролями?

– Раз ты не понимаешь, что я могу сказать?.. – ответит Пауль.

Эта сцена в ГПУ запомнилась навсегда, так что и годы спустя я всё еще видел ее, словно наяву. Через шесть лет, когда я стану рыться в памяти в поисках прототипов двух персонажей романа, этот образ вспыхнет вновь.

Я не уверен, что память сохранила точную последовательность событий, произошедших в Баку. Во время второй или третьей встречи с Вернером, за обильной трапезой с водочкой, я напрямую спрошу, что ему нужно от меня. Он не станет отрицать, признается, что ему поручено сблизиться со мной, однако через пару дней задание отменили, поскольку в местном ГПУ получили из Москвы сведения обо мне, и начальник сказал: «Твой приятель в порядке, не стоит его разрабатывать».

Разумеется, я буду доволен и польщен этим решением, но Вернер радовался еще больше. Он был так одинок, что у него была почти физиологическая потребность в собеседнике, которому можно доверять.

Пауль вырос в Саксонии, в Лейпциге, в семье рабочего. Он рос уличным мальчишкой и всё еще смахивал на него, а из задумчивых глаз выглядывал книжечей и мечтатель, которым он стал. Вернер вступил в Молодежную коммунистическую лигу, а затем его приняли в партию. Партия запасалась оружием для уличной войны с нацистами.

Вернер застрелил полицейского и вынужден был бежать за границу. Об этом убийстве Вернер говорил не мучаясь, но явно смущаясь, – как человек, сделавший глупость и страшщийся показаться собеседнику смешным. Он закончит рассказ, и я спрошу, не снится ли ему убийство по ночам.

– Нет, – ответит Пауль.

Пауля вывезли в СССР и предоставили политическое убежище, а затем и нынешнюю его работу. В чем именно она заключалась, он не скажет, а я не стану спрашивать.

О Полине и ее тете Пауль сообщит мне через несколько дней после того, как рассказал о себе.

– Они обе шпионки. Старуха – старая шпионка, – передаст он мнение начальства.

Я буду потрясен и не поверю Паулю. Две одинокие женщины, причем одна – вдова иностранного консула, другая – ослепительная красавица, неизбежно навлекут на себя подозрение. Полина – агент иностранной разведки? Какая чушь! Она находится под наблюдением – что ж с того? Пусть только Вернер познакомится с ней, и он убедится в абсурдности этой идеи.

Вернер того и добивался. Я не помню, кто из нас предложил устроить встречу – да и какая разница!

Мы пойдем обедать в один из двух «коммерческих» ресторанов Баку. Тогда, наряду с рабочими столовыми, еще функционировали такие рестораны, но они считались дурным местом, где собирались лишь иностранцы, дельцы черного рынка и «паразитические пережитки НЭПа». В любом большом российском городе был такой ресторан, а то и несколько (самый знаменитый – московский «Метрополь»), и все хорошо понимали, что каждое произнесенное здесь слово сейчас же станет известно ГПУ. Но только в этих ресторанах можно было (за бешеные деньги) хорошо поесть и выпить; в них царил дореволюционная атмосфера с услужливыми официантами и цыганским хором. Это было так заманчиво, что люди рисковали своей репутацией, и в залах не оставалось ни одного свободного столика...

Наш обед не удастся. Я с трудом уговорю Полину прийти. Она явится не в новом джемпере и замшевых туфлях, а в черном, пошитом на заказ костюме. Когда она плавной, плывущей походкой направится к угловому столику, где ждали мы с Вернером, по залу пронесется шепот восхищения. Девушка приветствует нас знакомым мне легким наклоном головы, но я сразу же пойму, как ей неприятен Вернер.

О Вернере я ей сообщил, что случайно встретил в кооперативном магазине молодого немца, работающего в системе профсоюзов. Теперь я видел, что напрасно свел их вместе: мне почудилось, будто Полина ревнует к нашей дружбе, но потом я увидел, что она напугана. Может, она знала, что он служит в ГПУ? Или догадывалась?

Отталкивание, которое вызывал в ней Вернер, естественно переросло в недоверие ко мне. Наши отношения рушились на глазах, а я ничего не мог поделать.

В отчаянии я буду пить рюмку за рюмкой. На столе появится вторая бутылка. Внешне всё вроде бы сгладилось, но тут до меня дошло, что скованность Вернера вызвана вовсе не поразительной красотой нашей гостии, а комплексом социальной неполноценности, – этого еще не хватало!

Пока мы общались один на один, я не замечал за ним ничего подобного, тем более, что в партии пролетарий стоит выше представителя среднего класса, но здесь, в ресторане, он оказался в меньшинстве против нас двоих, умевших орудовать ножом и вилкой. От этого первобытного ужаса не избавит и марксизм.

Я не мог рассеять тревоги Полины, она полностью отгородилась от нас, – но я мог подбодрить Вернера, проявить солидарность с ним, подчеркнуть нашу с ним близость. Полина отталкивала его, как мне казалось, с аристократическим высокомерием, тем самым превращая нас с Вернером в союзников. В каждом треугольнике два угла соединяются основанием, а вершина остается в одиночестве – в тот день на вершине была Полина.

После этой встречи Полина с неделю избегала меня. По телефону она отвечала, что занята. Мы не поссорились, не сказали друг другу ни единого резкого слова. Потом мы случайно столкнулись на улице, и вплоть до моего отъезда всё шло вроде бы по-прежнему, хотя в глубине что-то изменилось необратимо.

Как-то мы вместе с Полиной пошли на почту (я получал корреспонденцию до востребования). Пришла телеграмма из Берлина, что-то вроде: «Стокгольм и Мадрид гарантированы, Цюрих и Варшава под вопросом. Телеграфируйте маршрут, срочно высылайте материал». Мой агент Карл Дункер сообщал о размещении моих статей в прессе, но со стороны этот текст мог показаться загадочным и даже подозрительным.

Я засунул телеграмму в карман пальто. На обратном пути по привычке мы сплетем пальцы, спрятав руки в тот же карман пальто, где лежала телеграмма. Возле здания, где работала Полина, мы простимся. Дома я не обнаружу телеграммы в кармане.

Может, Полина – агент ГПУ, и всё ее поведение, в том числе и откровенная враждебность по отношению к Вернеру, – умело разыгранная комедия? Но ГПУ и так читает все мои телеграммы (они проходили через цензуру). А если Полина шпионка, то какой интерес для иностранных держав представляет телеграмма, адресованная журналисту? Бессмыслица, да и только... В конце концов, я расскажу про телеграмму Вернеру.

Донос – прямая обязанность каждого члена партии, испытание его лояльности. За семь лет пребывания в компартии я предал только одного человека.

Дороже Полины в те годы у меня никого не было. Я без преувеличения мог сказать, что с радостью, с восторгом умер бы за нее. Партию, во имя которой я предал Полину, я не любил; я терзался сомнениями и подчас даже отчаивался, но я был частью партии, подобно тому, как мои руки, мои внутренности – часть меня. Это не особые отношения, это – тождество.

Я цеплялся за смягчающие обстоятельства: я изо всех сил буду подчеркивать перед Вернером вероятность случайной потери телеграммы, и он вроде бы спокойно примет мой рассказ.

Самым мучительным стала для меня разгадка, на которую я набреду чересчур поздно. Полина никогда не задавала мне вопросов, довольствуясь тем, что я сам рассказывал. Ее интересовали Париж и Берлин, Нил и Иордан, а к обстоятельствам моей личной жизни она, по-видимому, была равнодушна. Я был слеп, я не понимал, что любая женщина жаждет узнать о возлюбленном как можно больше. Полина с надменным профилем и статью балерины из гордости скрывала свое любопытство, но девочка, тоскующая взаперти, украла телеграмму, чтобы проверить, не от любовницы ли это послание, не от жены ли из далекого обольстительного Парижа или Берлина. Я предал ребенка.

Накануне моего отъезда Вернер, тщательно подбирая слова, предложил: «Посоветуй ей найти работу в другом городе». Раз Вернер дал этот совет, стало быть, он не верил в виновность девушки и пытался ее спасти.

С Вернером я попрощался еще в гостинице, чтобы на причале меня провожала только Полина. Мой пароход отплыл около полуночи, но, как всегда, задержался. До четырех утра мы с Полиной болтали на опустевшем причале. День и ночь на Баку падает черный снег с нефтяных вышек, из огромных труб нефтеочистительных заводов. Около часа ночи пошел морозящий дождь. У Полины намкли волосы – она никогда не носила ни шляпу, ни платок. На дождь она не обратила бы внимания, если б не липнущий к волосам вместе с влагой запах нефти. У меня зануло сердце: я представил себе, как Полина будет отмывать густые волосы хозяйственным мылом, шампунь в Баку не продается.

Мы никак не могли закончить тягостное препирательство: я советовал Полине поискать работу в Ленинграде, она спрашивала – зачем? «Просто так», – отвечал я. Она повторяла свой вопрос, я – свой ответ. Конечно, мы будем переписываться, обещал я, – завершив поездку, я вернусь в Баку, – и оба мы понимали, что нашим планам не суждено сбыться. На причале – ни души, лишь время от времени проходил патруль красноармейцев.

Остальные пассажиры спали на борту в ожидании отплытия. Мы же шагали взад-вперед, не обращая внимания на слякоть и вонь.

Я сожму холодные ее пальцы, прятавшиеся в кармане моего пальто. Отсрочка лишь затянет пытку. И снова Полина будет выспрашивать:

– Почему ты советуешь мне пересечь в Ленинград?

В темноте лицо девушки вновь делается таким, каким я увидел его впервые в распахнутую дверь купе три недели – нет, вечность – тому назад. Выражение надменной, неприступной чистоты вернется к ней. Больше мы ничего не сможем сказать друг другу.

Ее рука, лежавшая в моем кармане, перестанет быть теплой. Безжизненный, из вежливости одолженный мне предмет.

Я буду ждать спасительного свистка парохода с тем нетерпением, с каким приговоренный к повешению ждет, чтобы распахнулась под ногами крышка люка, – скорей бы покончить со всем этим. И вот свисток прозвучит. Мы медленно подойдем к сходням, остановимся.

Я попытаюсь поцеловать ее – и не смогу. Полина не сделает ответного движения, она опустит голову – с волос стекала вода, – посмотрит на новые замшевые туфли:

– Теперь им конец, – пробормочет она. И на этом всё кончится.

Я поднимусь на борт. Меня заведут в душный спальный отсек, полный храпящих тел. Из соображений государственной безопасности на палубу никого не выпустят. Я не смогу даже махнуть ей рукой на прощанье.

Плавание по Каспийскому морю от Баку до Красноводска займет около суток. Меня охватит апатия, перешедшая в острое физическое страдание. Я обнаружу, что болен, – оказывается, Полина была нездорова, и я заразился. Я не буду ни удивлен, ни шокирован, почувствовав симптомы гонорей. Тем острее станет жалость и нежность к тоненькой одинокой девушке, покинутой на причале в Баку.

Я был так опустошен, так одинок посреди Каспийского моря, что приветствовал болезнь как напоминание о ней.

В России, при отсутствии элементарных понятий о гигиене, заболевание гонореей было повальным. Мужчины излечивались за две-три недели, но у женщин болезнь принимала более длительную форму. Я знал, что у Полины был до меня другой возлюбленный. Символом и воплощением ее судьбы показалось мне, что подобное унижительное заболевание постигло именно ее, прекрасный и чистый призрак погибшего мира.

Письма Полине останутся без ответа. ГПУ столь же капризно, как и боги. Во время большой чистки все немецкие коммунисты, жившие в России, за очень небольшим исключением, были арестованы, депортированы или выданы гестапо. Так и Вернер был выдан гестапо в сороковом году.

Если Полина осталась в Баку, она, конечно же, погибла; если успела уехать – быть может, спаслась. Иногда я уговариваю себя, что она устроилась в Москве или Ленинграде, представляю себе, как она живет в столице, но воображение подводит меня, и мне всё время представляется иное: тот вечер в ресторане, как она необычайно высоко и неподвижно держала голову. Она была из тех, кто, как говорит Коран, носит на шее свою судьбу.

FLASH-FORWARD

Они будут стоять на мосту.

Ветер налетит, обхватит со всех сторон и умчится дальше.

В тишине с противоположной стороны моста раздастся стук шагов, он будет приближаться, станет громче, проникнет в уши, чтобы надавить на барабанные перепонки.

Шаги смолкнут. Маргарита поднимет голову.

Стоящий рядом Пауль Вернер тоже поднимет голову. Из-за спины раздастся стон, это Бетти Ольбрехт.

Все арестанты одновременно поднимут головы и увидят:

Людей в черной форме, которые подошли с другой стороны моста.

Эсэсовцы, догадаются они.

Капитан НКВД улыбнется, поднесет руку к козырьку фуражки.

Офицер СС подаст руку, и капитан протянет свою для дружеского рукопожатия.

Вернер закричит и бросится прочь, но конвоир подставит ногу, и он растянется на мосту. Конвоир за шиворот подтащит его к группе дрожащих арестантов.

Арестантов погонят на немецкую сторону.

Маргарита оглянется на Советскую Россию. В голову придут коммунистические заклинания:

родина тружеников...

бульвар свободы...

царство гонимых.

СЕНТЯБРЬ 1932. МЮНХЕН

Георгий шел размашисто, цепко выхватывая из городского пейзажа новое, что появилось здесь за те несколько месяцев, что он не был у родителей – кинотеатр «Метрополитен», предвыборный плакат коммунистов с неизбежным серпом и молотом, закрытая фанерой витрина магазина – он и не помнит, что за магазин здесь находился.

«Мюнхен – не Париж, зелени в городе много», – заключил он. И очень много различных фонтанов – пока шел от вокзала, встретил три или четыре.

Человек в форменной куртке железнодорожника (что-то знако-

мое показалось в нем) повернулся в профиль, пенсне в золотой (или позолоченной) оправе блеснуло на солнце, и Юрий сразу узнал его обладателя, и тот почувствовал на себе взгляд, обернулся.

– Дядя Wowa!

– Юрка!

Родственники обнялись.

– Ты к нашим?

– Конечно, что мне еще делать в этот городе?

Владимир Николаевич, видно, устал от ходьбы и попросил племянника посидеть с ним на лавочке передохнуть пару-тройку минут.

Юрий был рад дядьке.

– Ну, расскажи дядя Wowa, бандиты, наверно, снова напали на твой поезд?

Дядька служил проводником в знаменитом «Восточном экспрессе». В мае 1891 года греческие бандиты в Турции свели поезд с рельс, ограбили пассажиров (главарь был настолько великодушен, что вернул всем обручальные кольца) и захватили кучу заложников. Поскольку среди них оказались немецкие банкиры, случай быстро перерос в международный скандал. К счастью, выкуп был уплачен вовремя, и атаман, продолжая играть в галантность, подарил на прощание каждой из жертв золотую монету.

Владимир Николаевич засмеялся.

– Сорок лет прошло, а ты всё вспоминаешь! Я тогда в Зимнем дворце служил, а не на железной дороге!

Юрий смеялся в ответ.

– Да я знаю, Дядя Wowa, я шучу.

– Я понимаю. Кстати, после этих событий многие пассажиры стали ездить с пистолетами. Но случаи воспользоваться ими представляются крайне редко, поэтому некоторые нашли иной путь к созданию драматических ситуаций.

– Не понимаю, – признался Юрий.

– Рассказываю. Один венгерский аристократ стрелял по пугалам, когда поезд шел вдоль полей, и однажды в тумане застрелил по ошибке крестьянина. В другой раз некая «жрица любви» выбила пассажиру глаз за то, что он застрелил ее ручного питона...

– Питона? – не поверил Юрий. – Змею?

– Да, змею.

– А зачем ей змея? – глупо поинтересовался он.

Дядя пожал плечами.

– По-видимому, змея играла какую-то роль в ее экзотических шалостях.

Дядя помолчал, потом с грустью произнес:

– Авторитеты утверждают, что ныне состав пассажиров не тот, что до Мировой войны.

– Объясни.

– Охотно. Рассказываю. На смену аристократам пришли левантйские купцы, греческие судовладельцы, контрабандисты, шпионы, оперные певцы, балетные импресарио, равно как и американские нефтяные магнаты и банкиры из Вены, подкупающие контролеров, чтобы получить место рядом с хорошенькой графиней.

– Тебя тоже подкупают? – усмехнулся племянник.

– И меня, – согласно кивнул дядя. – Некоторые проводники имеют неплохой приработок, поставляя девочек богатым джентльменам. Среди сластолюбцев долгое время был один православный священник, пользовавшийся подобными услугами еженедельно на перегоне София–Белград... Скажу тебе, дорогой, что список пассажиров сейчас выглядит, как справочник «Кто есть кто» – от искусства до политики. Сара Бернар и Элеонора Дузе, Артуро Tosканини и Густав Малер, Вацлав Нижинский и Анна Павлова... Скрипачам разрешают практиковаться по ходу поезда, а акробатов подчас можно видеть подвешенными на трапезиях в багажном вагоне. Я работаю больше десяти лет и чего только не насмотрелся... Помню Айседору Дункан. Когда она проскальзывала из своего купе в душевую, из одежды на ней была какая-то вуалька, размером не больше носового платка, да и то не на нужном месте...

– Пойдем? – вставая, предложил Юрий.

– Пойдем, – согласился Владимир Николаевич. – Про сэра Базиля Захарова, ты, конечно, читал...

Еще бы Юрий не знал романтической истории любви знаменитого торговца оружием!

Считалось, что каждый солдат, убитый в Первую мировую войну, принес Захарову один фунт стерлингов. Но любовная история произошла задолго до этого, в 1886 году, когда Базилу было 30 лет. При посадке в «Восточный экспресс» объявили, что поезд задерживается по вине пары молодоженов, родственников испанской королевской фамилии. Мужем был 24-летний герцог Марчена, маловыразительный молодой человек. Зато его 17-летняя жена Мария выглядела очаровательной.

В половине третьего ночи раздался стук в дверь купе Захарова, и туда вбежала герцогиня Марчена в разорванном пеньюаре. Ее шея и грудь были в крови: «Помогите мне... Он убьет меня». В коридоре в это время шла борьба между слугой Захарова и обезумевшим герцогом, в руках которого блестел кинжал. Захаров спас Марию, и, к ужасу испанского двора, они стали любовниками. Мария родила Базилу трех внебрачных дочерей, но пожениться они смогли только через 38 лет, после смерти герцога Марчена.

Балканы были подлинным очагом интриг и заговоров, а «Восточный экспресс» стал любимым транспортом шпионов. Самой

известной из них, безусловно, была Мата Хари. Среди ее любовников были и министры французского правительства, и офицеры германского штаба. В 1917 году, когда шпиономания во Франции достигла предела, Мату Хари арестовали и казнили, хотя многие считали, что подлинные ее секреты были далеки от политики.

Шпионы облюбовали Восточный экспресс за мобильную связь между восточноевропейскими странами. Один из них, сэръ Роберт Баден-Пауэлл, который основал движение бойскаутов, любил на ходу поезда рисовать бабочек с самыми замысловатыми рисунками крыльев. На самом деле хитроумные сплетения и узоры представляли собой зарисовки фортификационных укреплений неприятеля.

Лицо вышколенной немецкой прислуги выражало полное недоумение, когда дядя Wowa сел за стол рядом с хозяйкой. Как так? Проводник – за барским столом, а она должна ему услуживать! Но, с другой стороны, какой же это проводник – такой изящный, с такими изысканными манерами – не грех бы и барам моим у него перенять!

Георгий наблюдал за родственниками и знакомыми и рассуждал: как здорово, что он не живет в Германии, а окопался в Париже. Он бросил взгляд на служанку и подавил смешок – хорошо еще, что она разговора не понимает.

Потом перевел взгляд на дядю: не сочтет ли тот бестактностью, если спросить, как он чувствует себя на службе. Уверен, что ответит: она обеспечивает кусок хлеба насущного – вот и всё! Но смутился, словно вслух выдал заготовленную глупую тираду, а дядя оживился, почувствовал себя в своей тарелке и на вопрос свояченицы с большим увлечением стал рассказывать:

– Благодарение Богу, мне повезло, больше всего благодаря знанию иностранных языков, которым обучился у гувернеров во дворце. Служба приятная, легкая, чистая. Конечно, приготовить и убрать постель меня не обучали, но наука несложная, и сноровка вырабатывается быстро. Случаются неожиданности, но редко: недавно наш экспресс попал в снежные заносы и застрял между двумя станциями. Провизии не хватило, пришлось пробираться за несколько километров, увязая в глубоком снегу, за съестными припасами и табаком. Зато пассажиры расщедрились, и этот рейс принес чаевых вдвое больше обычного.

– Как чаевых? – вырвалось у Олонецкого-отца.

Князь-проводник «Восточного экспресса», дядя Wowa улыбнулся:

– Вы шокированы: конногвардеец – и чаевые! Поначалу и мне вспоминалось, с каким пренебрежением сам когда-то одарял хамов. А теперь хамами считаю скаредов и с удовольствием ощущаю в руке крупную монету. И знаете ли, что еще скажу: много я перевидал пассажиров экспресса и, уверяю вас, ни разу не позавидовал – всё это либо

скучающие, либо тревожно спешащие. Кто это удачно сказал: это не жизнь, а скетинг-ринг? Ноги скользят, животы трясутся. А у меня никаких забот, никаких вожделений – живу, как у Христа за пазухой. Одна забота – не потерять бы места. Больше открою вам: от скуки пассажиры норовят вступить в разговор и, узнав – я не стесняюсь, – чем я был когда-то, начинают смущенно ерзать и уж вовсе теряются, суя в руку щедрую подачку. Может быть, скверное это, мелкое чувство, но признаюсь, что я испытываю не то гордость, не то злорадство – поставил-таки в неловкое положение. И тогда вспыхивает ощущение своего превосходства, так сильно, как не бывало прежде, когда считал себя солью земли. И хочется еще глубже погрузиться в роль проводника. А то еще бывало на первых порах – что-то взбудораживалось в душе, когда, отобрав у пассажиров билеты и паспорта для ночного контроля на границах, я находил среди них красную паспортную книжку советского сановника. С каким наслаждением задушил бы большевика, а должен оберегать его сон. Потом и к этому привык. Так и живем – порхаем: Вена – Константинополь, Константинополь – Вена.

– Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман! – заключил дядин монолог Юрий.

– Ты к чему? – нахмурился тот.

– Да просто вспомнилось. У нас, в Париже – ты, наверно, знаешь, – давно на это никто не обращает внимания. Юсупов! Сам Юсупов с женой Ириной держат модельный дом. А кто у них только манекщицами не работает! Самые знаменитые фамилии. Наша кузина, кстати, тоже одно время работала, теперь она нашла хорошее место секретарши... А Эрдели? Генерал Эрдели!

– Знаю его превосходительство, – кивнул Бискупский.

– Таксист. Да-да, такси водит. И никто не переживает. Может, в душе и переживают, но я не замечал... Так что, дядя Wowa, раз ты не задушил того большевика, то понимаешь порядок вещей.

– Зря, наверно, не задушил, – в задумчивости произнес родственник. Он снял пенсне и протер его специальной замшевой тряпочкой, вынутой из кармана.

Он вспомнил, что полгода назад этот человек уже пересекал границу в вагоне. Но в прошлый раз у него был не советский дипломатический паспорт, а польский. Или венгерский. Но точно, что не советский. Два дня дядя Wowa провел в нерешительности, а потом все-таки сообщил венской полиции о странном пассажире.

– Всех не передушишь, – назидательно выдал расхожий афоризм Олег. Все заулыбались.

Дома всегда тепло. Даже если ты в нем несколько лет не был. Тепло потому, что в доме – родители. Это родительский дом, тебе в нем хорошо.

Брат и жена Олега, дочь графа фон Тизенгаузена, рассказывали выпускнику Сорбонны:

– Редко, когда совпадают два события, два праздника в один день. Родители хотели отметить твой диплом Сорбонны и наш отъезд в Америку.

– Мы плывем на «Европе». У нее «Голубая лента Атлантики».

– Что это значит?

– А значит, братишка, что Атлантический океан пароход пересекает за 4 дня и 17 часов!

– Отлично, – согласился Георгий.

– Жорик! – позвала мать. – А ты так и не рассказал, какое место ты нашел.

– На заводе Ситроена.

– Как на заводе? – чуть ли не хором воскликнули присутствующие.

Довольный произведенным эффектом, Георгий пояснил:

– Переводчиком в отделе рекламы.

Сказал и подумал, что место ему пока только обещано. И ранее декабря обращаться на завод бессмысленно. Но не посвящать же родителей в собственные проблемы. Не рассказывать же им, что он в роли ночного стражника наряду с полицейскими охраняет покой парижан.

Подали второе. Разговор возобновился.

– Ах, эти автомобили, – вдруг вспомнила мама и повернулась к генералу. – Василий Викторович, мне рассказывали, что на фронте ваш автомобиль въехал на мост, а австрийцы мост взорвали и вы чуть не погибли?

Бискупский молодежато вытер большим пальцем усы и откинулся на стуле.

– Не совсем так, дорогая Лариса Владимировна. Генерал Ренненкамф, царство Небесное замученному большевиками, приказал срочно отвезти важное донесение Главкому. Время подгоняет, австрийки зашевелились, мы гоним автомобиль, как загнанную лошадь. Вдруг – трах-тарак! – мост. В середине – пролет, аршина два или три. Что делать? Говорю шоферу – гони на всей скорости! Он разогнался и – буквально перепрыгнули дыру. Я всегда слыл отчаянным человеком. Доставил донесение вовремя и мчусь назад – вдруг без меня наступление начнется. Опять тот мост, и показалось мне, что дыра увеличилась, уже аршин пять, наверно. Ну, думаю, кажется. Перекрестился и команду шоферу: «Гони, как в прошлый раз!» Удача, думаю, со мной. Но ошибся мой водитель – автомобиль проскочил дыру и повис, зацепившись за мост передними колесами. Тут он закрипел, застонал и рухнул вниз, а я чудом остался жив, очнулся уже в госпитале. Но вот на Японской войне...

Роман Николаевич и его брат подняли головы от тарелок.

– Что на Японской? Я был под Лаояном. Как раз приехал Великий князь Борис Владимирович...

Бискупский покачал головой.

– Помню, помню, скандальная история вышла...

Юрий чуть не подскочил.

– Расскажите!

– Великий князь Борис Владимирович ухаживал за сестрой милосердия княгиней Гагариной. Она дала ему пощечину и пожаловалась Куропаткину. Он призвал его и сделал замечание. Тот обиделся: «Вы забываете, генерал, что вы говорите с Великим князем». Куропаткин рассердился: «Молчать, руки по швам!» Тогда Великий князь выстрелил в него из револьвера,

– В главнокомандующего? – блестя глазами воскликнул Олег.

– Да, ранил в руку... Куропаткин запросил Государя, как поступить. Государь ответил: по закону военного времени.

Следовало расстрелять.

– Расстрелять?!

– Да. Именно так. Государь был строг. Но... Вы же понимаете... Составили комиссию-экспертизу умственных способностей. Признали ненормальным, увезли в Россию.

Лариса Владимировна вздохнула и переменяла тему.

– Выпейте ликера, с этими пирожными – прелесть.

– Спасибо, дорогая хозяйюшка. Шартрез прекрасен.

– Василий Викторович, вы сочувствуете национальным социалистам. Все знают, что вы их вождя, Гитлера, у себя в квартире прятали.

– Да.

– Но ведь вы монархист!

– Да, дорогая Лариса Владимировна, я монархист. И как монархист, как верный слуга Государя Кирилла Владимировича, не могу быть нацистом, потому что идея монархии и идея национал-социалистического государства не совпадают. Но у монархистов и национальных социалистов есть общий враг – большевизм. Поэтому, когда Германия поразит мировой коммунизм, то его поражение будет означать восстановление русской монархии.

– Я знаком с Бальдуром фон Ширахом, – улыбаясь, сообщил Бискупскому Олег.

– Он руководит национал-социалистической молодежью, – показал знание предмета генерал.

– Мы с ним вместе учились в университете... – Олег не захотел посвящать родственников в сложности отношений с бывшим однокурсником, отделался общими фразами. – Бальдур оказался настоящим товарищем. Ну еще бы! Ведь мы оба изучали историю искусств, и нас обоих ругали за то, что вместо лекций мы гоняем в футбол... Да,

я стал футболистом, а он... Он теперь... как это называется? Да, функционер. Ничего себе словцо... братишка, что ты усмехаешься? То есть штатный работник, получает зарплату в национал-социалистической партии рабочих...

Георгий снова хмыкнул.

– Рабочей. У них в партии есть рабочие?

– Еще сколько! Ты думал, что рабочие только у комми и у соци?

У наци их тоже достаточно. Но Ширах из очень приличной семьи.

Тут уже мама подала голос.

– Никогда не думала, что наци могут быть людьми из хороших семей.

Олег кивнул.

– Есть, мама, есть. И не только Ширах.

– Принц Август-Вильгельм – член партии, – сообщил Бискупский.

– Ты рассказывал, что мать Ширах – американка.

– Да, мама. Из Филадельфии.

– Где это?

– Кажется, на Тихоокеанском побережье. А ее брат, его дядя, Альфред Норрис, – банкир с Уолл-стритта.

Лида подала голос.

– Мы с Олегом присутствовали на свадьбе Бальдура фон Ширах.

– На ком же он женился?

– Такая милая барышня, Генни. Замечательные глаза. Наверно, за глаза он ее и полюбил.

– Или за папашу, – съязвил Олег.

Отец вскинул брови.

– А кто ее отец?

– Фотограф господина Гитлера

– Ага, – ухмыльнулся Юрий.

– Вот тебе и «ага». Кстати, Гитлер и начальник штурмовиков Рём тоже присутствовали на свадьбе. Они исполняли роль шаферов.

– И вы, Олег Романович, видели фюрера? – наклонился вперед Бискупский.

– Видели! – ответила Лида. – Он был в смокинге. Как на фотографии с президентом Гинденбургом. Он сказал Олегу...

– Что, что он сказал? – горел любопытством Бискупский.

Олег усмехнулся, дескать, что может сказать лидер партии, которая рвется к власти...

– А все-таки? – спросил и дядя Wowa.

– Он сказал, что вы еще увидите вашу родину, освобожденной от большевизма.

Все разочарованно вздохнули – подобные экзерсисы выдавали

многие политические деятели разных стран в разговорах с русскими эмигрантами. Повод для интересного рассказа пропал.

– Они быстро уехали, – добавила Лида.

– Но мы не жалели, – добавил Олег. – Веселились от души. А потом, когда я рассказал Бальдуру о нашей поездке, он дал мне рекомендательное письмо к дяде.

– Ого! – подал голос Юрий. – Ты надеешься на банкира?

Брат подмигнул.

– На Бога надейся, а сам не плошай. Понял? Разумеется, надеюсь, но у меня есть два предложения в Америке. Не буду рассказывать, чтобы не сглазить.

– А Лида тоже нашла место? – ехидно поинтересовался младший.

Лида загадочно улыбнулась.

– Нет, действительно, ты, наша знаменитая защитница права женщин на аборт...

Князь-проводник подал голос.

– Это безобразие... все эти аборты, тьфу, раньше такие слова в приличном обществе не произносили.

Лида спокойно ответила.

– Мы живем не в XIX веке, Владимир Николаевич. А женщина имеет право распоряжаться своим организмом так же, как и мужчина. Если у нее пятеро детей, почему ей запрещен аборт? Да ей по состоянию здоровья не выносить шестого ребенка!

Олоонецкая-мать поджала губы.

– Вы, Лида, упрощаете.

– Я не упрощаю. Когда я готовилась к процессу, горы статистики изучила. Не хочу говорить, но это – ужас. Ужас! И еще раз ужас!

Князь-проводник пробормотал.

– Могут предохраняться...

У Лиды был готов ответ и на этот выпад.

– Дорого! А вопрос этот касается, в основном, самых бедных слоев населения... В Германии безработица. Три миллиона безработных.

– А ты, Лида, считаешь, что пять детей – это нормально? – вдруг спросил Георгий.

Лида пожала плечами.

– Для меня, как для современной женщины, ненормально.

Георгий похлопал в ладоши.

– Bravo! Ура нашему адвокату, защитнику несчастных женщин!

Лида нахмурилась.

– Ты не понял, Юра, что я говорю лично за себя. Женщины, права которых я защищаю как адвокат, родились давно. У них другие понятия о семье, о доме, о супружеском долге, – понятия, честно говоря, устаревшие. Но я же не буду их обращать в свою веру! Я стою

на их стороне, потому что они – в первую очередь! – женщины, понимаешь? Потому что я их защищаю, потому что я – тоже женщина. Другая. Из другого времени, с иными понятиями, но женщина. И в Америке мы, конечно, заведем ребенка.

– Может, не одного, – подмигнул Олег.

– Может, и не одного, – подтвердила Лида. – Но это в Америке! У нас там будет работа, дом...

– Черные слуги, – съехидничал Юрий.

– Какие будут – такие и будут. Но думаю, что мы едем в демократическую страну, где все равны.

– Ты не спутала с Совдепией?

– Не спутала, не ехидничай. Прислуга в доме всегда нужна. Я приехала к своим, а Ильзе взяла отпуск, поехала к себе в деревню. Так я за неделю просто устала от домашних работ! Мама меня перед отъездом спрашивает: «Ну, теперь поняла, что значит жить без прислуги?» Нет, приедем в Америку, устроимся, сразу возьмем прислугу и купим...

– Автомобиль, – снова ехидно добавил младший Олонецкий.

– И автомобиль! – подтвердил Олег.

– Может даже два? – ухмыляясь, поинтересовался младший брат будущего автовладельца.

– У нас один уже есть, мой «порше». Мы его с собой возьмем.

Лариса Владимировна искренне удивилась.

– Как с собой? Автомобиль?

Лида кивнула.

– Да! Мы уже заказали место в багажном трюме.

Юрий скептически надул губы.

– В Америке своих «фордов» достаточно... Продали бы здесь или мне подарили...

Олег рассмеялся.

– Тебе? Чтобы ты в первый же день разбился? Уж я-то тебя знаю...

Юрий нахмурился.

– Ничего-то ты не знаешь...

– На первых порах машина нам очень пригодится, – продолжала

Лида. – Потом Олег научится водить и будет ездить не хуже меня.

– Согласен, – склонил голову муж. – Мы берем с собой автомобиль и собаку, моего Карлушу.

Мама вмешалась в разговор и обратилась к Бискупскому.

– Я слышала, что господин Гитлер на платных митингах меньше, чем за 15 тысяч марок, не выступает.

– Совершенно верно, – согласно кивнул Бискупский. – Но он все деньги за выступления отдает партии.

– Не может быть, какой оригинал! – засмеялся младший Олонецкий. – А правда ли, Ваше Высокопревосходительство, что господин

Гитлер приказал всем членам его партии, всем этим... ну, в коричневых кеши ходят...

– Штурмовикам, – подсказал старший брат.

– Да, штурмовикам... Приказал приобрести свою книгу. Ведь штурмовики – не все члены его партии, а в основном безработные, которым платят за это деньги.

Олег засмеялся.

– Вот он – бизнес, как говорят американцы! Гитлер имеет процент с каждого купленного экземпляра. Представляешь, папан, его доходы? Он выступает чуть ли не каждый день... И книги! Издатели, на мой взгляд, штампуют тираж за тиражом. Представляете, что будет, если господин Гитлер станет канцлером? Он заставит всех жителей Германии купить его книгу!

Юрий рассмеялся.

– Ты прав – деловой человек. Он тогда сразу станет миллионером, и ему не будет грозить никакое падение кабинета.

Отец снисходительно посмотрел на старшего отпрыска.

– Политика не делается бесплатно. Она требует множества расходов.

– Папан, а ты читал его книгу?

Отец удивленно взглянул на Олега.

– Ты думаешь, у меня есть время читать произведения лидеров политических партий?

– Всех не надо. Тельман повторяет за Сталиным большевистские лозунги. Гуттенберг скучен, как преподаватель латыни у нас в гимназии. А вот Гитлер... Это антирусская книга, папан. И политика Гитлера будет антирусской.

– Ах, обычные пропагандистские выпады, – произнес Бискупский. – Без них нельзя. Вы же знаете, какие хорошие отношения между Германией и большевиками... Скажу вам больше, господа. Германии, как известно, Версальским договором запрещено иметь армию. Но кадровые немецкие офицеры понимают, что это глупость. И потихоньку возрождают армию. И помогают им в этом...

– Большевики! – хором закончили братья Олонецкие и рассмеялись.

– Да. Знакомый полковник, мой старый приятель, рассказывал об этом как о всем известном факте.

Олег кивнул и перешел на другую тему; он видел, что отец неохотно ударяется в воспоминания...

– Я читал в американской газете про шашни большевиков с германским генштабом, но не думал, что дело далеко зашло.

– Еще как далеко, Олег Романович! Германии запрещено иметь авиацию, флот и тяжелую артиллерию. Но она у нее, считайте, уже есть. И есть обученные кадры. Они обучаются в Совдепии.

– Так что никакой Гитлер не страшен нашей многострадальной родине, – закончил отец семейства.

– Почему ты так считаешь, папа? – не понял Юрий.

– Ну, посмотри сам. Гитлер повсюду трубит, что Германии пора разорвать позорные пути Версальского договора. Большевики обучают германских офицеров наводить прицел и держать штурвал аэроплана. Так неужели Гитлер откажется от этого? Он обучит свои кадры и...

– Начнет войну... – хитро подсказал Олег.

– ...вторгнется во Францию. Эльзас и Лотарингия вернутся в состав Германии.

– А если победят в очередной раз французы? – спросил Юрий. Ему становилось интересно.

– Едва ли, – сказал генерал. – Французская армия не та, что в Великой войне. Но я, уважаемый Роман Николаевич, предполагаю, что германская армия не на Францию пойдет войною. А на Польшу.

Олонецкий-отец согласно кивнул головой.

– Возможно, и на Польшу. Этот польский коридор, Данциг, наглые заявления Пилсудского... Но Франция...

– Несомненно, и Франция. Но для этого к власти должен прийти Гитлер.

Хозяйка остановила спор сообщением, что сейчас подадут сладкое.

– А ты не думаешь, папа, что Гитлер объединится с Пилсудским, и они вместе нападут на Совдепию?

Отец укоризненно посмотрел на младшего отпрыска – вот что значит человек, далекий от политики, который не понимает самых простых хитросплетений международных комбинаций!

– Нет, дорогой. Германия и Польша – старинные враги. И Гитлер этого не скрывает.

– Ну, а все-таки? – не отставал Юрий. – Представь невозможное: немцы и поляки объявляют войну большевикам.

Горничная внесла пирог и поставила его на край стола. Олонецкая-мать кивком поблагодарила ее.

Олонецкий-отец переглянулся с генералом.

– Если нападут, то Красная армия даст отпор, – он пожал плечами.

– И, разгромив внешнего врага, непременно ударит по врагу внутреннему! – закончил генерал.

– Вы уверены, Василий Викторович? – откинулся на стуле дядя Wowa.

– Да, Владимир Николаевич, уверен. Красной армии не за что сражаться. За Третий Интернационал? – Не смешите меня. Красная армия состоит в основном из крестьян. Крестьян два года подряд раскулачивают. Придумают такое! Я недавно смотрел кинохронику – парад Красной армии...

– Я тоже видел эту хронику, – признался Роман Николаевич.

– Так вот. Войска маршируют не хуже нашей старой гвардии. Но маршировать – не воевать. Красной армии не за что сражаться и незачем побеждать. «Да так всегда было!» – скажете вы, скептик. Зачем было русским мужичкам побеждать когда-то венгров или брать Париж? А Красная армия вдобавок многочисленна.

– Наполеон сказал: «Большие батальоны всегда правы», – князь ожидал, чем парирует генерал.

– Возможно. Но всё изменилось 15 лет назад... Впервые солдаты убедились в том, о чем они в прошлом столетии не подозревали: стрелять в неприятеля по приказу начальства не так уж обязательно; можно стрелять и в начальство. Вековой инерции послушания у Красной армии нет. Тогда что?

– Может, душа? – усмехнулся Юрий.

– А что у красноармейца в душе? Они видят, что творится вокруг. Стрелять они, вероятно, будут, но в кого?

– Но есть техника, оружие... Разве они не важнее того, что вы сейчас называете «душа»? – не согласился Олег.

– Я хотел бы вам напомнить, Олег Романович, слова маршала Фоша: «Когда я становлюсь на техническую точку зрения, победа над Германией представляется мне невозможной. Когда я подхожу к вопросу с точки зрения духа, я не сомневаюсь в победе ни минуты».

– Словно из «Войны и мира» Толстого, – улыбнулся Юрий и посмотрел на отца.

Тот вздохнул.

– Если эти так прекрасно марширующие войска действительно всей душой преданы советской власти, то мы вряд ли когда-нибудь увидим Россию.

Лариса Владимировна Олонецкая закончила политические дискуссии и предсказания грядущего:

– Друзья мои, не пора ли отведать пирог? Вы о нем забыли.

ДОКУМЕНТЫ ВРЕМЕНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(б) «О ПАСПОРТНОЙ СИСТЕМЕ И РАЗГРУЗКЕ ГОРОДОВ ОТ ЛИШНИХ ЭЛЕМЕНТОВ»

25 ноября 1932 г.

№ 123, п. 34/10 – О паспортной системе и разгрузке городов от лишних элементов.

Ввиду разгрузки Москвы и Ленинграда и других крупных городских центров С.С.С.Р. от лишних, не связанных с производством и работой учреждений, а также от скрывающихся в городах кулацких, уголовных и других антиобщественных элементов, признать необходимым:

1. Ввести единую паспортную систему по СССР с отменой всех других

видов удостоверений, выданных той или иной организацией и дававших до сих пор право на прописку в городах.

2. Организовать, в первую очередь в Москве и Ленинграде, аппарат учета и регистрации населения и регулирования въезда и выезда.

3. Для выработки конкретных мероприятий как законодательного, так и организационно-практического характера, создать комиссию в составе: т.т. Балицкий (председатель), Агранов, Усов, Булганин, Кадацкий, Медведь, Реденс, Кузютов (Харьков), Акулов, Гроссман, Ананченко (Донбасс), Якимович (НКЗем).

Срок работы – 2 декады. Первый доклад в Политбюро 25 ноября.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(б) О ВЫСЕЛЕНИИ КУЛАЦКИХ СЕМЕЙ

25 ноября 1932 г.

№ 123, п. 67/43. – Вопрос Севкавказкрайкома.

Принять предложение т.т. Шеболдаева и Кагановича о выселении из районов Кубани в двухдекадный срок 2 тысяч кулацко-зажиточных семей, злостно срывающих сев. Районы вселения определить совместно Севкавказкрайкому и О ГП У.

№ 128, п. 59/39. – Телеграмма т. Косиора

Принять следующее предложение ЦК КП(б)У:

Утвердить высылку на север из Харьковской области четырехсот семейств злостных элементов и кулаков, а также высылку на север 40 исключенных из партии коммунистов.

ПРЕССА

Никогда еще на Ривьере не было так много русских, как в этом году. В Ницце, на Променад-де-з-Англэ на каждом шагу звучит русская речь. При этом следует отметить, что празднующихся эмигрантов здесь сравнительно мало.

Большинство как-то пристроилось, что-то делает. Открыли рестораны, мастерские, магазины. Работают в качестве «гарсонов», садовников, шоферов... Эмигрантская изобретательность не имеет пределов: один бывший полковник специализируется на истреблении крыс, тараканов и всевозможных паразитов. Дела его идут блестяще.

Под вечер на набережной можно услышать обрывки разговоров:

– ...Да, три раза подряд поставил на черное. Первый раз – выиграл. Второй раз тоже... Ну, конечно, вошел в азарт. Бог трилицу любит... Должно быть, Бог не имеет к этому делу никакого отношения. Поставил все в третий раз на черное и, конечно, просадил...

* * *

Совсем особая публика живет в Жуан-ле-Пен. Это всё приезжие, «курортники». В полдень узенький пляж покрыт русскими телами. На раскаленном песке разбросаны обрывки русских газет.

Дамы, вымазанные какими-то жирами, предохраняющими кожу от беспо-

щадных солнечных лучей, сообщают приятельницам последние пляжные новости: – Вы видели Грановского? Вчера он со своим штатом обедал в казино... – А как его фильм? – Не знаю... Из Парижа с ним приехала уйма народа... – А что тут делает Шифрин? Он с Грановским? – Нет, он сам по себе. Приехал отдохнуть... – Хорошо было бы познакомиться. А вдруг предложит сниматься?

На пляже движение: окруженная свитой молодых людей проходит престелная девушка в пижамае.

Мужчины улыбаются, дамы поджимают губы. За спиной своей красавица слышит шепот на всех языках мира: – Мисс Рогая!

* * *

В Монте-Карло царит Великий Князь Дмитрий Павлович.

Без него не обходится ни один праздник, ни одно торжество, ни один великосветский прием. Дмитрий Павлович не знает ни отдыха, ни покоя. По утрам его можно видеть в «Пальм- Биче». Он принимает солнечную ванну в обществе нескольких друзей и затем купается в бассейне.

В тот день, когда Великий Князь захочет покинуть Монте-Карло, его некем будет заменить: Альфонс XIII решил прожить всё лето под Фонтенебло, а другой завсегдагатай Ривьеры, шведский король Густав, придет не раньше будущего года.

* * *

В Париже находится талантливый русский актер Владимир Соколов, замечательно игравший глухонемого в картине «Ничья земля».

Недавно Соколов ехал по Парижу в своей машине. В одном месте он не заметил сигнального красного огня и не застопорил машину. Раздался свисток. На подножку машины вскочил ажан.

– Ваши документы!

Соколов вынул бумаги и протянул их полицейскому.

Тот внимательно прочел имя и фамилию, потом взглянул на Соколова и рассмеялся:

– Поезжайте дальше. И останавливайтесь, когда вы видите красный свет... Я видел вас в синема... И теперь у меня рука не поднимается составить вам «контравансьон»!

* * *

Горгулов на процессе весьма неодобрительно отзывался о своей третьей, самой красивой, жене Штепковой.

Эта последняя не осталась в долгу. В беседе с одним чешским журналистом она сказала: – Прокурор Дона-Гиг назвал Горгулова «Распутиным русской эмиграции». Он даже не знал, насколько был близок к истине... Однажды Горгулов пришел на маскарад в Прешове, загримировавшись под Распутина... Он имел большой успех... На этом балу я имела несчастье познакомиться с этим человеком, который быстро подчинил меня своей сильной воле.

* * *

Рижская газета «Сегодня» приводит фотографический снимок с любопытного документа, полученного из Советской России.

Какой-то замученный советский гражданин пишет своей сестре в Ригу: «Дорогая сестра Гельма, мы совершенно остались без ничего, а положение в питании ухудшилось и со всяким днем всё хуже и хуже становится. Если вы замедлите, то не знаю, что будет с нами. Ждем от вас помощи. Спасайте нашу жизнь от голодной смерти. Многие умирают от недоедания. Ради наших малюток, пришлите хоть крохи. Часто приходится детей укладывать спать голодными и почти с дракой, насильно, потому что голодные не хотят спать...»

Это малограмотное письмо было вскрыто советской цензурой. Часть письма, за исключением приведенных строк, замарали китайской тушью. А сверху цензор соизволил написать стишки:

Сыск у нас поставлен чудно.
В ГПУ попасть не трудно.

Никто в этом не сомневается...

* * *

Вдова Горгулова затребовала тело казненного мужа. Время от времени она навещает к мэтру Жеро, чтобы узнать, не пришел ли ответ от префекта департаменты Сены. Ответ пока не пришел, но сомнений быть не может: родственникам никогда не отказывают в выдаче тела.

Если могила на кладбище будет разрыта, вдове придется уплатить за это департаменту несколько сот франков. В эту сумму входит ночная работа могильщика (извлечение тела в квартале казненных никогда не происходит днем, когда кладбище открыто, а ночью, при свете фонарей) и стоимость гроба из простого дерева: 67 франков.

Если Горгулова захочет увезти тело мужа в Швейцарию, это будет сопряжено с довольно значительными расходами: двойной металлический гроб, специальный вагон и т. д. По всей вероятности, убийца президента республики будет попросту похоронен на кладбище Пэ, под Парижем.

Имя его не может быть высечено на могильной плите. По существующим правилам, вдова должна довольствоваться лишь инициалами «П. Г.» и датой.

Делается это для того, чтобы могилы казненных не подвергались надругательствам.

* * *

В квартале Отей есть дома, почти сплошь населенные русскими. Надо сказать правду, жить в них нелегко.

Часов в 11 ночи в одном из таких домов, на рю Микель Анж, начинают играть граммофоны.

В 2 часа жильцы просыпаются: со двора несется придушенный голос:

– Нина Ивановна, вы дома? Мы к вам на огонек...

В 4 часа утра гости Нины Ивановны устраиваются у окна и начинают оживленный спор о судьбах русской эмиграции...

В соседней квартире распахивается окно; заспанная дама кричит:

– Черт знает что, отдохнуть не дадут! Мы жаловаться будем...

Гости Нины Ивановны начинают прощаться. И только в пятом часу в доме наступает тишина.

* * *

Главный надзиратель вручил директору Санте узел с вещами, оставшимися после Горгулова.

Вещи не Бог весть какие: пиджак, в котором он был на суде, помятая серая шляпа, немного белья, бумажник и груда исписанной бумаги... Последние записи Горгулова очень любопытны. Предчувствуя, вероятно, близкий конец, он описал... свою собственную казнь. Описание фантастическое: оркестр исполняет «Гимн Зеленых», воинские почести, зал и т. д...

В тот самый день, когда мэтр Жеро был принят в Елисейском дворце, Горгулов сочинил стихи:

Je meurs, mais mon nom survivra Dans l'histoire de la vieille Russie.
C'est le grain de sable qui arrête la machine
Et la goûte d'huile qui la fait marcher.

Дальше идут две строки, в которых Горгулов говорит о себе и о своем преступлении как о спасительной капле масла, устранившей вред, причиненный песчинками...

Вещи, остающиеся в Санте после казненных, принадлежат родственникам. Но фактически они очень редко за ними приходят. Директор Гильбер держит у себя скудное «наследство» один год и один день.

После чего он вправе поступить с вещами по своему усмотрению. Платье и белье передается много семейным надзирателям. Себе лично мосье Гильбер оставляет лишь ворот от рубахи казненного, наскоро схваченный в последнюю минуту ножницами Дейблера. У него имеется целая коллекция таких «сувениров». Ворот от полотняной рубахи Горгулова занял место в коллекции рядом с воротом Гоше, убийцы ювелира с авеню Мозар.

* * *

Известие о том, что талантливый драматург и артист Саша Гитри разводится с Ивонной Прентап, вызвало на Ривьере, где он отдыхал этим летом, много шума.

Недавно Саша Гитри решил совершить «инкогнито» экскурсию на парусной лодке. Повез его старый рыбак. Первое время рыбак и его пассажир, мечтательно глядевший на морскую зыбь, не обменялись ни одним словом. Вдруг морской волк нарушил молчание:

– Так, значит, вы и будете знаменитый Саша Гитри, о котором так много говорят?

Польщенный драматург улыбнулся и любезно ответил:

– Да, я...

Продолжительное молчание. Рыбак набил трубку и погрузился в воспоминания:

– Моя тоже ушла... Да... Лет 20 тому назад... С матросом дальнего плавания...

Лицо Саши Гитри вытянулось... Рыбак хладнокровно сплюнул за борт и задал последний вопрос :

– А кроме этого, чем вы занимаетесь в жизни?

* * *

В Ницце, на променад де-з-Англэ, можно было видеть известного русского полужурналиста, полукинематографического деятеля.

Он появлялся всегда в обществе прелестной женщины, явно мечтавшей о карьере «ведетты». Потом красавица исчезла. Ее ментор стал совершать прогулки в полном одиночестве.

Один из друзей осторожно осведомился:

– А эта молодая особа... Ее больше с вами не видно?

– Да... уехала... Между нами всё кончено! Поймите... Деньги? Я скуп... Красота? Я уродлив. Обещания? Я их никогда не сдерживаю...

И он хладнокровно погрузился в чтение газеты.

*Железная Маска
«Иллюстрированная Россия» (Париж), 1932, № 40*

Конец 1-й книги

Игорь Джерри Курас

Охотники Брейгеля

* * *

Лаура живет по московскому времени,
в Москве, освещенной огнями, но в тени
кромешной, среди ослепленных витрин –
во тьме, над которой луны аспирина –
последней дающей надежду таблеткой –
висит за окном над чернеющей веткой.

Лаура не знает о том, что не та,
ее накрывает в огнях темнота –
что темное зеркало помнит приметы,
и в нем отражаясь, ночные предметы,
себя подвергают смертельной тоске.
Лаура идет по тоскливой Москве,

веселой Москве, ослепительной, огненной –
как будто удачно для жизни подогнутой,
как сдвинутый намертво ржавый засов;

московское время двенадцать часов.

Лаура не знает: за гранями мира –
на главной странице большого клавира,
где вечность свои водружает шатры –
пунктирно ее проступили черты.

* * *

Это снова вокзалы и черная мгла
это снова котомки,
узлы;
это снова подвалы в четыре угла
и сирены –
надсадны и злы.

По секретному коду ответь на «Сигнал» –
напиши,
что случилось с тобой, –

если пламя такое, что плавит металл,
где труба, что сыграет отбой?

Напиши,
что случилось с тобой,
напиши,
как себя сохраняешь сейчас
среди тех, что уже не имеют души
и по улицам ходят без глаз.
Не заразна ли эта слепая толпа,
не ведет ли тебя за собой?
Если музыка смерти, как люди, слепа,
где труба, что сыграет отбой?

Это отзвук чужих наплывающих снов,
где уводят людей на расстрел.
Дым котельной,
неровный чернеющий ров,
тишина
остывающих тел.

* * *

Лишь бы не было войны.
Лишь бы
кто-то злого не сказал
слова,
отрекайся от меня
трижды,
а потом еще разок,
снова.
Отрекайся от меня
так же,
как любимый ученик
(плох ли –
нет другого).
Отрекись
даже
если утром петухи
сдохли.
Даже если не придут
псами-
понятыми
в злую ночь
гости;

даже если не хотят
сами
отреченья твоего
вовсе.
Мой последний в хрипоте
окрик
и мучительна моя
жажда –
отрекайся,
ничего,
отрок:
то, что я не отрекусь –
важно.

* * *

Ты одна в моей душе –
будто луч на черном лике,
точно в зарослях черники
свет в неровных листьях диких
прячется, как в шалаше.

Вот лягушка в базилике
незаметная уже;
или же
на длинной пике
в белой клеверной мастике
одуванчика драже.

Надо быть настороже
чтобы видеть эти стыки
века в сгустках повилики,
в неудачном падеже –
в темном дачном этаже,

где мерцанье звезд безликих,
где медведица в ковше;
и миров сгоревших блики,
как страницы глупой книги,
как вселенское клише.

Ты одна в моей душе.
Небо стынет в сердолике;
только птицы-горемыки
издают ночные крики
в непроглядном камыше.

* * *

Вошел в ручей и сделался незрим,
и ощутил по щиколотку холод –
речной песок был как ячменный солод:
крупнозернистым, вязким и густым;
бесцветный ил покоился под ним,
и мир за мной был надвое расколот.

Чуть позади, где оставался город,
звучал набат, кричали «Элоhim!»
Уже в подвалах начинался голод;
и к свастике тянулся серп-и-молот,
и крест церковный радовался им.

Я перешел ручей. Я стал незрим;
бесплотен, но беспрекословно молод,
и сам себе дороже всяких золот,
уже бессмертен и неуязвим.

* * *

Она говорит ему,
а он медленно пьет эспрессо.
Он – бизнесмен, а она филолог
и модная поэтесса.
Она
как бы рисует в рифму
клиповые зарисовки, картинки:
типа всё это прямо из жизни простой угловатой блондинки.

И вот они оба сидят в Москве
недалеко от Манежки –
(или
в Питере на Стремянной)
как теперь говорят: в кафешке.
У него есть жена – это всё совершенно понятно;
и небо уже краснеет где-то над ними, пылая закатно.
И вся мизансцена приближена к чеховскому рассказу,
но почему-то героев не жалко, как теперь говорится: ни разу.

Очень скоро взорвется время и мёртво замрет в этом взрыве.
Она окажется где-то в Грузии;
он – вместе с еврейской женой – в Тель-Авиве.

И она будет мощно писать про войну и про трудную жизнь в разлуке,
а он будет, как теперь говорится,
лайкать всё это в фейсбуке.

И будет обоим казаться, что всё это не навсегда,
не навечно.

И будет лодка у берега Яффо покачиваться беспечно.
А другая лодка – где-то у берегов Батуми,
но как ни складывай всё это мысленно,
нет –
ничего не получится в сумме.

* * *

Покуда охотники Брейгеля топчутся в раннем снегу;
покуда собаки бегут и следы стерегут на бегу,
мне вышло сказать, – но молчу и сказать ничего не могу:
тебя берегу от ублюдков на том берегу.

Тебя берегу, потому что нельзя мне тебя не сберечь:
в уплату за это я отдал священное право на речь –
и пенную чашу на пире отцов, и колчан свой, и меч,
и лиру, уже не пригодную звуки извлечь.

И Лиру слепому увидеть дано, что тебе не понять:
извечно по снегу собаки бегут; и опять, и опять –
как будто и время направлено внутрь –
или, может быть, вспять –
и женщин бросают на снег,
не умея обнять.

И женщин бросают.
Всё это не ново. Так было всегда:
аптеки, столбы с фонарями и висельников череда.
Иосиф считает коров и считает, что будет беда, –
я верю/не верю – сгорают дотла города.

Я верю/не верю. Молчу; я мычу угловато: «угу»,
покуда охотники Брейгеля топчутся в раннем снегу,
покуда собаки бегут и следы стерегут на бегу –
на этом моем берегу,
на твоём берегу.

(SCHAFE KÖNNEN SICHER WEIDEN)

Невозможно понять: это дальняя даль или близь? –
ведь пространство, как время не ведаёт возраста, зрелости:
я не верю, что овцы могли бы спокойно пастись –
что могли бы спастись – но, я знаю, мне очень хотелось бы.

Созревает зерно, прозревает неяркий закат,
и над шпилем готическим звездам загадочным празднично;
вот и женщина в черном тихонько вступает затакт,
чтобы стали спокойными паства земная и пастбище.

Чтобы спали спокойно все дети; и чтобы еще
возвратились ушедшие в море, в огонь или из дому;
чтобы женщина в черном, раздевшись, уткнулась в плечо
мирно спящего рядом мужчины, как принято издавна.

И готический шпиль осторожно опробует высь,
и все звезды зажгутся над ним до одной, а не выборочно –
и тогда, если овцам удастся спокойно пастись,
есть надежда спастись и у нас:
ненадёжна и призрачна.

Бостон

Владимир Козлов

Трепетание в одиночестве

[Из цикла «Чистое поле»]

[НАЧАЛО]

Ни плоскости, ни высоты,
глаза пусты и слова пусты,
нет перспективы и нет пути,
нет того, кому идти.

Но – что-то едет прочь
влекомо силами сквозь ночь.
Остановиться первый бунт,
сойти на твердый грунт.

Текстуру ощутить стопой,
внимательно вдохнуть настой.
Мрак смотреть, пока его дела
луч не развалит до седла.

[КОРНИ]

Не широк, не богат словарь,
а захватан и стерт,
как на древней монете царь
или герб, или горб.

И когда она стерта совсем,
и остались лишь диск да блеск,
то металл этой горстки морфем
ценят уже на вес.

Пушай ветра вырвет из рук
легкие деньги струя.
Только древних корней круг
остается теперь при я.

[ПРОБУЖДЕНИЕ]

В поезде на рассвете.
За окном невидимый ветер
на скорости кормит и поит.
Видно лишь чистое поле.

Миг узнавания поля.
Пробуждение в поле всегда
повторяется, сколь бы
долго, кому и куда.

На рассвете в летящем вагоне
я дрожит, как осиновый лист.
Страх позабытый нагонит,
как-то он был позабыт.

[ОСЕДЛОСТЬ]

Улицы наши еще не одеты
не то что в гранит – в асфальт,
образы предков еще не отлиты
ни в подлинность и ни в фальшь.

Книги еще идут на подтирку,
трудно растут сады.
Дебатируем, чем заткнуть дырку,
и меняем на ней зады.

Это, конечно, уже не кочевье,
но и оседлость еще налегке.
Если место и важно, тем, что
мы где-то тут подошли к реке.

[ВСПЫШКА]

Поле, чистое поле,
выгоревшие цвета,
существование слепое,
предсказуемые места.

Поле встает как вспышка,
озарение и отрывка,

перемена обличий,
правил, привычек.

Солнца зависшая вспышка,
воздух дрожит ниже.
Вращающаяся покрывка
в сущности неподвижна.

[МЕРЗЛОТА]

Только кажется, что печёт, –
всё равно внутри мерзлота
упирается, не дает,
чтобы одна красота.

Что-то сжалось так сильно там,
что не проходит луч.
Ни жива, ни мертва мерзлота,
черный ящик закрыт на ключ.

Не любили тебя, мерзлота,
не жалели, не грели в руках,
но теперь твоя красота
на виду, и ты станешь прах.

[ТРЕПЕТ]

Тех, кто честь твою отбирали,
видно, надо благодарить.
Отбирали – не отобрали,
значит надо им пособить.

Сбросить столько, что мир до поля
очищается, и, попадая в оцепь,
представать не раздетым, а голым:
трепещи теперь, трепещи.

Трепетание в одиночестве
есть общей памяти шанс.
Первый призрачный в общество,
первый достойный шаг.

[ЗВЕРЬ]

Рыщет невидимый зверь,
тьнь периферийных зон.
Он – скор – сюр – сер.
Он скрывает, что очень зол.

Дышит неведомо где.
Чувствуешь запах, смрад.
Нарастает ущерб везде.
Вдруг – рук – след – прах.

В поле веда – в поле виден он.
Я защищает простор.
Здесь – горизонт – вот – дом.
Старый – бул – щил – спор.

[АВРАЛ]

Ах зачем отпустил в аврал
из натопленных братских могил,
чтобы я полюбило овал,
как его треугольник любил.

Вино и гашиш, Стамбул и Париж
разбивают семью и авто.
Эх, товарищ, ну что ж ты горишь,
не пытайся узнать, за что.

Как же должно быть холодно здесь,
чтобы чувствовать жар земли,
извести слышать благуя весть,
всех, кто в нее ушли.

[ПИСЬМЕННОСТЬ]

Письменность – это всё,
что проходит перед глазами.
Сломленной буквы стекает сок.
Трудно владеть азами.

Есть значения – крепко стоят,
есть – колышутся и трепещут;

есть – высокой травой ямб,
есть – летят и становятся меньше.

Жизни прочесть пейзаж
не хватает – так просто запомнить.
Созревание смысла уважь,
а то он лишь землю накормит.

[ПРЕДЕЛ]

Чистое поле нечисто
и невозможно, оно
пересчитано в числа,
урожайность, зерно,

га, издержки, законы,
рукоприкладство, власть.
Лишний раз к оконному
лбом бояться припасть,

в поезде задремавши,
поделенного за предел
выехать неудачно
мальчик-девочка захотел.

[ВЗРЫВ]

Взрыва далекого ветры
продолжают лететь, и я
всё меньше и меньше в центре
окружности бытия.

И уже не догнать границы –
только бы удержать
сердце и на ветру страницы
чем-нибудь поприжать.

Только упёртое и тупое,
смелое и человеческое, как
обитатель чистого поля,
вынесет этот бардак.

[ИСТОЩЕНИЕ]

Меня истошили, столько
выжали из меня.
Дай на теле твоём, поле,
повалиться как простыня.

Ничего уже не понимаю,
ничем нету смысла быть.
Обнимаю тебя, обнимаю.
Резко вскакиваю, убит.

Дай подышать со смыслом
две минуты, возможно, три,
десять летят со свистом,
я без смысла уже не могу.

Ростов-на-Дону

Елена Дубровина

* * *

Закат, разлился как сок граната,
разлился густо по плоским крышам.
Застыл прохожий в лучах заката,
ночные звуки едва услышав.

И шорох ветра, и звук цикады
слились едино в ночное пенье,
и мир затих, и пришло прозренье,
как Божий дар, как судьбы награда.

* * *

Нет, не рассеялся мираж,
и сон не крепче,
взбираюсь на восьмой этаж,
бегу от смерти.
Я от себя бегу, и – выше
звезды-блудницы,
уже видны в тумане крыши,
и рядом птицы
летят на юг, к теплу – погреться,
и я летаю,
бегу от смерти,
жизнь огибаю.
Внизу – безмолвность
теплом омыта,
а здесь безвольность
в душе сокрыта.
Здесь – блюдо с яством,
бокал – в осколках –
путь мой неясный.
А жизнью сколько
прожить осталось? –
вопрос извечный.
Быть может, малость,
а может – вечность?

* * *

Ноябрь мрачен. Ночью, как волна,
воскреснут звезды в сетке лучезримой,
взойдет луна, предчувствием больна,
и в лужах отразится светом зимним.

Повеет вдруг прохладой с дальних гор.
Встречая вновь ноябрьскую стужу,
затеют птицы птичий разговор,
и ветер в вальсе легкий лист закружит.

Мелодия осенних голосов
разбудит тишину, и как прозренье
из лунных бликов, из вчерашних снов
снег кружевами упадет на землю.

* * *

Закружились в оконном просвете
три снежинки в безумном фокстроте,
и замерзли в оранжевом свете
на фальшиво проигранной ноте.

Просочившись дыханием в щели,
воздух солнечным светом пронизан.
Он осел на раскидистой ели
и волной пробежал по карнизам.

А под вечер замерзнут в сугробе
голубые вчерашние лужи,
зимний ветер, уставший с дороги,
соберет музыкантов на ужин.

И начнут представление скрипки,
на ветвях, как на струнах, играя,
провода оборвутся, как нитки,
лунный путь в небесах зажигая.

* * *

В огне заката звезды тают,
и стрелы огненных дождей
на землю мирную слетают
и растворяются на ней.

Ночь черным зверем копошится
в углу, закутавшись в тепло,
закат, пытаясь с ночью слиться,
глядит задумчиво в окно.

Стих, четким словом, черно-белым,
врывается в спокойный сон,
а утром кажется, что не был
ни сон, ни звездный марафон,

ни стих, исчезнувший под утро,
ни жизнь в огне, как тот закат,
и только время поминутно
по стрелкам двигается в такт.

* * *

Когда наступили сумерки
и медленно день чернеет,
вокруг всё как будто умерло,
и с севера холодом веет.

Закат засыпает в сроки,
заходит солнце за морем,
а я, не справившись с горем,
пишу свои горькие строки.

Не справишься? Нет, не справлюсь,
в подушку кричать не буду,
как солнечный луч расплаволюсь
иль стану каменной грудой.

И в холоде будет душно,
а сердце – будто из стали
будет биться всё глуше.
Смирилась? Нет, просто устала.

Устала от лунной пыли,
от бликов в солнечной тени.
Когда-то нас вспомнят – мы были,
а кто-то всплакнет – уцелели.

А жить осталось так мало,
и краски ложатся густо.
Скажите, что с нами стало?
И отчего так грустно?

* * *

И ты не спишь, прозрачнее стекла
ночная тишина. И неслучайно
взметнулась птица, моего окна
крылом коснулась. Всё же нет печальной
молчанья звезд. Беззвездный календарь
страницы повернул. И в полномочье
вступил с утра, как строгий секретарь,
осенний листопад. И этой ночью,
прислушиваясь к шороху листвы,
вдруг понимаешь – жизнь прошла напрасно,
как эта осень, что тревожит сны,
как этот миг несбывшегося счастья.

Филадельфия

Амин Алаев

Везение

1.

Бенни оторвал взгляд от содержимого багажника и со скепсисом посмотрел на головной убор Шона. Новая ковбойская шляпа его напарника была совсем не полицейского нежно-кремового цвета и при этом просто необъятной. Бенни едва заметно покачал головой в недоумении, но ничего не сказал.

– Что такое?

В голосе Шона сквозило легкое раздражение. Похоже, Бен был не первым, кто одарил его таким взглядом. Но шляпа и правда словно служила иллюстрацией к известной поговорке о том, что в Техасе *всё* больших размеров.

– Ты в ней не поместишься в машину, – сказал, наконец, Бенни и захлопнул крышку багажника.

– Да знаю я...

Шон снял шляпу и закинул ее на заднее сидение «Краун-Вика» с надписью POLICE крупными буквами по обеим сторонам.

– Ну поехали, – сказал Бенни и уселся за руль.

Шон сел с другой стороны и стал возиться с ремнем безопасности. Камеры видеонаблюдения поверх бронжилетов на груди у обоих, как всегда, мешали пристегнуться.

Шон МакГлэдери и Бенхамин – Бен, или Бенни, – Рамирес работали в патруле на окраине Сан-Антонио. День только начался, но вой сирен уже слышался дважды в окрестностях их полицейского участка. У обоих не было иллюзий насчет того, что могла принести смена, – после недавней пандемии улицы на периферии их мегаполиса стали куда более непредсказуемыми, чем до нее. Но хотя бы погода обещала быть неплохой.

Бен представлял собой образец «бывалого парня»: после нескольких лет в морской пехоте и тура в Афганистан он уже третий год служил в патруле и не раз оказывался в переделках. Биография Шона была попроще. Он служил второй год, после полицейской академии, и по стечению обстоятельств («счастливому», всегда добавлял он мысленно), еще ни разу не использовал табельное оружие. Даже не вытаскивал из кобуры.

Бен вывернул на ближайший проспект и перестроился в левую полосу. Трафик был плотным, несмотря на раннее утро.

– Смотри! – сказал он, не отрывая взгляда от дороги, и протянул Шону буклет.

Шон развернул буклет и пробежался глазами по яркому гляncу с портретом улыбающейся женщины в темном деловом костюме, после чего картинно присвистнул.

– Поздравляю! И Роберту, и тебя, – сказал он напарнику.

– *Грасиас*, – ответил Бен.

Жена Бена получила лицензию риэлтора. Буклет был ее рекламным проспектом, который Роберта Рамирес заказала для перспективных клиентов в районе новой работы.

– Вчера сделали рассылку в округе. Вот, ждем теперь листингов.

Шон покивал и положил буклет в дверной карман. Сам он, в отличие от Рамиреса, не был женат и не имел постоянной спутницы жизни. Хотя новая девушка-администратор в их участке, блондинка с экзотическим для Техаса именем Ольга и модельной внешностью, привлекала его внимание. Как, впрочем, и многих других патрульных.

– Давай заедем за пончиками, тут недалеко «Криспи Крим», – предложил Шон.

– Ты уверен? Может, лучше с *борца* начнем? – нарочито серьезно спросил Бенни, но тут же громко рассмеялся.

Шон покачал головой и ничего не сказал. Вместо этого, чуть покраснев, он вытащил риэлторский буклет из двери и вновь стал его рассматривать.

– Я тебе точно говорю, *амиго*. Если ты первым к ней не подкартишь, это сделает Рикардо из ночной смены. Или Стив. Или Кенни.

– Да знаю я...

Ольга Терещенко, говорящая по-английски без акцента, несмотря на свои имя и фамилию, уже стала весьма популярной, хотя работала у них всего пару месяцев. Ходили слухи, что она только в этом году закончила полицейскую академию, но начальство уже планировало сделать ее «лицом» департамента по связям с общественностью. Ее грамотная, уверенная речь и внешние данные, несомненно, сыграли свою роль. Шон отлично понимал, что конкуренция у него весьма серьезная.

Вдруг металлическим голосом проскрежетало радио. Шон ответил. Бенни резко перестроился в крайнюю правую полосу и включил мигалку с сиреной. Пончики откладывались.

2.

Дэн запарковал свой пыльный «седан» на лоте с табличкой «Для посетителей». Взяв с собой сумку с ноутбуком, он окинул взглядом парковку. Автомобилей было не очень много. Это радовало. Дэн не любил, когда в отелях много постояльцев. И хотя сегодня это для него

не должно было играть никакой роли, смутное чувство удовлетворения по инерции слегка улучшило ему настроение.

Этот «Бест Вестерн» на окраине Сан-Антонио выглядел совершенно стандартным во всех отношениях. Типичная вывеска с белыми буквами на синем фоне; серая архитектура, обычная для всех небольших гостиниц этой сети; обшарпанные стены и аккуратно подстриженные кусты по периметру. Дэн захлопнул дверь и закрыл машину, уже далеко не новый «Аккорд», нажав кнопку на ключе дважды. От второго нажатия раздался узнаваемый звук, всегда напоминавший ему чей-то предсмертный стон. Будет ли он так вот стонать перед смертью, спрашивал он себя в последнее время, и сам себе уверенно отвечал: «Не буду!». Впрочем, стопроцентной гарантии в этом он себе дать не мог. Легкая вмятина у заднего правого колеса – его задел огромный трак пару месяцев назад на парковке Уолл-Марта – из-за налипшей пыли была чуть более заметна, чем обычно. Вмятину нужно было подрихтовать, и он уже даже получил формальное одобрение от страховой компании. Но сегодня такие мелочи не беспокоили Дэна. Сегодня нужно было сфокусироваться на вопросах поважнее.

Дэн зашел в вестибюль гостиницы и осмотрелся. На ресепшен работала лишь одна дама, несмотря на три окошка, прорезанные, словно амбразуры, в прозрачном пластике-перегородке во всю протяженность стойки. Эти отверстия были тем немногим, что напоминало о польжавшей еще совсем недавно на континенте пандемии. В Техасе уже мало кто носил маски, были сняты почти все ограничения.

Дама обслуживала заселявшегося клиента, толстого седовласого мужика. За ним в очереди был еще один, молодой и поджарый. Дэн встал в очередь и стал прикидывать, сколько времени займет у этой неторопливой женщины выдать ему номер парковочного лота. Это всё, что ему было нужно, поскольку уже много лет Дэн заселялся в гостиницы через приложение в айфоне, не требовавшем общения с администраторами, что ему очень нравилось. Но сегодня он приехал в Сан-Антонио на машине, а не прилетел, как обычно, и поэтому общение с дамой в амбразуре было неизбежным.

Вдруг послышался легкий мелодичный перезвон, открылись двери лифта справа от стойки. Тут же всё пространство вестибюля наполнила гневная испанская речь, полившаяся мощным потоком, – быстрая, словно пулеметная очередь. Все как по команде повернулись в сторону лифта. Из него вышла заплаканная женщина с блестящими воронными волосами и сразу же за ней – мужчина, отдаленно похожий на голливудского киноактера, имени которого Дэн не мог сразу припомнить. Будучи из аризонского Финикса, Дэн немного понимал по-испански. Похоже, разворачивалась семейная драма.

«Por que, mi amore? Por que?»*, – истерично всхлипывая, повто-

* Por que, mi amore? Por que? – Почему, моя любовь? Почему? (исп.)

ряла женщина, размазывая слезы и тушь по смуглому красивому лицу, на что мужчина со злобой отвечал, но с такой скоростью, что Дэн смог разобрать только ругательства и упоминание о том, что кому-то не поздоровится. Увидев четыре пары удивленных глаз, прикованных к ним, мужчина и женщина резко замолчали и быстро прошли мимо очереди через холл к выходу на парковку. На мгновение взгляды Дэна и «киноактера» встретились, и тут Дэн вспомнил – Бенисио Дель Торо, так звали эту кинозвезду! Глаза мужчины сверкали яростью, и в другой раз Дэну стало бы не по себе от такой нескрываемой враждебности. Но не сегодня. Сегодня ему всё было без разницы. Даже если этот испаноязычный мачо был головолом-сикарио*, засланным сюда картелем Синалоа для кровавой мести кому-то.

Дэн вошел в номер на третьем этаже гостиницы, с любопытством отметив, что цифры «319» слагались в число «13». Нет, он не был суеверным. Или религиозным. Несмотря на то, что в раннем детстве мать регулярно брала его с собой в русскую православную церковь в Бруклине, где прошла его юность. Религия как-то обошла его стороной, и вся ритуальная помпезность службы в храме, православном или каком ином, казалась ему надуманной и ненастоящей. Если бог и существовал, и являлся при этом всемогущим и вездесущим, то мысль о том, что его хоть в какой-то степени беспокоят судьбы отдельно взятых верующих, выглядела для Дэна столь же нелепой, насколько этих верующих беспокоили судьбы отдельно взятых любителей в океане или армадиллов на Льяно Эстакадо. Грехи верующих, столь трудолюбиво замаливаемые порою самими верующими, по его мнению, только в мире людей имели смысл и важность искупления, а иногда не имели их вовсе. Скажем, грех распития алкоголя в исламе. Дэн не видел ничего плохого в том, чтобы после трудного рабочего дня выпить пару банок пива или бокал красного вина. Но при этом он понимал, что делиться своими взглядами на этот запрет с практикующими мусульманами было бы напрасной (а в каких-то случаях даже и опасной) затеей. Или, скажем, грех самоубийства – почему этот глубоко личный поступок вообще считался грехом, особенно если человек перед тем, как совершить суицид, прагматично принимал меры для обеспечения семьи после его ухода из жизни? Он много размышлял об этом в последние полгода и пришел к выводу, что суицид не должен быть грехом. Ни в какой религии и *особенно* в его случае.

После приезда в Штаты с родителями из украинского Донецка, Дэн, он же семилетний Даниил Курносов, очень быстро адаптировался к новой жизни, как и все дети в его возрасте. Он всё еще говорил

* Sicario – киллер (*исп.*)

по-русски без акцента и с почти правильными падежами, но английский настолько плотно вошел в его жизнь, что русский оказался далеко на задворках сознания, и даже вездесущий в Аризоне и Техасе испанский теперь, после смерти матери в прошлом году, использовался им чаще. Жизнь в Бруклине была предсказуемой и, можно сказать, успешной для Дэна – несмотря на то, что отец ушел из жизни через четыре года после иммиграции, оставив их с матерью наедине с невыплаченной ипотекой за простенькую квартиру в небогатом районе. Мать горбатилась на двух работах, и сам Дэн, как только смог, начал зарабатывать, чтобы ей помогать. Балансируя на грани нищеты, они смогли выплачивать проценты по ипотеке; обстоятельства закалили маленького Данилку, понявшего в те непростые годы очень важную истину: рассчитывать в этом мире можно было лишь на собственные силы, а не на чью-то помощь, божественную или людскую. И поэтому после школы Дэн приложил максимум усилий, чтобы получить полную стипендию в одном из колледжей в том же Бруклине, который он и закончил по специальности «бизнес менеджмент». Поработав в Нью-Йорке и в Нью-Джерси, Дэн, в конце концов, оказался в аризонском Финиксе, где теперь трудился заместителем директора по продажам в компании «Аксиом Солушнс», разрабатывающей и продающей программное обеспечение для индустрии общепита. Продавать софт ресторанным сетям было сложно и хлопотно, но бизнес этот оказался очень прибыльным. Умудренный опытом после нескольких лет работы, Дэн даже подумывал о том, чтобы открыть свою собственную компанию по разработке программной продукции, но уже в иной области. В бесконечных командировках по континенту, постоянном изучении рынка и общении с бизнесами он увидел нишу для софта в поставках замороженных морепродуктов в торговые и ресторанные сети. Впрочем, это было давно, до пандемии. Сейчас Дэна эта идея уже не интересовала, хотя он и создал подробный бизнес-план, который включал даже диаграммы вебсайта и мобильное приложение для компаний в Штатах и Канаде, поставляющих свежие лобстеры и креветки по всей Северной Америке. Но сейчас Дэна интересовало совсем другое. И, как он надеялся, продолжаться это будет недолго.

Он оставил чемодан в прихожей и прошел в комнату. Совершенно стандартный расклад: две аккуратно застеленные кровати с тумбочкой между ними, над которой был светильник; крошечный холодильник, куда трудно поместить даже упаковку пива; письменный стол в углу с настольной лампой, в которой были розетки и (это уже необычно!) даже USB-порты для компьютера. На стене сиял огромный плоский экран телевизора. На стойке под телевизором по центру, что тоже нетипично, – две пластиковые бутылки с водой, словно предлагающие побыстрее выпить содержимое и выбросить их в корзину для пластикового рециклинга.

Дэн прошел к столу и поставил на него сумку с ноутбуком, после чего раздвинул занавески и посмотрел в окно. Эта сторона здания выходила на хайвей с плотным траффиком, за которым раскинулись до горизонта серые коробки складов и терминалов транспортных компаний. Никакого гламура, обычный бизнес-номер с типичной промзоной за окном. Дэн привык к такому.

Он выгащил ноутбук и воткнул кабель в розетку на лампе. Потом взял пульт и включил телевизор. Пролистав несколько каналов, он нашел CNN и сделал погромче. Ведущий Вульф Блитцер, с неизменно непреклонным лицом – Дэну всегда казалось, что такие лица должны быть у заплечных дел мастеров в Средневековье, – строго и холодно рассказывал о полыхающей в Украине войне.

Он слабо помнил город, в котором родился.

Самыми яркими его воспоминаниями были странные холмы-терриконы, раскиданные по всему Донецку, включая центр. Он помнил, что терриконы эти возникли из извлекаемого на поверхность грунта бесчисленных угольных шахт, подземным лабиринтом пронизывавших почву под жилыми кварталами. Кое-где на этих рукотворных курганах росли трава и даже деревья, но детям было строжайше запрещено на них взбираться и даже приближаться к ним. Терриконы считались опасными, и детей от них оберегали. То, что сейчас показывал новостной канал с суровыми комментариями Вульфа Блитцера, свидетельствовало, что теперь в Украине никого не оберегали, и дети там гибли едва ли не каждый день. Равно как и взрослые. В Украине шла война, знакомая американскому обывателю лишь по голливудским сагам, вроде «Спасение рядового Райана». Но в отличие от кино, это была настоящая война – жестокая и бесчеловечная, с кровью и грязью. С гигантским количеством беженцев, среди которых почти не было взрослых мужчин; беженцев, уныло шагающих по дорогам, усыпанным кратерами от взрывов и бурями остовами сгоревших автомобилей. Картинка разрушенных домов в какой-то донецкой деревне с причитающими от горя женщинами сменилась портретом жизнерадостного российского президента. Дэн смотрел на этого ухоженного пожилого человека, тепло улыбающегося в камеру, и вдруг поймал себя на мысли, что он совершенно не понимает причин этой безумной войны. Он точно знал, что не из-за языка, поскольку в Донецке (да и в столице Киеве, где он побывал однажды ребенком) все говорили практически только по-русски. Из-за религии – как это было в развалившейся на части Югославии, где убивали друг друга за принадлежность к разным конфессиям? Но все, кто относился к религии серьезно в тех местах, принадлежали к одной и той же Православной Церкви. Быть может, из-за ресурсов? Но на карте Россия была настолько огромной, что трудно было поверить в то, что ей чего-то не хватает.

Дэн вздохнул и повернулся к окну. По хайвею резво бежали огромные фуры с яркими надписями. Было солнечно. День обещал быть погожим. Дэн давно признался себе в том, что мало что понимал в геополитике, – и одно время его это даже беспокоило. Но не сегодня. Сегодня Дэна Курносов беспокоил только один вопрос: насколько быстрым и болезненным будет его уход из «юдоли скорби», как батюшка в православной церкви Бруклина много лет назад называл жизнь по эту сторону рая.

Дэн запустил ноутбук и подключился к гостиничному вай-фаю. В конце концов, он приехал сюда с официальным деловым визитом, и бросать дело незавершенным было не в его правилах – вне зависимости от обстоятельств. Он быстро просмотрел полученную за это время бизнес-корреспонденцию и ответил на некоторые письма, после чего сам написал электронное сообщение директору сети ресторанов «Эль Патрон – Косина Мехикана». Эта сделка готовилась очень долго, и Дэн с десятком раз встречался с Ринальдо Кардоной, основателем этой сети семейных заведений мексиканской кухни. После затишья в пандемию дела у Кардоны пошли в гору, он даже планировал расширяться в соседние штаты. Поэтому софт для управления логистикой в его компании уже не выглядел роскошью или экзотикой. Сделку уже оговорили в мельчайших деталях и требовалась лишь формальная подпись Ринальдо на официальном контракте. Дэн спрашивал у него в письме, не против ли тот, чтобы за подписанным контрактом заехала Стефани, торговый представитель их компании по Юго-Западу Америки. Сам он в Сан-Антонио, но может не успеть заскочить в офис Кардоны из-за другой встречи. От этой встречи «Эль Патрон» должен получить прямую выгоду, поскольку дело шло об автоматизации процессов логистики в поставке молочных продуктов. Дэн отправил письмо и позвонил Стефани, молодой сотруднице «Аксиом Солушнс», отвечающей за продажи в четырех южных штатах.

– Эй, Стеф, это Дэн! Как дела? – он старался звучать как можно более бодро и оптимистично.

– Дэн, рада тебя слышать! Всё хорошо, мне нужен твой совет по суши-бару.

– Погоди, у меня для тебя задание...

Формально Стефани Беллингхэм была его подчиненной – как и еще дюжина ребят по всему континенту. С эффектной внешностью, говорящая по-испански почти без акцента (штука немаловажная в Техасе) и умеющая легко найти общий язык с любым партнером, Стефани была прирожденным продавцом. Про таких говорят: «она в состоянии продать снег эскимосу». Перед этой командировкой Дэн намекнул руководству в Финиксе, что еще полтора-два года работы – и Стефани сможет занять его место, он уверен в этом. Он сделал это

специально. Заронил, так сказать, зерно на благодатную почву, которое запросто может прорасти уже на следующей неделе, когда его место освободится и совет директоров соберется на срочное заседание. Он сказал Стефани, что не может захватить за подписанным контрактом в «Эль Патрон», она отлично знает, о чем речь, поскольку сама была плотно вовлечена в переговоры по этой сделке. Стефани ответила, что нет проблем, – заскочит в их офис после обеда. В течение следующих тридцати минут они обсуждали состояние дел в целом. По юго-западному региону всё шло хорошо, достижение годовых финансовых целей шло даже с некоторым опережением. Потом Стефани подняла вопрос с суши-барами, готовыми купить подписку на их программное обеспечение, но за отдельную кастомизацию, при которой включение федерального налога в чек клиента было бы прерогативой менеджера ресторана. Дэн сказал – «нет». Он знал, чем это пахнет, и не собирался давать хотя бы малейший повод IRS* для фискального аудита, который после стольких лет в бизнесе мог вылиться в серьезные штрафы или даже кое-что похуже. Известное высказывание Бенджамина Франклина о том, что в этом мире стопроцентны только смерть и налоги, воспринималось Дэном Курносов более чем всерьез. Увиливать от уплаты налогов в Америке было опасной игрой, *всегда* заканчивающейся победой налогового ведомства. Ну а со смертью, ее жесткой детерминированностью, он собирался «познакомиться» уже очень скоро.

Он закончил разговор со Стефани, сказав, что заберет у нее контракт с «Эль Патроном» через пару дней, перед выездом обратно в Финикс. Следующий звонок, в молочную компанию, был недолог – эта сделка только намечалась, и менеджмент нуждался в детальной презентации программного обеспечения. Дэн договорился на завтра, сразу после обеда и проведут презентацию. После этого он послал Стефани электронное сообщение с подтверждением завтрашней встречи и указанием начинать работу с клиентом, даже если он опоздает. Скорее всего, он не сможет увидеться с этим перспективным клиентом, но если новости о его уходе из жизни не дойдут до Стефани быстро, она вполне сможет продемонстрировать возможности софта самостоятельно, в этом Дэн был уверен. Еще несколько звонков и писем заняли два часа и, отправив последнее сообщение, Дэн почувствовал, что проголодался.

Но стоит ли ему обращать внимание на голод в свете его планов на сегодня?

Дэн вновь посмотрел в окно, на плотный поток транспорта по хайвею под ярким техасским солнцем, и решил проигнорировать ланч. «Нечего впустую тратить ресурсы», – буркнул он себе под нос

* IRS (Internal Revenue Service) – федеральная налоговая служба США.

со странной решимостью, которой от себя даже не ожидал. Ноутбук на столе характерно булькнул. Дэн повернулся, стукнул пальцем по клавиатуре и увидел, что пришел ответ от Ринальдо Кардоны. Никаких проблем, Стефани может забрать бумаги, но только при одном условии – если он, Дэн Курносос, заместитель директора по продажам «Аксиом Солушнс», согласится сегодня посетить новое заведение «Эль Патрона» в даунтауне Сан-Антонио. Меню обновлено, теперь в нем целый букет блюд не только из говядины, но и из мяса бизона, а также два новых вида гуакамоле. – Всё за счет заведения. Если у Стефани есть время присоединиться, он будет только рад.

Ринальдо был очень радушным ресторатором, считавшим своим долгом кормить «на убой» симпатичных ему людей. Дэн ответил одной фразой: «Por supuesto!»*. Добавив Стефани в список адресов, чтобы она также увидела приглашение, он отправил ответ и захлопнул ноутбук. С работой было всё в порядке, он не оставил ни одного «хвоста», график выполнения финансовых задач шел как надо. Совету директоров «Аксиом Солушнс» не на что будет жаловаться, когда встанет вопрос о срочном его замещении новым сотрудником. «Стефани Беллингхэм», – сказал Дэн шепотом, мысленно давая совет этим жестким в бизнесе и не всегда приятным людям.

3.

Завершив дела, он включил айфон на подзарядку, сбросил туфли, снял носки и растянулся на кровати.

Непреклонную физиономию Вульфа Блитцера на CNN сменила фотогеничная Ана Кабрера. Теперь новости о войне в Украине перетекли в репортажи о перипетиях Дональда Трампа с законами на федеральном уровне и в штате Нью-Йорк. Трамп восхищал Дэна, но совсем не в том смысле, в каком им восторгался его электорат, в массе своей склонные к конспирологии граждане без высшего образования (так их характеризовал тот же CNN). Дэн поражался его жажде жизни, пусть даже с весьма характерными особенностями. Да, по сути своей Дональд Трамп являлся успешным аферистом с менталитетом мелкого жулика, он с охотой это признавал, – но сколько в нем было энергии и напора! Сколько страсти и интереса к жизни в ее самых разнообразных проявлениях – от избирательного успеха (пусть даже декларируемо подтасованного) и до случайных связей с женщинами (в том числе и с сомнительной репутацией, если вспомнить о порнозвезде Сторми Дэниэлс)! Дэн вздохнул, глядя на этого пожилого мужчину с ненастоящим загаром и аккуратно уложенными и, вполне возможно, тоже ненастоящими волосами. Он искренне не

* Por supuesto – конечно (*исп.*)

понимал, откуда у бывшего президента столько пыла и энергии. Особенно в его возрасте. Если любовь к жизни Дональда Трампа сравнить с вышедшей из берегов рекой, то он, Дэн Курносов, представлял собой почти полностью пересохший ручеек с тонкой струйкой по центру русла.

Его река пересыхала долго и, можно было сказать, мучительно. Началось это еще до ковида, когда он вдруг стал замечать за собой, что его основной род деятельности, управление командой торговых представителей, больше не приносит ему никакого удовлетворения, а скорее, становится обузой. Всё теперь выглядело, как в старом голливудском блокбастере «День Сурка», когда одна рабочая неделя как две капли воды походила на предыдущую. Презентации, графики продаж, разговоры с подчиненными и клиентами, увольнения и интервью на открывшиеся позиции, отчеты руководству – всё это он знал как свои пять пальцев, и даже экзотика национальных кухонь (кто бы мог подумать, что блюда совершенно неизвестной ему страны Узбекистан будут такими интересными?) воспринималась как рутина, а не как приключение с неожиданными поворотами. Проблема была и в том, что его работа поглощала бóльшую часть времени, и это, в свою очередь, приводило к двум фундаментально негативным следствиям, равнозначным по своему влиянию на его, Дэна, психику. Во-первых, он постепенно отдалялся от семьи (бывали интервалы, когда он не виделся с женой и сыном неделями); во-вторых – и это было трудно осознать вначале и даже определить четкую форму, – у него не оставалось времени на то, чтобы даже понять, *что* ему, в конце концов, нравится в этой жизни, чем бы он хотел заниматься для души.

Проблемы с семьей нарастали постепенно. Его жена Сандра, темпераментная уроженка Маленькой Италии в Нью-Йорке, не скрывала своего недовольствия затяжными расставаниями, несмотря на неплохие заработки Дэна. Она, как и всякая женщина, *нуждалась* во внимании, обеспечить которое он уже не мог ни в какой форме – ни в духовной, ни в физической. Первое было обусловлено его нарастающей депрессией от огупляющей рабочей рутины. Второе же стало прямым следствием первого и оказалось настолько же неожиданным, насколько и печальным. Скандалы, вначале закатываемые ему Сандрой со всей ее итальянской страстью, со временем сменились злобным холодком, а потом и отчужденным равнодушием. От этого Дэну было еще хуже, но он уже ничего не мог с собой поделать. Он прекрасно понимал, что теперь их развод не был более вопросом. Факт того, что они формально всё еще проживали под одной крышей, выглядел в этом смысле нелепой случайностью. Что касается сына Ника, то в его пятнадцать лет непонимание происходившего с отцом умножалось на агрессивность «переходного периода». Пубертатная

агрессия с прыщами на лице электризовала дом, как клочок шерсти – эбонитовую палочку. Дэн понимал, что происходящее неизбежно, но дефицит общения с ребенком усугублял его депрессию. Слабое утешение было в том, что Ник хотя бы не шлялся по улицам с кем попало, а фанатично занимался спортом. Его мотивация в баскетболе была сравнима с усердием чернокожих детей из суровых мест типа Комптона или Южного Чикаго, мечтающих вырваться из порочного круга нищеты и криминала благодаря спортивным успехам. В этом Дэн искренне завидовал сыну и одновременно радовался за него. У самого же Дэна, как оказалось, ни было *ничего*, что приносило бы ему радость, какую испытывал сын от баскетбола. У Дэна не было хобби, спорт его не интересовал в любом виде, равно как книги или кино. Его не привлекали азартные или любые другие игры. Даже алкоголь, одна из серьезных опасностей депрессии, не затягивал его в свои силки, за пределы кружки портера или бокала каберне. Не увлекали его и стимуляторы посильнее. Дэн старался найти для себя что-то, что отвлекло бы его от мыслей о бессмысленности собственного существования, но его попытки оказались тщетными. Как-то раз он прочитал, что в *настоящих* глубинах космоса, далеко за пределами знакомых галактик, плотность материи настолько невелика, что можно двигаться многие годы со скоростью света и не встретить ни одного атома на своем пути. Его жизнь казалась ему иногда таким вот одиноким фотоном, летящим по холодному пространству-времени в крошечной тьме безо всяких шансов встретиться с чем-то в однообразно унылом вакууме вокруг.

Ударившая по миру пандемия не облегчила ситуацию. Столбчатые диаграммы смертности от ковида по штатам напоминали ему таблицы продаж его компании. На работе к осточертевшей рутине добавился стресс от полного непонимания руководством, что делать и как работать во время карантина. Ношение маски его раздражало, а появившаяся, в конце концов, вакцина не вдохновляла. Зачем ему эта вакцина (тем более, что он, как и Сандра с Ником, уже перенесли коронавирус и, скорее всего, имели антител под завязку)? Чтобы лишь продолжить агонию?

Начавшаяся война в Украине и детальное описание кровавых событий в этой далекой от Америки стране только добавляли горючего в эту топку бессмысленности. После того, как по всем американским каналам прошла хроника последствий бомбежки роддома в Мариуполе, Дэн Курносов сделал для себя четкий и однозначный вывод: мир настолько лишен смысла, что прекрасно обойдется и без него. Теперь для Дэна оставалось решить лишь технические детали – *где, когда, как и что* надо сделать *до*, чтобы его уход был как можно более незаметен и безболезнен как для него, так и для окружающих.

4.

Новости о расставленных вокруг Трампа юридических капканов ему наскучили, и он стал нажимать на клавиши пульта, перескакивая с канала на канал. В конце концов он остановился на Animal Planet. Шла программа о жизни осьминогов. Где-то в тропических водах осьминоги грациозно шевелили щупальцами и меняли цвет под окружающий их антураж. Вкрадчивый голос за кадром рассказывал об их непростой жизни в море. Голос показался Дэну знакомым. Кто это – Дэвид Аттенборо, знаменитый английский ведущий с BBC? Биография типичного осьминога сильно отличалась от человеческой. Почти все виды спрутов жили не больше года и при этом сразу же после спаривания осьминог-самец уходил из жизни, возлагая заботу о потомстве на хрупкие плечи (тут было бы уместнее сказать – щупальца) матери. Самка высиживала отложенные яйца и, как только маленькие осьминожки начинали вылупляться, умирала сама, оставляя детей один на один с океаном, полным хищников и других треволнений. Голос диктора очень драматически описывал этот цикл, и у Дэна даже появилось чувство жалости к этим странным существам с таким загадочным жизненным циклом. Он вздохнул и выключил телевизор. Нужно было сделать еще кое-что.

Он открыл ноутбук, запустил браузер и залогинил сайт страховой компании. Детально, дважды проверив состояние страховки на его имя, он удовлетворенно кивнул. Бенефициарами выступали жена Сандра и сын Ник. Сумма выплаты вполне способна покрыть пару лет колледжа Нику и дать возможность Сандре оплатить все текущие долги, включая остаток ипотеки на их дом в пригороде Финикса. Проблема была, однако, в том, что эта страховая компания – да и вообще все страховые фирмы – не покрывала случаев суицида. Если при расследовании обстоятельств его смерти вскрыется *преднамеренность*, его семья не получит ничего. Риск был очевиден, однако Дэн не сильно волновался. Те таблетки, что его семейный врач прописывал ему как антидепрессанты, не работали, – если, конечно же, не брать во внимание сонливость и забавное ощущение полного оупения. Но у этого препарата было серьезное ограничение по протоколу приема: его категорически воспрещалось мешать с алкоголем. Дэн провел много часов, изучая вопрос в онлайн, читая медицинские вебсайты и даже научные журналы. Одно он выделил очень четко: пара рюмок крепкого спиртного после приема таблетки натошак повышали вероятность летального исхода на десятки процентов. В литературе описывались конкретные случаи, когда кого-то едва откачали, а кто-то уходил безвозвратно. Его доктор, прописывая ему этот препарат, упоминал, что крепкий алкоголь должен быть исключен, но, зная Дэна и его равнодушие к напиткам крепче красного вина, не муссировал эту тему чересчур активно.

Этот день Дэн прожил так, что никто не должен был ничего заподозрить о его намерениях. Он провел массу переговоров по телефону, он улыбался даме на ресепшн, и даже худому поджарому мужику в очереди перед ним послал кучу имейлов и текстовых сообщений. Никаких предсмертных записок оставлять он тоже не собирался. Если он примет таблетку и запьет ее, скажем, текилой, то могут возникнуть вопросы к его доктору, хотя и тот чист перед законом, потому что формально он Дэна предупреждал. Дэн помнил, что факт этот задокументирован. Да, его ноутбук будут тщательно изучать, и если выяснится, что он заходил на вебсайт страховой компании и проверял страховку, это заронит зерно сомнения. Именно поэтому он логинился через VPN, после чего очистил историю в браузере за последние пару часов. Шансы выплаты страховки Сандре и Нику казались в этом свете вполне неплохими. Для того, чтобы создать иллюзию естественности, осуществить задуманное нужно будет вечером, когда уставший деловой люд традиционно расслабляется после трудного дня. Может, даже имеет смысл посетить новый «Эль Патрон» – для пущего отвода глаз, как предлагал Ринальдо Кардона? Дэн вытащил непочатую бутылку текилы «Хосе Куэрво» из сумки и поставил ее на письменный стол рядом с ноутбуком. Текила была больше похожа на мед своим насыщенным цветом. Мысль о том, что ему придется ее глотать, вызвала у него легкий озноб. Он не любил крепких напитков и не понимал испытывающих к ним пристрастие. «Но надо!» – сказал он сам себе и открыл новое окно браузера, после чего сразу залогинился в личную почту, создал новое сообщение и стал печатать.

Привет, Ник!

Ты, может быть, пока не решил, что тебя будет интересовать, когда ты закончишь школу и поступишь в колледж, но если это будет бизнес, взгляни на документ, приложенный к этому письму. Это бизнес-план. Я составил его со знанием дела, поскольку эту нишу в логистике торговли морепродуктами пока еще никто не освоил и не существует никакого программного обеспечения для этой сферы. План очень подробный, и у меня нет сомнений, что получить под его развитие кредит в банке не будет проблемой. Если эту нишу займут к тому времени, когда ты будешь его листать, он всё равно тебе пригодится как образец.

Ник, папа тебя любит. Береги маму.

Целую, твой отец Дэн.

Дэн перечитал письмо два раза и подправил кое-где. После этого он прикрепил файл с бизнес-планом и уже было собрался отправить письмо на электронный адрес сына, как вдруг задумался. Конечно же, менеджеры страховой компании будут расспрашивать его сына, и

вполне возможно, что это письмо всплывет и может быть интерпретировано как своего рода предсмертное прощание. А это, в свою очередь, может повлечь долгую тяжбу в суде по поводу страховки. Дэн не хотел этого. Вздохнув, он стер написанное, оставив только «Целую, твой отец Дэн». Подумав еще немного, он убрал и это и тут же нажал клавишу «Отправить». Выскочило окошко, уведомляющее, что он отправляет письмо с приложенным файлом, но без текста сообщения, и не ошибка ли это? «Не ошибка», – буркнул себе под нос Дэн и отправил письмо. Имейл ушел, и на правой панели браузера обновилась контекстная реклама. Рекламиривался новый и улучшенный «Киндл», известный электронный ридер от Амазона. Работа искусственного интеллекта, обновляющего такую рекламу, была загадкой, но, скорее всего, он сделал какие-то выводы из написанного и удаленного Дэном текста письма. Дэн равнодушно нажал на баннер. Тут же открылось новое окно браузера с полными характеристиками этой модели на вебсайте Амазона и с неизменным предложением его купить («Скидка действует только сегодня!»). Дэн пробежал глазами по описанию и присвистнул – эта модель была водонепроницаемой и читать книги на ней можно было на глубине до двух метров! Трудно было представить себе ситуацию, когда кто-то мог захотеть почитать на такой глубине. Быть может, нырнуть в океан, чтобы посмотреть на осьминога и тут же прочитать о нем, глядя на само существо, но уже без вкрадчивого голоса Дэвида Аттенборо? Вдруг в голову ему пришла странная мысль, от которой ему стало на мгновение легко и весело: а есть ли модели «Киндла», которые можно читать *на том свете*? Если да, он готов купить такую перед тем, как приступит к осуществлению задуманного.

Он усмехнулся и закрыл ноутбук.

Баночка с таблетками и бутылка текилы стояли перед ним на столе и совершенно не напоминали орудия убийства.

Дэн смотрел на них, думая о том, насколько безболезненно окажется задуманное для его организма. Проблема в том, что ни у кого нет опыта по этой части, поскольку каждый уходит из жизни лишь *однажды*, если не считать историй о клинических смертях с появляющимися невесть откуда ангелами, таинственными лучами света и чудесными возвращениями. Он не верил в эти байки. Какие-то методы выглядели однозначно непривлекательными, вроде сжигания еретиков инквизицией в Средневековье, но вот про другие сказать что-то конкретное, по сути, трудно, хотя выглядели они тоже жутковато. Он слышал, что смерть через повешение, правильно организованная, происходит настолько быстро, что несчастный ничего даже не успевает почувствовать, – выбиваемые позвонки в шею моментально и, предположительно, безболезненно отправляют жерт-

ву на тот свет. Так ли это на самом деле, никто, конечно же, сказать толком не мог. И это в случае, если всё сделано правильно. Если же случаются отклонения, то ни о какой безболезненности и говорить не приходится. Он вспомнил, как в ранней юности читал вестерн о жизни в городке на фронтире где-то в Оклахоме, в середине девятнадцатого века. Приговоренный за какие-то грехи к повешению, индеец просидел две недели в тюрьме перед казнью и настолько похудел, что процесс казни пошел совсем не так, как рассчитывали. Из-за легкого веса позвонки выбиты не были, и несчастный проболтался в петле целых полчаса, прежде чем умереть от удушья. Дэн вздрогнул и поежился. Мрачные мысли накатывали на него девятым валом, и было трудно сказать, насколько нормально это в его ситуации.

Может, поставить музыку? «Помирать, так с музыкой!» – вспомнил он старую русскую поговорку и растянул губы в безрадостной улыбке. Но с какой? Вопрос был бессмысленным, но и непростым одновременно. Ставить что-то мрачное не хотелось. Дэн отбросил мысли о композициях «Металлики» и «Ганс энд Роузес» – групп, творчество которых он обожал в юности. Быть может, классику? Не начать уходить из жизни под «Времена года» Антонио Вивальди или мощные органные фуги Баха? Или же поставить рэп Канье Веста? Дэн вдруг почувствовал себя покупателем в супермаркете, старающимся выбрать кетчуп среди десятков ярких бутылочек с этим продуктом, расставленных перед ним на стеллаже. Ему, как человеку из мира бизнеса, был известен этот феномен, подробно описанный в литературе по маркетингу. Заурядному покупателю в рознице нельзя предлагать *слишком* широкий выбор, иначе он оказывается сконфуженным и в результате вообще ничего не приобретает. Но сети продуктовых супермаркетов, отлично зная об этом феномене, необъяснимо его игнорировали. Дэн не был специалистом по рознице, но его всегда удивляло такое положение вещей.

Он вдруг вспомнил о Сандре. В их доме покупками, в основном, занималась она, но разнообразие ассортимента, странным образом, не отправляло ее в ступор, как это часто происходило с ним. Сандра была очень практичной женщиной. Дэн вспомнил ее улыбку и ямочку на левой щеке – и вдруг почувствовал, как вспотели его ладони. Всё ли будет с ней хорошо после его ухода?

Он долго смотрел в одну точку, напряженно размышляя об этом, но, в конце концов, решил, что *всё* будет хорошо. Быть может не сразу, но в конце концов. И тут он понял, какую нужно поставить музыку. Это любимая песня его матери, «Акапулько»! Он часто слышал ее в детстве, и мать рассказывала, что мелодия эта была невероятно популярной во времена ее молодости в той стране, что называлась Советский Союз и которой уже давно не существует. Песня была на итальянском, и Дэну она тоже нравилась. Сандра, будучи родом из

Маленькой Италии в Нью-Йорке, имела некоторые представления об итальянском языке и даже переводила Дэну, о чем поется в этой песне. Одна из строчек ему особенно импонировала в этот момент: «*Con i problemi voglio farla finite*». Сандра переводила эту как «Я хочу покончить с этими проблемами». Что было весьма кстати и прекрасно отражало его, Дэна, текущее умонастроение. Он нашел клип в YouTube на айфоне и включил его. Непостижимым образом перед клипом была реклама кетчупа, о котором он думал минуту назад.

Он закрыл глаза, наслаждаясь вокалом неизвестных ему итальянских исполнителей. Мелодия отвлекла от тяжелых мыслей, от страха перед неизвестностью и возможной боли. Он встал и, скрестив руки на груди, уже в который раз посмотрел в окно. Поток транспорта, казалось, был таким же одинаково плотным, как и час, и два назад. Яркое тexasское солнце заливало лучами всё вокруг, делая серые коробки складов за хайвеем не такими угрюмыми, как на самом деле. Чуть сбоку от центра обзора с трассы выходил «рукав», круто изгибающийся и идущий небольшой улочкой вдоль гостиницы. Он был почти пустой, машин на нем было немного. Но что-то изменилось по сравнению с тем, что он видел в прошлый раз. Дэн присмотрелся и усмехнулся. Под кроной разлапистого платана, растущего у проезжей части, в его тени, маячили две женские фигуры. Они стояли у обочины дороги таким образом, что *не заметить* их было невозможно. Дэн прищурился, вглядываясь. Одна дама была высокой и худощавой, другая же выглядела ее полной противоположностью. Обе на высоких каблуках, бюст каждой подчеркнут плотно облегаемой блузкой, и у той, что пониже, он смотрелся неестественно крупным. Обе были в вызывающе коротких юбках. Смысл их пребывания на обочине улочки был очевидным для любого, кто проезжал мимо. Дамы были «жрицами любви», и, судя по всему, рабочий день у них только начинался. Картина вполне знакомая. Такие девушки часто тусуются у гостиниц «Бест Вестерна» по всему континенту. Чего не увидишь, скажем, у «Фор Сизонс» или «Фэйрмонт». Дэн относился к этому спокойно. Каждый в этом мире зарабатывал на жизнь как мог, и он не считал себя вправе осуждать. Дэн хорошо представлял себе общество, в котором существовал, и отлично понимал, что стартовые условия в жизни у всех очень неравные.

Странная мысль вдруг пронзила его. Будучи нелепой, она всё же давала какую-то призрачную надежду (лучше было сказать – мираж) на естественность ухода в мир иной без тех физических неудобств, что сопровождают искусственное прерывание жизни. А что, если он – тот самый осьминог, о котором вкрадчиво рассказывал голос Дэвида Аттенборо, что умирает сразу после спаривания ввиду обусловленно-го эволюцией жизненного цикла? Что, если одна из этих дам посетит

его номер, и после (тут он, кстати, был неуверен в себе как в мужчине) близости он отправит ее обратно с честно заработанными наличными, а сам спокойно и, возможно, даже безболезненно покинет «юдоль скорби»?

Мысли Дэна прервали громкие вопли, раздавшиеся за дверью номера. Он со скепсисом посмотрел на дверь и нахмурился. Звучали два голоса, женский и мужской, но он никак не мог разобрать, что они говорили. Дэн подошел к двери и прислушался. Похоже, они орали друг на друга на испанском, но с такой скоростью, что он не мог разобрать ничего, кроме часто повторяющихся *chinga* и *puta**. Голос мужчины показался ему знакомым. Он уже где-то слышал его. Дэн открыл дверь и вышел в коридор. В конце коридора, у выхода на лестницу, тот самый мачо из вестибюля, похожий на Бенисио Дель Торо, схватив за плечо свою спутницу, кричал ей что-то в лицо. Женщина будто бы оправдывалась и рыдала при этом. В другой руке у мужчины серебристо сверкнуло что-то, и пока Дэн пытался понять, что это, с другой стороны коридора раздались очень четкие крики на английском, смысл которых Дэн понял моментально: полицию было легко узнать, их команды не отличались по жесткости и интонации от киношных. Дэн повернулся и увидел двух копов в форме и с оружием наизготовку. Один из них крикнул, вероятно обращаясь к Дэну, энергично махая рукой:

– Мистер, обратно в номер! *Ahora mismo***

Пока Дэн старался понять, к нему ли обращается полицейский и зачем он это делает на двух языках, другой стал кричать, чтобы мачо бросил оружие. «Оружие?» – мелькнуло в голове у Дэна. Этот серебристый предмет в руках у ненастоящего Бенисио Дель Торо был пистолетом? Может, и правда лучше зайти обратно в номер?..

Дэн не успел ни вернуться, ни даже толком понять, что происходит.

Грохот выстрелов оглушил его, и он почувствовал, что в грудь ему будто бы ткнули с разбега острой палкой, но так мощно, что он даже не ощутил боли. Спустя мгновение он увидел, как рушится его тело, и сразу после этого наступила необъяснимая легкость. Звуки вокруг стали приглушенно-мутными – такими, будто бы он слышал их сквозь толщу воды. Он увидел, как над ним склонился один из копов. Не тот, смуглый, что кричал ему на двух языках, а другой, рыжеватый, с веснушками. Капли пота с его лба падали прямо на лицо Дэна. Полицейский был очень бледен. Он схватил руку Дэна и стал нервно говорить что-то; на боку у копа стрекотало радио, и жерло небольшой камеры на груди выглядело, как черная дыра в глубинах

* Грязные испанские ругательства

** *Ahora mismo* – прямо сейчас (*учн.*)

космоса. Дэн понял, что уходит *туда*, куда так долго собирался, и, сжав пальцы этого рыжего паренька, прошептал ему из последних сил то, что прекрасно на его, Дэна, взгляд, отражало сложившуюся ситуацию. И скончался.

5.

А всего пятнадцатью минутами ранее Бенни заказал буррито с барбакоа и сказал пожилой мексиканке в фуд-траке, чтобы та добавила побольше сальсы из халапеньо. Шон тоже взял буррито, но с курицей и без сальсы. Шон находил сальсу из халапеньо слишком острой и предпочитал кетчуп. Они расплатились и вернулись к патрульной машине, припаркованной неподалеку. Оба знали, что ланч должен быть быстрым, поскольку следующий вызов мог случиться в любую минуту. Бенни поставил открытую бутылку с Кока-Колой на крышу машины и стал сосредоточенно жевать. Шон отпил из бутылки с минералкой, поставил ее на капот и тоже быстро заработал челюстями. Буррито был замечательным. У Бенни был дар находить такие неприметные и недорогие мексиканские забегаловки на колесах в самых неожиданных местах в районе их патрулирования. Шону это нравилось. Через пару минут всё было съедено и допито. Бенни громко и не стесняясь рыгнул. Шон не обратил на это внимания. Он давно к этому привык. Бен с нескрываемым удовлетворением рыгнул еще раз и сказал так, будто бы продолжал начавшийся недавно диалог:

– Вполне возможно, ей нравятся цветы. Я видел в кино. Женщины из Восточной Европы любят цветы. В смысле, *мехиканас* их тоже любят, но это не имеет для них такой значимости, как для тех, что из Восточной Европы.

Шон допил минералку, закрутил крышку и по-баскетбольному закинул пластиковую бутылку в мусорную урну неподалеку. Он понимал, что Бенни имеет в виду Ольгу.

– Не знаю... Кенни говорил, что это родители у нее из Восточной Европы, а сама она уже в Кливленде родилась, – ответил Шон.

– Если родители оттуда, то цветы ей будут нравиться. Посмотри вон на детей латино-нелегалов. Одной ногой в Америке, а другой там, в Сальвадоре или Гондурасе. На себя вон посмотри – папа из Техаса, и шляпа ковбойская такая, что в машину не влезает.

Бенни рассмеялся. Шон молча кивнул и поправил шляпу на голове. Она и правда была необъятной, и это ему нравилось. Застрекотало радио. Бен принял вызов и тут же показал Шону, что пора выдвигаться. Он подтвердил диспетчеру, что они уже в пути, и завел в машину.

– Тут недалеко, в «Бест Вестерне», бытовуха на почве ревности, мужик угрожает женщине в коридоре на третьем этаже. Ругань на испанском, но одна девушка, что проживает недалеко от места про-

исшествия, из Ларедо, в командировке по бизнесу, и всё поняла. Она и вызвала полицию.

Бен врубил сирену и мигалку и резко взял с места в карьер. Шон закинул шляпу на заднее сидение и едва успел пристегнуться. Камера на груди, как всегда, помешала сделать это быстро.

Они забежали в вестибюль гостиницы, где испуганная дама на ресепшн жестами указала им на лестницу вверх. Бен, как старший, двигался первым, и Шон едва поспевал за ним, чувствуя, что ребристая поверхность его табельного оружия стала скользкой от вспотевшей ладони. Они выскочили в коридор на третьем этаже отеля и увидели, что драма разворачивалась в другом его конце. Между ними и вопящей парой, примерно посередине, стоял босой мужчина, очевидно, старающийся понять, что происходит. В руках у мужика, орущего на плачущую женщину, сверкнула сталь пистолета, и Бен громко закричал, беря его на прицел:

– Брось оружие, руки за голову!

Женщина истерично завизжала. Мужик и не думал бросать оружие; вместо этого он направил его в сторону копов. Бен крикнул озадаченному мужчине в коридоре, не зная, на каком языке тот поймет его:

– Мистер, обратно в номер! *Ahora mismo!*

И тут мужик с оружием, громко прокричав что-то на испанском, начал беспорядочно палить в полицейских. Те ответили, и коридор наполнился оглушающей канонадой и сизым дымом от выстрелов. Босой мужчина в центре коридора рухнул как подкошенный, сразу после этого упал и замер стрелявший в копов мужик. Женщина продолжала визжать. Бенни бросился в конец коридора и стал успокаивать ее, проверив перед этим, что стрелок уже не представлял угрозы. Шон подбежал к лежащему босому мужчине и склонился над ним. Из пулевого отверстия в груди хлестала кровь, и было ясно, что дела плохи. Шон одной рукой нажал клавишу на рации и стал вызывать парамедиков, взяв другой мужчину за ладонь.

– Мистер, держитесь! Помощь уже в пути!

Мужчина слабеющими пальцами сжал его руку и сказал что-то, повторив несколько раз на неизвестном Шону языке. Это был не испанский.

– Мистер, держитесь!

Шон с ужасом осознавал две вещи: во-первых, судя по количеству вытекшей крови, парамедики мало что смогут; во-вторых, сегодня он впервые за всё время службы в полиции Сан-Антонио использовал по назначению свое табельное оружие. Оставалось только молиться, что пуля, прострелившая навывлет торс умирающего у него на руках мужчины, была выпущена *не из его* «Глока».

6.

У этого бара на окраине Сан-Антонио было совершенно не полицейское название, но все знали, что именно тут, в «Ревущем Харлее», собирались копы по разным поводам и после работы, а вовсе даже не байкеры криминальной направленности типа «Хеллс Энжелс». Войдя, Бенни сразу же увидел Шона, сидящего в конце барной стойки, на его излюбленном месте. Он помахал Шону рукой и направился в его сторону.

– Как рука? Живает? – спросил Шон Бенни, указав на его неестественно выпуклое от перевязки плечо.

Бен кивнул. Застреленный им в «Бест Вестерне» мужик, к счастью, оказался неважным стрелком и лишь вскользь задел плечо Бена, ни разу не попав в Шона. Шон сделал знак бармену, и тот тут же поставил перед ними два стакана, виртуозно наполнив их бурым виски. Они молча выпили, и бармен тут же налил им снова.

Они долго обсуждали случившееся и сопутствующие обстоятельства перестрелки в гостинице. Эмоциональный мачо, устроивший бытовуху на третьем этаже, был не только ревнивым типом – женщина потом рассказала, что ее бойфренд, некто Сильвио Рамос, приревновал к кому-то, – но и числился в федеральном розыске и, скорее всего, поэтому решил открыть огонь, увидев копов. Случайно погибший постоялец был менеджером некоей компании, производящей программное обеспечение, и не имел никакого отношения к произошедшему. Просто оказался в неправильном месте в неправильное время. Скорее всего, Шона не подстрелили, потому что мужчина преградил собою путь пуле, выпущенной убитым. Это обстоятельство вызывало небывалое облегчение у Шона, поскольку его первые выстрелы на службе никого не задели. Пока шло внутреннее расследование (в перестрелке с жертвами это всегда долго и дотошно), но их профсоюзный адвокат уверил, что почти наверняка всё будет хорошо, и даже женщина дала показания, что сеньор Рамос открыл огонь первым, не говоря уже о нагрудных камерах Шона и Бенни, записавших инцидент без каких-либо двусмысленностей.

– И знаешь, чего я никак не могу понять? Этот парень, что умер у меня на руках, несколько раз сказал мне одно и то же перед тем, как отойти в мир иной. Я его не понял. Не английский, разумеется, но и не испанский. Но камера всё записала. Я узнал, что Ольгу попросили посмотреть запись, потому что у убитого была русская фамилия. Вчера я был в управлении, встречался с нашим адвокатом, Ольга была на встрече. Я спросил у нее, что он всё-таки сказал. Но смысла в этом никакого нет; я не понимаю, что он имел в виду. Ольга, кстати, тоже не понимает.

– А что ж он такого сказал? – Бенни заинтригованно посмотрел на напарника.

– Буквально, в переводе с русского, он сказал одно и то же – три раза: «Повезло, повезло, повезло». Человек получил пулю в грудь без всякой на то причины, из-за идиотского стечения обстоятельств, – как это можно считать везением?

Бен нахмурился и метнул в рот половинку пекана из стоящей перед ними тарелки с чипсами и орехами.

– Трудно сказать. Столько чудиков вокруг, особенно после ковида! Скажи лучше, как у тебя с Ольгой. Попробовал с цветами?

Шон отрицательно покачал головой:

– ...Но она мне дала понять, что ей нравится моя ковбойская шляпа, – улыбнулся он и сделал знак бармену.

Ада Круг

Прореха бытия

Ему стало легко на душе. В полдень он застрелился, а ведь человек, решившийся на самоубийство, – Бог.

В. Набоков, «Удар крыла»

Его, мужчину сорока восьми лет от роду, наготу которого прикрывала лишь кружевная рванина, в хрусткое морозное утро в канун Нового года нашла повешенным в сарае жена. Истошным, нечеловеческим воплем, переходящим в вой, огласила она едва расшевеливающиеся окрестности деревни, пронзила казавшийся непроницаемым и неподвижным воздух; получивший под дых, подкошенный, он будто дрогнул, выдулся, как спущенный шар, и осел. Было около четырех часов, еще не рассвело, петухи молчали, только где-то в отдалении послышался беспричинный, что-то поверяющий, чему-то вторящий собачий лай и тут же захлебнулся в нерассевшихся сумерках.

Безжизненной тушей, медленно вертящейся со зловещим скрипом, колыхался он под довольно низким темным потолком сарая, свесив голову набок, в своей неизменной кепке, тайный союз которой с тусклой и уже не слишком одинокой лампочкой разрешился милосердной тенью, щадящей взор на несколько мгновений от созерцания вывалившегося изо рта синюшного языка, вдруг удлинившегося и будто бы дразнящегося, – словно этот орган не принадлежал тому существу, из которого торчал, словно эта часть тела и не умирала. В остальном же всё казалось более живым, нежели этот человек. Взять, к примеру, сапоги: черные, начищенные, они сверкали глянецом, глядели самодовольно, вызывающе – торжествовали, праздновали освобождение от своего хозяина; легко и радостно было им свисать с окоченевших ног. Сапогам не было дела до опрокинутой табуретки, прерванное сцепление с которой стало прямой причиной смерти. Не сапоги, а сама жизнь поскользнулась, упала и уже не могла оправиться.

Запах человеческих испражнений мешался с запахом навоза, сена и молока – в стойлах стояли две коровы, одна с теленком, бычок, овцы; слышался глухой топот, переступание, мычание и капризное фырканье телят (их фирменное протяжное «пфф») с исторжением теплого пара из раздутых ноздрей, обозначающее потребность в усиленном внимании); овцы не блеяли – охваченные безотчетным страхом, они лишь метались из угла в угол в хлеву. Впрочем, их

можно понять – вся стайка, ничего не понимая, дрожала от объявше-го ее ужаса. Мы не будем заглядывать внутрь сапог, всматриваться в цвет кожи, в выпученные глаза, окостенелые члены или вздувшиеся вены, анатомировать труп, дабы достоверным описанием метаморфоз, произошедших с человеческим телом, убедить кого-либо в том, что он смертен, и не только внезапно, – рефлексия о чем сама по себе лишает покоя (либо клонит к покою вечному), но и что еще *безобразно смертен*; оставим это дело патологоанатомам.

На крик жены покойного сбежались соседи; сама же она не лишилась чувств, но пребывала в беспамятстве: застали ее раскачивающейся на коленях, с упертыми в них ладонями, с лицом, обращенным вверх на мертвеца; сухие немигающие глаза смотрели иступленно и бессмысленно, они выражали недоумение, происходящее от невозможности уместить случившееся в сознание, но слез не было, ревел, пожалуй, разинутый рот, а не глаза: он судорожно производил икающие звуки, на самом деле он хотел кричать, но какая-то затычка, воздушная пробка забивала гортань и не давала вырваться голосу; непокрытая голова ее вдруг оказалась седа; в общем-то эта женщина была полумертва. Ее подняли, подхватив за подмышки, но колени ее так и не разогнулись, почти что волоком притащили ее домой. Она не сопротивлялась, в ней не было гнева, ропота и отчаяния; тому причиной была глубина потрясения, но не только – в ней уже пробивался зародыш смирения. Неуместная ремарка, но: если б я оказался там, невольно содрогнулся бы от охватившего меня – нет, не отвращения, – чувства брезгливости. В этом смирении я бы усмотрел тайное желание, предвосхищение рокового события, отождествление его с неким освобождением, разрешением, исходом.

Подозреваю, что у моего читателя назрел резонный вопрос, обращенный ко мне, высказываемый с возмущением и недоверием даже: а кто ты таков, повествователь – невольный свидетель ли происшествия, врач, которому пришлось констатировать смерть, следовательно, патологоанатом, – чтобы рассказывать эту историю, в иных местах притязая на достоверность и подробность изложения? Этот вопрос, хоть я первый им и задался, ставит меня в неловкое положение, но, не прося на то ни у кого позволения, я, избегая ответа, постараюсь остаться в тени с небольшим подзуживанием совести. Обозначу необходимое: я случайный путник, которому не раз доводилось бывать в упомянутой мной деревне. Э-эх, не верю – сам себе не верю: «случайный путник» – что ж тебе «доводится» бывать в одном месте-то! Сам себя поймал, за хвост вытащил, осталось излинчиваться публично да точку поставить. Такова сила эгоизма. Ладно, довольно юлить и отклоняться в сторону, пококетничали – и хватит: деревня (назовем ее «М») мне не чужая, ибо земля здешняя возделывалась и защищалась моими прадедами и дедами, из праха которых теперь, возможно, тянутся корни

цветов и деревьев, коими заросло всё кладбище. Этот прах нынче соседствует с останками самоубиенного, историю которого я реконструировал из обрывков рассказов местных жителей, сцепив их клейстером из моих детских воспоминаний о домике напротив, в котором, сколько я себя знал, всегда проживала неслышно и почти незаметно пара – мужчина и женщина, всегда между собой согласные, неделимые, ныне же – повесившийся и его вдова.

Я не застал то время, когда они только-только сошлись и начали жить вместе в этом доме: тогда меня еще не было на свете. Дом представлял собой классический образец русской избы: бревенчатая, некрашенная, совершенно не почерневшая от дождей даже спустя столько лет – а лет прошло больше двух десятков; знаете, если бы меня попросили назвать точный цвет, я бы обозначил его как муравьиный – даром что муравьи бывают разных цветов, я бы имел в виду тот самый цвет муравьев, которых мне доводилось встречать; отсюда неизбежно проистекает непреложное право читателя представлять себе *своих* муравьев, *свой* муравьиный цвет, *свои* солнце, траву и небо. Кто бы что бы ни сказал, ни написал, у вас всё будет *свое*, никому из нас пока не приватизировать чужие впечатления. Но представьте же и *свои* окна с вымытыми до скрипа прозрачайшими выпуклыми стеклами, румянящимися, как свежеспеченные пирожки, с выбеленными рамами и искусно вырезанными наличниками, напоминающими застывшие белоснежные кружева с синими вкраплениями. А потом поднимите взгляд и на крышу – равнобедренный треугольник, накрывающий короб, как детский кубик. На крыше – маленькое чердачное окошко, за которое заглядывать немного боязно: там темно и постоянно мерещится какое-то движение, сгущение непонятных масс; я вообще считаю, что чердак – самое загадочное, мистическое в доме место, отведенное под обитание духов; человеку лишний раз туда соваться не стоит, человек нужен этому месту единственно для того, чтобы изредка сносить туда вышедшие из употребления вещи, дабы, захламляя пространство, создавать укромные уголки, в которые так приятно забиваться бестелесным субстанциям. Но оставим в покое всё таинственное: безвозвратно ушли ребяческие годы, в которые существует шанс с ним соприкоснуться порой даже вопреки своему желанию; завершим набросок места, в лоне которого развернулось происшествие. Мне остается не так уж много добавить – всего пару штрихов для общего ансамбля, который представлял зрителю извне, который я наблюдал из года в год: всё смотрелось так правильно, игрушечно, по-детски, что ли, самодовольно и непосредственно. Ничего лишнего, вычурного, а всё же угадывались старательность, прилежание, желательность похвалы, соперничество с соседями в чистоте и ухоженности.

Когда-то в детстве я заходил в гости к ним, но так был увлечен своей целью – котенком, которого я собирался вынести к нам домой,

чтобы вдоволь наиграться, – что совершенно не в силах описать внутреннюю обстановку; сохранились лишь обрывочные впечатления-ассоциации: я как будто видел истончившуюся пожелтевшую газету на окнах, заслоняющую от полуденного солнца растения, горшки с которыми были расставлены по подоконникам, газета же лежала на столе; помню клеенчатую скатерть на нем, мерещится мне коричневый пол какого-то здорового, теплого оттенка, гордый, развалистый стул с деревянной спинкой о двух рейках и много-много солнечного света, сочным персиком разбрызгавшегося на всё помещение, протыкающего его поверхности многочисленными перекрещивающимися лучистыми клинками; точно где-то белела большая печка, но я не умел ее заметить, весь охваченный ощущением спокойствия, уютности, устроенности и благодати, которыми, мне казалось, здесь дышали самые стены. Я забежал к ним ненадолго, но всегда меня там поджидали какие-то маленькие радости, которых я не находил у себя дома: будь то кулек семечек или специально для меня выисканный бутылек с мыльными пузырями, варенье из ягод, которые у нас не росли, или просто игра в слова – какая прелесть таилась для меня в каждой мелочи, какое открытие совершалось для меня! Мне чудилось, что меня самого, словно щурящегося спросонья котенка, сунули за пазуху. Конечно, им было невдомек, какими чудесами видятся их простые жесты в моих глазах, да и говорить «в их» – это не совсем верно: деятельное участие в этих сюрпризах принимала лишь хозяйка дома, супруг же ее молчаливо и снисходительно сносил мои внезапные вторжения, не отличающиеся предупредительностью или хотя бы краткостью. Причем я помню, что чувствовал, когда переходил грань вежливости и становился если и не в тягость, то всё же лишним, но, видя в своих соседях очень взрослых друзей, гордясь ими и наделяя всяческими достоинствами (в том числе, конечно, терпением), пользовался ими без всякой меры; вот, должно быть, я их утомлял! – думаю я теперь с улыбкой. Мое детство не было славным, но у этих моих «друзей» я славно провел время. Наверное, если попытаться счесть его всё вкупе, то не наберется и полутора часов из проведенных летних месяцев в деревне, но я сумел извлечь из них теплые, тягучие, как леденцы с фруктовым вкусом, воспоминания, не выцветшие для меня и спустя десятки лет.

Лето мое проходило в наблюдениях за суетой деревенских жителей, сводящейся к заготовке сена, дров, выпасу скота, сбору урожая. Признаюсь, эта бурная деятельность, копошение, направленные на то, чтобы урвать как можно больше подачек капризной и самовольной природы, стихии, вызывали во мне раздражение. Конечно, я не так глуп, чтобы не понимать, что вся жизнь деревни неотделима от земли, леса, полей и лугов, водоемов и неба, но меня возмущала мысль о том, что это полное подчинение, рабское следование внешнему миру гасит творческое начало человека. Вот я пишу эти строки и, признаться, мне

самому смешно: как что-либо можно погасить в человеке самой что ни на есть естественной средой обитания? Своими словами я как будто всерьез доказываю, что, употребляя в пищу натуральные куриные яйца, а не синтезированный белок, человек сам становится на одну ступень развития с курицей. Полная чушь! И всё же... всё же я не мог себе уяснить их выбор, их добровольный отказ от сокровищниц искусства, сулящих душе несметные богатства, в пользу нерукотворных житниц, скромными дарами способных утолить чувство голода лишь тленной оболочкой. Должно быть, вам ясно, сколь непроходимо узки были мои взгляды, сколь низок потолок мирка, в котором я обитал, – не исключено, что в нем я нахожусь и до сих пор. В оправдание себе я могу сказать, что с молодых лет, если не брать в расчет разум, влекомый в тупики подслеповатой логикой, чуял некий обман, иллюзию, а если точнее – самообман, которым мне нравилось оправдывать свое неумение, может – нежелание, – включиться, втиснуться в окружающий мир, да и в себя самого. В конце концов я прозревал, что противоречие лежит не вовне, и природа, Вселенная не водят никого за нос, даже не кокетничают и не жеманятся, что у них всё просто и доступно, что вместо подозреваемой мной вражды они испытывают лишь скуку и равнодушие, по крайней мере к моей персоне. Если бы только суметь перестать противопоставлять всему самого себя, перестать кичиться и носиться со своей уязвимой личностью... Да и что, собственно, я мог противопоставить? – я ничего не умел, вся моя деятельность заключалась в оперировании плодами, инструментами, изобретенными до меня, всученными мне в руки вместе с инструкцией по применению, называемой образованием. Мне нечего предложить и, что для меня обиднее всего, – нечего сказать: всё сказано до меня. А ведь когда-то роились во мне, были рассеяны во всем моем существе сонмы мыслей, идей и подмечаний, то сковывающие меня своей тяжестью, то возносящие на краткий миг в долину эйфории, но, принадлежащие лишь мне, они представлялись чем-то тривиальным, банальным или казуистическим, тавтологичным – и это несмотря на то, что каждый раз, натываясь в книгах на размышления, схожие с моими собственными, созвучными, сопричастными им, я испытывал не то удовлетворение, не то тайное наслаждение. Но вот я не успеваю даже шагнуть в следующий шаг без того, чтобы сделать очередное признание: как смешны и наивны мои замечания о том, что всё изречено, сложено и вытиснуто в умах и сердцах до меня! Какое удобное оправдание для расписки в собственном бессилии! В алфавите тридцать три буквы, в языке более ста пятидесяти тысяч слов, невысказанное количество их сочетаний, создаваемых ими переплетений и узоров, а тебе как будто и этого недостаточно, чтобы высказать... – о нет! – чтобы зашифровать себя ото всех, от себя – в первую очередь.

Я вновь стою у окна, где-то сбоку от него, чтобы не быть заме-

ченным, и смотрю на дом напротив: он не покосился, не потемнел и не осел, глядит наивно своими распахнутыми глазницами поверх колосющихся под ними белых и розовых цветов; виден мне и кусочек двора, и весь огород – всё устроено, все ухожено, пышет жизнью и довольством. Там же, в огороде, копошится и сама хозяйка: в широкополой панамке, розовой футболке и темных трико она, согнувшись коромыслом, пропалывает грядки.

Она, эта женщина, еще полгода назад осиротело раскачивавшаяся на коленях, причитавшая, полубезумная, с распахнутым, словно у вытащенной из воды рыбы, ртом, и сама однажды зашла к нам в мою бытность в деревне. Мне было неловко перед ее горем, я чувствовал себя так, будто мне следует за что-то извиниться. Избегал прямо глядеть на нее, всё руки куда-то прятал, не по себе мне было. Да только смотрю на нее исподтишка и вижу: сидит напротив меня за столом женщина с прямой спиной, с развернутыми плечами, не угадаешь и в шее напряжения; лицо загорелое, обветрившееся, веснушчатое, с глазами острыми, цепкими; бойко, громко и четко рассказывает обо всех и обо всем, что в деревне происходит: кто приехал, кто с кем поругался, чей кот в капкан угодил, сколько молока в райцентр отвезли, сколько сена накопили, где ягоды слаще да чьи пчелы грознее, кого женили, а кого похоронили, – словом, все местные хроники пулеметной очередью выстреливали из одних уст. Она всплескивала живыми, сильными руками, вся ее наружность ничем не выдавала ни зажатости, ни смущения, ни уныния. Где надлом, надорванность и тихое или бурное страдание? Ах, о чем она говорила, что за страшные тайны – чужие, не свои – бесстыдно, с напором и осуждением действующих лиц поверяла нам, не беря с нас даже грошового обета молчания!..

– Вы слышали? – Те-то, городские, что строятся в конце улицы, сноху свою вконец извели; она ж в кассе-то работала, так снялась с места, уехала куда-то далеко, на самую западную границу страны. А хозяин-то каков, не муж ее, а который старший, отец мужний, – давай хвастать, уж всю деревню известил: мол, повышение у невестки, вот она на обучение сначала поехала, а потом уж и на работу. Уж кичился так и эдак, петухом со вздетым гребнем хаживал, прищур завел какой-то новый; направо и налево всем рассказывал, что хорошо его невестка там устроилась, с подружкой квартиру снимает, платят, говорит, больше, должность лучше, контора чище, уж чего только не плел. Да только выяснилось тут недавно, через работницу одну той же кассы, что невестка-то перевелась на ту же должность, никаким повышением там и не пахнет, да ладно это, главное-то не это! Декретом ее повышение-то оказалось! У них там справочники какие-то общие, кто где, на работе ли, в отпуске, – всё видно, так и это чьим-то любопытством накопело и на поверхность вынесло! А ведь с мужем-то законным у них двое детей тут было, их раскидала по

бабкам да укатила, кажись, не с подругой, но с полубовником каким. Смела девка оказалась, смела, прищемила носы всей родне званой! Родня будто ни сном ни духом, гонора не поубавилось, голову всё так же высоко держат, только угрюмы стали – правду сами-то наверняка прознали, только не ведают, похоже, что и остальные все в курсах.

Размашисто, цветисто, со смаком и удовольствием, со злостью и осуждением, нарочито раззадоривая себя, охаживала она, как кнутом, словами. И хоть не относились они к собеседникам, а всё же становилось не по себе от вхолостую рассекаемого пространства – того и гляди, нечаянно заденут.

Насекомым поползло по мне чувство брезгливости, словно что-то внутри меня сжала холодная потная рука. Стало как-то душно, неусидчиво, ворот рубашки вдруг сделался тесен и жёсток, захотелось поскорее вымыть руки с мылом. Неведомая сила, как порывистый ветер, толкала меня в спину, заставляла подняться со стула и гнала прочь от расточаемой гостьей, быстро, как плесень, расплзающейся едкой, кислотной атмосферы, вливающейся через ноздри в легкие и дальше, обволакивающей не обороненное нутро. Я подчинился своим ощущениям: как-то неловко извинившись, чрезмерно заботясь о собственном тыле, я неуклюже пятился и семенял ногами, пока не выкатился из дома. Даже очутившись за воротами, не нашел искомого облегчения, хотя не мог понять, что меня так потрясло и нарушило внутреннее равновесие. Ведь ничего особенного не произошло, а меня так и вовсе ничего не касалось, но всё чудилось мне, что я что-то упускаю, что незначительное посещение соседки устроенно для меня одного, что оно будет иметь последствия, которые пока не очевидны; мелькнула странная догадка, будто в моей среде, внутри моего собственного мирка случилась флуктуация, за которой последует преломление привычного мышления.

Да, не то я ожидал увидеть: я представлял разбитую горем женщину, осунувшуюся, выцветшую, сдувшуюся, словно проколотый шарик, немногословную, вздыхающую, тяготящуюся собственным существованием. В моем воображении был готов черно-белый набросок не человека, но чего-то бесформенного, напоминающего тюк, без видимых очертаний плеч, с утонувшей шеей, безвольно повисшими руками, а обоняние мое почти улавливало запах тлена, который, я был уверен, должен исходить от существа, на глазах которого не так давно развернулась ошеломляющая мерзостная, отвратительная картина смерти. Здесь было место для траура и скорби, коррозии и гнили, на меньшее я не рассчитывал.

Несоответствие реальности моим ожиданиям, наверное, должно было меня обрадовать, утешить: все-таки человек выскользнул из цепких рук смерти, не дал впасть в оцепенение своей душе, сумел найти в себе силы, вопреки невозполнимой утрате, справился с болью,

горечью, разочарованием, негодованием... – но я... я чувствовал себя чуть ли не оскорбленным! Всем своим существом она обесценивала понесенную утрату. Я испытал досаду и обиду за сведшего счеты с жизнью супруга этой странной, живучей, если не сказать – страшной – женщины. Она вдруг стала для меня чем-то омерзительным, чем-то вроде ловкого, вертлявого, кровожадного паука. Я испытывал страх, ибо подозревал, что что-то внутри меня являет собой слепую муху...

Вокруг меня назойливо кружили и раздражающе жужжали мухи, иные из них врезались в мое тело, бесцеремонно садились на него и даже умудрялись ползать и перелетать с одной его части на другую, несмотря на то, что я довольно быстро шагал. Солнце только миновало свой зенит и всё еще высоко сияло выпяченным пупом на безоблачном небесном теле. Ничто не отбрасывало теней, всё было придавлено, как невидимым поршнем, безветренным упругим воздухом, газовым тюлем палевого цвета осевшим на ветвях деревьев, крышах домов и дворовых постройках, на скамейках. Всё будто обездвигилось, расплоснилось, как бы утратило одно измерение. Даже бабочки как-то фальшиво размахивали крыльями: казалось, что иллюзия их движения поддерживается только миганием моих глаз, что я – мультипликатор, усердно старающийся сдвинуть с места застывший мир, оседлав на свой лад стробоскопический эффект. На ничтожные доли секунд я выплескивался из самого себя и будто бы смотрел на свою физическую оболочку со стороны с отчужденностью и жалостью, но мгновение спустя я уже находил под собой сиреневый асфальт и обнаруживал себя в растерянности непонятно перед чем. Я не мог перестать думать о повесившемся.

Полное имя ее супруга – Эльферей – я узнал лишь после смерти его обладателя; в деревне все звали его Ильфиром. Сложно однозначно обозначить вероисповедание, которого он придерживался, – столь же сложно, сколь сложно это было в отношении любого другого жителя этой деревни. Формально это было мусульманство, но не в строгом смысле слова, а обросшее из поколения в поколение передаваемыми местными обычаями, с отсечением каких-то неудобных или постепенно затухавших, рудиментарных догм и норм. Это было естественно – к тому предрасполагали и скудное, непонятно откуда выуженное образование, и время, отводимое на постижение религиозных премудростей, да и сам способ приобщения к ним – они переходили из уст в уста, и отсутствие надзора за правильностью следования предписаниям, да и сама история, свершившая попытку выкорчевать религию из земли и сердец, но в конце концов преуспевшая лишь на бумаге, по крайней мере сменой имен. Свинину здесь не держали и не ели, но водку пили, самогон гнали. В общем, с точки зрения атрибутики, выполняемых ритуалов, здешнее вероисповедание являло собой некий суррогат поколениями вырабатываемых

представлений о том, что такое трансцендентальная материя и какие почести стоит ей воздавать. Я отклонился от сути повествования, но мысль моя трепыхается, как пойманная в сачок бабочка: она билась над загадкой причины смерти, а ее столкнули с загадкой причины жизни. Ту обескураженность, во власти которой я пребывал ныне, можно было сопоставить с моим детским переживанием: мне было лет восемь, может, даже семь, когда на какой-то прогулке с родителями мы встретили местного муллу, возвращающегося из магазина домой, который не упустил возможности похвастаться перед нами своей покупкой, по его словам «лекарством», и вытащил из авоськи чекушку. В силу возраста я был недостаточно сведущ в вопросах религии, но точно знал, что Священная Книга воспрещает якшаться с зеленым змием. Деревня тогда еще была большой, раскидистой, живой, населенной людьми крепкими, работающими и не очень, но преисполненными энергией или неудовлетворенностью, и мне доводилось слышать о мужиках, денно и нощно трудящихся, но потом забывающих себя и всё на свете, пропивающих получку, уходящих на пару-тройку недель в запой, но они все были простым людом, не посягали на чужой сан или алтарь – а мулла! – это не вмещалось в картину мировоззрения маленького мальчика, привыкшего думать, что есть нерушимые запреты, непреложные законы, не то что даже писанные в Коране, а выжженные на человеческой изнанке.

Но религия в общем-то была не при чем. Я в этом уверен. Она не сумела сдержать от рокового шага, но и не она на него толкнула. Я видел Ильфира всего пару раз в тот год; лишь раз мне удалось заглянуть ему в глаза, большие, чистые, с белоснежными, даже голубоватыми белками, – такие яркие, как будто подведенные по внешним краям, обрамленные черными пушистыми ресницами; меня поразило их выражение: в них читалась такая печаль, неизбывная тоска, напомнившая мне ту, что я встречал у малых телят, предчувствующих свою гибель и оплакивающих самих себя редким заунывным мычанием.

Плохо прядлась моя мысль, неровно выходила: то тонка слишком, то уже разбухшая, рвалась и портилась; я же раз за разом пытался ссучить два конца, но надежного волокна свить не мог, да и в том, что получалось, путался и спотыкался. Но пока мое сознание спотыкалось, физическое воплощение меня весьма уверенно и скоро вышагивало в направлении небольшого искусственного пруда. Места здесь живописные, радующие глаз изумрудными переливами лугов, лоснящихся золотом засеянных полей, ажурной листвой берез, нанизанной на солнечные спицы. Шум работающих на окраине деревни комбайнов не нарушает гармонию пения птиц; мельница давно заброшена; производства не найти в округе километров на сорок; людей становится всё меньше, дикая природа всё ближе подступает к еще обжитым домам и уже заброшенным, чахнувшим останкам построек. Теперь

редко когда услышишь требовательное мычание коровы, бляение овцы, криканье утки или хотя бы бойкий петушиный крик – всё точно оглушено, запугано, стиснуто и обезмолвлено. Вот и сейчас, когда я уже оказался около пруда, надо мной повисла разряженная, наэлектризованная тишина, как будто всё сидело в засаде и поджидало меня, а теперь наблюдает в тысячу глаз и грозитя выскочить на меня из-под любого куста. Раздался всплеск воды, словно кто-то бросил камень; я оборотился в сторону, откуда донесся звук, и увидел расходящиеся круги на и без того морщинащейся серебристыми чешуйками как будто бы плотной, густой поверхности: не вода, а мазут. Какая мнительность! – то всего лишь лягушка стремглав прыгнула и нырнула в свою привычную среду.

Тут же задник коварной памяти осветился внезапной вспышкой, и невольно в фокус моего сознания вставили, как линзу, безобразную картину: змея, схватив лягушку за заднюю лапку, яростно пытается втянуть ее в себя, поднимаясь вместе со своей снедью над землей, будто пытаясь завербовать в свои помощницы гравитацию, извиваясь, дергаясь, работая, словно шланг или насос, а ее жертва в это время безмолвно, с ужасом в выпученных глазах, дрыгает своей конечностью так, будто пытается стряхнуть с нее туго севший сапог, но затем начинает тянуться изо всех сил вон из засасывающего ее вертлявого жгута, раздувается, дабы застрять, не дать себя протолкнуть в самые недра его полости. Я морщился от отвращения, но не мог отвести взгляда от этой борьбы с predeterminedным исходом, смотрел заворожено на постепенный акт исчезновения, на то, что оставалось от лягушки, – казалось, ее засасывает не чужой организм, а нечто неорганическое, мертвое, – воронка в блеске водной чешуи, трясина, какой-то механизм, – хотя видел перед собой потуги кожного существа, выставившего на обозрение всё самое противное, что может быть заключено только в живом естестве.

Идея самоубийства для человеческого сознания – та же змея, поразившая лягушку: яд уже впрыснут, но его парализующее действие распространяется по сущности постепенно – с тем лишь отличием, что едва ли лягушка столь изошрена, чтобы отыскивать в губительнице смысл своей жизни, а вот сознание наверняка способно испытать немало удовлетворения и извращенного наслаждения от процесса покорения антивитальной воле. Чья это воля, принадлежит ли она самому человеку, когда возникла и на каких дрожжах выросла?

Вся жизнь Ильфира была заключена в этой деревне: здесь он родился, вырос, работал, юношей женился, возмужал, превратился в зрелого человека. Я живо представляю себе внешнюю оболочку его жизни, уклад, подчиненный смене времен года: вот он встает с первым криком петухов, еще до рассвета, поеживаясь спросонья от холода, выходит на улицу, умывается холодной водой и первым делом идет в

хлев: надо вычистить стойла, подготовить скотину к дойке и выгулу, той же, что содержится взаперти, дать поила и кормов; я слышу шуршание отяжелевшего от сырости сена, его запах, смешанный с запахом навоза, вижу пар горячего дыхания коров, телят, овец, из закрытых курятников доносится пока еще редкое кудахтанье и шелест крыльев птиц, оправляющихся, отряхивающихся ото сна. Вскоре всё прибрано, вся живность накормлена-напоена, птица выпущена. Вся жизнь Ильфира была сосредоточена в этом сарае, в этом хлеву, сюда он ее приволок и на казнь.

На очереди дом – он тоже организм: стоит, подбоченившись, выставив пузо, опоясанное нижним фризом, дышит дымоходом, крихтит, оседает и кренится от усталости и забот, хрустит половицами, как суставами, пылает сердцем в печи, но практически лишен систем жизнеобеспечения: водопровода и канализации нет, отопление – газовое, но и для его запуска и поддержания нужна вода. Вот и выходит, что значительную часть дневной жизни человек добровольно предается Сизифову труду, внося свежую воду и вынося использованную, туда-сюда, туда-сюда, и так без конца... до самого конца; две максимальные точки отклонения: колодец и место для слива – вот и вся амплитуда бытия. Если это глубокая осень или зима, остается ко всему сказанному присовокупить, пожалуй, лишь топку бани и расчистку дорожек от снега, чтобы оказаться близким к исчерпанию описания видимой, лицевой стороны житья-бытья. А ведь это практически три четверти года. Весной-летом, конечно, забот поболее будет – объекты прилобления трудов оказываются на каждом шагу: унавозь, вспаши землю, засеи, прополи, собери урожай, заготовь сено, дрова, веники для бани, травы, отремонтируй технику, поправь забор; между всем прочим выпаси коров и овец. И всё это – под высоким, обжигающим и слепящим солнцем цвета охры, глядящим с неба, как шипящая яичница-глазунья с раскаленной сковороды; или под хлестким, секущим, словно хлыст, проливным дождем, вступившим в сговор с ветром, молниями и грозами. Кажется, стихии установили для человека крепостное право навечно, нет такого восстания, которым можно было бы раздобыть себе вольную из-под этого гнета. Изо дня в день одно и то же: возделывай землю да ходи за скотиной – будет тебе хлеб, молоко, мясо. Земля будет цепляться за твои ноги, гнуть твою спину, поставит тебя на колени, призывает в свои объятия, но без пропитания не оставит. Скотина же – коровы, телята, овцы, цыплята – будет смотреть в твои глаза кротко, смиренно, будто бы даже без упрека и укора, будет ластиться и нежничать, будто не чуя, чья рука станет причиной их кончины, кого ради растерзают их плоть; возможно ли вынести этот взгляд человеку, разве не должно у него обрываться сердце всякий раз при виде живых существ, которых он с их младенчества выхаживал и приручал, с мыслью о которых просыпался, трудился и ложился спать?

Представьте себе только новорожденного теленка или жеребенка, да хоть цыпленка, дрожащее существо, страшщееся всего мира, которое в ваших руках, под вашим надзором растет и крепнет! Трепетная жертва, линчующая своего палача! Вот вы смеетесь; какой-то фантастический, смешной выходит у меня деревенский житель, с прям-таки ажурной душевной организацией. Смешно и нелепо? – Смешно и нелепо.

Но да ведь я и сам из породы «этих», «смешных и нелепых»: совершенно всерьез будто бы совершаю попытку «задним числом» внедрения своих мыслей и чувствований в голову малознакомого человека. Конечно, тому подспорьем и безнаказанность, ибо никакого протеста не встретишь от того, кто выразил себя до конца, до последней капли. В этом месте я почувствовал укол совести: я так бесстыдно эксплуатирую чужую смерть для каких-то своих целей, эксгумируя – не тело, нет, но само сознание, сами переживания, и зондируя их, долбя их, как киркой, грубейшим инструментом – логикой.

А логика моя, урвав фрагмент из целого, вопиет: да ведь не был он бóльшим рабом, чем я сам, не были к нему приставлены конвоиры, не повелевали им начальники, не унижали его ошибками и оплошностями, не терзали его изо дня в день ни капризы, ни происки вышестоящих, порожденные одной лишь скукой, не летели в его сторону колкости и насмешки сослуживцев; вероятнее всего, не ведал он даже, что такое пробки, толчеи в общественном транспорте в час пик, не знал бюрократической волокиты и пустой суеты. Просыпаться от касания луча солнца, а не от проклятого трезвона будильника, вдыхать свежесть утра вместо выхлопных газов, любоваться переливами росы, а не искусственной иллюминации, пить душистое парное молоко, а не вызывающий желудочные спазмы кофе, иметь возможность вздремнуть после обеда, сорвать и съесть свежих ягод, усладить свой слух трелью соловья под аккомпанемент шелеста деревьев под чутким руководством дирижера – ветра... Разве одного этого не достаточно, чтобы заставить некоторых из нас забыть про блага цивилизации и проникнуться завистью; разве не хочется вдохнуть полной грудью упругий пряный воздух здешних мест? Разве не вынесет кто-то в сердцах приговор суициденту: мол, свободы своей, простора не выдержал, сам себя закабалил! Так-то оно и так...

Из наших каменных мешков грезится нам единение с природой, безответственно и безнаказанно хотим мы присосаться к ней, словно к матке, и вытянуть из нее все соки, хотим стуканья сердец в унисон с ее ритмами; взрослые – а все стремимся обрести покинутую, нами же отринутую, проклятую колыбель, хоть на несколько мгновений, мифологизируя постороннее существование. Порою льнем к природе, обо всем позабыв, не памятуя о словах Гете: «Бог прощает, природа никогда»; порою же клянем и виним ее во всех своих бедах, вот так вот простодушно противопоставляя ее Богу. Я же, ее в предлог

возведя, вилая туда-сюда, верчусь вокруг предмета своей мысли, не зная, как подступиться к нему.

Признаю, давно уж я одержим идеей допытаться, выискать причину самоубийства человека, с которым имел шапочное знакомство, но которого видел, чью руку жал, в чьем физическом воплощении, существовании не сомневался (если только можно не сомневаться в чем бы то ни было существовании, в том числе и своем). Мне и самому невдомек, как так случилось, что чья-то смерть стала меня занимать больше, чем большинство жизней. Слова Горького приходят на ум: «Иногда мы при жизни совершенно не замечаем человека, нимало не интересуемся им, и вдруг, услышав, что он при смерти или помер уже, жалеем, говорим о нем... Точно смерть или ее приближение сближают и нас друг с другом»*. К каждому вопросу я был готов извлечь из себя какое-то отношение, свой ответ, выработанный, выстраданный, интуитивно подсказанный, выскочивший как непрошенный прыщ, не обязательно верный – просто «свой»; но развязка чужой жизни, нечаянно оказавшаяся в поле моего внимания, обескураживала, ставила в тупик не только мой ум, но и воображение, – я не мог предположить, выдумать таких побуждений и объяснений, чтобы гипотеза моя меня же убедила и удовлетворила; всё предстало недостаточным, ущербным, хлипким, маловероятным и таким обесценивающим, уничижающим жизнь. А ведь я мог перебрать столько причин, даже просто обратившись к своей памяти, – и что же? – все они по прошествии времени, вне очага кульминационного переживания, выглядели жалкими и ничего не оправдывающими. В памяти была не одна реальность и не одни действительные переживания, но и «фантастические» – целый ряд литературных произведений приходит мне на ум: «Кроткая», «Сон смешного человека», «Преступление и наказание», «Бесы», «Братья Карамазовы», «Подросток» – одного лишь Федора Михайловича, ну и притыкается к ним тут же «Мартин Иден» Джека Лондона... Галерея не скудна, есть из чего выбрать, есть что переложить на конкретный случай, что-нибудь да пройдет по касательной. Но – нет: внутреннее ощущение витает, но конкретный узор происшествия не проступает.

Немало версий слышал я и от соседей, которые нет-нет да и наведывались к нам без приглашения; все эти слухи, передаваемые таинственным полупшепотом, сводились к одному: мол, Ильфир был болен. Если б я был последователем лапласовского детерминизма (а в лета своей наивности я им был), и то не удовлетворился бы таким объяснением. С каких пор, как (физический ли имеется в виду недуг или душевный?) и откуда рассказчик об этом узнал? – эти вопросы были готовы сорваться с моего языка, но ни разу не исторглись из моих уст; я проглотил их, словно ком свалявшейся шерсти.

* Максим Горький, «Ошибка».

Да, это была целая загадка, такая загадка, каких в жизни я, пожалуй, и не встречал. Эта загадка добывала мне ощущение родом из детства, когда в каждом темном углу, на чердаках и в раскрытой оконной форточке ночью мерещились всякие бесплотные твари, реальность которых ребенком не подвергалась сомнению. Тогда казалось, что я играл с кем-то всемогущим, с кем-то, в чьей полной и безраздельной власти я находился. Насылаемые им образы – приспешники – страшили меня, внушали ужас, но одновременно служили утешением: они подтверждали мою догадку о *его* существовании. Кого – *его*? – Я не задавался вопросом, мне достаточно было знания, что *он* – не человек и что для какой-то цели он намекнул мне на себя, всё остальное могло достроить мое воображение.

Вот и сейчас мне не нужна рядящаяся настоящей, банальная, вымороченная причина, требовалось нечто незаурядное, возвышенное, вылущенное из сердцевины мироздания. Совершенное преступление, нечаянная вина, невыполненная работа, денежный долг, недостижимый предмет страсти, безысходность, невосполнимая утрата или просто отупляющая пустота? У меня нет ответов, но я и не хочу их; мне не нужны строго выверенные, логически подведенные, сухие факты, опирающиеся на статистику, упрощающие устройство человеческого сознания и души, формулы соединений с атомами в кристаллических решетках. Мне нужны связи между атомами, отношения, рассеянный туман между ними, связующий «клей» под названием «хаос». Я алкаю того, чего не смею ухватить до конца своих дней.

Я совершенно не интересовался этим человеком во плоти и крови, пока он существовал, но стоило ему произвести несложное арифметическое действие – вычесть себя из жизни, – и он занял все мои мысли. Пока я находился вдали от места происшествия, пока обретался в суетливом водовороте бранных дел, труп малознамого мужчины болтался на задворках моего сознания; но стоило мне очутиться напротив того самого дома, в котором свершился акт самоубийства, и ничто меня не занимает больше, чем загадка этой смерти, разгадка которой постепенно превращается в смысл моей жизни. Эта смерть, ставшая следствием волеизъявления человека, служила мне утешением. Признаюсь, не раз, в гомонливом городе, возвращаясь в потемках с работы в свой угол, слыша хлюпанье луж у себя под ногами или где-то в груди, не умея как следует ни вдохнуть, ни выдохнуть, чувствуя, что мне уже неважно влачить себя по земной тверди, я находил отдушину в окружающих вещах: в высокой крыше над головой или в живописном виадуке, в остром лезвии бритвы, в шершавом коробке спичек или в плачущей свече, в пачке недорогих транквилизаторов – всё это так доступно, так сподручно, а ведь я даже не задумывался о более изощренных предметах и способах самовымарывания. «Ах, значит, микстура действенна, стоит только

решиться, успеть решиться, пока кто-нибудь не отнял у тебя твою относительную свободу распоряжаться своей физической оболочкой...» – вот что я думал о смерти человека, которого едва знал. Однажды в своих размышлениях я дошел до того, что поразился тому, что моя жизнь для кого бы то ни было значит меньше, чем смерть постороннего человека для меня. Интересно, каково его отношение ко мне? Ошибусь ли я, если скажу, что меня для него нет? Для меня его смерть существует, а для него не существует даже моя жизнь. А ведь я в его отсутствие – неопровержимое подтверждение наличествования того, чего нет. Ведь я поместил себя в полость чужого существования, я бьюсь в ней, расцарапываю ее, расширяю область небытия. Может ли это небытие заметить мой пристальный взгляд, заинтересоваться мной, просквозить намеком на свою причину или притянуть к себе, чтобы больше не отпускать?

Этот случай – тератома, возникшая на народном теле, которую нужно бы вылущить, уничтожить и предать забвению, но я, пытаясь добиться причин ее возникновения, избрал своим инструментом синтетический, невнятный, незрячий язык, которым тыкаюсь и расковыриваю монстра со смертоносным содержимым, способным излиться и заразить здоровые ткани организма. Не заразился ли я уж и сам, не отравлен ли токсичной идеей, медленно прокрадывающейся в самые узкие и глубокие каналы моего сознания? Уж нет ли меж мной и несчастным, занявшим мои мысли, общего радикала? Ах, если бы только мой дух мог втиснуться в эту мятежность (о, какими опрометчивыми бывают подчас наши желания: я понимаю, что не содрать мне с себя этого приставучего гудрона, стоит мне в него хоть ногой ступить!) – все вопросы отпали бы сами собой. Но они не исчезали и не разрешались, а множились и терзали меня, зудили и тянулись в разные стороны, вызывая во мне сдерживаемую любопытством ярость.

Я, главное, не мог понять вот чего: почему нельзя было подождать? Решился ты – так почему же нельзя взять эту решимость за занятую позицию, за аксиому, за опорный пункт, за фундамент своего дальнейшего житья? Решимость боялся растерять или же боялся, что станет поздно, невозможно, отберет кто-то или что-то у тебя твое волеизъявление? Неужто после открытия этого запасного выхода, подполья, разрешающих любую ситуацию, не воспоследовало облегчения, не снизился градус любой жизненной невзгоды? Это же тихая гавань, войти в которую душе никогда не поздно, так пусть топчется на пороге. Да что там! Это ж практически прирученный мир, мир с приставленным к его сердцу дулом пистолета – твоего пистолета! Можно ли выдумать более упоительное чувство, чем от такого переживания, от такой власти, от такого произвола? По мне – так и тысяча лет покажется сносной с такой мыслью и с таким ощущением!

Раскрошив и перемолов свою оболочку, преждевременно лишив

душу пристанища, самоистребившийся выступал не в роли жертвы, но палача, вынесшего вердикт в виде своего раскачивающегося на петле тела с высунутым языком всему своему окружению, обществу, закону, инстинкту, мироустройству. Какая мысль внедрилась в его разум? Жизнь не достойна того, чтобы ее прожить до конца? «Жизнь невыносима, чтобы прожить ее до конца? Жизнь бессмысленна, чтобы прожить ее до конца? Все мысли разум? Неужели все чувства, эмоции атрофировались, неужели истребилось любопытство, которое должно было заставить усомниться, чего-то еще подождать, в чем-то окончательно убедиться? Смысла нет – хорошо, но дождись занавеса, куда тебе спешить? Разочаруйся окончательно, прими все доказательства своей догадки. Пусть терзают тебя скука, меланхолия, пусть ты будешь пассивен, желчен и ворчлив – в конце концов, не так уж много ты доставишь другим неудобств, если откажешься от радостей жизни и предашься ожиданию. Кричи, ругайся, терзай всех вокруг, бей себя в грудь, стеной, стучи кулаками по своей голове, круши и ломай мебель, уничтожай всё лишнее, разрушай все связи, сбрасывай балласты, стряхивай с себя все, что можно, подготовься к уходу налегке. Но – нет, этим ты не мог удовлетвориться. Ты будто спешил покинуть этот мир, чтобы не оставить себе шанса оказаться неправым, узнать о своей неправоте, узнать, что это не смысла нет на самом деле, а смысла нет у тебя, что это у тебя нет восприимчивости, что это твоя душа так выделана, твой разум так заточен, что не обладают способностью разглядеть, ощупать, вобрать в себя то, что есть у других. Не то в самом деле смысла для его жизни не нашлось, не то он не предназначен для того смысла, носителем и выразителем которого он должен был стать. Чем больше думаешь и толкуешь о смысле, тем больше отдаляешься от него. Нет, точно вот так: смысл отдаляется от тебя, отступает, лишает своей сопричастности. Чтобы жить, не нужен смысл.

О, мне ясно представляется тот момент, когда неразрешимый узел вдруг ослаб и распался сам собой, исчез внутренний конфликт, обвалилась стена, с которой тесна и противна была жизнь, настала легкость, всё озарилось светом, жизнь вдруг стала возможной и желанной, но уже ничего нельзя было поворотить вспять – другой узел, материальный, тот, что связан собственными руками, оказывался затянут. Какой бы решимости ни был он исполнен, а должен быть момент ее распада, сокрушения, полной капитуляции. Достигнут предел, экстремум, точка невозврата, но успей его кто снять, и, возможно, с вывороченным, но не переломленным мышлением, хотя бы на какое-то время человек будет примирен с самим собой, какое-то время способен будет выносить самого себя, если только под силу ему будет пережить то унижение, которому он подверг свое тело.

Что же ты видел, что чувствовал, о чем думал, распуская нити своей судьбы? Мне страшно, но неудержимо хочется заглянуть в

глубь твоей души... Но не в моих силах даже постичь иную глубь – ту, что сокрыта под распростертой перед моими глазами лазоревой сминаящейся, утюжимой ветром, дробимой лягушками, стрекозами и опадающими листьями поверхностью. Лоснятся воды передо мной, о чем-то тихонько шепчутся волны и, взбегая на берег, будто бы протягивают ко мне свои руки – русалочки повадки. Я не ведусь на них, не соблазняюсь ими, не чувствую их гипнотического действия, но продолжаю смотреть вдаль, пытаюсь что-то высмотреть в густой заросли камышей. Когда-то, в начале своего устройства, этот пруд был ничем не примечательным искусственным водоемом, со всех сторон обнесенным шлагбаумами, с пущенной, правда, в него мелкой рыбешкой. Право собственности на водоем приписывали одному местному фермеру, не обделенному властью, заграбаставшему во времена Перестройки немало земельных участков не только в этой деревне, но и во всем районе. Поговаривали, что владелец завел пруд «для души», никого пускать к нему не намерен, но чуть позже оказалось, что за установленную плату любой может проехать за шлагбаум, позагорать, половить рыбу, – в общем, расслабиться, воспользовавшись благами сего места по своему усмотрению. Мне почти ничего не известно о том периоде, когда кто-то приезжал сюда отдохнуть, – наверное потому, что этот период был весьма непродолжителен; не стекся народ к искусственной «луже» без инфраструктуры, позарившись на одну лишь рыбу. Но, надо сказать, «луже» это пошло на пользу: если раньше она была чем-то чужеродным, насильственно насаженным, противным природе, то оставшись без интереса и надзора хозяина – по его ли воле или нет (шлагбаумы исчезли: один снесли на мотоцикле случайно, а остальные после пропали враз), стала органично в нее вписываться, сливаться с нею; теперь многие так свыклись с уже одичавшим, осевшим прудом, что и не вспомнят точно, когда он возник, а ведь еще и двух десятков лет не минуло. Природа, как некая оправа, пообтесав, сгладив края, приналадив под себя, приняла, втиснула в себя синтезированный переливчатый кабашон. А лет десять назад одно небольшое событие и вовсе превратило искусственный водоем в достопримечательность среди деревенских жителей: в один обычный летний день на нем заметили неожиданного гостя – белоснежного лебедя с изящно изогнутой шеей, словно сошедшего с картинки. Он величаво скользил по воде на приличном расстоянии от берега, время от времени запуская свой клюв то в перья – вычищая их, то в воду – в поисках пропитания; когда же птица раскидывала и расправляла свои крылья, восхищенного наблюдателя посещало чувство сожаления и разочарования: казалось, лебедь, осознав свою опрометчивость, вот-вот взметнется ввысь и улетит навсегда. И – точно, через несколько дней лебедь пропал. Людям стало грустно; уж лучше бы он никогда не спускался на их пруд: раньше хоть не знали красоты и не тосковали по ней. Но что

же? – спустя месяц или около того лебедь снова показался на воде, да не один, а с лебедушкой! О, какие восторженные, неотрывные взгляды сопровождали этих двух в их дефилировании по воде, очерченном ореолом согласия, гармонии, замкнутости друг в друге. Потом лебедь вновь стал появляться один, как будто сделал одолжение – показал свою суженую, ну и будет с них, благодарствуйте и на этом. Но прошло еще сколько-то времени, и в один погожий летний день эти гордые, нелюдимые птицы, блестящие на солнце, словно вытесанные из белого агата, явились из камышей с выводком птенцов и начали свое торжественное шествие, сминая, как шелковистую ткань, поверхность воды, оставляя за собой рифленые треугольники волн – торопливо исчезающие насечки прошлого на полотне настоящего. Кильватерные следы птиц складывались в затейливый узор чего-то недоступного, таинственного, влиятельного: быть может, лебеди – мasons среди птиц?

Небо, деревья, вся зелень с торчащими из нее яркими и скромно выглядывающими бледными цветами отражались в воде; дай себе слабину, позволь сознанию поиграть в калейдоскоп – и вот ты уже гредишь наяву: лебеди плывут среди облаков, облака же нанизались на деревья, всё обратилось в сплошной переливчатый малахит и бирюзу, всё – вкрапления друг друга, всё пребывает в движении, подталкивает, насккивает, удерживает, преломляет друг друга. Кажется, в твои руки откуда-то рухнул магический кристалл, тут же кто-то направил на него все возможные источники света, мягко обволакивающего или четко очерчивающего каждый предмет, каждую травинку, каждую былинку и вздувшийся пузырек на воде. Ты вглядываешься, вглядываешься в этот кристалл и никак не можешь насытиться открывающимися тебе картинами. Невероятная красота, подлинное произведение искусства! Искусственное в нем растворилось, поглотилось нерукотворными силами.

Среди тех, кому посчастливилось застать это чудесное явление, меня не было; не знаю я, присутствовал ли среди них и Ильфир. Но, стоя здесь, годы спустя после первого прилета лебедей, думая о нем, представляя его, ощущаю причастность, приобщенность к этому событию, чую себя не в самом себе и не где-то в определенной точке пространства, а будто бы рассеянным в солнечном свете, словно вдруг телесная оболочка расстегнулась и спала, а дух воспарил как светлячок и, ничем не стесненный, устремился к таким же светлячкам, стрекозам, жучкам, бабочкам – ко всему, что заполонило упругий воздух. Какую легкость, какое единение, отождествление с природой должно было чувствовать всё, что, как взвешенные частички, болталось, повисло меж небом и землей; всё, что сметывало их в неразрывное полотно.

Нет ни одного произведения искусства, исполненного в мажоре: вскоре небо налилось тяжестью, навалилось на землю выпяченным пузом и, прежде чем опорожниться, сотряслось от удара и треснуло, словно раскаленный камень. Раздался выстрел, все звуки пропали, вся

округа оглохла. С насиженных мест снялись вороны, стрижи, ласточки и стремглав взмыли вверх, кромсая крыльями, как ножницами, полотно неба на неровные клочки. Красное пятно озарило воду пруда, точно кто-то, собравшись начать предложение с заглавной буквы, капнул чернил, захваченных с избытком, со своего пера. Бело-серым бум бултыхалось тельце лебедки, шея ее, неестественно перекинута на одну сторону, безвольно качалась на волнах, сама вырисовывая волну. Лебедь в полном безмолвии кружил рядом, не понимая, что именно произошло, пытаясь клювом поддеть и поднять шею мертвой птицы. Потерпев неудачу, лебедь стал бить крыльями, и, поднимаясь сам, тянуть, хватаясь клювом то за одну, то за другую часть своей суженой, ввысь, быть может, предполагая вынести ее на сушу. Всё остальное было за гранью отчаяния, всё остальное было горем, безысходностью, концом. Птенцов никто уже не видел. Лучшая участь, которая им могла бы быть уготована, – чтобы они утонули.

Стрелявший был сыном владельца пруда. Говорят, с того дня никто больше не видел этого лебеда на пруду. Но люди и не хотели верить в возможность его возвращения: своим отсутствием птица подтверждала расхожую легенду о лебединой верности. Лебедь должен был камнем рухнуть с неба, чтобы люди могли с тоской воздевать взгляд в него и восхищаться чужой возвышенностью, жертвенностью, преданностью: есть, значит, нечто чистое, безупречное, безусловное на этом свете. Правда, года через три или четыре на пруду вновь появилась пара лебедей, обжилась там, вывела потомство. Местные решили, что это какой-нибудь из уцелевших птенцов той, первой, несчастной пары, выжил, где-то вырос и по старой памяти вернулся на свою родину. Я тоже так хочу думать, но во многих всё же закрались сомнения: учитывая средний срок жизни лебедей, они не могли не допустить, что на пруд прилетел тот самый овдовевший лебедь, обзаведшийся новой парой. Птица в таком случае выходила какой-то бестолковой: зачем на место гибели одной избранницы завлекать другую – чтобы и ее потерять? Неужели такова «лебединая песня»: стать причиной чужой гибели?

Так и получается, что в жизни птиц – что в смерти людей: причина всегда – другой. От *другого* исходит флуктуация. Наличествующего или отсутствующего. Об этом можно думать сколько угодно, но решиться на добровольную смерть можно назло близкому человеку. Ведь не умилишенный же он был, в самом деле. Избранный способ ухода из жизни утверждал меня в правоте моего предположения. Это был акт, манифест, теракт по отношению к чужой душе. Какая ненависть, какая обида должны были душить человека, чтобы повесить самого себя под носом у той, с кем прожито несколько десятков лет! Неужели столь неодолимо сильны были тупое презрение, ненависть, злость, чтобы предстать перед миром, перед людьми смердящим

мешком с костями, утопающим в физиологических испражнениях, вывернуться, как потайной карман, всей своей душой наизнанку, выпотрошиться всем своим не самым приглядным содержанием, чтобы поступиться красотой, благопристойностью, последним воспоминанием о самом себе как о человеческом существе. Никто не будет помнить жизнь, добрые дела и принесенную пользу, переживания, сплетенные отношения – слишком грязный, глубокий след вытиснула на ней смерть. Вынесенный вердикт, пощечина, навешанная на друтого вина – стоили ли они того?

Позабудут и те времена, когда Ильфир, суицидент, выхаживал, словно ребенка, парализованную на одну сторону супругу, – ту самую, которая теперь будто бы размашисто живет, проворно бегая, собирая и передавая из уст в уста сплетни. А ведь не так давно еще не в силах ее было и сидеть, держать себя ровно без опоры не могла, толком не говорила, что-то мычала, еле-еле ворочая языком, правые рука и нога не подчинялись; женщина будто наполовину окаменела, превратилась в статую. Муж за ней ходил, мыл, стирал, готовил, делал ей массажи, примочки какие-то, возил к врачам и знахаркам, поил лекарствами и травами. А самому ведь и поговорить не с кем было, да и некогда. И ведь какая она капризная стала в своем недуге! – словно он и был в нем повинен. Года два с лишком, пожалуй, жил он в невероятном напряжении, сосредоточении, аскезе большей, чем было привычно. Мрачное, отшельническое, затворническое время. И ведь над ней всё время угроза висела, могла и не выздороветь. Но что же? – некие силы проявили свою милость: женщина выздоровела. Какой камень должен был свалиться с придавленной души, какая плотина чувств должна была прорваться в груди! Вот исчезло это напряжение, а вместе с ним будто соскочила какая-то пружина, поддерживавшая волю к жизни, вызывавшая сопротивление, дарующее энергию. Вроде как без объяснения, без причины и цели взвалили на человека непрошенный крест, тяжелый, отвратительный, изъеденный и обвитой червями, какой-то живой, ходящий над спиной, налегающий на нее всё сильнее и сильнее; человек и опомниться-то не успел, даже укора выразить в своем взгляде не сумел, проступил только немой недоуменный вопрос: «зачем испытание?» – не осмеливаясь переформулировать его в: «за что ниспослано наказание?». Надо полагать, Ильфир долго не сдавался, выискивая в происходящем некий таинственный, недоступный ему смысл. Но у всего есть срок: по прошествии времени, обретя не ответ, но смирение, прирос не телом, но душой, к своему злосчастному кресту, в котором сосредоточилось всё человеческое существо; как в одночасье этот крест отпал, исчез, растворился в воздухе, оставив горб на спине и дыру в душе. Существовавшее и нарастающее два года напряжение освещало, как лампочка, один уголок жизни, маленький участок, на который человек

был поставлен часовым, служащим ясной цели, не имеющим ни права, ни возможности выйти за пределы очерченного периметра. Сузилось пространство бытия, сузилось сознание, застоялась, иссохла, скукожилась душа. Мир спрессовался, уплотнился, сжался до точки, и, наконец, лампочка перегорела и лопнула, всё погрузилось во тьму и, главное, стало разъезжаться, расширяться и рассеиваться. И внутри что-то разрасталось, что-то давило, теснило грудь, выталкивало тяжелые вздохи. Что делать? – оставаться на месте нельзя, но и сойти с него куда – непонятно. Как теперь распрямиться, как вытянуть свой дух, как вновь взглянуть на небо? В него теперь не смотрится, не к чему баламутить себя надеждами, проступающими из его складок; манят другие глубины – те, что разверзаются под ногами и в растревоженной памяти. Ни к чему новому нет тяготения, зато повыскакивали отовсюду, словно духи на болоте, детские чаяния, обиды, страхи. Впереди будто ничего нету, всё смотришь назад, ворошишь прошлое, будущему тыл кажешь, не вступаешь в него, а пятишься, пугаясь и минувшего, и еще не прожитого. Неизбежно должно было присовокупиться к ощущениям и нечто еще: проклятое ожидание – ожидание нового приступа у своей супруги, нового удара, потрясения, – чего-то, что снова выбьет из колеи. Иногда в нем поднималось безотчетное желание, которое посещало его тем чаще, чем сильнее он пытался от него избавиться: чтобы приступ случился поскорее, только бы нарушить это бесконечное ожидание грозы, только бы разогнать эти сгустившиеся в голове тучи.

Для жены меж тем будто и не бывало этих двух долгих лет. Несложно понять – вспомните себя после затяжной болезни: вы бодры, полны энергии, чувствуете себя переродившимся, томящимся по действию, общению, самовыражению; вы испытываете потребность ускориться, чтобы наверстать всё упущенное.

И вот они: два человека в одном пространстве, женщина – с неумемной жадной жизни, мужчина – уставший от нее, истощенный, перегоревший, опустошенный. Две противоположности, которые больше не притягиваются, но которым и отталкиваться некуда. Чем не благодатная, питательная среда для нарыва, для гноссии: тут-то бы и обнаружить этим людям, что всё, что их связывало друг с другом, – привычка. Сколько лет жили они, притулившись друг к другу, а так каждый сам в себе и остались, никакого родства, никакого душевного взаимопроникновения.

Другой может быть провокатором, индуктором, другой – это отражение проблемы, поломки, дефекта, но всё же не физический уничтожитель. Достаточно малейшего возмущения, чтобы обострилась амбивалентность душевного состояния, чтобы ты сдетонировал. И что бы я ни пытался выдумать, какие бы хитросплетения, перипетии судьбы ни воображал себе, это возмущение наверняка было порождено маленьким «камушком», который зовется словом. Оно всё

взбаламутило, закурило в уме, в сознании стремнину. Конечно, это не случается вдруг, это зреет, наливается, тяжелеет, – человек не истирается в один миг. Долгое время перед этим роковым шагом он висит на волоске. Он пытается водить себя за нос, занимая и отвлекая себя от проклятой навязчивой мысли всем, что попадет под руку.

Кто знает, может быть, в мрачную минуту Ильфира его поправившаяся супруга, чем-нибудь раздраженная – перевернутым коровой ведром с надоенным молоком, павшими от болезни цыплятами, ни с того ни с сего захромавшей уткой, да просто тем, что поскользнулась в отхожем месте студенкой зимой, – в сердцах прошипела: «Всю жизнь на тебя угробила!» или: «Даже детьми-то Бог не благословил!» или простое: «Опять сидишь, бесполезный ты человек!».

Слово порождает смысл, слово же подсвечивает его отсутствие. Смысл тяжело упаковать в слово, а вот из слова развернуть, вынуть смысл довольно просто, только стоит его выковырнуть из оболочки, из шелухи, как оно превращается в дымку, туман, газ, нороящийся рассеяться и ускользнуть, словно выпущенный из бутылки джинн. Не расшелканные, не препарированные на морфемы, семена плода разрастаются темным лесом и кривыми сосудообразными ветвями опутывают, оккупируют нелинейную систему под названием «сознание», «душа», «вещь в себе», будь они имманентными или трансцендентными, и заставляют его или ее переструктурироваться, истончиться, смяться – как угодно исказиться и деформироваться.

Слово – это порхающая бабочка. В ней заключен смысл, но не в сачке, которым ты ее ловишь. Сотри пыльцу, сломай крыло – и смысла больше нет. Не достался он ни тебе, ни кому бы ни было еще. Ты можешь только предложить другим людям поглядеть, полюбоваться вместе с тобой с твоей точки зрения на непойманных особей. Но – нет, я-то делаю иначе: зову смотреть в замочную скважину, в которую и сам уставился, как баран, в которую видно только стену, непробиваемый тупик моего узкого мирка.

Наконец-то я открываюсь, признаюсь как следует: я сам себя увожу в тупик. Не умеючи смириться с какой-то поверхностной, но резонной причиной, пытаюсь проникнуть в метафизические глубины, запутаться в кружевах слов и мыслей, лишь бы отыскать устраивающую меня эстетику в подвернувшемся мне событии.

Слово, треклятое слово – в нем всё дело. Вот до чего я докапывался, вот во что метил, вот для чего я добровольно принял на себя роль адвоката, изывшего себя из этого мира, и искал причин, «*достоточных*» для объяснения и оправдания акта элиминирования самого себя и для наделенных обиденным сознанием, линейной логикой, руководствующихся незатейливой моралью, придавленных колесом добывания, отвлекающихся и развлекаемых. Конечно, и их сознание в любой момент могло проделать такой кульбит, немудрено им было

стать жертвами рокового необратимого сдвига, увлекающего в самые непроглядные бездны небытия. Стоит только оказаться в этой среде, как поверхность ее станет непроницаемой, непробиваемой, стискивающей и обволакивающей со всех сторон эмоционально-смысловой подоopleкой, и все вопросы причинности рассеются, на всё останется один-единственный ответ. Угодить в петлю сознания – плевое дело.

Да разве я не понимаю, да разве кто-то не понимает, сколько попыток жить вопреки скольким обстоятельствам предпринято, пока не была объявлена капитуляция? Но сколько бы я ни «примерял» на себя его причины, сколь сильно ни было бы во мне притязание на постижение его патологической логики, мне не дано присвоить себе те эмоции, то субъективное ощущение и толкование происходившего, во власти которых сконденсировались антивитальные мысли, вызрело роковое решение человека «выключить» себя, изъять себя, вытолкнуть из мировой цитоплазмы.

Душа лишилась гравитации и выпорхнула из тела... или нет? Или тело удушенного сняли, омыли, привели в порядок и, уложив в гроб, предали земле, покою, а душа так и осталась висеть в ужасе, обреченная в каждый миг своего существования помнить момент своего повешения? Неужели участь ее столь горька? Но кто она сама такая – эта душа, с чем ее идентифицировать, с кем сличать?

Он принял решение и уничтожил свою телесную оболочку и, может быть, оставил где-то парить свою душу; моя же цель – совершить не менее фантазмагорический акт: избавиться от своей души. Да, я труслив, малодушен и наивен: обмелел, но не иссох еще во мне источник жизни, вопреки здравому смыслу, на что-то я еще рассчитываю. Я – канонический представитель офисного планктона. По десять, иногда и двенадцать часов в день заперт я, как лягушка, в коробчонке, сижу за столом и стучу, вытянув шею и лапки, точь-в-точь как крысеныш, по клавиатуре, с отключенными эмоциями (высшая ступень эмоционального интеллекта!), в полнейшем безверии в свою полезность. Слушаюсь команд начальников (я не всегда в силах сосчитать, сколько их надо мной), переключаюсь с одной задачи на другую, затем медленно возвращаюсь к предыдущим, не законченным делам, долго вникаю в них, смотрю в экран с отупением, с зависшими над столом растопыренными кистями рук. Добавьте к этому цифры, обрывки фраз, бесконечные совещания, протоколы, полемику и откровенные, приводящие к конфронтации споры, – и вы получите примерное представление о роде моей деятельности, не будучи допущенными до ее содержания. Впрочем, и оно легко может быть выражено: игра слов мною. Нет нужды объяснять мое желание взять реванш над ними хоть бы и в ущерб сну в нерабочее время: я пробоval «играть в слова» – писал о чем-то, всё небольшие эссе, фиксировал свои размышления, впечатления от прочитанного. Ничего выдаю-

щегося, всё дилетантское, но я дошел до серьезного отношения к своим занятиям. Я был не читателем, а старателем, пытающимся в дюнах книжного песка выискать крупницы золота, иногда путающим с ним пирит, иногда – наоборот, пропускающим в заблуждении. Писателем я так и не стал, хотя замарал немалую кипу бумаги. Иные рукописи не только горят, но и хорошо рвутся руками, кромсаются шредером, режутся ножницами, размокают и пр., пр. Похожая участь постигла не один текст, который я напечатал, отправил в книжное издательство, редакцию журнала или на конкурс. Ни один из них не имел отклика, рецензии, маломальской похвалы или критики – всё кануло в небытие. Я не хочу писать, но если не писать – то можно ли жить? Что значит жить, если не писать? Есть слово – и я есть, нет слова – нет и меня, не так ли?

Вот моя цель – исторгнуть из себя слово, скукожившееся, мертвое, но зудящее в моем нутре, разлагающее его гнилыми соками.

Я так мало успел о себе сказать, а мне уже хочется исчеркать и эти несколько строк, стусеваться, забиться в какой-то угол, в котором вы не сумеете меня ни достать, ни наблюдать. Казал вам только нос, а стыжусь себя так, словно красная девица, обнажившая ногу в чулке, хоть вы того и не просили.

Закавыка в том, что, совсем не проявившись, не обозначившись, нельзя и устранишься, так что я должен стерпеть это унижение. Я решился на этот опыт, эксперимент. Возможно, это моя последняя потуга «обыграть» слова. Меня так мало у вас, но все-таки я у вас есть, этого мне достаточно, чтобы извлечь из себя квадратный корень.

По-моему, я поступил довольно гадко, воспользовавшись чьей-то смертью, чтобы явить себя. Но я не нашел более подходящего повода, чем чужое отсутствие. Я обратил на себя ваше внимание, свое внимание, вспорол чужое небытие.

Мне не нужно, чтобы вы видели меня целиком, важна лишь та часть, которая ищет исхода, самовыражения, та, которая испещряет буквами бумагу, та, которая не в силах пережить словесный паралич. Стоит только вынуть и уничтожить эту часть – и я стану нормальным, обыкновенным, полноценным. Упрощение и уплощение – вот путь к гармонии и согласию. Будьте же свидетелями – нет, если хотите, хирургами, трепанирующими мою душу. Я всё подготовил для вас: вот она, связанная, распластана перед вами; не бойтесь, не будет крови и агонии, – наркоз пущен, постепенно наполняет устья моего мирка плотной амальгамой.

Ну же, подходите, ближе, ближе, я вижу любопытство в ваших глазах, ваши белые халаты, протянутые ко мне руки в латексных перчатках, зажатые в них скальпели. Попались! Не вы, но я – совершаю акт, простое математическое действие: ставлю точку, но рассчитываю на кляксу.

Александр Вейцман

DE CONIURATIONE DOCTORUM

Вот окно, из которого после
завтрака виден юный ослик-
мыслитель, поверивший ноше,
называвшей себя Гошей.

Вот окно – типичная рама
и мухи на раме, привыкшие рано
слетаться, чтобы к полудню,
может, поспеть в гости к трутню.

Вот – и так! – сегодня ровно
семьдесят лет: из окна вагона –
деревни, песок, иногда бакланы,
хотя моря нет, что странно.

13 января 2023

НА БЕЛЫЙ СНЕГ

Этим утром он проснулся в прекрасной стране,
и понял, что пока не проснулся.
Фотографии на стене –
он сам, плюс папа и тетя Маруся –
желтели под давно треснувшим стеклом,
готовым сорваться к паркету
в ожидании лета,
пока за предсказуемо убогим окном
шел снег.

Этим утром он понял, что смерть стекла
сильнее физиологии, что будто
бы должны звучать не колокола,
а инсультом
вызванные мысли, что с детства им,
этим мыслям, внушали про подвиг,
про то, что счастье – это когда пофиг
само счастье, про третий Рим
и про снег.

Этим утром он услышал, что «снег идет»,
пел Никитин, трапедия абажура
прижималась к тахте, а вчерашний звездочет
казался мертвым: его фигура
теперь напоминала страну –
бесконечно сонную, но всё же
мертвую, где, сколько ни кричи «О Боже!»,
не поменяешь гробовую пелену
на белый снег.

8 января 2023

* * *

Там сны, дома, плюс окна без обителю,
плюс Петербург.
Там рамка с фото глянцевоу,
и Третья улица Строителей,
и в бане выпивший хирург.

Мосты, огни, бомбоубежище
и вакханалия теней
с охватом в целое отечество,
где кто-то если жив еще,
то, вне сомнений, всех живей.

Асфальт под снегом, виноватые
под утро без вины.
И то вино, в котором истина.
И даже бронза прежней статуи,
чьи кисти не видны.

2 января 2023

MONT-TREMBLANT

Площадь в центре, как в мелком европейском городке,
вместо собора – елка, вместо ратуши – La Forge.
Снег вместо ветра, а вдалеке
огни, напоминающие ложь.

Очереди в рестораны, вдоль вертикали лыж,
под клетчатым небом, затянутым в молочный корсет.
Где-то между – соитие двух крыш,
оставшихся тет-а-тет.

Предсказуемо завершая двадцать второй год,
 силуэты есть мысли, а мысли затёрты войной.
 А иногда кажется наоборот:
 что он лишь начался, этот двадцать второй.

28 декабря 2022

* * *

Отрубленная голова продолжала читать Рильке.
 Немного величаво, под Джона Гилгуда.
 Явно отказываясь навсегда смыкать веки.
 Уходить ей было действительно некуда.

Отрубленная голова – как часть эшафота,
 подобие клумбы без лепты садовника.
 Машинально еще делает что-то,
 но машинально звонит только колокол.

Отрубленная голова – небо с радугой сверху,
 полукруг палача, предвкушение шейное –
 отныне всё в прошлом, как остаток эха,
 то есть остаток Рильке, как нечто семейное.

24-26 декабря 2022

* * *

а дальше постановочные кадры
 зима скрип стекол куртки и о Боже
 партер буфет плюс вешалка театра
 да нет не Боже а всё тоже

не вера в будущее вера в веру
 которая пришла уставшей ночью
 как будто вифлеемская гетера
 склонившая гаспара к многоточью

а Бог сидит но чаще на галёрке
 лишенный глаз хотя не без бинокля
 и повторяет что мне их разборки
 что множатся на смех на плач на вопли

Декабрь 2022

CALLE LARGA MAZZINI

Ты выдохни и вычеркни, затем
закройся маской: ты
в Венеции,
где нет ни тем,
ни избытка воды –
лишь вариации.

Твой кашель – только ложный круп,
возможно грипп,
а под балконами –
сосульки и утопленника труп,
плюс Мерил Стрип
с плечами голыми.

Перепиши: пусть несколько страниц,
зачеркнутые по
вчерашней прихоти,
летят к лагуне, закрывая птиц,
застывших высоко
у зимней пристани.

Январь придет, продолжится война,
из окон чей-то снег
опять повалится.
И вскоре не останется окна,
чтоб вместе в полночь проводить четверг
и встретить пятницу.

17 декабря 2022

EL SIGLO DE ORO

Дорогой Филипп, посланная Армада
англичан разбила вконец, и, надо
полагать, что в рамках ностальгии
не вернется в Испанию без Марии.

Дорогой Филипп, жизнь вдовца – ох уж, эти
четыре могилы, бесконечные дети,
плюс тысячи слуг с восторгом детским:
сплошной депресняк, а помолиться не с кем.

Дорогой Филипп, от эшафота до Бога
каждый полдень – одна и та же дорога.
Рубят испанские леса во имя
того, чтобы после укрыться ими.

Дорогой Филипп, скоро в Эскориале
ты испустишь дух, дабы не знали
твои потомки ни света, ни полумрака –
испустишь, скорее всего, от рака.

Дорогой Филипп, но в России будто
бы еще херовей – очередная смута!..
Посему, ты слезу всё ж возьми да вытри:
там лет сорок править будет царь Дмитрий.

3-5 декабря 2022

* * *

Вот окно: панорама и гавань,
как-то много воды для рассудка,
близ которой намеченный полдень –
бой часов, но без стрелки.

Вот окно: облачись в занавеску,
черт с ней, с тогой, затем с подбородка
подними незаметную маску
из двадцатого года.

Вот окно, где ты не отражался,
если вспомнить, ни ливнем, ни трутнем,
да и дом уже не сохранился,
лишь канал да дорога.

1-3 декабря 2022

Василий Львов

Преимущественно вода

Посвящается Ольге Львовой-Клячиной

ЭЗОПИЯ

По тропкам в лес Эзопии реликтовый
вхожу, пронизан древними инстинктами;
слух наострив, вот выбрал я тропу;
с стопы переминаясь на стопу,
пускаюсь в путь, с бесценными пожитками
неразделим, как ракушки с улитками,
как птенчик, не пробивший скорлупу;
с великими, но нужными убытками,
к воде из леса вышед, свой корабль –
неясно, капитан, галерный раб ль? –
направлю напрямиком на логорифы,
чтоб, воскрешая эллинские мифы,
проплыть – пройти меж сциллами, харибдами,
домой ища дороги между иктами.

НА БЕРЕГУ ЗАЛИВА

Уносит ветр-разбойник сабинянок,
срывая с них цветы;
подельник-Гелиос свои персты –
нет, чаек когти! – в раны их иглянок
(к несчастью, природа слишком щедро
собою одарила эти недра)
пускает, говоря:

«Персты в вас омою
во славу Амону!»

Но снова слышит ветра дуновенье:
«На запад уж ушел на две версты
я от тебя. Бежим!» И чрез мгновенье
крававые, как в патоке, персты –

багровые, точно ломотья мяса
 или инквизиторская ряса,
 багровые, как мантия Пилата, —
 отирает о саван заката.

КОРАБЛЬ

1.

корабль корабль корабль корабль

~~~~~

Кора

бъль

ко

рабль

кора

бъль

~~~~~

кора

бъль

ко

раб

ль

кора

боль

~~~~~

ль-ль

буль-буль-бъ

ми-миль-моль

~~~~~

кора

бъль

ко

рабль

кора

быль

~~~~~

кр-кр-кр-кр

бр-бр-бр

~~~~~

корабль
 короб
 (h)arbor
 scrabble
 корабль
 корябль
 якорь
 корь
 ~ ~ ~ ~ ~
 корабль
 рыба ль
 краб ль
 кабы ль
 ~ ~ ~ ~ ~
 корабль
 в моря б, иль
 ~ ~ ~ ~ ~
 корабль
 корабль
 корабль
 корабли
 рябь ли
 ~ ~ ~ ~ ~
 пора б ль?
 корабль!
 courable!
 incroyable!

2.

Форзацы-горы, мосты-переплеты
 и не спеша листаемая гладь...
 разбросанные шляпки-персонажи
 вдоль стаи примечаний на полях,
 и рябь, и брызги точек с запятыми –
 вдруг гул, густой, как замысел, и вот,
 поток бурлящий мысли оставляя
 и чайный, и вспоминаний дым,
 всё четче, всё острее проступая,
 огромный белоснежный пароход
 серебристую между посередине
 пересекает, устремлен к причалу,
 и с каждой милею усугубляет
 сюжетный узел.

3.

Маячит маятником на волнах корабль,
и, точно кресла филармоний, судна треск
собою застыт гром и гвалт рекоплесканий;
корабль – дорога, путь, а волны – время,
брега его – недвижны, но для нас
минуемое временем – повтор...
нет! из реки не выйти этой дважды.

4.

В изустьи уст и в рукавах стихарь
у слова, имя, рек – одно значенье:
речь рек – сопровождаенье,
рок, календарь; мелодия – плески;
в глуби безмолвно времени пески
терпением раба творят коловращенье,
покуда всё не канет прочь, как встарь, –
и смерть с рожденьем и любовь
и повторится всё, как вновь.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

В небе солоно-волнистом,
в море черном и холодном
в темноте сияют рыбки
и плывут украдкой звезды.

Распластавшись на осколке
от скитающейся льдины
и сиянью вторя мехом,
дремлют белые медведи.

Если б мог перенестись я
в эти северные воды,
если б мог перенестись я
под рокошующие своды.

МУРЕНЫ

Мурлычет мурена, жующая сено;
 Елена лелеет лелатого мена,
 и громко крокочет крыкастый дракон,
 паря над морями, как грозный грифон.

Витийствуют волны, высоко вздымаясь,
 то камни круша, то обратно кидаясь,
 и слышится сладостный голос сирен,
 глядящих на дремлющих в сене мурен.

СУББОТТЕР

Before you read this razzle-dazzle
 and your attention scampers off,
 I'll introduce myself: I'm Basil,
 Not Basil Fawlty – Basil Lvoff.

(Автор приветствует слушателей, говорит, что, прежде чем увлечь их словесными фокусами, хочет представиться – простите! представиться; просит не путать его с каким-то тезкой, по всей видимости, иностранцем.)

I'm not 19; I am no Ovid —
 poet? Hardly. Jestin' jotter.
 Yet I am, too, entrapped by COVID,
 and so I'll write about none otter than...
 Wait, I just gave away my plan.

(Автор говорит, что совершеннолетний, что, конечно, не Овидий и даже поэтот себя не считает, зато с чувством юмора; еще он жалуется на КОВИД (кто же у нас не жалуется?) и говорит, что в центре его рассказа... простите, дальше игра слов, которая не может быть выдрана из контекста английского языка.)

Уступаю сцену автору. Автор попробует обойтись без переводчика, обращаясь к читателю на обоих языках попеременно.

На дворе была суббота...
 In the park, I saw an otter...
 На окошко боязливо...
 First, I took it for a beaver...
 Села птичка, осмотрелась...

I remember feeling jealous
 watching it feast on a fish...
 И давай галдеть – «Эй! Кыш!»
 Impish, I let out a cry...
 «Клюв заткни и улетай!»
 Где почтенье пред людьми?!»
 The otter stopped and looked at me...
 Стихло. Я вернулся в сон...
 The otter left. I went along.

Спасибо! Спасибо! Автор благодарит слушателей.

Заключительную часть выступления автор снова прочтет целиком на английском.

There is more reality to
 my weirdest hallucinations
 than in the whole life
 of an otter.

(Итак, автор утверждает, что реальности в самых причудливых его мечтаниях больше, чем за всю жизнь обыкновенной речной выдры.)

The purpose of death
 is to give us the sense of reality,
 hence
 guard us from existential slumber.

(Автор полагает, что смерть помогает нам ощущать реальность и не дает впасть в беспамятство.)

Without death,
 reality loses its currency.
 «I think; therefore, I am» can work no longer
 once it is said,
 «I think; therefore, AI.»
 To become real, one must die.
 Thank God an otter can't utter.

(Без смерти, говорит автор, у реальности падает курс. Формула «я мыслю, значит, существую», говорит автор, уже неактуальна, когда можно сказать... простите... (Ай-эм? Эй-ай?) Простите. Одним словом, автора волнует проблема искусственного интеллекта и реальности. Чтобы стать реальным, нужно умереть, говорит автор. Он благодарит провидение за то, что выдры не разговаривают.)

Ну что же, давайте поблагодарим автора, а я тем временем задам первый вопрос – от лица слушателей: автор говорил иносказательно, шутя, но что же он хотел всем этим сказать?

СОСЕД СВЕРХУ

Соседа сверху так и не видал, но слышать слышу часто – как раз на днях меня опять он разбудил – как грянет (думал, гром с небес!) протяжный, тяжкий гул, а после град как будто, нет, дробь, скорей, глухих несметных барабанов – да вот еще – век не забуду! – страшный лязг – стенание (иначе и не скажешь), когда, как две громадных ледяные глыбы, прежде бесшумные, сшибаясь, как затрещит – как будто твердь перемальывающий, весь скрежеща, проходит ледокол, – и вот, как громыхнет, я думал, рухнет потолок – всему конец! как я перепугался! а сосед...

не знаю,
ведь я уже сказал, мы не встречались – как-то я даже поднимался в дверь звонить – и к слову, такая дверь, не дверь, а воротá... – звонил, звонил – никто не открывает – раз, другой... а жаловаться – пару раз пытался – зазря, сказали, слышишь это ты один, проверь-ка ты лучше трубы, или уши, – но известно мне наверно: двигает он что-то – вот только что? пианино? древнюю кровать? а может, шкаф платяной, с резьбой дубовой, с зеркалами? но только так не шкаф – так камень тыщелетний, которым заграждали склеп, гремит, толпой когда его отодвигают..

но пусть бы шкаф –
а дело в том, что он, хотя б его и нет,
невидим мне, неведом, в эту ночь, а всё ж
меня коснулся...

Нью-Йорк

Ольга Андреева

Нельзя привыкать

* * *

Это вызрела ваша ненависть –
рвется бомбами, льется «Градами»,
неуслышанность бьет рефренами,
разобиженность ваша – зрадою,

бред особого назначения –
апокалипсис так и выглядит.
От бессилия есть лечение –
в жертву родине сына вырастить.

Но должно же быть
что-то вечное –
между берцами и шлем-масками,
бьется техника да ломается –
упрощается человечья быль.

Я чужой войной переполнена –
я в своей сейчас дезертирую.
Кто засеет вас, льны, подсолнухи,
как найти в себе перемирие?

Тут не рукопись – сразу летопись,
гул винтов в ночи, страх во мне включи,
нет убежища, нет и крепости,
где ты, родина? Нет ведь, хоть кричи.

21.03.2022

* * *

Навсегда развели в Николаеве мост,
так и входит в сознание вечности след,
так и входит понятие возраста в мозг –
под созвездием Лоха, на грешной земле.

Первобытная дикая стынет вода,
Ирод мальчиков режет – так было всегда,
хоть на пляжах полно золотого песка,
и волхвы – Мельхиор, Балтазар и Каспар...

Он – не царь, просто мелкий плешивый царёк,
потерявший реальности светлую нить,
отдавать ему честь, делать под козырек –
или души бессмертные наши хранить?

Раз в пятнадцать столетий вулкан говорит,
вулканическим пеплом накрыло Мадрид,
самолеты блуждают в искристом дыму,
заслонившем прозрачную звездную тьму.

Ничего не меняется, просто течет.
Ирод мальчиков режет, но это не в счет,
дети грязных подъездов, разнузданных нот,
жертвы хлорки, загруженной в водопровод,
городские плебеи бездарных господ.

У ДК сам Ильич указывает перстом –
порыжевший, немый и страшный притом

Март 2022

* * *

Полтавська та Сумська – повітряна тривога,
В Ростовской и Воронежской – дожди.
Нет, я не знаю – как. Но боли слишком много,
Зовёт в наивный бой с запасного пути.

В Москве сезон дождей, вождей и олигархов –
кто в течке, кто в гону – на полстраны,
возня бобра с козлом, всё ставится на карту –
религия любви с религией войны.

Ликует постмодерн постправды, постковида,
постсовести – давай начистоту,
от северных морей гештальты не закрыты
и до крылатых львов на Банковском мосту.

Комп в феврале сказал – фатальная ошибка.
Уехать? Бегство – тот еще протест...
Не кончится зима – весны не заслужили.
Нас не отпустит жить их проклятый контекст.

Май 2022

* * *

К ней нельзя привыкать – а иначе ей век не кончатся.
Стало раньше темнеть, синусоида солнца всё круче.
Но – устами младенцев глаголет, болит, не прощает,
их очами глядит – в мимолетном общенье летучем...

Благодатный огонь снизошел к нам в Иерусалиме.
По одесским домам – две ракеты, по кладбищу тоже.
Обратилась реальность в безвыходный бред символиста.
Так и было задумано, Ты меня вел к этой точке?

Мне расширили мой кругозор – да, он сопротивлялся –
не из мрамора лица ваяет война – из шамота,
и пшеница горит – но, как прежде, моря серебрятся,
и витальность твоя задыхается – но не поможешь...

Сбоку лампа болит – воспаление (антибиотик?)
Против них мы бессильны – раз так, пусть хоть кто-то успеет
и частицу России в себе унесет на свободу –
где бредут вавилонские львы по берлинским музеям.

Август 2022

* * *

Бачіли очі, що брали?
Не предоставили выбор.
Сотни людей на вокзале –
мы среди них быть могли бы.

И перед тем, кто остался,
и перед тем, кто уехал, –
острое чувство скитальца,
парии... Пройдена вежа,

всех поглотила трясина,
времени сдвинулись сели.
Не извернуться красиво,
всё, заврались, не сумели.

Города – на промокашке –
графика, свет inferнальный...
Нечеловечески страшно.
До омерзенья банально...

В репликах старых трамваев –
«город, тебя убивают...»,
«демоны русского мира...»,
«золото, ладан и смирну
рушат».

А я поздновато
выросла из компромиссов.

Август 2022

24 ФЕВРАЛЯ

Если кто-то берет твое сердце и жмет в кулаке –
не проси его быть осторожнее: он не услышит.
Скоро вы поплывете по медленной серой реке.
А пока еще утренний голос смиренней и выше
облаков – только не для тебя, ты идешь, невесом,
глух и слеп для всего – только камень твой вечно с тобою.
Он ползет по дороге с твоим потемневшим лицом,
удушая тебя всей своей неподъемной любовью.

Больше нет ничего, кроме лютой собачьей тоски,
виновато влекущей свой хвост по асфальту и грязи.
Дай мне руку, старик, помоги добрести до реки,
донести до нее свой навек прояснившийся разум.
Отче наш повторяя с инертностью маховика,
соразмерив свой шаг с этим холодом, впрыснутым в вены,
словно пуля, поддетая легким движеньем курка,
буду тихо лететь, чтобы чётко впечататься в стену.

* * *

Умиляюсь – как же крепко все зажмурились,
не хотят смотреть на это, неприличное...
Всё что будет – предсказуемое мультика
про ракеты – так отделаемся притчами,

мы ведь нежные, мы золотом по мрамору,
а железо по стеклу – за отщепенцами.
За пронзительными личностными драмами
забываются Гулаги и Освенцимы.

Кто здесь помнит, до чего же там dospopили
этот самый тонкий лирик с толстым физиком.
Молчаливо одобряем траектории
на экранах охренивших телевизоров.

Тут рискованно не только земледелие,
понимаю, и сама-то ниже плинтуса.
Так давай-ка без истерик, красна девица,
будем умненькими, отмолчимся сфинксами.

*Январь 2022
Ростов-на-Дону*

Михаил Сипер

За окнами топот и выстрелы,
И что-то, чего не узнать...
Пожалуйста, пальцами быстрыми
Ты струны у скрипки погладь,

И тремоло, тремоло, тремоло,
Как отблеск дрожащий огня.
Играй же, играй же, Авремэлэ,
Ты будешь счастливей меня.

Пусть пальцев набухли подушечки,
И ноет, напрягшись, плечо,
Но снова глотни чая с кружечки
И в ноты смотри горячо.

Земной шар уносится в лузу, как
Направленный кием «своjak»,
А всё-таки выжила музыка,
Хотя вся цена ей – трояк,

Хотя, что творится – не лечится
Прекрасной сонатой ха-моль,
И лист лишь допросный замечется,
Храня неизбывную боль.

Я столько видал, что уже малó
Вместилище кожи моей.
Играй же, играй же, Авремэлэ,
Спасай нас от смерти скорей.

Ах, это бредовый сон узника
Тюрьмы, чье название «Земля»...
И всё ж почему снится музыка?
Об этом не ведаю я.

* * *

Знаешь, на улице нашей
Взрывами всё размело.
Помнишь ли тетю Наташу?
Дом, где бьет солнце в стекло?

Помнишь футбол меж портфелей?
 Пшёнки той сказочный вкус?
 Наш палисад разметелен,
 Тяжек разбросанный груз –

Кровь и тела, блеск осколков,
 Сахарно-белая кость...
 Мы уже видели столько,
 Что и отцам не пришлось.

Пусто и тихо неожиданно,
 Слышен лишь гаснущий крик.
 И на углу неустанно
 Плачет согбенный старик.

Что он твердит не по разу,
 В небо глядящий старик?
 «Гиб мир абысале мазл,
 Гиб мир абысалэ глик...»

Нету ответа от Бога,
 Стих голос ангельских лир.
 Бог, наклонившись немного,
 С ужасом смотрит на мир.

* * *

Алексей Петрович ну как там небо
 Как амброзия лучше чем Джонни Уокер
 Повидали там ли Бориса и Глеба
 Что Булата не встретили я просто в шоке
 Нам без вас хреново поймите это
 Перестала светиться отсчета точка
 Наплевав на нас подкатило лето
 И всё тверже моя стала оболочка
 Лёша знаешь такое вокруг творится
 Впрочем и при тебе было вряд ли лучше
 Что залиты кровью очки и лица
 Рагнарёка страшней светит слово «Буча»
 Да ты в курсе но сил нет у строчек с рифмой
 Рассказать про это – не хватит взгляда
 Алексей Петрович возьмем за гриф мы
 Чтобы спеть заплакать завьть как надо
 Как приличные люди в бессилье воют
 Понимая что жизнь напрочь просвистели
 Мы у той стены простились с тобою
 Только нынче дошло что осиротели

MEMORIES

Вот небольшой концерт в ползала
Неподалёку от вокзала,
Где потихонечку вползала
В сердца и души благодать.
Трясутся люди в ритме шейка,
Не расплещи, еще налей-ка!
Эх ты, безрукий неумейка...
Тебе б ногой под жопу дать.

Фанфурь, заглоченный на пару,
Задорный крик: «Давай шизгару!»
И завтрашнего перегара
Не родился еще туман.
Да, жизнь моя – не кружка рома,
И я забыл, что я не дома,
А рядом Лена, Света, Тома
И Генриэтта Перельман.

Я понял, медленно хмелея:
Россия, Лета, Лорелея,
Что гений – Дмитрий Менделеев,
Амброзией снабдивший нас,
Звучит музыка из колонок,
И Сашка Расин гулк и звонок,
Играя песней, как ребенок,
Еще не знавший первый класс.

Ночь, полумрак, в подъезде дует,
И вкус ночного поцелуя
Плывет во мне, как «Аллилуйя»,
И ты белеешь в темноте
Внезапным ангелом небесным,
И мне в моей одежде тесно,
И всё на свете неуместно,
И все слова – уже не те.

Потом – Свердловск в рассветной неге,
Трамвай искрит в привычном беге,
Мчат на работу печенег
С глазами плещущего сна.
Как в песне – холодок за ворот,
Невесел мой рабочий город,

Хотя вокруг, смотри сквозь морок –
Не слазить чтоб, идет весна.

Люблю свои воспоминанья!
Они не требуют старанья,
Они хлестки, как веник в бане,
Они – любимое дитя.
В них окунись, имея смелость
Сказать, что жил я, как хотелось,
Пил, что пилось, и пел, что пелось,
И веселился не шутя.

ТВОЙ МИР

Открой же дверь скорее в коридор,
Где бурый пол порос половиками,
Да, на душе лежит огромный камень,
Но это говорю я не в укор.

Ты дверь открой в заплеванный подъезд,
Ну кто б посмел назвать его парадным?
Смотри не поскользнься, тут всё неладно,
Но нету тяги к перемене мест.

Затем открой-ка дверь на снежный двор,
Где снег черней в дни плавок комбината,
Где за вину не следует расплата,
Где каждый третий – непременно вор.

Осталось только выйти, как на мост,
На улицу в честь памяти кого-то,
Где ждет тебя в одном конце работа
И ждет тебя в другом конце погост.

На шахте люди добывают кокс,
Их ждет самодовольный цвет заката.
Земля, поверь, по-прежнему поката,
Но не богата, вот в чем парадокс.

Открой же дверь в далекие миры,
Пускай до них бессчетные парсеки,
Но жизнь сама разложит всё в отсеки
По правилам задуманной игры.

Пусть жизнь наполнит для тебя стакан
За то, что мир твой – плох, но нет роднее.
Сидишь молчишь? Ну что ж, тебе виднее.
В колонках плачет Джерри Маллиган.

ЧЕЛОВЕК С БОРОДОЙ

Человек с бородой никогда никуда не торопится,
Он смешлив, но серьезен, беспечен, но всё-таки строг,
И во взгляде его что-то вечное медленно копится,
И в планиде его принимает участие Бог.

То, что мерим мы метрами, он измеряет лишь саженью.
И всегда он «на ты», с чем все люди обычно «на вы».
«Суетишься всё» – скажет, неспешно ладонью оглаживая
Чуть кудрявый поток с полысевшей уже головы.

Человек с бородой – он, наверно, приблизился к сути,
Он и смотрится словно воскресший библейский пророк.
Как им стать – никогда не научат тебя в институте,
Лишь незримая молния пустит в тебе корешок.

Побредешь среди людей, помогая на спуске не гробиться,
И, как ключья тумана, пройдут сквозь тебя города.
И закончится враз бесконечная междуусобица,
И, сама по себе, отрастет на щеках борода.

* * *

Чтоб быть достойным всех законов кармы,
Чтоб не смотреть в нагрянувшую хмарь –
Пойми, поэт, вокруг тебя жандармы,
А наверху – глумливо смотрит царь,

И бьют под дых смешливые холопы,
И темнота на будущем лежит.
И отблеск есть на сумерках Европы,
И вновь пророк на паперти блажит.

А жизнь идет, скребет февраль по стеклам,
И иней не протаять пятаком.
И в небе длинном и уже поблёлком
Узор созвездий чужд и незнаком.

Не обижайте прикосаньем снег,
Сверкающий, пушистый и невинный.
И вечер вам покажется недлинным,
И умным – к вам пришедший человек.

И мы пройдем через печали сеть,
Сквозь надолбы, и рвы, и контрэскарпы,
И на просторах очень точной карты
Места отметим, где пришлось гореть.

Тиран свою не чувствует вину,
А ведь причина, собственно, простая –
Чрезмерно он перетянул страну,
Та лопнула, всех кровью заливая.

И нам придется через всё пройти,
Как много раз уже когда-то было.
Лети же, жизнь! Прошу тебя, лети!
Я буду стоек, охраняя с тыла.

Владимир Гржонко

Девочка

Моей жене Наташе с любовью

С самого раннего детства у нее было свое, надежно спрятанное от других, потаенное знание.

Однажды мама достала ей билет на новогоднее представление в городской драматический театр. Там сначала водили хоровод вокруг украшенной блестками и огоньками елки, а потом детей впустили в зрительный зал, и на сцене началась сказка. Девочке сразу понравился храбрый петушок со звонким голосом, который не испугался ни лисы, ни волка, ни Бабы-Яги и помог двум малышам выбраться из заколдованного леса. Ей очень захотелось увидеть этого петушка вблизи, может быть даже подружиться с ним. Поэтому, когда сказка кончилась, а в зале захлопали, девочка соскочила со своего места, быстро, пока не зажегся свет, открыла примеченную ею сбоку от сцены дверцу и скользнула в полутьму кулис. Славный храбрый петушок был еще там, но вблизи оказался немолодой тетенькой с короткими встрепанными волосами, одетой в нелепый, грубо сшитый костюм.

– Блин, – говорила она непонятно кому совсем уже не звонким, а каким-то колючим голосом, – да что же это, опять Карпенко в последней сцене текст переврал, сука. Ну сколько можно!..

В ужасе от увиденного девочка выскочила обратно в зрительный зал. И еще долго не могла успокоиться.

Позднее, когда девочка заболела ангиной и была вынуждена целыми днями лежать дома, от скуки она стала воображать, будто оставленная мамой на столе чашка поворачивается к ней то одним, то другим боком, как живая. Но чтобы заметить это, нужно было долго лежать с закрытыми глазами и притворяться спящей, а потом открыть их и быстро взглянуть на чашку. Это казалось ей самым увлекательным занятием на свете.

Чуть позднее девочка сообразила, что все самые обычные предметы в их с мамой комнате, когда никто не видит, меняются, становятся совсем другими, – так же, как преобразаются ушедшие за кулисы актеры. Но чтобы поймать этот момент, нужно неожиданно заскочить в пустую комнату. Тогда и стол, и шкаф с книгами, и смешная круглая табуретка от давным-давно проданного пианино не успеют притвориться такими, какими она их знала.

Это был целый мир вещей, который девочка называла «Неведомокуда». Так мама всякий раз говорила про потерявшуюся вещь: «Канула неведомо куда». То же самое – только почему-то шепотом – она говорила и про деда Арона. Мама не догадывалась, что на самом деле потерявшиеся вещи просто окончательно ушли в тот, другой мир.

Несколько раз девочке казалось, что она успевает заметить это таинственное преобразование. Но только краешком глаза – и только в самый-самый последний момент. Девочка была уверена, что если вовремя застать вещи врасплох, то они сдадутся, пустят ее в свое Неведомокуда. И расскажут о том, как им было весело водить девочку за нос, но как же славно, что затянувшаяся игра окончилась, – и вот теперь они вместе.

А однажды, незаметно подкравшись к ничейной дворовой кошке Люське, девочка увидела отстраненное, совсем не кошачье выражение на замурзанной мордочке и взгляд ее – глубокий и горький. Такой же точно взгляд был у деда на фотокарточке из маминого альбома, – у того самого деда Арона, который канул в Неведомокуда еще до ее рождения. Заметив девочку, Люська мгновенно преобразилась, превратилась в обычную кошку и, окинув ее обычным кошачьим взглядом, отправилась по своим обычным кошачьим делам.

Потом оказалось, что и у людей есть какая-то вторая сущность, наверное, тоже проживающая в Неведомокуда. В тот день девочка решила сбегать на большой перемене домой, чего никогда раньше не делала. Вещи знали, что дома никого не будет до вечера, поэтому, конечно же, не успели бы вернуться из другого мира. Девочка прокралась по общему коридору к своей двери, неслышно повернула ключ и ворвалась внутрь. В комнате отчего-то стоял полумрак, хотя она точно помнила, что утром окна не были занавешены.

«Ого, – подумала девочка, – вот оно!»

Но вещи были на своих местах – и только на маминой кровати кто-то барахтался и постанывал. Секунду спустя девочка увидела обращенные к ней два лица: мамино и соседа с третьего этажа дяди Сережи. Она даже не сразу поняла, кто это, настолько их лица были другими, нездешними. Девочка давно придумала для таких лиц название «сякойские». Ведь говорят же про кого-нибудь «такой-сякой». Может быть, это и есть указание на ту самую удивлявшую ее двойственность всего существующего? – Дескать, вот он такой, но ведь еще и сякой тоже. Такойских она встречала каждый день – и в школе, и на улице, и в магазине. А вот сякойских... Ясно же, что сякойские существуют как раз в Неведомокуда.

Оказывается, людей так же можно поймать врасплох, как и вещи! Это открытие настолько поразило девочку, что она пропустила мимо ушей путанные мамины объяснения, почему она не на работе и что дядя Сережа делает в их комнате.

«Интересно, – думала она по дороге обратно в школу, – а можно ли вот так поймать врасплох саму себя? Какая я на самом деле – такойская или сякойская?»

Девочка часто придумывала всем и всему странные прозвища. Недавно начавшего ходить двухгодовалого соседского Петьку звала «Мокрый топотун». Магазин, где они покупали продукты, называла «Язавамский»: там всегда были большие очереди. Мама обычно только смеялась и качала головой.

А вот в школе девочке часто доставалось за такие выдумки. Особенно от завуча Ирины Саввишны, которая учила их географии. Ее уроки были для девочки настоящим испытанием: Ирина Саввишна подозревала, что девочка пытается ее на чем-то подловить, и всегда очень сердилась, когда «эта пигалица», как называла ее Ирина Саввишна, вертелась за партой. Но ведь чтобы поймать настоящую Ирину Саввишну, нужно было сначала долго смотреть в сторону, а потом резко повернуть голову и, чуть прищурившись, глянуть на учительницу. Парочку раз девочке казалось, что она вот-вот успеет разглядеть сякойскую Ирину Саввишну – но нет, та упрямо оставалась такойской.

Однажды после уроков восьмиклассник Семен Бугаев по кличке Сенька-Бугай с таинственным видом поманил девочку в пустой класс. За Сенькой давно закрепилась репутация хулигана и школьного вора. Он был, как говорили в городке, «из той еще семейки». Один из его старших братьев сидел в тюрьме, а младшие Бугаевы, по мнению местных жителей, изо всех сил старались туда попасть.

– Ну ты, иди сюда, дура, чего покажу, – с таинственным видом шептал Сенька, – ты такого еще никогда не видела. Да не бойсь!

Девочка знала, что Сенька дурак и хулиган, и обычно сторонилась его. Но сейчас на маслянистом, усыпанном ярко-красными прыщами лице Сеньки появилось что-то настолько узнаваемо сякойское, что девочка покорно шагнула через порог. Сенька быстро оглядел пустой коридор и закрыл за ней дверь.

– Вот, смотри сюда! – Сенька достал старенький складной нож, открыл источенное лезвие и подвел девочку к батарее парового отопления. Сначала он немного поковырял ножом облупившуюся краску, потом вынул из кармана круглый черный наушник, явно выломанный им из телефона-автомата. От наушника тянулись два тонких цветных проводка.

– А теперь слушай, – Сенька сунул девочке наушник и коснулся проводком батареи. Проводок был коротким и, чтобы приложить наушник к уху, девочке пришлось наклониться. В наушнике сначала что-то зашуршало, потом вдруг как будто бы издалека послышалась тихая задумчивая музыка, и чей-то теплый голос напевно произнес: «Далеко-далеко в лесу стояла их запыленная машина...» И тут же всё оборвалось. Это стоявший за девочкой Сенька убрал от батареи руку с проводком.

В общем-то, ничего удивительного во всем этом не было. Подумаешь, какой-то наушник. Это только невежественному Сеньке-Бугаю он кажется чудом. В их с мамой комнате имелся пластмассовый приемник, который назывался «радиоточкой», и по нему хоть целый день можно было слушать новости и всякие радиоспектакли.

Но и в этой музыке, и в голосе каком-то нездешнем, да и в самой фразе «далеко-далеко в лесу стояла их запыленная машина», прозвучавшей из черного небития наушника, было что-то завораживающее. Девочка представила себе чудесный летний лес, мягкий свет, пробивавшийся сквозь кроны деревьев, запах нагретых солнцем пыли и смолы... Далеко-далеко, значит, совсем не здесь!

И тогда девочка вдруг поняла, что это весточка. Весточка, посланная ей из Неведомокуда. Она так и стояла, склонившись над батареей, и даже не обращала внимания на то, что противный Сенька плотно прижался к ней сзади. При этом он как будто подталкивал ее всё ближе к батарее.

– Ну... ну... еще хочешь? Я тебе сейчас и не такое покажу. Хочешь? – урчал над ухом Сенька, ухватив ее железной рукой поперек живота, но девочка всего этого не слышала и не замечала: в ушах у нее всё еще звучала заветная фраза. «Далеко-далеко в лесу...» Ну да, конечно! Это даже не просто весточка, это пароль, пропуск в Неведомокуда! Может быть, нужно послушать еще? Там обязательно должно быть что-то еще...

Дверь класса неожиданно распахнулась, и на пороге появилась Ирина Саввишна. Сенька торопливо отскочил от девочки. Но было поздно. От крика завуча дрогнули стекла.

– Ах ты, тварь маленькая, – кричала Ирина Саввишна, почему-то обращаясь к девочке. – Да как же так можно?! Кошмар какой! Немедленно вон из школы, мерзавка! Чтобы ноги твоей тут не было!

Девочка резко обернулась и даже успела заметить, что красное, с выпученными глазами и перекошенным ртом лицо Ирины Саввишны всё равно оставалось безнадежно таким. И когда разъяренная завучиха, больно ухватив за руку, вела ее в учительскую, девочка подумала, что есть, наверное, люди, которые не бывают сякойскими никогда.

Пришлось обо всем рассказать маме. Побывав у директора, мама сообщила, что Ирина Саввишна требует исключить ее из школы. Девочка так до конца и не поняла, в чем провинилась, но обрадовалась, что больше не придется ходить на скучные уроки. Огорчало только то, что она не смогла дослушать весточку из Неведомокуда. Своего наушника у нее не было. И взять его было негде. Да и вообще, когда еще услышишь такое?

Помучавшись с месяц сомнениями и снова сходяв к директору школы, мама решила отправить девочку на время к своей тетке Ханне, которая жила в Ленинграде, на Васильевском острове.

– Видишь, как всё хорошо складывается, – почему-то отводя глаза, говорила ей мама на вокзале, – Ленинград посмотришь. Сказочный город! Там Эрмитаж, Русский музей, Петропавловская крепость... Ну а школа... что ж, до летних каникул осталось всего ничего. Потом нагонишь, не беда. И тетке веселее будет, она же одинокая совсем. Только вот что...

Мама замаялась и отвела глаза.

– Ты уж там никому не рассказывай про свои... фантазии. Ладно?

В вагоне мама оглядела попутчиков, пытаюсь решить, кому можно поручить приглядеть за девочкой. Но нервный, хлопотливо раскладывающий вещички народец маме не понравился. Слишком уж все эти люди были заняты собой.

В результате мама договорилась, что за девочкой присмотрит проводница – бойкая тетка в форменном кительке и кокетливо сдвинутом набок берете, из-под которого выбивался свежий перманент. В ответ на мамину просьбу позаботиться о дочке проводница сочувственно покивала.

– Э-э, чего там, пригляжу за девкой, небось не обидят. Мы с тобой поладим, правильно говорю, подруга?

Она бросила на девочку короткий взгляд, и той показалось, что проводница только притворяется перед мамой обычной проводницей обычного поезда, идущего в хоть и сказочный, но все же обычный город Ленинград. А на самом деле их ждет какое-то невероятное приключение. Но расстроенная разлукой мама, к счастью, ничего не заметила.

«А что если всё это специально так подстроено, и на самом деле поезд везет меня ни в какой не в Ленинград, а прямо в Неведомокуда?» – подумала девочка.

* * *

Сначала поезд долго шел без остановок через унылую, как приютское одеяло, степь. Уже совсем стемнело, когда он сбавил ход и подкатил к станции. Из вагона наконец-то выбралась сидевшая напротив девочки противная толстая тетка с огромными сумками, в которых что-то позвякивало. И хотя их плацкартный вагон был полупустым, тетка всю дорогу сверлила девочку подозрительным взглядом и то и дело перекладывала свои сумки. Словно боялась, что их украдут прямо из-под ее вздернутого носа, едва видневшегося между заплывшими жиром щеками. Тетка казалась окончательно и бесповоротно такойской, на нее даже смотреть было скучно.

На освободившееся место тут же уселся безрукий дяденька. То есть одна рука у дяденьки была целой, а вот второй, левой, не было почти совсем. Только обрубок, неясно обозначенный свернутым выше локтя и подколотым большой булавкой рукавом засаленного пиджака.

– Ну так чё, – сразу же затеял с ней разговор дяденька, – к родным, поди, едешь? Попроведать?

Девочка пожалала плечами. От дяденьки пахнуло шершавой кислятиной. Конечно, так говорить нельзя, но жесткая щетина, окружавшая его сизые нечистые губы, странным образом смешивалась с противным запахом перегара. Вот и получилась «шершавая кислятина». И разговаривал он как-то странно: слова и интонации были такими, словно он явился в вагон прямо из русской народной сказки.

– Дык как? – не отставал от девочки Шершавая Кислятина. – К родственничкам с приветом или, наоборот, домой, к мамке родной?

Девочка упрямо молчала, хотя и понимала, что настырный инва-лид так просто не отвяжется.

– Молчишь? – Шершавая Кислятина с хрустом почесал колючий подбородок. – Зря. Нехорошо это – в дороге молчать. В беседе и дорога короче. Вот ты думала когда-нибудь, для чего дорога нам дана? Тебе только так кажется, что это просто – из одного пункта в другой добираться. Ан нет. Вон странники, которые издавна по миру бродят, думаешь, отчего? Чего они ищут?

Шершавая Кислятина замолчал, взгляд его уперся в облезлую стенку вагона и потух. Ну и хорошо! Девочка повернула голову к окну, но тут же краем глаза заметила, что в Шершавой Кислятине что-то неуловимо изменилось. Неужели?.. Девочка резко повернула голову, но Шершавая Кислятина сидел как сидел, и пахло от него так же.

– Звать-то тебя как? – спросил он, но, увидев упрямое выражение ее лица, покладисто кивнул. – Ну, как желаешь. А значит, будешь ты у меня Марией. Машей то есть. Ну, чтобы было как к тебе обращаться. Согласна?

Девочка снова пожалала плечами.

– Так вот, Маша, дорога – дело особое, данное нам, чтобы... Как бы тебе объяснить? – Шершавая Кислятина на секунду задумался. – Видишь, какая занятная штука получается: в дороге нас вроде как и нет на свете. Вот сама подумай: оттуда, из дому, ты уже уехала, а туда, куда едешь, еще не приехала. И выходит, что ты как бы посерединке, понимаешь?

Девочка взглянула на него с интересом. Может, ей и не показалось, и Шершавая Кислятина действительно сякойский?

– Это не всякий уразуметь может. Особенно если сразу. Это почувствовать нужно. Но тут другое важно – если тебя как бы нет, то и этого, – Шершавая Кислятина кивнул на окно, – для тебя тоже не существует. Вон оно – мелькнуло, и нет его! Сама посуди: сколько на свете стран, городов, поселков да деревень. Вот, скажем, проживает где-нибудь в Африке или в Америке, а может, и вовсе в Австралии парнишка, сверстник твой... славный такой. Ты бы с ним подружиться могла. Возможно это? Вполне возможно. Да ведь это я только так

думаю, что он существует. А на самом деле... кто ж знает? Посмотри вокруг – кто здесь в наличии? Ты да я, да остальные пассажиры, да еще вон Нюрка, проводница наша. Такая вот наша с тобой реальность.

Слово «реальность» Шершавая Кислятина выговорил с особой старательностью, и девочка догадалась, что слово это для него новое, может быть, только недавно запомненное.

– Кстати, совсем забыл сказать: Лешей меня зовут. Не Алексеем, а именно Лешей. А для тебя, по молодости, пусть будет «дядя Леша».

Шершавая Кислятина – или теперь уже дядя Леша – снова потер колючий подбородок, и девочка обратила внимание, что пальцы у него совсем не такие, как у сказочных персонажей. У тех они должны быть грубыми и толстыми, как у сантехника Михальча, который иногда приходил к ним с мамой чистить засорившуюся раковину. А у дяди Леша пальцы оказались длинные и тонкие, с овальными лунками ногтей. И сами ногти аккуратно подстрижены.

«Странно, – подумала девочка, украдкой бросив взгляд на свои руки, – разве может такой... однорукий следить за чистотой ногтей?»

– А знаешь, Маша, как я стал по поездкам жить? Интересно послушать?

Дядя Леша сделал паузу, словно приглашая девочку ответить. Но она молчала.

Он торжественно поправил заколотый булавкой рукав пиджака, и девочка заметила, что пиджак этот вовсе не так заношен, как ей показалось вначале. И еще... то ли она принохалась, то ли исходивший от дяди Леша противный кислый запах куда-то исчез, но теперь ей казалось, что от него, как от восходящего теста, вкусно и празднично пахнет дрожжами и ванилью.

– Ну так слушай. Началось это давно, года три назад, кажется. Жил я в одном маленьком сибирском городке. Сейчас уж неважно, в каком. Вырос у мамки, без отца, и был как все вокруг: окончил восьмилетку, потом профтехучилище, потом в армию призвали. Отслужил, вернулся и пошел работать на стройку маляром-штукатуром, а проживал в общежитии. И если ты спросишь меня, хорошая то была жизнь или плохая, так я и ответить не смогу. Не знаю. Нормальная, наверное, была жизнь.

И вот, значит, стукнуло мне однажды тридцать лет. Летом это было, в конце июня. Шел я в тот день с работы в общагу. Ну, выпимши был, понятно. Не так чтобы сильно, но выпимши. День рождения, как-никак. Это я тебе говорю, чтобы дальнейшее было понятней. Шагаю, значит, по улице и вижу: навстречу мне идет собака бродячая. Город у нас хоть небольшой, а собак этих бездомных пруд пруди. Они в стаи сбиваются, говорят, даже иногда на людей нападают. Но эта сама по себе идет. Да какое там идет – плетется еле-еле, бочком. Потому что лапа ее задняя левая как-то странно вбок отведена и по земле волочится. Может, машина ее сбила, а может, еще что случилось.

И странное дело, вдруг проснулась во мне какая-то небывалая жалость. К псине этой горемычной. Прямо как ножом режет. Дело к вечеру, смены рабочие повсюду закончились, народу на улице полно. Идут все, торопятся, на собаку большую никто и внимания не обращает. Не то чтобы жестокий у нас народ, а просто – отворачиваются люди: своих забот полно, на всех жалелки не хватит. И я бы раньше внимания не обратил – мало ли их, этих дворняжек, тут околачивается. А вот поди ж ты, чувствую, не могу мимо пройти, ну никак не могу! Как будто внутри кто-то кишки на кулак наматывает, мочи нет. Что на меня такое нашло, не знаю. От боли, от жалости невыносимой становлюсь я на колени перед собакой этой. И бух – лбом в землю.

– Прости, – кричу, – прости нас, балбесов бесчувственных! Мы и о себе-то, убогих, позаботиться не умеем, куда ж нам других-то полюбить!

Кричу и удивляюсь: не мои это слова, точно не мои. А откуда они взялись, понять не могу.

Потом и вовсе сам себя огорошил: взял да и обнял грязную эту псину – и к себе крепко прижал. Пес – ему, видно, совсем плохо было – даже не шарахнулся. Ты, может, всё же решишь, что я пьяненький был. Так нет! То есть, честно признаюсь, навеселе был. Но на ногах вполне держался, да и соображал нормально. Так с чего бы это я стал перед собакой на колени бухаться? Нет, это не по пьяни, точно тебе говорю!

Девочка увидела, что небритые щеки дяди Леши от волнения пошли красными пятнами. Хотя... небритые ли? Теперь ей казалось, что это вовсе не щетина, а, скорее, короткая бородка.

– В общем, прижал я к себе дворнягу на виду у всей улицы, а что дальше делать, не знаю. Стою на коленях дурак-дураком, весь уж псиной провонял. Жалко ее так, что хоть сам умирай. И тут... тут чувствую – вырывается от меня собака и по-человечески так, протяжно вздыхает. И взгляд у нее совсем человеческий – удивленный и недоверчивый. Ну, выпускаю я ее, а она как подпрыгнет да как бросится бежать. Я сначала подумал, что вот ведь, тварь неблагодарная: я к ней со всей душой, а она... И только чуток спустя соображаю, что лапа-то у пса – та самая задняя левая, поломанная которая, – теперь здоровехонькая! Обалдел я настолько, что даже окончательно протрезвел. Гляжу по сторонам, может, видел кто, может, объяснит, что тут произошло. Да нет, идут себе люди, как будто ничего не случилось. Пьяных-то, как и собак, на улицах полно, что на них внимание обращать. Встал я с колен, отряхнулся да и пошел себе в общагу. Но только вскоре скрутило меня. Никак не могу забыть того, что случилось.

«Как же так, – думаю, – ведь не могла собака от моих объятий выздороветь. Может, лапа у нее вовсе не сломана была, а только вывихнута? А я, когда прижал ее к себе, случайно ту лапу вправил? Да ведь вывихнутую конечность вправлять – это уметь нужно. И

больно это очень... один раз на себе испытал, в армии. А тот пес хоть и поскуливал, но уж точно не от боли».

Мне бы плюнуть да и забыть об этой истории. Но нет, как о ней забудешь... Стали меня мучить мысли разные, каких раньше и быть не могло. Что же это я, получается, собаку вылечил? Знаешь, Маша, я ту дворнягу даже отыскать пытался. Да какое там, все они на одно лицо. Ну, то есть морду. В общем, махнул я рукой на то, что атеист, недавно из комсомола по возрасту выбывший, да и пошел к попу в церковь. К отцу Михаилу. Про него говорили, что вроде как толковый мужик. Ну, пришел, потолковали. Только еще муторнее мне стало.

– Это ты, – сказал отец Михаил, – если только для смеха ваньку не валяешь, сам себя убедил, будто собаку своей жалостью вылечил. Так что я тебя в святые пока записывать не стану. Оно, конечно, на все Его воля, но только ты на Божьего человека, который наложением рук лечит, не похож совсем. Чтобы таким стать, непростой путь пройти нужно. А вот так сразу... нет, не бывает. Так что иди и не богохульствуй.

– Да я не про то, – говорю. – Какой я святой? Мне бы просто понять...

– Э-э, – говорит, – чтобы понять волю Божью, вперед нужно со своей волей совладать. Ведь Господь со всеми нами, грешными, говорит, да только услышать Его не каждый может. Уши-то залеплены суетой да низкими желаниями.

И смотрит на меня с укоризной. Как будто я перед ним в чем-то провинился.

– Да какие такие желания? – спрашиваю. – Самые обычные у меня желания, как у всех. Чего это вы меня виноватите? Или тоже, как в парткоме, когда на субботник зовут, про совесть толкуете? А тогда почему у вас вон, при входе, свечками по три рубля торгуют, когда они в магазине пять копеек стоят? Грабировка это, бабок неграмотных обираете!

Тут отец Михаил рассердился.

– Эх ты, гнилой продукт эпохи! – говорит. – Впрочем, по мощам и миро... А ну иди-ка ты отсюда!

А мужик он высоченный, здоровый как бык. Глянул я на него да и ушел от греха подальше.

Дядя Леша вздохнул и замолчал. Девочка с удивлением заметила, что он опять неуловимо изменился. Ничего такого, что так отталкивало ее вначале, в нем не осталось совсем. И когда дядя Леша снова заговорил, девочка уже не отрывала взгляда от его лица.

– С этого всё и началось, – дядя Леша, словно заранее извиняясь, застенчиво улыбнулся. – Не мог я в себе носить такое. Выпиваем как-то с приятелем моим, Мотькой-дрыщом. Ну и не выдерживаю я, открываюсь ему. Мотька, конечно, тоже не верит.

– Ты, – говорит, – зеленых человечков при этом не видел? А белочек? Те тоже любят к алкашу в гости заглянуть.

И смеется так, словно я ему анекдот рассказал. Он вообще насмешливый был: как начнет острить, так не остановишь. Раньше я всегда злился на эти подколки. А тут... Смотрю на него – и вдруг становится мне его, дурака этого Мотьку, до слез жалко. Так жалко, что передать не могу. И вся его жизнь вроде как передо мной открылась. Как он в детстве недоедал и от отца-алкаша побои терпел, а потом, когда отец вконец спился, за мамкой с ее кавалерами в шелку подглядывал. И как его, когда в училище поступил, свои же, однокурсники, били и копейную стипендию каждый раз отнимали. И как он на Верке-буфетчице женился. Верка... она безотказной считалась, со всеми гуляла, а вот жениться только Мотька согласился. Он же неказистый был, бабы его не жаловали. И ведь знал, на ком женится, а всё же, когда она с нашим бригадиром хороводиться стала, тайком плакал, хотя на людях и бахвалился. Мол, Санычу, бригадиру, морду начистит. Только куда ему, заморышу? И другое о нем я тоже узнал. Что это, оказывается, он мою заначку в бытовке нашел и себе забрал, хотя и понял, что мои это деньги, единственного его приятеля. И как он Верку при случае бил. Так, ни за что, по злобе... И как мечтал он всей нашей смене крысиного яду в котелок со щами подсыпать. Не решился, конечно, но ведь мечтал. Тоже по злобе... Да только ли это? Всё я вдруг про него узнал и понял.

Тогда обнял я его и к себе крепко прижал. Дернулось было Мотька, а потом затих. И тихонько ахнул. И даже не ахнул, а... Ну вот как будто не сам он, а что-то против его воли расперло его изнутри, а потом рвануло вверх, к горлу, и вышло так: «А-а-а-х-х-х!» И смотрит на меня Мотька, словно впервые увидел. Совсем как тот пес. Тут мне неловко стало, отпустил я его, а он всё смотрит. И показалось мне, что не только я про него, но и он про меня всё понял.

– Знаешь, – говорит, а сам бледный весь, губы трясутся, – а ведь это я настучал на тебя в контору, когда ты катушку провода с объекта налево продал. И еще я той, помнишь, светленькой, с которой у тебя вроде серьезно складывалось, наговорил, будто гад ты, и жена у тебя в другом городе с детьми твоими брошенной живет...

Ну а я только рукой махнул. Сам про него много чего еще рассказать бы мог, да только зачем?

– А я теперь всё понял, – говорит тут Мотька, – ты всегда мне казался смурным, не таким, как все. Теперь ясно всё про тебя. Чего ж ты раньше-то темнил?

Смотрю я на него и понять не могу. Чего это он? А Мотька завелся, аж пятнами пошел.

– Всё, – орет, – щас мы большие тыщи грести станем, на весь Союз знаменитыми заделаемся. От всех болезней лечить будем. Как Ванга или Джуна какая-нибудь.

– Да ну тебя, – отвечаю, – чего пристал, какая я тебе Ванга? Никого я лечить не умею, да и не хочу!

– Э-э, – говорит, – ты не верти мне, ясно же, что ты ту собаку вылечил и со мной чего-то такое сотворил, только пока не пойму, что...

Дядя Леша снова застенчиво улыбнулся девочке и покачал головой.

– В общем, уговорил меня Мотька. Хотя, если честно, мне и самому понять хотелось, что же это со мной такое сделалось. И поехали мы с ним к его дальней родственнице, которая болела, да так, что встать с постели не могла. А дети, троюродные Мотькины брательники, в больницу ее пристроили да и забросили совсем. Мотька сказал, что недавно ее из той больницы домой выписали. Помирать.

– Медицина, – говорит, – бессильна, а ты, глядишь, и поможешь. Ну уж точно хуже-то не будет.

Приехали мы к той тетке. Действительно, лежит старушка в древней кровати с никелированными шишечками и с подозрением на нас смотрит.

– Чего это ты, Мотька, вдруг явился-то? – спрашивает. – Денег у меня всё равно нет. И взять нечего.

– Ты не волнуйся, – говорит Мотька, – я не за тем. Щас мы тебя, тетя Феня, на ноги поставим. Вот Лешка, он тебя как обнимет, так всё у тебя и пройдет. Здоровой будешь, как молодая. Ну что ты так смотришь, дар невероятный в Лешке открылся, понимаешь?

Но бабка ничего понять не может, видно, решила, что пьяные мы. А я вдруг увидел всю ее жизнь – незатейливую и короткую, очень короткую. Хоть бабке и под восемьдесят, наверное. Когда один день на другой точь-в-точь похож, то будь то дней таких хоть тыща, хоть десять тыщ, короткая это жизнь. Так я это тогда понял. И еще понял, что несчастная эта бабка, хоть сама думает, что счастливая, потому что отложено у нее со всех ее копеечных трудов. На похороны. Как будто самая главная задача всей жизни – это помереть достойно. Только вот одна теперь забота – чтобы сыновья-бездельники денег этих не выкрали да не пропили. Те самые Мотькины брательники, которых бабка, оказывается, от участкового милиционера прижила.

А если еще глубже в душу бабкину заглянуть, так там уж и нет ничего. Всего-то и было у нее в жизни, что визиты пьяненького участкового да работа сезонной поварихой в экспедиции. Да еще огород...

И снова накатила на меня страшная жалость. Трясет меня сильнее, чем с бодуна. Наклонился я над бабкой, вдохнул ее нехороший, лежалый какой-то запах, обнял и прижал к себе крепко. Дернулась было бабка, да тут же и ослабла. Только пружины на кровати скрипнули. И тут как будто изнутри ее кто-то распер. Сильно так, я еле удержал. Ахнула бабка, и сразу же за моей спиной ахнул Мотька. В общем, не знаю, что там произошло, только вскочила бабка с кровати, да так резво, что шишечки никелированные с кроватной спинки на пол посыпались.

– Ах, ты, – кричит она мне, – гад проклятый! Да ты за это под суд пойдешь! И ты, Мотька, тоже – с ним за компанию!

Мы с Мотькой оторопели.

– Ты чё, тетя Феня, охренела совсем, что ли? – бормочет Мотька, а сам за меня прячется.

– А то, что на старуху набросился! Да еще и с дружкой! Я вас под суд отдам, насильники! Я закон-то знаю! Вдвоем – это групповое насилие получается! Зря что ли мой Толя, Анатолий Васильич покойный, в органах служил!

Носится бабка по комнатухе своей, как будто и не лежала пластом только что... В общем, развернулся я да и пошел домой. Один. Мотька остался с теткой ругаться.

Дядя Леша сокрушенно покачал головой.

– Этим бы всё и закончилось, наверное. Только разболтал Мотька эту историю, у него ж не держалось ничего. Да так разнес, что хоть на работу не выходи.

Саньч, бригадир наш, всерьез заявил, что если я обниматься с мужиками начну, чтобы ноги моей у него в бригаде не было. Он этого не потерпит. И так уже люди смеются.

– Да ну, – отвечаю, – ты, Саньч, нашел кого слушать, Мотьку-дрыща! Ничего такого не было, да и быть не могло! Ты ж меня сколько лет знаешь!

Дядя Леша усмехнулся и покачал головой. Он больше не был похож на того неопрятного, нетрезвого пристава, который лез к ней с разговорами. Теперь дядя Леша казался ей совсем сякойским. От этого у девочки замирало сердце и сладко кружилась голова.

– В общем, кое-как отбрехался. Хотя, конечно, мужики долго еще хихикали. И вот только всё вроде бы успокоилось, как тут...

Неожиданно рядом с дядей Лешей появилась проводница.

– Слышь, ты, самовар похмельный, отлынь от девки!

Тут дядя Леша прямо на глазах у девочки немедленно превратился в Шершавую Кислятину. От него даже снова пахло перегаром.

– Да ты что, Нюра? – просительно заговорил он, не глядя на проводницу. – Да разве ж я чего плохого делаю? Так, ребенка развлекаю, чтобы не скучала в дороге. Одна ведь едет.

– Вот именно, что одна! – проводница криво улыбнулась. – И нечего тебе крутиться около нее. Правильно я говорю?

Проводница Нюра смотрела на девочку с каким-то странным выражением. Словно подсказывала ей ответ. Девочка перевела взгляд на дядю Лешу и увидела, что и он смотрит на нее, как будто ожидает чего-то.

– Дядя Леша, – чувствуя, как предательски дрожит голос, попросила девочка, – скажите, пожалуйста, а вот вы... вы такойский или сякойский?

И замерла от собственной храбрости. Проводница Нюра одобрительно захихикала: молодец, девка, срезала алкаша приставучего! Но сам дядя Леша, кажется, совсем не удивился ее вопросу.

– Я-то? – он смешно скосил глаза, словно пытаясь посмотреть на себя со стороны. И, чуть помедлив, виновато ответил: – Да, пожалуй, что сякойский.

– Вот это точно! – охотно подтвердила проводница Нюра. – Что есть, то есть – сякойский. А точнее сказать, босяковский. По вагонам шатается, к пассажирам пристает – и никак его с поезда не согнать. Так и ездит туда-сюда, как неприкаянный. Милицию уж звали, а толку никакого. Прячется куда-то твой дядя Леша от ментов, а потом на перегонах, глядишь, опять появляется. Тоже мне, рыцарь бухального образа...

– Погоди, Нюра, – дядя Леша поднял руку, как будто защищаясь, – не пью я теперь совсем, ты же знаешь. А что в поезде живу, с людьми разговариваю, так это такая моя реальность. Мне теперь по-другому нельзя, мне с этого поезда сойти – всё равно что умереть.

И, повернувшись к девочке, добавил:

– Знаешь только, что? Я совсем мечтать перестал. Но это, наверное, даже хорошо...

Услышав это, проводница Нюра только рукой махнула да и пошла дальше по коридору. Шершавая Кислятина тут же исчез – и на его месте снова появился дядя Леша, к которому девочка уже начала привыкать.

– Во-от, – удовлетворенно протянул он и посмотрел в сторону удалявшейся проводницы. – Ты не обращай на нее внимания. Сам-то я уж привык, мне и не такое говорили.

– А что было дальше? – нетерпеливо спросила девочка. – Что дальше с вами и с этим... Мотькой случилось?

Дядя Леша повернул к девочке голову, и теперь лицо его как будто стало чище, нос сделался тоньше и с горбинкой, лоб выше, а серые глаза ушли глубже в глазницы.

– А дальше вот что было. Оказалось, разболтал обо мне Мотья не только нашим работягам. Да еще и напридумывал всякое, чего и быть не могло. По его словам получалось, что я безногой собаке новую ногу вырастил. А бабуку ту, тетю Феню, будто бы прям из гроба поднял. Но на этом Мотья не остановился, а врал и вовсе несусветное, что в голову придет.

И вот однажды прибегает он ко мне, аж трясется весь.

– Ну всё, – говорит. – В этот раз всё сработает как надо. Поехали, тебя серьезные люди ждут не дождутся. Машину даже за тобой прислали.

Дядя Леша засмеялся неведомо чему.

– Если бы я заранее знал, что Мотья наболтал про меня, так и не поехал бы. А главное, мне и самому, дураку, интересно стало еще раз себя проверить. Это я уж после многое понял. Потом, когда в тайге пожил. Далеко-далеко в лесу...

Последние слова дядя Леша произнес чуть нараспев. Но не успела девочка удивиться знакомой интонации, как в коридоре снова

появилась проводница. Выглядела она странно: берет с кокардой почти съехал с ее крашенных перманентных кудряшек, тонкие бледные губы дрожали.

– Представляешь, по третьему пути товарняк экспрессом идет, так нас по объездному пустили, – шепотом закричала проводница дяде Леше. – И зеленый по всей линии, как назло... Сделай, а, Леш, ну Христом богом тебя прошу...

Проводница умоляюще ухватила за край дяди-Лешиного пиджака. Девочка ничего не понимала. Ведь только что эта самая проводница ругала этого самого дядю Лешу, а тут...

– Да ну, – добродушно сказал дядя Леша, – ты чего, Нюра, девочку пугаешь? Глупости это всё, сама же знаешь.

И, повернувшись к девочке, рассказал, что есть на этом перегоне разъезд – стрелка, где несколько лет назад произошло крушение поезда. По вине диспетчерской такой же пассажирский поезд на полном ходу столкнулся с товарным, а там сорок цистерн бензина. Была страшная авария. С тех пор, если случается, что поезд на этом перегоне пускают по объездному пути, проводница Нюра начинает трястись от ужаса. И просит его, дядю Лешу, отвести беду. Вбила себе в голову черт-те что. Например, что он будто бы на том самом несчастливом поезде ехал. И то ли погиб, то ли спасся, она и сама не знает. А потом будто бы, вот, стал на этом перегоне по поездам появляться. Вроде ангела-хранителя.

– Ну, Лешенька! Ну не упрямься, – перебила его проводница. – А я тебе налью потом, и вообще, хочешь, свободную полку найду. Чего тебе по тамбурам-то мыкаться? Сделай, Леш, я же знаю, только ты и можешь. Ты ведь...

– Ну ты что, какой я тебе ангел-хранитель?! – перебил ее дядя Леша и тут же мягко добавил: – И как это у тебя с тем, что я законченный алкаш, уживается, не пойму...

– Так что ж тут понимать? – зачастила проводница Нюра. – Когда ты к пассажирам с бодуна пристаешь, это одно. Тут уж, извини, но должна я тебя взащей гнать, будь ты хоть кто. Должность моя такая. А вот когда весь поезд надо спасать... да хоть бы только вот эту девчущку, то... ведь ты, я думаю, на то тут и приставлен! Вон есть у нас на сортировке инженер один – по технике безопасности. Так тот тоже хоть и горькую пьет, но дело свое знает. Человек сам по себе – это одно, а служба – совсем другое.

Дядя Леша покачал головой и незаметно подмигнул девочке.

– Ну хорошо, – сказал он, наконец, – хоть я и не по технике безопасности, но...

Девочка увидела, что дядя Леша снова изменился. Еще глубже в глазницы ушли потемневшие глаза, еще чище и выше стал лоб. И что-то такое появилось в его взгляде, чего девочка не смогла бы описать. Так смотрел на нее человек с фотокарточки из маминого альбо-

ма. Девочка тихонько охнула от изумления и непонятно отчего взявшегося страха.

– Тут, Нюра, помолиться нужно. Да ты в Бога-то веришь? – превеличенно серьезно спросил дядя Леша и тут же сам ответил: – Не веришь, конечно. Ты женщина самостоятельная, на веру ничего не берешь. А с Богом-то ведь как? Поди проверь, то ли он есть, то ли нет его... Но сама-то ты существуешь. И даже хорошо существуешь. И денежка у тебя водится. Квартирку свою на время отъездов сдаешь, водочкой по ночам в вагоне приторговываешь, кому не хватило, плюс безбилетники, да посылочки передать, да и еще кое на чем прирабатываешь. То есть прямо-таки хорошо живешь, Нюра. Молодец! Настоящий проводник железных дорог Советского Союза!

Девочка подумала, что если бы не съедавший проводницу страх, то набросилась бы она на дядю Лешу с кулаками. Но Нюра только жалко вжимала голову в плечи, как будто пыталась увернуться от брошенных в нее слов.

– И вот, Нюра, какое дело. Поскольку ты про Бога ничего не знаешь, но зато в собственном существовании на все сто уверена... – дядя Леша вдруг засмеялся и снова подмигнул девочке: – Слово-то какое – «уверена». От веры происходит. Вот и получается, что молиться следует тому, в кого веришь. А веришь ты только в себя, вот, значит, и молиться тебе нужно самой себе.

– Это как? – удивилась проводница Нюра.

– А вот так, – дядя Леша стал очень серьезным. – Что у человека самое главное, как думаешь?

– Душа? – неуверенно спросила проводница Нюра.

– Да какая же душа, если научно доказано, что никакой души и нет вовсе? Желудок у тебя главное, Нюра! Вот ему и молись!

Вместо ответа проводница Нюра кинулась бежать по коридору, пошатываясь, как пьяная. А дядя Леша обернулся к девочке и мягко улыбнулся.

– Напугал я тебя? Ну уж извини. С ней-то, с Нюркой, обязательно строго нужно, чтобы поверила. Что поделаешь, проводница, баба тертая, ей именно такого ангела-хранителя подавай. Строгого. В другого ни за что не поверит. Да только ли она?.. Но я тебе начал рассказывать про Мотьку. Так вот, привез он меня к каким-то людям... К бандитам, коротко говоря. Это уж за городом было, в поселке. Сидит на веранде большого дома мужик седой в кресле-каталке. Вор в законе или что-то в этом роде. И трое пареньков с ним. И смотрят на нас с Мотькой так, что лучше к ночи и не вспоминать.

– Ты, – говорит Седой, да и не говорит даже, а шамкает, потому как парализованный весь, – мне сказали, лечить умеешь. Полумертвых бабок будто бы с постели поднимаешь.

А у самого из уголка губ слюна течет, аж смотреть противно.

– Ну, кудесник, покажи свое умение. Если и вправду поднять меня сможешь... В общем, давай, твори чудеса, которые этот твой шнырек нам наобещал.

Не буду врать, страшно мне стало. Это ведь не хулиганье, а настоящие бандиты. Мотька, дурачок, стоит рядом со мной и трясется, аж зубы клацают. И мне от этого еще страшнее. Ну а что остается делать?

Смотрю я на Седого и стараюсь его пожалеть. Чтобы потом обнять... Конечно, бандит он, но ведь и человек. И вот, понимаешь ли, не получается у меня! С собакой получилось, с Мотькой тоже, даже с теткой его полоумной получилось. А тут – ну никак! Хоть изо всех сил стараюсь.

Минута проходит, другая. Мотька меня незаметно тычет кулаком в бок, шепчет, что, дескать, давай, а то ведь и до беды недолго. Да толку-то? Не получается у меня и всё тут! Ведь чтобы пожалеть, человека узнать нужно. Ну вот как Мотьку. А тут... Закрытый он, со всех сторон закрытый. Как его пожалеешь?

– А-га, – шамкает Седой, – собаке, значит, ты ногу отрастил. А мной что же, брезгуешь? Ладно, тогда мы по-другому попробуем. За слова свои отвечать нужно. На том мир стоит.

Хотел было я объяснить, что да как, но понял, что никаких объяснений Седой слушать не пожелает.

А тем временем двое его пареньков куда-то сбегали и вернулись с чурбаком, на котором дрова рубят, и с топориком.

– Вот, – кивает на чурбак Седой, – сейчас мы эксперимент произведем. Твоему шнырьку руку топором оттяпаем. Хотя надо бы язык, да уж ладно. Немного, кисть только, чтобы тебе потом долго не возиться. Ты ее отращишь для начала, а там уж посмотрим.

И кивает своим паренькам. Те Мотьку хватают, заворачивают одну руку за спину, а другую кладут на чурбак. Бедный Мотька от испуга даже не сопротивляется. У меня голова кругом пошла: ведь и впрямь отрубят руку!

– Стойте, – кричу, – стойте! Сейчас всё будет!

Кидаюсь я к Седому, да так, что третий паренек оттолкнуть меня не успевает. Обнимаю его... Не из жалости обнимаю, а только из страха. И, веришь ли, чувствую, как распирает его что-то, но только не как Мотьку, а по-другому. Зарычал Седой, страшнее голодного волка зарычал...

Дядя Леша умолк и прикрыл глаза, как будто задремал. Девочке показалось, что по лицу его пробежала тень. Хотя, может быть, это просто мигнули вагонные лампочки. И еще показалось девочке, что темнота за окнами сгустилась и стала мягче, как будто бы поезд шел по рукаву мамино драпового пальто, куда девочка однажды в детстве из любопытства засунула голову.

– Очнулся я далеко-далеко в лесу, – после длинной паузы заговорил дядя Леша. – Видать, те бандиты меня в лес вывезли да и броси-

ли. Одного, без Мотьки. И тут гляжу, а вместо руки у меня обрубок. Суровыми нитками зашит, чтоб я, значит, кровью не истек. А как так оно получилось, знать не знаю. Наверное, чтобы больше уж не обнимал никого... Эх, думаю, за что же мне такое? И знаешь, Маша, что странно? Вроде бы всё понимаю, и какой смысл во всем этом, вроде бы знаю. Но вот словами рассказать никак не могу. А если всё же попробовать объяснить, то получается, что избрали меня. Ну, вроде как депутатом в горсовет. Был у нас один, из работяг, в горсовет выбранный. Правда, быстро спился вконец, потому что – как же, народный избранник, ему ж все наливали. Вот и со мной что-то такое случилось. Взяли да избрали. Почему меня? Да мало ли почему. Только вот одно плохо – чего дальше делать, не сказали.

В общем, неделю без малого я по тайге проскитался. Думал, сгину совсем. А потом на поезд этот набрел. Он на перегоне стоял, семафора ждал. Вот с тех самых пор он, этот поезд, и есть моя реальность.

Он покачал головой, и поезд, как будто по его команде, начал замедлять ход.

– Ну вот, – сказал дядя Леша, – мы и прошли тот разъезд.

– Дядя Леша, – неожиданно вырвалось у девочки, – а вы ведь в самом деле наш поезд охраняете. И меня тоже. Я догадалась, вы не просто сякойский, вы... вы мой дед Арон из Неведомокуда...

Дядя Леша внимательно взглянул на девочку, будто бы оценивая, можно ли ей доверить тайну, а потом улыбнулся и кивнул. У девочки оборвалось сердце. Она подумала о том, как обрадуется мама, когда узнает. И только хотела расспросить дядю Лешу, то есть теперь уже деда Арона, о Неведомокуда, о вещах и людях, живущих там, о царящих там порядках и том, можно ли будет взять с собой маму... Но не успела. В коридоре появился милиционер, сопровождаемый проводницей Нюрой.

– Вот он, гадина! – еще издали закричала Нюра. – Сил больше нет! Давай, Серега, оформляй его на сутки или чего там, только меня от него, алкаша, избавь!

И тут дед Арон прямо на глазах у девочки снова превратился сначала в дядю Лешу, а потом в Шершавую Кислятину, поднялся и покорно поплелся за милиционером, который даже и слов тратить на него не стал, а только повелительно махнул рукой.

– Разъезд-то уже проехали, – удовлетворенно шепнула девочке проводница Нюра. – И ничего я не молилась. Ишь чего про желудок выдумал! Дурак он, этот твой дядя Леша. Я его, алкаша задрипанного, больше и на порог не пушу...

Но девочка ее не слушала, а смотрела вслед двум удалявшимся фигурам. Когда милиционер открыл дверь в тамбур, пропуская арестованного, тот повернул голову и, поймав взгляд девочки, ободряюще улыбнулся.

Александр Беляев

МНИМЫЙ ВОЗДУХ

М.А.

выплавленная в тигле
интонация потому близка
что на волосок от гибели
или на гибель от волоска
на всякое *плавали-знаем*
свое *ну а толку-то*
ящик-хранитель долгого
спрашивает: *сыграем?*

* * *

общих мест и фраз расхожих
злитель и цедитель
всё в снегу и ноль прохожих
и фонарь-светитель

никакой драматургии
оперы балета
снег летит поверх пурги и
чепухи сюжета

ИЗ ШЕЙМАСА ХИНИ

рябина в ягоде как бы в губной помаде
а между трассой и обочинной тропинкой
ольшаник стройно марширует при параде
перед камышинкой-метёлочкой-тростинкой

звучат бессмертники в многоголосой сочности
шуршат невзрачники на диалекте-шепоте
и только птица ближе к идеальной точности
той самой музыки всего чего ни попадя

Ж.-П.

безбилетный пассажир
семилетний внук жонглера
вдохновенных *mots* транжир
вдруг встречает контролера

чем оплачен ваш проезд
из наличного состава
следующего в Триест
ну и что что речь картава

я кумир своей родни
перспективная болонка
дело было в наши дни
память та же киноплёнка

три в одном в плену письма
контролёр дитё и автор
зачарованы весьма
быстрым росчерком ландшафта

* * *

Зарекается река
Приводить с собой пространства
Под названьем берега
На постой к непостоянству.
В нашем случае Ока
(В середине (в скобках) станса
уточняем, раз припёрло):
Пересушивает речь,
И мелест-млеет горло-
Русло. Берег как сберечь
По-над тем, что распростёрло,
И течет, чтобы истечь?

* * *

Ворона Карковна
И Муза Марковна
Сидят на веточке

Поверхность Парковна
Свежеобхаркана
Гуляйте, деточки!

Погодка Жарковна
Уже не жарковна
Пошла проветрила

А то всё парилась
Вся прям зашкварилась
И тут допетрила

* * *

увы речь скорее про *негде*
 а не про *неведомо где*
 я вспомнил о Йозефе Кнехте
 Касталия там и т.д.

а здесь что? пельмешки без спешки
 мультяшки-вершки-корешки
 пускай лишь бы не было слежки
 и дети играли в снежки

* * *

одежды отчаянья
 привычны уютны
 все прочие чаянья
 тщетны абсолютно

примеры мои наглядны
 деточки ненаглядны
 ходят все нарядны
 с ниточкой ариадны

жёлтые листочки кружатся летят
 ягодки рябинки огоньком горят

не надо поить песенку

ВОСТОРГ (КЭРОЛ ЭНН ДАФФИ)

Тобою мнима. Мнишься мне весь день.
 Поющим птицам крона что шалаш.
 Молитвенник дождя, и синь, и сень,
 и бесконечно ускользящий пейзаж.
 Как это так? Что, наши жизни могут плыть
 помимо нас, а мы у времени в плену,
 за смертью в очереди стоя? Как сменить
 палитру дней, рифмовку, тишину,
 урон, ущерб на звуки нежных струй?
 И тут любовь, как резкий птичий взлёт
 после дождя прочь от земли. И поцелуй
 цепочки слов и нити бус перестаёт
 соединять: я/ты, там/здесь, пока не поздно,
 желанье, страсть и мнящий (мнимый) воздух.

Мартин Мелодьев

КРЫМСКОЕ

Память – муската на Красном Камне –
патиной – оплела.
В море (кусок стекла с пузырьками)
впаянные тела.

На Константиновой башне – танцы;
дерзкая плоть юнцов,
...парус, качающийся в пространстве,
и никаких мостов.

* * *

А если что и остается
Через звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы

Г. Державин

Был бел шиповник, розов был закат;
наполнившийся сумерками сад
был пуст... Лепниной венчиков одет
шиповник был и, распахнув ладони,
сооружал пространство примадонне,
кордебалет.

И вот Луна кусок остывших сот
несёт (предполагается, что мёд).
Всё может быть: кто верит, тот дождётся.
Шиповник мёрзнет, ёжится и жмётся,
а дождь идёт, идёт, идёт и льёт.

И до рассвета чёрная вода – в цветах,
а если что, и остаётся.

* * *

Под вечер телега пустилась в бега,
возничего ветер унес...
Мы из лесу вышли на станции Мга,
следить наступление звезд.

Поскольку предмет акварели – вода,
она же ее берега –

ее отличает наличие льда,
как ток – провода.

Из инистых веток мережку крючком
надергала пустельга;
холодной шпинелью играет крюшон
заката на станции Мга.

И тянутся ели, в папахах и без,
штыкастые comme a la guette...
И два литератора смотрят с небес*
на звезды во мгле.

* Владимир Ульянов и Герберт Уэллс

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

...только странная
воцарилась тишина.
А. Блок

* * *

Зачем тебе я голову морочил?
Всё кончено, и воцарилась мгла.
Тебе я столько счастья напророчил,
Что вынести его ты не смогла.

Ребенок мой! Мы не были близки,
но были рядом... Тихий час потери.
Все кажутся напрасными стихи,
всё кажутся шаги твои у двери.
Париж... твоё эссе в эколь нормаль
об авторах Серебряного века.

Нам без тебя так не живется, детка.
Гибрид пустыни с клеткой – календарь.

* * *

Не до свидания – до встречи.
Душа заключена в броню
воспоминаний, но под вечер
я иногда тебе звоню.

Погода или непогода,
слепое солнце или дождь,

свое – всегда берет природа
и, как сова, уносит в ночь.

Ложатся тени-одалиски,
заводят пляски у огня.
Твой голос – ангельский, английский, –
пребудет, время вспять гоня.

Уходят сумерки в левкой,
хоронит щебет птичий причт.
Автоответчик в телефоне
мне отвечает: «*you have reached...*»

* * *

Эта девочка – чудо из чуд,
на весу, не сломался бы грифель, –
эта девочка держит свечу,
молчалива как Древний Египет.

Не этюд, не набросок, не скетч –
в терракотовом поле картона
этой девочки строгая речь
выступает, светла и безмолвна.

SONNET

(вольный перевод стихотворения моей дочери Соци)

Звучал твой голос в сердце у меня,
Как шум волны у диких берегов.
Так древний дуб стоит, листвою звеня,
На дождь и солнце небо расколов.

Но жаркий шторм, рожденный в синеве
Обманчивых тропических широт,
Вдруг налетев, ударил Вас, мой лев!
Мой бедный лев, как птица сбитый влет.

Напрасно пальцы шарят по песку
В надежде отыскать живую плоть.
Не воскресить ни птицу, ни строку,
В недобрый час покинувшую порт.

Неколебима лишь земная твердь.
А нам, снежинкам, падать и ржаветь.

Настя Тим

Из цикла «Прильнем к тишине»

СОН

звуки тихо молятся
Оммммм
Оммммм
это ли молитва?
ты не так молилась
ты не так крестилась –
крестилась
крестили
по кругу тебя
ходили-ходили
и мяч уронили
под стол укатился
тихо-тихо
не плачь
потеряется – вновь купим новый:
гладкий
красивый
цветной
что с тобой?
мячики-игрушки
девочки-подружки
бабушкины кудри
курицы
теплицы
и коров стада
Мууууу тебя
Мууууу тебя
сестренки и братья
подметай задворки –
а гулять потом –
вечером в парном
молоке купаться –
целое ведро
можно не считаться
хватит всем с лихвой
разве только так –
для игры-улыбки –
открывай ручонки:

камешки
и нитки –
сохранить
сплести
в книжку как закладку
в память о том лете:
детство
аллергия
одуванчик гадкий
пух тот тополиный
падкий
падкий
падкий
сбитое дыханье –

вдох и выдох целы
все рисуют мелом
в классики играют
(девочки отдельно)
мальчик
убегает

* * *

отпроситься у бабушки
и
всей командой по пыльной дороге
сквозь густую траву перейти
до другой
что скрывает по пояс

шершни рядом спуют и жужжат
отмахнуться немислимо
и
словно танец танцую бежишь
а они укусить норовят

где же этот овраг –
потерялся?
может вовсе зарос и пропал
но мы дети и верим –
у Бога
есть для нас
земляничный привал
этот запах
и цвет несравненный

а добавь молока из ведра –
это вкус беззаботного детства
он во мне
и тебе
навсегда

* * *

почти любое озеро
рано или поздно
превратится в болото

вот и наша водная гладь
превратилась в него

все нежности и красоты
опустились на дно
стали донным илом

но болото очищает воду от примесей
и она становится пригодной для питья

значит тот кто однажды заблудится
утолит нами жажду
и выживет

* * *

не вода
не земля
и не ветер

просто термопластичная жизнь

размягчается
под воздействием
температуры
культуры
страны

аморфная
словно в пространстве
бесструктурная вата
висит

просто жизнь
простовата
а хочется

кристаллизации
чем больше кристаллизовано счастья
тем непрозрачнее полимер

не вода
не земля
и не ветер

просто жизнь
просто я
термопласт

пласт живой
пласт земли

* * *

словно в полимерной глине –
во мне твоя основа:

страхи
опыт
мудрость

связующий пластификатор поколений

пигменты горя/радости
прозрачной жизни

и чуточку слюды
для металлического
эффекта

* * *

в клокочущей земле расслышать звуки
бушующих бурлящих техногенных –
потоков сил и катастроф что муки
приносят ей как в схватках нерожденных
печаль ее и в недрах невралгия
многосторонней болью
в грудной клетке
но во вселенной
НЕТ
такой кушетки
чтоб шар земной
на отдых уложить нам
прошу тебя небесная Марие
пусть добрых дел и мира синергия
даст шанс простой – случиться

чу
де
САМ

НАСТЯ ТИМ

* * *

когда на лицах останутся только глаза
в которых весь мир отразится
вспыхивая и затухая

мы прильнем к тишине
и родимся заново через тысячи лет

ИЗ ЦИКЛА «ОБРЫВКИ ЖИЗНИ»

* * *

Вы можете не знать «чужое слово»,
но будете о нем
смотреть
чужие
сны

* * *

станцуем жизнь?
а впрочем
это мало

давай ее
рука в руке
пройдем

* * *

красивости ушли — остались междометия

* * *

снова курю это время
снова без фильтра оно

* * *

многоликий
жестокый февраль
с биполярным расстройством печали

* * *

не пойми меня правильно

просто услышь
улови

Роман Смирнов

* * *

кто шагает дружно в ад
мирноносный наш отряд
звезды гаснут на ветру
это я огонь веду
это мы на букву м
положили
оммм и мем

чу начался
грей парад
рвёт на части
флаги прайд
око за око
град за град
брат бородат

кто летает в вышине
беспилотник вы же не
дерни за веревочку
девочка дюймовочка
еле видно через дым
скачет всадник тыгыдым
то ли сразу мертвый
то ли он четвертый

* * *

Дай человеку выйти из вод, он извлечет удивительный крик.
Дай человеку бумажный завод, он напечатает тысячи книг.
Дай человеку увидеть срам, он поспешит рассказать о нем.
Дай человеку построить храм, он запретит возвращаться в дом.
Дай человеку поймать пчелу, он позабудет мед.
Дай человеку понять почему, он будет завтра мертв.
Дай человеку поднять ружье, скоро их будет три,
и если один на заре уйдет, память другим сотри.
Дай человеку еще одного и просто оставь одних.
Тебе предстоит отойти от вод и снова поверить в них.

* * *

В какой-нибудь Тьмутаракани,
ушедшей за карту страны,
на окнах бесцветные ткани,
и с той, и с другой стороны.

Остывшие кухни и плиты,
солонки и сахарниц дрянь
и загодя фикус политый,
и тещин язык, и герань.

По улице ветер гоняет
обрывок афиши: футбол
такого-то. Бог его знает,
чем славен ФК «ТПО»?

Всё кажется, выйдет навстречу
мальчонка в рванину одет,
и музыку жалобной речи
талантливо вставит в куплет:

«Мы все из простого народа,
подайте же, дядечка, мне
на хлебушек черный и воду,
я Вашу родню помяне...»

* * *

Вдруг вспомнить – память множь
на ласку и укус –
желудком пахнет нож,
а рис почти кускус.

Усесться на диван,
не то ходить, курить.
Стишков стеречь дуван –
украсть и нечем крыть.

Прожить беду в меду.
Монета с трех сторон
видна, иметь в виду.
Понять резон ворон.

Упасть со склона лет
в последний переплет –
пора платить за свет,
пришел бумажный счет.

* * *

Шел долго снег, начавшись вечером,
лип к жести крыш, съезжал шумя
и грохоча, слегка подсвеченный
то фонарем, а то двумя.

По всем приметам дело двигалось
к погоде ясной, как плакат.
Пил в доме гость, терялась видимость,
месило небо облака.

Был день пятнадцатый, на Сретенье.
звал к Богу свет церковных ваз,
и древний лик, просящий – верьте мне,
а я всегда умру за вас.

* * *

когда захочется домой
я стану проще
как между датами прямой
короткий прочерк
как незакрытое окно
в начале ночи
как непрощенное одно
простивший отче
как боли хочется найти
другую вместо
я буду по полю идти
в святое место
и где-то в дальнем уголке
сердечной суммы
родство признаю в уголке
сгоревшим всеу

КУЛЬТУРА. ИСТОРИЯ. ФИЛОСОФИЯ

Сергей Бычков

«Свободы сеятель пустынный...»

*Жизнь и труды русского мыслителя Георгия Федотова**

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Сегодня наиболее чуткий читатель осторожно приступает к осмыслению богатейшего наследия мыслителей русского религиозного возрождения. К сожалению, исследователей меньше всего интересуют проблемы формирования личности того или иного мыслителя, его внутренняя жизнь, чаще всего отражающаяся в дневниковых записях и переписке. Прежде всего они ищут ответы на животрепещущие вопросы современности: как могло случиться, что стремительно развивающаяся Россия в начале XX века была охвачена революционным пожаром? Почему в течение 70 лет большевики уничтожали лучших представителей нации, богатейшую русскую природу, ее ресурсы? Где коренятся истоки российской трагедии? Быть может, поэтому личности самих русских мыслителей остаются за границами этих проблем. Счастливым исключением является философ и писатель Федор Степун¹.

Личность его друга и единомышленника, религиозного мыслителя Георгия Федотова приоткрывается в письмах к двум женщинам: в начале жизненного пути – к Татьяне Дмитриевой и в конце жизни – к начинающему ученому Зое Микуловской. В них яркий публицист предстает как неисправимый романтик и тончайший лирик. Русская эмиграция как в США, так и в Париже знала Федотова прежде всего как бесстрашного и парадоксального публициста, не боявшегося идти «против течения». В 1948 году писательница, талантливая и умная Нина Берберова, ознакомившись со статьей Федотова «Судьба империй», пишет ему из Парижа:

«...первым моим движением после чтения Вашей статьи в 'Новом Журнале' было: сдержаться, не писать Вам по поводу нее, т. к. мне необходимо

*С этого номера мы начинаем публикацию книги российского исследователя, историка религии С.С.Бычкова о жизни и научном наследии Г.П. Федотова (1886–1951), религиозного мыслителя, историка, русского эмигранта первой волны, автора «Нового Журнала» с 1942 года. © С.С. Бычков.

писать на этот номер журнала критику для газеты 'Русская мысль', и я не хочу растерять некоторые мысли в письме к Вам, которые мне послужат для рецензии. Но соблазн слишком велик сказать Вам, как много эта статья дала мне и как она ценна для меня, отвечая на самые существенные мои мысли. Благодарю Вас за нее. Я считаю Вас сейчас самым замечательным религиозно-политическим русским мыслителем и прошу Вас принять это совершенно просто, не как лесть или комплимент, а как сообщение факта, не требующего особого обсуждения»².

Прочитав статью Георгия Федотова «Народ и власть», опубликованную в «Новом журнале» в 1949 году, известный русский философ и мыслитель Семен Франк писал автору:

«Ваша способность и готовность видеть и бесстрашно высказать горькую правду в интересах духовного отрезвления и нравственного самоисправления есть редчайшая и драгоценная черта Вашей мысли. Вы обрели этим право быть причисленным к очень небольшой группе подлинно честных, нравственно трезвых, независимо мыслящих русских умов, как Чаадаев, Герцен, Владимир Соловьев (я лично сюда присоединяю и Струве), знающих, что единственный путь спасения лежит через любовь к истине, как бы горька она ни была. Роковая судьба таких умов – вызывать против себя 'возмущение', которое есть ни что иное, как обида людей, которым напомнили об их грехах или приятные иллюзии которых разрушены»³.

Несмотря на столь высокие оценки исследований Федотова его современниками и собеседниками, ему не нашлось места в трехтомной «Истории русской философии» (Париж, 1948–1950), подготовленной протоиереем Василием Зеньковским. Не уделил ему внимания и Николай Лосский в своей «Истории русской философии» (*History of Russian Philosophy*. NY, 1951). Отчасти такой подход оправдан – Федотов не был философом. Он был исследователем феномена русской святости, блистательным публицистом и проницательным историком. Конечно же, и выдающимся культурологом. Его двухтомник «Русская религиозность», к сожалению, до сих пор остается непрочитанным. А этот труд увенчал жизненный путь мыслителя. Недаром протоиерей Иоанн Мейендорф спустя пятнадцать лет после смерти Федотова проделал нелегкую работу и все-таки издал второй том этой важной книги, не увидевшей свет при жизни автора.

В докладе, подготовленном к 125-летию со дня рождения мыслителя, которое отмечалось осенью 2011 года в Доме русского зарубежья им. А. Солженицына, профессор Сорбонны Н. А. Струве, отдавая должное Федотову как ученому и исследователю, отмечал важную черту его публицистики:

«После книг о русской святости Федотов отдался целиком своему изначальному призванию – публицистике, хотя опять-таки это слово не совсем

точно выражает жанр, избранный Федотовым, точнее тот жанр, который был присущ его гению. В нем он, пожалуй, не имеет себе равных, разве что в лице моего деда, П. Б. Струве (кстати, было бы интересно сопоставить их дарования в этой области: емкость, краткость, отсутствие повторов, собственные им обоим, но звучание языка у каждого иное, у Петра Струве более мажорное, у Федотова несколько мягче, мелодичнее). Большинство статей Федотова посвящены России, ее трагедии»⁴.

В своем докладе на этой же конференции профессор Жорж Нива, прослеживая тесную связь его первой книги об Абельяре с последующими трудами, выделил особую роль Федотова-мыслителя:

«Такая преамбула к творчеству Федотова выделяет его. И дает ему возможность по-новому осветить русскую святость и русскую историю. Увидеть парадоксы и страшные бои внутри Русской Церкви – стяжатели против нестяжателей – с полным разумением каждой стороны, не уменьшая роль побежденных. Или парадоксы мысли Пушкина, певца вольности и империи. Федотов различал свободу для государства (Афины) и свободу для каждого человека. ‘Наша свобода – социальная и личная одновременно’»⁵.

Но в то же время Жорж Нива отметил и другие важные аспекты творчества Федотова, ускользавшие от исследователей его наследия:

«Федотов – необычное явление в истории русской мысли. Он обладал, как мне кажется, редкой способностью смотреть на себя и на Россию со стороны, но без крайностей Чаадаева или Печерина. Никогда не воскликнет он: ‘Как сладостно отчизну ненавидеть!’ И тем не менее, он умел смотреть на Россию со стороны и смотреть на Запад без раздражения. Он сумел увидеть во французской мысли одну потаенную сторону. Не Руссо и не просветителей, не вольнодумство и антиклерикализм – а тот живительный горный поток, который можно назвать «христианским социализмом». Родоначальник этого течения – до сих мало известный, несправедливо недооцененный (прямо скажем – Сорбонной презренный) – Пьер Леру, экономист, автор ‘Равенства’ и изобретатель самого слова ‘социализм’. Он действительно сыграл огромную роль в создании той химеры, порожденной христианством и идеалом прав человека. Однако Леру затмили Маркс и гегельянцы. Федотов интересовался не только Леру, но и его соратниками: Фурье, Бартеlemi Анфантен, Жорж Санд. Экономическое и социальное значение присутствия христианства в современном обществе после индустриальной революции были надолго удалены с общественного европейского поля. Федотов увидел значение некоторых коммунистических сект, возникших до Маркса и Энгельса, увидел и не осуждал их. Ибо дрожжи братства ему казались благи, где они бы ни были. Федотов приветствовал энциклику папы Римского Льва XIII в 1891 году об имморализме в общественной и экономической сфере».

Эти мысли Жоржа Нива многое объясняют сегодняшнему читателю работ Федотова, привыкшему ставить знак равенства между

идеями социализма и коммунизма. Для Федотова они были антагонистами.

Приходится признать, что Георгий Петрович был несчастлив в семейной жизни. Его жена, Елена Николаевна, урожденная Нечаева, была человеком неуравновешенным, склонным к истерикам. Ее страсть к курению и постоянному слушанию радиопередач осложняла и без того неустроенный быт мыслителя во время эмиграции. Брак ее дочери Нины, удочеренной Федотовым, с художником Федором Рожанковским, талант которого оказался востребованным в США, вызывал резкое неприятие с ее стороны. Полунищенское существование в довоенной Европе приучило семью Федотовых к строгой экономии. Буржуазный образ жизни, который вели Рожанковские (заработки популярного книжного иллюстратора давали им возможность жить на широкую ногу), вызывал отторжение и у Елены Николаевны, и у Федотова. Даже отдыхая в райских уголках Флориды, Елена Николаевна срывалась, устраивала семейные скандалы, так что Георгий Петрович готов был сбежать в Нью-Йорк. Его жена не прижилась в США. В послевоенные годы она разрывалась между Францией, где остались ее друзья, и США, где проживала семья. Неудивительно, что Федотов всей душой потянулся к юной, жизнерадостной студентке Зое Микуловской, отдавая себе отчет в том, что их отношения могут быть только платоническими.

Женщины в жизни мыслителя играли особую роль. Его первая саратовская любовь, Татьяна Дмитриева, с которой его связывала более чем десятилетняя близость, оказала на него решающее воздействие. Властная, решительная и в то же время взбалмошная, она втянула его в революционную деятельность. Он прошел через обыски, аресты, высылки. И всё же с благодарностью хранил в памяти ее образ. Елена Николаевна чем-то напоминала Татьяну. Столь же властная, она разделяла политические пристрастия мужа. Героически поддерживала его в нелегкие моменты противостояния в 1939 году, когда парижские монархисты ополчились против него и потребовали от митрополита Евлогия (Георгиевского) исключения Федотова из Свято-Сергиевского богословского института. Будучи его единомышленником и соратником, она, однако, не сумела создать семейного уюта, атмосферы любви, в которой он крайне нуждался.

Семья Микуловских остро чувствовала неприютность мыслителя и пыталась помочь ему. Влюбленность Федотова в жизнерадостную, талантливую Зою помогала преодолевать житейские трудности. Отогреваясь близ нее, он вновь начал писать стихи. Ему казалось, что наконец-то он обрел тот идеал, который искал всю жизнь. И в то же время понимал, что его жизнь клонится к закату, а Зоя только начинает жить. Он оказался для нее мудрым учителем, который помог ей найти собственный путь и раскрыть данные ей таланты. В этой книге

впервые рассказывается о жизненном пути мыслителя, о его юношеских ошибках и заблуждениях, а также о его важных открытиях и прозрениях, которые, к сожалению, и по сей день остаются невострепованными в новой России.⁶

Глава первая. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И СЕМЬЯ

Будущий мыслитель Георгий Федотов родился 1 октября 1886 года в Саратове в семье надворного советника Петра Ивановича и Елизаветы Андреевны Федотовых. Его отец, Петр Иванович Федотов (1850–1898), был сыном чиновника из обер-офицерских детей. После окончания юридического факультета Харьковского университета со степенью кандидата прав 2 января 1876 года он был назначен помощником делопроизводителя Екатеринославского губернского правления. Полгода спустя стал редактором «Екатеринославских губернских ведомостей». В конце августа 1877 года молодой чиновник без отрыва от прежней работы был назначен на штатную должность секретаря Екатеринославского губернского статистического комитета. А уже 16 февраля 1878 года стал младшим помощником правителя канцелярии Екатеринославского губернатора. Молодой чиновник отличался сообразительностью и аккуратностью, поэтому быстро продвигался по карьерной лестнице. 2 января 1881 года ему был присвоен чин коллежского асессора. Годом ранее за доставку на Всероссийскую антропологическую выставку памятников истории и этнографии из Екатеринослава Петр Иванович был удостоен серебряной медали Императорского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете.

Год спустя, в январе 1881 года, Петр Федотов по собственному прошению был уволен от должности секретаря Статистического комитета с оставлением на службе в канцелярии губернатора. 3 июля 1881 года был награжден орденом Станислава 3-й степени. В начале 1882 года переехал в Саратов, где 3 января стал правителем канцелярии губернатора. Переезд был вызван приглашением саратовского губернатора действительного статского советника Алексея Алексеевича Зубова. В 1880–1881 годах Зубов был Екатеринославским вице-губернатором и хорошо знал Петра Ивановича по совместной службе. В январе 1883 года Петра Ивановича наградили орденом Станислава 2-й степени, а 2 января 1885 года произвели в надворные советники; 24 марта 1885 года он был удостоен ордена святого Владимира 4-й степени. В августе 1884 года был избран действительным членом Саратовского губернского статистического комитета, а 2 июля 1886 года назначен членом Саратовского губернского училищного совета от Министерства внутренних дел. Благодаря покровительству Зубова и собственному усердию, 1 января 1888 года Петр

Федотов получил должность правителя дел Правления Петербургского воспитательного дома. 2 января 1889 года получил чин коллежского советника, а 1 апреля 1890 года был награжден орденом святой Анны 2-й степени.

21 июля 1890 года Петр Иванович ушел в отставку, но через три месяца вернулся на службу, уже в канцелярию ведомства императрицы Марии. Служба его там продолжалась недолго, уже 24 сентября 1890 года он был переведен в Министерство внутренних дел и назначен старшим советником в Воронежское губернское правление (согласно местной иерархии пост этот шел вслед за вице-губернаторским). В 1892 году он стал директором Попечительного о тюрьмах комитета, попечителем исправительного отделения. С 1893 года Петр Федотов уже статский советник. Через год он получил потомственное дворянство, поскольку был награжден орденом святого Владимира 4-й степени. Вместе с женой и сыновьями был внесен в третью часть дворянской родословной книги Воронежской губернии.

В 1884 году Петр Иванович Федотов женился на дочери полицмейстера уездного Вольска, коллежского советника Андрея Моисеевича Иванова, девице Елизавете – выпускнице Саратовского института благородных девиц, учительнице музыки. Пара обвенчалась 25 апреля 1884 года в Спасской церкви. Жениху было тридцать четыре года, невесте – тридцать один. Венчал их протоиерей Марфо-Магдалининской церкви Аркадий Серебряков. Поручителями жениха были его брат, штабс-капитан Санкт-Петербургского гренадерского полка Иван Иванович Федотов, дворянин Иосиф Эдмундович Корев и пристав Саратовского городского полицейского управления, губернский секретарь Яков Иванович Генерозов. Со стороны невесты – подпрапорщик 158-го пехотного Кутаисского полка Владимир Андреевич Иванов, коллежский ассессор Иван Игнатьевич Гржибовский и дворянин Михаил Александрович Кайгородов.

1 октября 1886 года родился первенец Федотовых Георгий. 19 октября он был крещен в церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Позднее в семье появились двое других сыновей – Борис и Николай. В период своего пребывания в Саратове семья Федотовых проживала по адресу: Никольская улица, дом 7. Здание Воронежской губернской (1-й мужской классической) гимназии сохранилось по сей день по адресу: пр. Революции, 19, старое здание Технологической академии. Умер Петр Иванович в 1898 году – причиной смерти стал сердечный приступ.

Мать будущего мыслителя, Елизавета Андреевна Иванова (Федотова), родилась в семье вольского городского полицмейстера, коллежского ассессора Андрея Моисеевича Иванова и его жены Варвары Максимовны. Кроме Елизаветы в семье росли сыновья Александр и Владимир и дочери Ольга и Надежда. Отец Елизаветы

Андреевны, Андрей Моисеевич Иванов – потомственный дворянин, был заслуженным чиновником системы Министерства внутренних дел. Его отец (прадед Федотова) Моисей Иринархович Иванов происходил «из обер-офицерских детей». По определению Саратовского дворянского депутатского собрания, утвержденному «указом правительствующего Сената по герольдии от 31 августа 1844 года за №15674», внесен в 3-ю часть Саратовской дворянской родословной книги.

Андрей Иванов, начав службу в 1836 году подканцеляристом Саратовской уголовной палаты, дослужился до коллежского советника и вышел в отставку по состоянию здоровья 7 июля 1891 года. За пятьдесят пять лет службы он занимал разные посты, в частности, был секретарем Саратовской уголовной палаты, вольским уездным стряпчим, директором Вольского уездного Попечительного о тюрьмах комитета, саратовским уездным, а затем вольским уездным исправником. По выбору от дворян был заседателем Саратовского совестного суда, членом Вольского училищного совета. С 1882 года и до выхода в отставку был вольским городским полицмейстером. К этому времени за добросовестное отношение к порученному делу он получил многочисленные награды: ордена Святого Владимира 3-й и 4-й степени, Святой Анны 2-й и 3-й степени, Святого Станислава 2-й степени, бронзовую медаль на Владимирской ленте в память войны 1853–1856 годов.

Заслуги его были настолько очевидны, что губернатор А.И. Косич обратился 8 июля 1891 года к министру внутренних дел с просьбой о награждении Андрея Моисеевича «знаком отличия беспорочной службы за 50 лет» и о назначении ему вместо положенной по закону пенсии в размере 285 рублей 90 копеек «ввиду его более полувековой службы, расстроенного на службе здоровья и преклонных лет, пенсии в усиленном размере по 1000 рублей в год». Благодаря заботе губернатора А. М. Иванов получил заслуженный знак вместе с грамотой, пенсию в размере 750 рублей в год и, кроме того, еще «право носить в отставке мундирный полукафтан, последней должности присвоенный». Андрей Моисеевич Иванов долго служил в Вольске, скорее всего, пользовался квартирами, предоставлявшимися в соответствии с занимаемыми должностями. Поместий ни он, ни жена его, Варвара Максимовна, не имели. К моменту выхода на пенсию сыновья Александр и Владимир находились на воинской службе, а дочери Елизавета, Ольга и Надежда уже были выданы замуж. После выхода в отставку в 1891 году Андрей Моисеевич сразу же уехал в Воронеж к старшей дочери.

В финансовых документах канцелярии саратовского губернатора за 1885 год имеются сведения, что П.И. Федотов получал жалованье в размере 735 р. и столовые деньги – 742 р. 50 к., всего – 1477 р. 50 к.

в год. Если эту сумму (а также назначенную «усиленную» пенсию А.М. Иванову) сопоставить с получаемой Елизаветой Андреевной Федотовой после кончины главы семьи пенсией в тысячу рублей, можно заключить, что семья не нуждалась. Для того времени тысяча рублей была немалыми деньгами. После эмиграции Георгия Петровича Федотова его мать Елизавета Андреевна осталась в России и жила в семье среднего сына Бориса в Москве. Младший брат Николай жил в Саратове.

19 октября младенец Георгий Федотов был крещен – восприимниками были действительный статский советник Павел Моисеевич Иванов и супруга саратовского губернатора Мария Николаевна Зубова. Отец Федотова был правителем канцелярии губернатора – этим обстоятельством объясняется присутствие на крестинах в храме Рождества Богородицы супруги губернатора. Георгий провел первые годы жизни с матерью у деда в Вольске. С этим городом он связывал позже свои первые осознанные воспоминания о волжских просторах с «маленьким пароходиком вдали». В Вольске в 1889 году родился его брат Борис. Встречи с отцом были непродолжительны, но это только обостряло любовь к нему сына.

После трех лет столичных служебных перемещений отца, не нашедшего своего «места под солнцем» в Петербурге, в 1890 году семья Федотовых переехала в Воронеж. Через год на свет появился еще один брат Жоржа – Николай. Добросовестность и исполнительность П.И. Федотова обеспечили ему успешный карьерный рост в Воронеже – он стал правителем губернаторской канцелярии, получил чин статского советника, а главное – казенную квартиру. При этом он неоднократно, как засвидетельствовано в его формулярном списке, исполнял обязанности воронежских вице-губернаторов, когда те покидали город по служебным или личным надобностям.

Высокое служебное положение и устойчивый материальный достаток отца в сочетании с добрым характером матери создавали спокойную атмосферу в семье. Елизавета Андреевна не только «музицировала» на фортепиано, но прекрасно вела домашнее хозяйство. До замужества она преподавала музыку детям состоятельных родителей. Вспоминая эти годы, Г.П. Федотов замечал, что он был «избалованным мальчиком». Петр Иванович скончался от сердечного приступа в 47 лет, когда Георгию исполнилось двенадцать. После смерти отца семья осталась в Воронеже. Георгий учился в 1-й воронежской гимназии. Мальчик рос чувствительным и религиозным, хотя мать особыми религиозными чувствами не отличалась. Позже Георгий Петрович рассказывал жене о детской мечте: он жаждал воскресения отца и жарко молился об этом. Отец скончался в Страстную пятницу, и мальчик ждал, что отец воскреснет вместе со Христом, на Пасху. Отец не воскрес, и это поколебало его детскую веру.

Семья жила на пенсию, которую назначили после смерти отца, но, чтобы поддержать прежний уровень жизни, мать сдавала комнаты и готовила обеды. Георгию пришлось год провести в интернате при гимназии «в атмосфере грубости и цинизма» (его собственные слова). Вспоминая о своих детских религиозных впечатлениях, Георгий Петрович писал в 1935 году: «...у народа тот же Христос, которого я знал в детстве. Я не выдумал Его. Он дан мне всей православной средой, в которой я жил (не матерью): иконой, лубочными картинками Страшного Суда, литургией, сыростью и холодом воронежских церквей (страшный Онуфрий). Из Евангелия доходило только то, что шло в согласии с этим церковным миром (Страшный Суд, горе всем)»⁷. Душой семьи, ее стержнем была мать. Несмотря на трудную жизнь, каждое лето семья Федотовых проводила в Саратове. Поэтому и город, и Волга навсегда запечатлелись в душе мальчика. В юношеский период Федотов познакомился с русской публицистикой. Белинский, Добролюбов, Писарев, Щедрин, Михайловский, Шелгунов стали властителями его дум. Эти писатели способствовали окончательной утрате детской веры. В последних классах воронежской гимназии Георгий сблизился с социал-демократами, и марксизм на несколько лет стал его новым увлечением.

Его одноклассник по воронежской гимназии Н.Н. Блюммер позже вспоминал:

«...поступив в воронежскую гимназию, я был поражен отношением гимназического начальства и учителей к ученикам... и взаимным отношением учеников между собою. В то время как в царицынской гимназии (Где до этого учился Блюммер. – С. Б.) увлекались примитивным спортом вроде борьбы, кулачных боев и т. п. <...> в воронежской гимназии ученики увлекались литературой, театром и всякими разумными увлечениями. Этот интерес отчасти поощрялся гимназическим начальством, устраивавшим ученические вечеринки с небольшими ученическими докладами и постановками пьес.

Прислушиваясь к разговорам и присматриваясь к новым товарищам, как новичок, я обратил внимание на маленького шупленького гимназистика, который выделялся среди толпы новых моих одноклассников застенчивостью. К этому юноше часто обращались с просьбой объяснить тот или иной урок, помочь в переводах с греческого или латинского языка, решить ту или иную задачу. Я узнал, что зовут этого юношу Жоржем Федотовым и что он всё время идет первым учеником... Я присматривался к Ж., и меня удивляло, что он в своих отношениях ко всем был одинаково любезен, ровен и отзывчив. На переменах ему не давали возможности отдохнуть. Ученье ему давалось очень легко благодаря исключительной памяти. Помимо гимназических учебников, Ж. много читал и следил за книжными новинками, хотя за неимением средств не мог покупать новые книги. В гимназических играх во время большой перемены Ж. не принимал участия, видимо, избегая физического переутомления, однако очень аккуратно посещал уроки 'гимнастики' и самым добросовестным образом старался выполнять упражнения лазаний по веревке или

шестам, хотя всё у него выходило плохо, и после каждого 'упражнения' он сконфужено занимал свое место в ряду...»⁸

С детских лет Георгия Федотова отличала цельность и органичность. Ограниченность материальных средств и физические недуги не вызывали у него озлобленности, как это часто случается с людьми, перенесшими в детстве лишения. Это качество он унаследовал от матери – тот же Блюммер вспоминал: «Жизнь в семье Ж. протекала равномерно, без всяких видимых потрясений. Мать Ж. была удивительно спокойной, и я ни разу не слышал в этом доме ни резких замечаний, ни каких-нибудь выражений неудовольствия».

В этот же период Федотов жадно поглощал нелегальную литературу:

«В то время – перед Русско-японской войной – мы увлекались Горьким, Андреевым, Скитальцем, Чеховым и другими властителями дум и, помимо легально изданных произведений, в большом почете были нелегальные брошюры, которыми зачитывалась учащаяся молодежь. Все новинки обсуждались совместно в разных ученических кружках, собиравшихся по преимуществу в менее подозрительных, с точки зрения гимназического начальства, квартирах. Обычно подбиралась тесная компания из одноклассников. Кроме литературных бесед прочитывались нелегальные произведения, содержание которых было непонятно слушателям. Никто из начальства не знал, что мы собираемся на такого рода беседы, и у нас не было и мысли, что кто-нибудь из товарищей выдаст, даже невольно, наш секрет. Всё было законспирировано. Конечно, у классных наставников и надзирателей составлялась на нас своего рода характеристика, но никто не мог и подозревать, что Жорж, этот худенький и скромный мальчик, первый в классе, – мог принимать горячее участие во всех конспиративных беседах и быть вдохновителем ученического журнала и автором многих статей и стихотворений»⁹.

В 1904 году Георгий закончил Воронежскую гимназию, и семья окончательно перебралась в Саратов. Федотовы поселились в семье деда – Андрея Моисеевича, который навсегда запечатлелся в памяти Георгия. Сын простого крестьянина, в эпоху александровских преобразований он был мировым судьей. Но когда были приняты новые законы об образовательном цензе, был вынужден оставить должность мирового судьи и занять мало привлекательную для него должность полицмейстера. Дед оставил интересные воспоминания, которые внуку позже не удалось найти. В дневнике 1935 года Федотов записывал, суммируя впечатления детских лет:

«14 июля. О змеях. Один и тот же сон, мучивший в детстве. Может быть, даже не сон, а ночной кошмар, мешавший заснуть. Вереница комнат, полных змей: огромных, вроде удавов. Я бегу, спасаясь, убиваю их, но их всё больше, спасение только в полете, который труден, но иногда удается. Часто змей и борьба с ним является прелюдией к Страшному суду, где змей находит свое объяснение как образ ада.

Тогда змиеборство, или бегство от змей, не приводилось в связь с другим опытом, страшного значения, который даже предшествовал змеям (с 2 лет?). Опыт целой жизни восстановил эту связь. Вот отдельные моменты узнавания: Георгий и дракон – мой святой. Отвратительные фантазии Штука. Символ Скальдина в его ‘Никодиме’¹⁰. Гностические истолкования грехопадения. Собственное лицо в зеркале. Зеленые глаза оттуда.

‘Кто змиеносец, кто змиеборец?’ (Это из ‘Трех столиц’). У Данте в Аду превращение человека в змия (оттуда же). Половину жизни чувствовать себя змиеборцем, во имя Св. Георгия, чтобы признать себя побежденным. Нет, узнать себя в змее. Интеллектуальное отражение того же змия – жало. Жалить в пятау. Яд тайной критики. Не смей бороться с открытым лицом!»¹¹

Глава вторая. ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ В ЗЕРКАЛЕ ИСПОВЕДИ

Благодаря письмам Георгия Федотова к Татьяне Юлиановне Дмитриевой, дочери члена Саратовской судебной палаты Юлиана Дмитриевича Дмитриева и Натальи Ивановны (в девичестве – Фаресовой), восполнено одно из «белых» пятен биографии мыслителя. Молодые люди познакомились в Саратове в начале 1905 года. Инициаторами знакомства были мать Г.П. Федотова и ее сестра Ольга. Мать считала, что замкнутому, погруженному в себя юноше необходимо расширить круг общения. По характеристике Ольги, хорошо знавшей умонастроения племянника и семью Дмитриевых, мать Татьяны Юлиановны была «...из красных, у них он встретит себе товарищей». И Жорж, и Татьяна росли в «чиновных» семьях российской провинции. Отец Тани был деятелем «освободительной эпохи» и, как отец Жоржа, продвигался по служебной лестнице в провинциальных городах, закончив карьеру членом Саратовской судебной палаты. Оба они ушли из жизни в один и тот же 1898 год. Тогда Жоржу было лишь 12, а Тане – 14 лет. Их воспитывали матери, получившие образование в институтах благородных девиц (Н.И. Фаресова окончила Александровский институт в Тамбове). И Таня, и Жорж были отличниками в учебе, и оба окончили гимназии с золотыми медалями. В юности Жорж был хорош собою – жгучий брюнет, слегка выющиеся волосы, стройный. Но он не догадывался о своей красоте. Таня не была красавицей и прекрасно понимала это.

Будучи старше Жоржа, она успела начать в 1902 году учебу на Высших (Бестужевских) женских курсах в Петербурге, где жила в доме дяди по материнской линии. Анатолий Иванович Фаресов в прошлом был участником народнического движения, осужденным по известному «Процессу 193-х». И хотя к тому времени уже отошел от революционной деятельности, под его влиянием Татьяна обратилась к нелегальной литературе и включилась в пропагандистскую работу сначала среди «моешниц», а потом среди работниц табачной фабрики «Лаферм»¹². Ей не удалось закончить курсы, поскольку в 1904 году она была арестована и приговорена за антивоенные выступления во

время Русско-японской войны к ссылке в Сибирь, которую вскоре заменили высылкой в Саратов.

Жанр Исповеди давно известен в мировой культуре. Обычно к этому жанру прибегали творцы, достигшие зрелого возраста. Наиболее известные из них – блаженный Августин, Жан-Жак Руссо и в России Лев Толстой. Исповедь Федотова – исключение. Он начал ее, когда ему исполнилось двадцать лет.

В своей Исповеди, первой, но уже безусловно талантливой попытке сочетать анализ своих чувств с позиции ученого-исследователя и, в то же время, с позиции одаренного художника, он описывал возлюбленной первые годы их знакомства, упоминая себя в третьем лице:

«Таня, послушай, я хочу рассказать тебе мой план. Моя ‘история’ все-таки мучит меня. Я хочу ее рассказать – тебе. Тебе это не покажется смешным, если я в письмах буду рассказывать тебе ‘историю о том, как познакомились Жорж и Таня и что из этого вышло?’ Может быть, я скажу тебе что-нибудь новое о себе, о чем до сих пор молчал. И, может быть, я провинюсь против тебя, не поняв многих твоих побуждений. Тогда ты должна меня поправить, чтобы не оставалось никакой лжи. Только знай, милая, я буду говорить не об одном Жорже, но и о Тане. Это смело с моей стороны. Но ты должна знать, что я думаю о тебе, хотя бы я и ошибался. Я буду писать тебе часто и с увлечением. Впрочем, ты можешь всегда потребовать у меня переменить тему. – Так я думаю воспользоваться твоей просьбой о ‘длинных, откровенных письмах’»¹³.

Татьяна приняла правила игры и регулярно отвечала ему, внося небольшую правку в те места, которые казались ей неточными. Федотов описывает первое знакомство с семьей Татьяны:

«Ему почему-то Дмитриевы представлялись помещиками из круга тети Оли и, во всяком случае, светскими людьми. А он был ужасный дикарь. Провести вечер в обществе было для него пытка. Когда кругом смеялись, танцевали, кокетничали слегка, на него напала удивительно мрачная тоска. Он старался найти свою шляпу и незаметно улизнуть. И все-таки он пошел с тетей к Дмитриевым. Почему? В последнее время он чувствовал себя из рук вон плохо. Нервы окончательно расшатались. Тогда уже началась революция. Кровь текла. И на его слабой душе оставались рубцы. Вот уже месяцы, как он жил одной ненавистью. И чем бессильнее он себя чувствовал, чем дальше от жизни и ее борьбы, тем злоба была ядовитее, и отравляла его еще почти детское сердце. А он был совсем вышвырнут из жизни, точно стоял на берегу и смотрел. О, это нелегко смотреть, как люди тонут. Он был всегда нерешителен, этот Жорж. Сделать пер-

вый шаг навстречу этим людям, которые борются и умирают, он не мог. Да он и не знал, как это сделать. А он искал – силу, которая взяла бы его и швырнула в поток, не спрашивая его, и сделала бы его полезным в жизни. А главное, заглушила бы большую совесть»¹⁴.

Тетка и мать Федотова, видимо, не раз пожалели о том, что познакомили Жоржа с Татьяной. Несмотря на то, что она была лишь немногим старше, она была гораздо опытнее и мудрее его. Юный Жорж влюбился в Татьяну. Она видела это и порой обращалась с ним, как с послушным ребенком, – вовлекла в пропагандистскую деятельность среди рабочих, содействовала его знакомству с саратовскими социал-демократами. Стремясь завоевать ее любовь, Жорж, как средневековый рыцарь, ринулся в схватку. Через некоторое время после знакомства с Татьяной Федотов, несколько бравируя и стремясь понравиться ей, писал о себе: «Он был добрым марксистом».

Чтобы быть ближе к рабочим и знакомить их с идеями социализма, Федотов решил поступать в Технологический институт в Санкт-Петербурге, куда отправился летом 1904 года. После волжских просторов Петербург показался угрюмым и сырым, городом героев Ф.М. Достоевского. Однако пробыть здесь в первый свой приезд ему пришлось недолго. Зимой 1905 года началась первая русская революция. Занятия в высших учебных заведениях были прекращены. Пришлось возвращаться в Саратов. Здесь он возобновил связи с социал-демократами и вновь занялся пропагандистской деятельностью.

Сегодняшнему читателю трудно понять увлечение российской молодежи идеями социал-демократов. Не стоит забывать, что атмосфера тогдашней России была пропитана ненавистью к монархии, хотя Россия в конце XIX – начале XX веков переживала бурный экономический рост. Границы были открыты, и россияне свободно могли путешествовать по Европе. Финансовая реформа, предпринятая С.Ю. Витте, привела к тому, что российские золотые рубли можно было свободно обменять по выгодному курсу в любом зарубежном банке. В России, наряду с бурным развитием промышленности, появлялись новые течения в живописи, театре, поэзии и музыке. Издавались новые литературные и художественные журналы, переводилась на русский язык новейшая европейская литература. Но умы молодежи формировало влияние народничества, увлечение идеями социалистов и марксистов.

Николай Бердяев в годы большевистского переворота дал четкое определение соблазну народничества, которое на протяжении почти полувека отравляло сознание русской молодежи:

«Препятствием на пути нашего зрелого национального самосознания всегда стояло русское народничество, которое в разных формах владело умами и сердцами русских людей. Было у нас народничество консервативное

и народничество революционное, народничество религиозное и народничество материалистическое. Но всегда оно было капитуляцией нашего культурного слоя, призванного нести свет во тьму, перед необъятной тьмой мужицкого царства, всегда оно было выражением русской отсталости, русской экстенсивности, всегда означало недостаток духовного мужества. Народническое сознание вело к идолопоклонству перед народом как эмпирическим фактом, как количественной массой, всегда подчиняло оно духовную жизнь материальной социальной среде, всегда подавляло творческое личное начало, погружало личность в коллектив... Левое же народничество было сплошной изменой религиозным, национальным и культурным ценностям. Бог был подменен народом, ценности интересами, духовные реальности преходящими благами социальных классов. Вот это безбожное идолопоклонническое народничество, изменившее всем непреходящим святыням и ценностям, и подорвало Россию»¹⁵.

Священник Александр Шмеман в своих лекциях о русской культуре справедливо заметил, цитируя высказывания позднего Федотова об особенностях литературы второй половины XIX века:

«Культуру в то время в интеллигентских кругах стали понимать исключительно прагматически: как минимум необходимых, обязательно практических, обязательно 'полезных' сведений для 'народа', просвещение сводилось лишь к всеобщей 'грамотности', без какой-либо заботы о национальной культуре. Над русской культурой воцарился интеллигент, 'идеалистический и беспочвенный', по выражению Федотова, аскет, презиравший не только материальные блага жизни, но и всякую, по его мнению, ненужную 'изящность', фанатически одержимый одной, только одной мечтой, в которой, однако, культуре не было места»¹⁶.

Позже, пытаясь осмыслить уроки первой русской революции, Семен Франк в своей статье «Этика нигилизма» дал яркий анализ воззрениям русского интеллигента начала XX столетия:

«Символ веры русского интеллигента есть благо народа, удовлетворение нужд 'большинства'. Служение этой цели есть для него высшая и вообще единственная обязанность человека, а что сверх того – то от лукавого. Именно потому он не только просто отрицает или не приемлет иных ценностей – он даже прямо боится и ненавидит их. Нельзя служить одновременно двум богам, и если Бог, как это уже открыто поведал Максим Горький, 'суть народушко', то все остальные боги – лжебоги, идолы или дьяволы. Деятельность, руководимая любовью к науке или искусству, жизнь, озаряемая религиозным светом в собственном смысле, т. е. общением с Богом, – всё это отвлечает от служения народу, ослабляет или уничтожает моралистический энтузиазм и означает, с точки зрения интеллигентской веры, опасную погоню за призраками. Поэтому всё это отвергается, частью как глупость или 'суеверие', частью как безнравственное направление воли. Это, конечно, не означает, что русской интеллигенции фактически чужды научные, эстетические, религиозные интересы и переживания. Духа и его исконных запросов умертвить нельзя, и естественно, что живые люди, облекшие свою душу в моральный мундир

‘интеллигента’, сохраняют в себе все чувства, присущие человеку. Но эти чувства живут в душе русского интеллигента приблизительно так, как чувство жалости к врагу – в душе воина, или как стремление к свободной игре фантазии – в сознании строго-научного мыслителя: именно как незаконная, хотя и неискоренимая слабость, как нечто – в лучшем случае – лишь терпимое.

Научные, эстетические, религиозные переживания всегда относятся здесь, так сказать, к частной, интимной жизни человека; более терпимые люди смотрят на них как на роскошь, как на забаву в часы досуга, как на милое чудачество; менее терпимые осуждают их в других и стыдливо прячут в себе. Но интеллигент как интеллигент, т.е. в своей сознательной вере и общественной деятельности, должен быть чужд их – его мировоззрение, его идеал враждебны этим сторонам человеческой жизни. От науки он берет несколько популяризованных, искаженных или ad hoc изобретенных положений и хотя нередко даже гордится ‘научностью’ своей веры, но с негодованием отвергает и научную критику, и всю чистую, незаинтересованную работу научной мысли; эстетика же и религия вообще ему не нужны. Всё это – и чистая наука, и искусство, и религия – несовместимо с морализмом, с служением народу; всё это опирается на любовь к объективным ценностям и, следовательно, чуждо, а тем самым и враждебно той утилитарной вере, которую исповедует русский интеллигент. Религия служения земным нуждам и религия служения идеальным ценностям сталкиваются здесь между собой, и, сколь бы сложно и многообразно ни было их иррациональное психологическое сплетение в душе человека-интеллигента, в сфере интеллигентского сознания их столкновение приводит к полнейшему истреблению и изгнанию идеальных запросов во имя цельности и чистоты моралистической веры»¹⁷.

В Исповеди Федотов ярко рисует это умонастроение:

«К тому же в это время он чувствовал себя фанатиком и, хотя социал-демократ немногим отличался от средневекового монаха: он ненавидел плоть. Но в этот вечер (в конце февраля) Жорж заметил, что в Тане есть изящество, и притом именно духовное. Когда она говорила, ее лицо беспрестанно менялось, выдавая ее настроение. Оно становилось тогда красивым. И она умела удивительно обходиться с людьми – точно все были ее близкие друзья. На что Жорж был нелюдим, а и он почувствовал себя, точно дома. Он почти не стеснялся. О чем-то болтал, о 9 января, о Клемансо и ‘L’Aurore’ с учительницей французского языка. Б.Б. Арапов рассказывал о казацком побоище на Александровской улице, где и ему чуть-чуть не влетело – он тоже был очень мил. Когда Наталья Ивановна позвала всех к ужину, Жорж остановил Таню в дверях и передал ей поручение от Шульги. Дело шло о какой-то падшей девушке, которую надо было спасти (и которая так и осталась не спасенной). Он вообще был застенчив, но перед Татьяной Юлиановной он мог говорить об этом смело. Она ведь не простая провинциальная барышня (курсисток Жорж до нее не знал). С ней, кажется, он мог бы вести разговоры на самые опасные темы и быть серьезным, и без всякого смущения на

душе – как с товарищем, нет, как с другом. У него был только один такой друг когда-то.

Уходя, Жорж взял с собою один из №№ ‘Вперед’. Бурные ленинские речи были для него тогда полны поэтической прелести, точно перевод из ‘Неистового Орландо’. Этот вечер для Тани принес победу. Жорж был уже почти влюблен. Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Слишком измучено было его сердце – им же самим. Чем больше жестокости оседало внутри его, тем сильнее была потребность в любви. Реакция. Нужно было так мало, чтобы смягчить его: ведь, он не был озлобленным мужчиной, а просто больным, изнервничавшимся мальчиком»¹⁸.

Погружаясь в Исповедь Федотова, поражаешься его умению подмечать важные детали и творческому подходу к жизни. Это удивительное сочетание ученого-аналитика и незаурядного художественного дарования отличало его на протяжении всей жизни. Кажется, в нем всегда боролись эти два начала. Поразительно, как ему удалось органически совместить их. В Исповеди он отмечал благотворное влияние Татьяны:

«Первое, что бросилось ему в глаза в его новой знакомой, была ее удивительная жизнерадостность. Она всегда была занята, бегала с утра до вечера. И при том у нее была инициатива – она умела двигать людей и заставлять их работать. Жорж стал глубоко уважать ее за это: она казалась ему его прямой противоположностью. Он не мог тогда разглядеть незаживающей раны в ее сердце – в этой сильной, живой девушке. В ее руках он быстро сбросил с себя скорлупу отшельника. Каким-то чудом она заставила его интересоваться судьбой воскресной школы – и он оказался кой для чего годен. Он открыл в себе товарищеские инстинкты, которых и не подозревал. Право, он был усердным суфлером. Из всех его социальных званий в жизни – это было самым удачным и счастливым для него. Но не было ли здесь самообмана? Конечно, Таня была для него дороже спектакля. Видеть и слышать ее, просто чувствовать ее присутствие – это было для него счастьем. Он следил за ней с затаенным обожанием. Она была тогда душой их милого кружка, где ученики и учительницы жили общей жизнью. Она относилась ко всем одинаково дружески, – к Жоржу так же, как и другим...

Ей нравилось в нем его услужливость, его, по-видимому, бескорыстное отношение к другим. И, вообще, он казался славным, симпатичным мальчиком. Красивым он не был. Черты лица его были грубые: слишком широкие скулы и подбородок, чувственные, большие губы. Ей нравились только его глаза, серые, небольшие, но живые, умненькие, с большими черными бровями, и слегка вьющиеся волосы. Он умел хорошо, добро улыбаться и держался хотя неловко и застенчиво, но с

каким-то еле уловимым оттенком детской грации. Раз он стоял на коленях перед книжным шкафом, доставая какую-то книгу. Тане захотелось провести рукой по его волосам. Ей пришло в голову, что такие волосы, как у Жоржа, точно созданы для того, чтобы их трепала женская рука. И он был такой скромный, паинька, точно напрашивался на ласку. Он почувствовал ее прикосновение, вспыхнул и встряхнул головой, точно зверенок. Но ему было страшно приятно. Она часто говорила ему комплименты за его волосы и брови: она хотела бы иметь такие. А он никогда не смел заикнуться о ее наружности. Всякий комплимент застрял бы у него в горле, хотя, конечно, никакими милыми и лестными словами он не сумел бы выразить, как ему нравилась Таня. С ее голубыми глазами и светлыми волосами, она казалась ему васильком в колосьях ржи. Но вся прелесть была в игре лица и в тонком духовном изяществе, которое светилось в ней». (399-400)

В Исповеди Федотова поражает больше всего его полная открытость, а также поразительная способность улавливать оттенки и перемены настроений, малоприметные движения души. Любовь к Татьяне исцелила его от ненависти, которая гнездилась в душе до встречи с ней:

«С тех пор, как Жорж встретился с ней, вся его внутренняя жизнь преобразилась. Душевная ненависть точно исчезла бесследно: впрочем, она частью притаилась в далеких извилинах души и иногда смотрела в его глазах – тогда, когда он был печален или о чем-нибудь думал. Прошлого никогда нельзя вычеркнуть из жизни. Он больше уже не знал мягкой, задумчивой тоски. Вместе с страданиями на лицо ложились эти злые, отталкивающие складки.

Он не был добрым мальчиком, этот Жорж, о нет. Но любовь дала ему счастье. Прежде всего чувство прекрасного. То ощущение, что на миг приходит, когда в душу смотрит красота: когда замолкнет последний звук песни – или поэмы. Только он жил в этом чувстве постоянно, окутанным, как светящимся облаком. Жизнь с ее добром и злом вся показалась ему переливами этой единой красоты. Он наслаждался ей всегда, она облагораживала его. Это ли не счастье? Прекраснее всего была Таня, в Тане – ее душа. Изучать эту душу, смотреться в нее, точно в далекое ненасытно-прекрасное море, – стало для него жизнью. И вместе с красотой пришла к нему младенческая чистота. Он чувствовал себя чистым – значит, был тогда таким. Был ли Жорж нравственным? Об этом после. С тех пор, как он знал Таню, к нему не смела явиться ни одна грязная или пошлая мысль.

Но вместе с этим в его душе поселилась вечная грусть. И никогда, никогда больше не оставляла его. Он не мог любить весело, ощущая радость жизни и молодости. Он знал только элегию – из всех 9 муз. Он испытал это уже в детских романтических увлечениях. Но в этой

грусти не было ничего гнетущего. Она сама была прекрасна, точно слезинки в прекрасных глазах, которые готовы улыбнуться. Любовь была для Жоржа вечным желанием, неутолимым, вечной неудовлетворенностью. Когда он не видел Таню, он тосковал о ней. Когда они были вместе, его мучило сознание различия их душ. Она всегда была точно слишком далека, даже в минуты признаний, после. Ему хотелось бы слиться с ней, утонуть в ее душе, потерять свое 'я', чтобы у них была одна душа, одно желание. И чем она становилась ближе к нему, чем больше раскрывалась перед ним, тем сильнее овладевала им эта томительная жажда. Вместе с остротой его счастья росла его тоска. Он изнемогал от нее в те немногие минуты, когда мог бы назвать себя счастливым». (400-401)

Признания, которые делал Федотов перед Татьяной, помогают глубже понять его характер и те особенности, которые сформировались в юности. Не всё, высказанное им в Исповеди, следует воспринимать буквально. Юности свойственны преувеличения. Федотов не был исключением. Многие его чувства были гипертрофированы. Тем не менее в его самоанализе содержится немало ценного:

«У Жоржа было одно хорошее свойство, только одно; и это одно было единственным содержанием его души, источником всего доброго и злого – восприимчивость. У Жоржа никогда не было ничего своего, что он родил бы и выносил в душе; он жил впечатлениями. Он отдавался им всецело. Они были для него его единственной реальностью. Он переживал жизнь на сцене так же, как и кругом себя. Только искусство действовало еще сильнее действительности. Когда, бывало, он зачитывался каким-нибудь писателем-публицистом, он становился рабом его, был весь в кругу его идей. И только после ему удавалось освободиться от его чар, переработать в себе его мысли. Зло влияло на него так же, как и добро.

Поэтому единственная черта его души была по самому существу своему – имморальна. Он одинаково легко мог бы быть и безупречно нравственным, и низким негодяем. Если он еще будет жить, то он может быть и тем и другим. Понятно, что он должен уметь разделять чужое горе. Это не доброта, – совсем нет. Он переживал только те же страдания, что и другой, а они мучили его, как свои собственные, и поэтому он от рождения был предназначен для роли наперсника. Он рад этому. Если бы не было так, разве Таня могла бы с ним сблизиться, она, которая была так далеко от него и высоко – над ним? Впрочем, страдания пришли потом – не скоро. В то время Таня не столько была поглощена мыслью о безвозвратности прошлого, сколько старалась воскресить его, удержать в памяти его улетающие образы. Легкая дымка грусти была только фоном, а картины всплывали такие пре-

красные. И для Жоржа, который жил в Таниной стране, переживать с ней вместе ее счастливые дни – это была какая-то эгегическая прелесть». (403-404)

Порой Исповедь Федотова напоминает работу хирурга во время операции. Он спокойно и безжалостно рассекает ткани, чтобы добраться до больного органа. Столь же спокойно и не спеша проводит аналитическую работу Федотов, раскрывая перед возлюбленной потайные уголки своей души:

«Революция заполняла всё то в его сердце, что не принадлежало Тане. И она была прекрасна, она также. Если бы она была некрасива, разве Жорж стал бы революционером! Но ее красота была особенная, пламенная, иссушающая. Таня казалась ему, как синее небо, полное покоя и кротости. А революция... Ему казалось, что это – женщина-вампир; ее черные волосы, воспаленный взгляд черных очей, немного безумных, и губы, красные и влажные. Она приходила по ночам сосать у него кровь из сердца. Он изнемогал в ее объятьях, но страстно искал их, ждал ее. Это не просто сравнение, это почти правда. У Тани была могучая соперница, с которой она впоследствии, может быть, сама того не зная, вступила в борьбу за обладание его душой. Мне стыдно признаться, – она победила в этой борьбе. Но с этим вампиром Жоржа сковывала не только страсть, но и долг. Долг! Он всегда смеялся над этим словом, оно не имело смысла для него. И все-таки долг, иррациональное, немое чувство жило в нем. И когда он отворачивался от него, на помощь приходил другой уродец – совесть. Всё это чистейший атавизм. Но от этого уродцы не теряют своей реальности. С тех пор, как Жорж стал жить сознательной жизнью, его долг и совесть влекли его к революции. Он должен отдать ей всё. Но он не шел. Им овладела нерешительность, нечто более сложное, чем физический страх. Он не мог ступить ногой на топкую почву». (412)

Первая юношеская любовь научила Федотова многому. Она помогла ему глубже понимать себя, открыла женскую душу. Несмотря на то, что ему было всего девятнадцать лет, он многому научился и многое понял:

«Он так любил Таню, она так хорошо, неподдельно читала; и потом, – потом он так верил ей! Тогда каждое слово, сорвавшееся с ее губ, было для него откровением Бога. Он не мог ни в чем сомневаться. Он не мог даже судить Таню. После он перестал верить ее словам. Он верил глазам ее, душе. Он узнал, как причудливо-изменчива его фея. Никогда нельзя было понять ее, если довериться тому, что она говорит о себе. Она всегда была глубоко искренна. Я думаю, что она не могла

бы лгать. Она всегда говорила, даже не подумав заранее о своих словах. Иногда она хотела удержать их, когда они уже слетели. И при всем том они выражали только ее мимолетные настроения. Они говорили только неполную правду. Не было такого вопроса, на который она не говорила бы в разные минуты и 'да' и 'нет'. Когда Жорж заметил это, он стал верить больше своему чувству, чем словам ее. А так как он любил ее, то стал проницательным и часто угадывал то, чего не мог услышать от нее. Так обучила Тانيا психологии этого наивного, неопытного мальчика. Это был уже второй период их отношений. Жорж находил несказанное счастье проследить извивы ее души и открывать в ней новые и новые черты. Тانيا распалась перед ним на много образов – противоречивых и все-таки одинаково прекрасных. Вместо одной любимой Тани у него стало их десять. Он стал аналитиком, но не умел еще склеить из этих частей целого, не понимал еще того, что было Таниным 'я'. (407)

Федотов подробно рассказывает о том, как он благодаря Танине оказался втянутым в революционную деятельность.

«Однажды утром Тانيا позвала Жоржика к Ветровым – поговорить о кружке воскресной школы. Он пошел с ней не без робости. Этот низкий, кругленький господин был, по правде, вторым бородастым социал-демократом, которого он видел так близко в своей жизни. С деловитым, официальным видом он был погружен в работу. Он просил подождать, пока не закончит своих писем. На диване сидела его жена, бледная, худая женщина с большими, черными глазами, похожая на большую, дикую птицу. Жорж уткнулся в газету. Ветров кончил. «Итак, вы хотите вступить в организацию», – начал он. Это было для Жоржа неожиданностью. Но именно так и должна была заставить врасплох его судьба, чтобы он решился. Тانيا сидела, опустив глаза. Ей было стыдно за свой невинный обман; она не предупредила Жоржа. Он, наконец, понял всё и ответил, что это его желание. Последовал ряд коротких вопросов – настоящий экзамен. Жоржу было очень неловко; его прошлое было таким жалким.

Ветров назначил ему свидание на станции в Разбойщине, во время минутной остановки поезда. Когда они уходили, Тانيا сказала: 'Уф, я совсем сдурела, целый номер "Искры" прочитала'. Конечно, Жоржу было интереснее читать свой 'Вперед': в нем светились ему глаза его красавицы-вампира. Потом Тانيا стала извиняться. Но если бы она знала, как он благодарен ей за ее маленькую хитрость! Но у Тани проснулась совесть. Ей стало вдруг неприятно то, что она делала. Какое-то материнское чувство заговорило в ней. Ей было жаль Жоржа, невинного мальчика, которого она толкнула в пропасть. Он может погибнуть там. Оттуда редко возвращаются. О, если бы она могла вернуть назад свои неосторожные слова или помешать случиться тому, что должно было случиться!» (412-413)

Встречаются в Исповеди поразительные признания и пересечения судеб. Федотов был сполна наделен интуицией. Он напомнил Татьяне о ее попытке избавиться от него, познакомив с уроженкой Саратова и своей подругой Татьяной Барцевой, которая позже стала женой известного философа Семена Франка:

«Она чувствовала себя гораздо старше Жоржа. Не только 2-3 года, хотя и они так много значили в жизни девушки, разделяют их: она много пережила, а он не испытал еще ничего. В ней поднималось снова материнское чувство к нему. Он не должен ее любить. Это будет только несчастьем для него. Хорошо только то, что естественно, здорово. Он должен найти себе веселую, хорошенькую девочку и быть счастливым, беспечным, не мучая себя до времени страданиями сгоревшей души. Мальчик, как он, должен влюбляться, это нравственно, это спасет его от опасной чувственности. Только не ее он должен любить. Она даже приискала ему невесту. Сколько тут было самоотвержения с ее стороны? Не знаю. В сущности, она хотела лишь отказаться от невинного удовольствия, которое льстило ее самолюбию, но которое могло дорого стоить для них обоих.

Невеста была молоденькая, черноглазая девушка. Она была хороша и с темпераментом. Трезво обсуждая этот вопрос, я прихожу к заключению, что выбор Тани был неудачен. У этой маленькой Барцевой, наверно, нашлись бы острые коготки под бархатными лапками, и она могла бы растерзать Жоржу до крови сердце. А это было бы уже лишнее для его воспитания. Но Тане при всем желании не удалось их сблизить. Жорж упорно избегал своей суженой. Он почуял опасность. Ему была ясна задняя мысль Тани: таким путем она хотела отделаться от него. Всякая женщина, которая была бы поставлена рядом с Таней, чтобы заменить ее, сделалась бы для него несносной. Поэтому он сразу почувствовал недоброжелательность к Барцевой. К тому же в этой девушке за ее скромностью скрывалось некоторое кокетство. А этого греха он не прощал, может быть, потому, что сознавал свою слабость перед ним. Давно когда-то маленький фанатик думал в нем: 'Если бы я был инквизитором... Я простил бы всех падших женщин, но жег бы на кострах тех, которые играют в любовь'. Нет уж, Таня, оставь при себе Жоржа, позволь ему быть твоим пажом». (417-418)

Весной 1905 года они вместе с Татьяной участвовали в маевке, которая произвела на Жоржа большое впечатление. А в конце апреля того же года, когда по всей России разгорались революционные события, мать решила увезти Татьяну подальше от нараставшей революции – в Геленджик. Федотов остался в Саратове, хотя Татьяна приглашала его поехать с ними:

«Она уехала. Он не тосковал без нее. Легкая грусть – но новые сильные впечатления охватили его. Он начинал свою революционную службу. Сколько тут было нового и прекрасного. Я помню 1-е мая в зеленой роще и красное знамя над толпой. Красное знамя! Он относился к нему как к святыне, даже если это была кумачовая тряпка. Оно приводило его в экстаз, как орлы Наполеона его армию. А эти песни, где рыдала ненависть и счастье мученичества, переворачивали всю его душу. Таня уехала. Через несколько дней он был на островах, на первом собрании. Сотни людей, знакомых ему и всё же близких, толпились в темноте. Слабо освещенный огнем костра, стоял таинственный посланец ЦК. Его звали так странно: ‘Хрусталин’. И сам он, как и невидимый, могучий ЦК, были для Жоржа существами другого мира. Третий съезд партии только что закончился. Вестник приехал с докладом. Последовала неприятная перебранка с меньшевиком; но ничто не могло испортить настроения Жоржа, когда он на заре возвращался по свежей, заснувшей реке. Он был вполне сектантом и заговорщиком, масоном у социал-демократов. К счастью, его голова не была закутана таким туманом, как сердце. Он был добрым марксистом». (412)

В его Исповеди звучат догадки о том, что произошло с душой Татьяны, сначала лишенной дачи в Тригуляево, где прошло ее детство, затем потерявшей отца, а позже исключенной с Бестужевских курсов:

«Ей казалось, что вся ее жизнь разбита, что она не оправится больше. Два раза так грубо сломали ее счастье. Маленькой девочкой, болезненной и мечтательной, с такой хрупкой и тонкой душой, она потеряла свой первый рай: родину, лес, его сказки – весь этот дивный мир, в котором ее детская душа развивалась так причудливо и фантастично. Потом смерть отца – точно черта, которая отрезала от нее мир ее счастья. Она не перенесла этого. В ней что-то хрустнуло. Она была больна и совсем никогда не могла оправиться. И когда, долго спустя, она, казалось, начала находить – не прежнее счастье, о нет, но только забвение, новую жизнь – прекрасного труда и новых привязанностей, ее растоптали снова, так беспощадно, точно раздавили солдатским сапогом. Да так оно и было. Это случилось совсем недавно. Таня еще жила в этом мире – на милых курсах. Душа болела. Ей нужно было друга, который помог бы пережить это тяжелое время. Ее друзья давно разлетелись, как птицы, по свету. А здесь, в Саратове, она была, в сущности, совсем одинокой. Это ничего не значит, что она была так добра ко всем, – все были ей чужие. Если Жорж в своей ревности воображал другое, то он глубоко ошибался. Но Таня должна была найти кого-нибудь, кто выслушал бы историю ее страданий, кто

лаской облегал бы ее душу. Жорж подвернулся кстати. У него была наружность, располагающая к откровенности. В его жизни ему случалось быть поверенным чужого горя». (402-403)

Летом 1905 года Федотов жил в имении тети близ станции «Разбойщина», куда нередко приезжали ученики Покровской воскресной школы, где преподавала Татьяна. После отъезда Татьяны Жорж продолжал дважды в неделю ездить в город для занятий в рабочем кружке, созданном при ее участии, и в письмах делился с Татьяной последними новостями. 26 августа 1905 года он был арестован на сходке представителей всех кружков РСДРП. Он попал в тюрьму. На квартире деда был произведен обыск, но жандармам не удалось обнаружить ничего компрометирующего, и Георгия освободили. Арест оказался кратковременным. «В одну прекрасную ночь, – как описывал позже он это событие, – при аресте районного комитета, он стремительно попал в тюрьму, чтобы на другой день также стремительно оказаться на свободе.» К счастью, Жорж сумел избавиться от улики. Незадолго до ареста он сжег тетрадку, в которой, по собственному признанию, «набросал свои злые, сумасшедшие фантазии, в которых отразилась одна кровь, – кровь, что забрызгала его душу». Завершающая фраза, соединявшая «чудовищный фанатизм» «с жизненной верой в победу», содержала в себе «бесчеловечную угрозу»: «Завтра тела их устелят землю и будут добычею псов». Революционный романтизм в этот период не был еще окончательно изжит. Если бы не своевременное «аутодафе» записей, судьба Жоржа оказалась бы плачевнее уже летом 1905 года.

Тогда же полицейские власти ограничились воспитательным мероприятием – визитом «жандармского офицера, который пришел, как ангел-хранитель, чтобы предостеречь его». Боясь скомпрометировать себя в глазах товарищей, внук полицмейстера грубо выдворил жандарма, а потом решил, что лучше уехать из Саратова. В архивах саратовского жандармского управления сохранилась характеристика Федотова: «...член берегового района саратовской социал-демократической организации... Начиная с января сего года он выступал оратором на всех местных собраниях, которые устраивались до сего времени как местной – демократической – организацией, так и конституционно-демократической партией. Речи Федотова носили ярко революционный характер, в которых он призывал толпу к ниспровержению господствующего строя путем вооруженного восстания и учреждению демократической республики. За последнее время Федотов состоит одним из самых активных пропагандистов г. Саратова среди рабочих масс, подготавливая последних к сплочению, вооружению и необходимости вооруженного восстания»¹⁹. С января 1906 года имя Федотова постоянно фигурирует в сводках наружного наблюдения. В полиции ему

присваивают кличку «Сухорукий». 24 января 1906 года в Народной аудитории кадеты проводили собрание. Присутствовало около 600 человек. Агент охранного отделения Пушкарев докладывал начальству: «Говорил студент Федотов, речь которого отличалась большой резкостью. Охарактеризовав действия правительства в резкой форме, сказал, что мы, социал-демократы, используем этот случай агитации не за, а против Думы, что бороться с самодержавным правительством надо вне Думы... И до тех пор, пока в России не будет Учредительного собрания, до тех пор народ будет находиться в рабстве, как при существующем самодержавном строе». (38)

Репутация Федотова как оратора и революционера резко возросла в течение весны 1906 года, когда социал-демократы готовили празднование Первого мая – дня солидарности трудящихся. В июле этого года Федотов в числе 20 кандидатов выдвигается в новый состав общегородского комитета РСДРП. За Федотова проголосовало 98 человек, и в числе 8 человек он вошел в состав комитета. А в ночь с 8 на 9 июля 1906 года был арестован как один из «главных активных деятелей организации социал-демократов».

Продолжая дело, оставленное ему в наследство Татьяной, он расширил связи с саратовскими социал-демократами. Опять-таки, бравируя, признавался ей, что «был вполне сектантом и заговорщиком», хотя плачевная история с его неоднократными арестами убеждала в обратном. Между тем, отношения с Татьяной крепли, они становились ближе друг к другу. Федотов направился в Аткарск, где жили его родственники. Дождавшись, как было заранее условлено, Татьяну, Жорж вместе с ней отправился в Петербург, захав по дороге в Москву. Осень, проведенная в столице, где он числился студентом Технологического института, стала временем дальнейшего сближения Жоржа и Татьяны, поселившейся в дружеской семье сенатора Степана Борисовича Враского и его жены Марии Васильевны. Склонная к «аристократизму», Татьяна познакомила Жоржа с миром петербургских театров, пыталась ввести в литературные кружки. Правда, посещение по просьбе ее подруги Вари Враской кружка поэта Якова Полонского не вызвало у него энтузиазма.

Вернувшись в Саратов, Федотов вновь включился в борьбу местных социал-демократов, отстаивая в дебатах с кадетами на предвыборных собраниях зимой 1905–1906 годов радикальные идеи вооруженной борьбы за изменение существующего строя. Это не могло не вызвать ответной реакции полиции. В марте 1906 года он вынужден был уехать в родной город матери – Вольск, где скрывался под именем Владимира Александровича Михайлова. За сообщениями о пропагандистской работе в кружках, организации вечера в пользу социал-демократов проскальзывало иное настроение, связанное с чтением не только «еретического» для правоверного марксиста «Русского богат-

ства», но и Метерлинка, у которого «столько прекрасных и тонких образов – точно из датской сказки». А за ними возникал образ любимой девушки.

Возвращение в Саратов обострило внутреннюю борьбу между любовью и долгом. Любовь к Татьяне приносила не радость, а страдание, так как была безответной. «Братская привязанность» – так говорит о своем чувстве Жорж в письме к Татьяне, посланном вскоре после возвращения в Саратов. Татьяна была романически и, судя по всему, безответно, влюблена в некоего Владимира Александровича²⁰. Все свои переживания она доверяла Жоржу, понимая, что жестоко терзает его. Но он не сдавался, пытаясь завоевать ее сердце. Революционные игры, в которых он по большей части инерционно продолжал участвовать, едва не окончились катастрофой. На протяжении шести лет Федотов пытался устраниваться от революционной деятельности. Однако, оказалось, что всё не так просто – его бывшие друзья не собирались его отпускать, а у него не доставало воли решительно порвать с ними. Какие-то симпатии к социализму всё еще жили в нем, хотя внутреннее решение было принято. Тем не менее то, что происходило в его жизни в этот период, напоминает детективный роман. С одной стороны, его не желали оставлять в покое бывшие друзья-революционеры, с другой – постоянно суживался круг преследований. Надзор полиции не ослабевал. Друзья-социалисты постоянно вмешивались в его жизнь, просили о каких-то вроде бы незначительных услугах, исполнение которых на самом деле оборачивалось обысками и арестами. Через год последовал второй арест – в ночь с 8 на 9 июля 1906 года, после которого Федотова приговаривают к ссылке в Архангельск, впоследствии замененной высылкой в Германию.

Тем не менее отношения молодых людей постепенно развивались. После освобождения Георгия из тюрьмы они принимали участие в любительских спектаклях, и он всё глубже узнавал свою избранницу. Природа, река и весна сближали их:

«Для него были полны очарования катанья по вольной, разлившейся реке. С этих пор он безумно любил эту Волгу; она стала его настоящей родиной. Они никогда не ездили одни. Тогда он не желал бы этого. Когда они возвращались светлой весенней ночью – сирень уже цвела – Таня читала иногда стихи. Он хотел бы всегда слушать ее. Она сама была для него соткана из песен и звуков. Она дала ему как-то своего любимого Якова Полонского. Он нашел в нем родные песни. Здесь было мученичество за великую идею – большая ненависть и чистая любовь. Гневные рыдания сливались с очищающей радостью – радостью вечной красоты. Он сам недавно жил этим гневом, да он никогда совсем не исчезал. Теперь он жил красотой. У

поэта нашел он синтез. Он и сам пробовал писать стихи и хорошо делал, что не показывал Тане, – они были совсем плохи. Раз они катались на лодке в компании молодежи. Таня говорила стихи. Он жадно слушал – потом он запомнил их наизусть. Это была ‘Фея’ Горького и ‘Джэн Вальмор’ Бальмонта. Волшебные слова томили душу, это, правда, были прекрасные баллады. Но ему стало больно от их жестокости. Таня говорила так выразительно, с душой – она слилась пред ним с зеленоглазой Джэн. И перед ним в первый раз встал жгучий вопрос: что если его фея, которую он обожал, была злой волшебницей? Ведь зло прекрасно. О, оно могущественнее в тысячу раз всех смазливых, невинных, ангельских лиц. И потому что в нем самом, он чувствовал, вставляли властные чары этой отравы, он спрашивал себя: может ли Таня мучить людей?»²¹

Впоследствии Татьяна признавалась, что ей доставляло удовольствие мучить и дразнить влюбленного в нее юношу. Это отражено в Исповеди. Испытания, выпавшие до долю Георгия, пребывание в тюрьме, переживания о близких, поиск своего пути – всё это позже было отражено в дневниковых записях и письмах к Татьяне. Его влюбленность в конце концов пробила стену неприступности:

«Чем ближе к отъезду, тем она становилась дороже и желаннее для него, и рос его страх. Накануне она сама провожала его в темный, холодный вечер. Таня была так ласкова к нему, – редко они чувствовали себя так близкими друг другу. И вот тогда-то у Жоржа родился хитрый план: он будет ждать ее в Аткарске. Он чувствовал, что если она согласится, то свяжет себя, должна будет поторопиться со своими делами и поедет, – хотя бы лишь для того, чтобы не обманывать его. Ей сначала показалось странной эта затея; лучше бы Жоржик подождал ее. Но он знал ее пристрастие (и его также): поступать так, как никогда не сделают другие, – и надеялся. Она не сказала ни да ни нет. И тогда, когда они прощались на платформе, и он сказал ей: ‘Таня, решайте в самый последний момент’, – она не знала. Поезд двинулся, он жадно ждал, она тихо послала вдогонку: ‘Приеду’. Он уехал счастливый и немного гордый.

Дедушка и бабушка и не подозревали, чему обязаны неожиданным визитом внука. Они давно его звали, хворые старики, он, к тому же, совсем слепой. Нельзя сказать, чтобы ему было весело у них. Старики были истинно-русские, и Жоржик читал им газеты, сочувственно вздыхая их жалобам на безумное время. Потом он уходил в читальню и брал дневник Е. Дьяконовой²².

Странно, он чувствовал какой-то особенный интерес к этой оригинальной девушке и с глубоким вниманием задумывался над ее самоанализом. Всё, что читал он, всегда у него связывалось с лич-

ностью Тани, но между Дьяконовой и ей ему чудилось что-то родственное. Разница была, громадная – в пользу Тани. Елизавета Дьяконова не умела чувствовать глубоко, но у обеих было что-то блуждающее, смутное, капризное, – словом, женственное. До сих пор он не знал женской души; теперь стал наблюдать ее. Через два дня он сидел рядом с Таней и мчался в Петербург. Она встретила его с такой застенчивой улыбкой и нежностью, которые вознаградили бы его за долгий месяц ожидания. Они были одни в этом углу вагона и могли сидеть, взявшись за руки. Вдруг Жорж почувствовал, как ее волосы коснулись его щеки, и вспыхнул от этой ласки. Он никогда, никогда не смел бы первый коснуться ее; он и теперь не решился ее поцеловать. Он был благодарен ей, но не мог ничего сказать... Они стояли на площадке у окна, и Жорж, опустив глаза, неловко и точно боясь выразить свою мысль, говорил. Что он желал бы быть другим к ней, ласковым, побороть свое смущение, – но какое-то непонятное чувство удерживает его движения. Он не может передать того, что происходит в нем – это всегда с ним так, он не знает, отчего. Таня сказала: ‘Это целомудрие’. Это было не совсем так: ведь его мысли были так чисты, и его поцелуи могли бы быть лишь так же невинны. Он любовался ей, и почувствовал вдруг прилив необыкновенной искренности. Он хотел, чтобы она видела его сердце. Они говорили задушевно, немного застенчиво. Он почему-то рассказывал ей про тех двух девочек, которыми когда-то увлекался, – кажется, она просила его об этом. Он хотел объяснить ей, что она была для него больше, чем он, но не мог сказать, что он ее любит. Он тихо ласкал ее руку. Она полупечально говорила о том, как скоро проходят привязанности: он также забудет ее. Он возражал ей. Противные кондукторы все хлопали дверями мимо них. Лампа потухла, – они приходили зажигать ее. К чему?

Всё путешествие было для Жоржа сладким сном. Он был счастлив видеть ее всегда, следить глазами за каждым ее движением; сквозь сон смотреть на ее спокойное лицо с закрытыми глазами, – иногда встречать ее улыбку, пожать руку, – и пить чай из одной кружки... Они провели день в Москве. С одним студентом, знакомым Тани, они поднялись на Ивана Великого. Таня говорила, что она любит старую Русь, народ с его традициями. Жорж ненавидел всё это. Но он сознавал, что много странных мыслей, которые приходили им в голову – там, над Москвой, – были понятны только им двум и их спутнику должны казаться ерундой».²³

В тюрьме, во время первого кратковременного заключения, по видимому, произошло окончательное переосмысление Федотовым пройденного пути. Он решил порвать с революционной борьбой, которая, как ему прежде казалось, могла бы помочь завоевать сердце любимой. Он подал прошение о зачислении на историко-филологи-

ческий факультет Петербургского университета²⁴. В это время мать стала хлопотать о замене ссылки в Архангельскую губернию высылкой в Германию. Впрочем, даже выбор факультета был сделан не без влияния Татьяны, которая училась в 1902–1904 годах на историко-филологическом отделении Высших женских (Бестужевских) курсов в Петербурге. Согласно прошению, Федотов стал студентом Петербургского университета. Благодаря связям деда и хлопотам матери, ссылку в Архангельский край заменили высылкой за границу. Министерством внутренних дел просьба вдовы правителя Саратовской губернской канцелярии была удовлетворена, и мать с сыном в сопровождении агента направились через Москву в Берлин. В письме из Москвы запечатлелось грустное расставание и обещание: «Я останусь твоим, как и был».

Глава третья. ГЕРМАНИЯ

Сразу же по приезде Г.П. Федотов подал прошение о зачислении в студенты Берлинского университета, которое было удовлетворено, несмотря на препятствия, чинимые русским абитуриентам. «За это время я уже сделался студентом, ‘ordinis philosophorum’ (класс философов), – ‘имматрикулировался’, как говорят на тарабарском языке», – не без иронии констатировал он в письме Т.Ю. Дмитриевой в конце 1906 года. А через неделю Георгий уже просил ее написать, какие дисциплины изучаются на первом курсе историко-филологических факультетов университетов или на Высших женских курсах в России. Он столкнулся со сложностью системы подготовки, которая предполагала самостоятельный выбор студентом посещения лекций и занятий в семинарах. Другим препятствием стало пассивное владение немецким языком. Понимание, а тем более овладение разговорной речью оказалось не таким простым делом.

«Я обошел множество аудиторий, – писал Георгий после одного из первых посещений университета, – слышал разных ученых: и узких педантов, и вдохновенных, и интересных, но все они даже при плохом моем понимании, оживили давно забытый интерес, любовь к науке. Я почувствовал, что у меня разбужена мысль, я испытал самое чистое наслаждение искания истины. Давно, больше двух лет, я не знал ничего подобного. У меня явилась какая-то жадность, смешное желание зубами схватить эту самую науку. И теперь я хочу черной работы. Я не буду слушать ни одного из ‘вдохновенных’ – для них придет свое время, потому что они не научат меня работать. Буду собирать кирпичи. Зароюсь в латынь, пыльные документы. Здесь есть полная возможность практически работать, благодаря всевозможным ‘Uebunge’ (упражнениям). Это не семинарии еще, а просто школьные упражнения. Кроме истории, возьму только историческую философию – на первый семестр будет с меня.»²⁵

На самом деле Федотов с жадностью погрузился в изучение новых для него научных дисциплин. В письме к Татьяне он пишет: «Мне показалось слишком опасным в смысле узости и черствости зарыться в мелочные факты и, с другой стороны, я не хотел воспитывать привычки к дилетантизму и верхоглядству. Поэтому я слушаю 1) историю философии; 2) 'Всемирную историю' – в этом семестре Средние века – это, собственно, не история, а синтез, обзор – очень беглый, но остроумный и интересный – профессора Дельбрюка²⁶. С другой стороны, изучаю историю Востока, начиная с Вавилонии, перевожу Лиудпранда²⁷ (латынь Средних веков) и разбираю древние рукописи ('латинская палеография')»²⁸. Однако учебные занятия, хотя и занимали большую часть времени, всё же не поглощали его полностью. Федотов внимательно следил за политической борьбой в Германии и положением Германской социал-демократической партии (интерес этот усиливался тем, что в январе 1907 года происходили выборы в рейхстаг). Он достаточно часто участвовал в политических собраниях русских эмигрантов, хотя и считал эмигрантскую политику «бесплодной и пошлой».

В длинных посланиях из Берлина, после описания первых впечатлений и внешнего восприятия города, преобладали три темы. Прежде всего – учеба в Берлинском университете. Татьяна также приняла решение закончить обучение на Высших женских курсах и добилась восстановления и права на учебу экстерном²⁹. Правда, описания учебы Жоржем были достаточно лапидарны. «Моя собственная жизнь проходит однообразно, – писал он в одном из писем, – каждый день похож на другой, как на самого себя. Я нигде не бываю, кроме университета. Свои занятия я сузил, насколько возможно, думая, что сначала нужно учиться азбуке. При всем том скучать некогда, так как занят с утра до самой ночи»³⁰. Тем не менее именно в Германии Федотов приступил к написанию Исповеди. Вынужденная эмиграция, оторванность от России и близких людей способствовали осмыслению прожитого года и своей первой любви. В одном из писем он четко говорит об их общем недостатке: «...Но мы оба хромаем на одну ногу – я еще больше, чем ты. У меня нет сильной воли. Я ведь знаю, в чем твое больное место, твое единственное. Но я мог только утешать тебя, только поделить пополам твое горе, развлечь его»³¹.

Две другие темы – политические. Русская эмигрантская политическая жизнь охарактеризована Федотовым как «бесплодная» и «пошлая». Подробное описание положения Германской социал-демократической партии не могло укрепить «обрывающиеся нити» между Жоржем и Татьяной. В письмах Жорж называет любимую «единственной в целом свете», о которой думает «каждую свободную минуту». Но постепенно целительное время брало свое – притуплялось «острое чувство свежей разлуки». Он, воспользовавшись рождественскими

каникулами, написал целый ряд посланий, в которых попытался возродить былую доверительность, напомнив о наиболее важных моментах за прошедшие годы дружбы. Такая откровенность не вызвала отторжения у Татьяны. Однако была и другая веская причина охлаждения: ее романическая и неразделенная любовь к Владимиру Александровичу, ставшая, судя по ее дневникам, наваждением на долгие годы. Весной 1907 года переписка Жоржа и Татьяны была временно прервана.

После лета, нелегально проведенного с матерью и братьями в Финляндии, которая была частью Российской империи, Георгий предпринял попытку возобновить эпистолярное общение с «бывшим другом». Вынужденный избегать в письмах острых вопросов, он больше писал о внешних изменениях жизни. Но и в Германии его настигло революционное прошлое. Арест в конце октября 1907 года на одном из собраний, признанном нелегальным, стал причиной высылки его из Пруссии «навсегда». Федотов перебрался в Йену, где продолжил учебу в местном университете. О своих впечатлениях он подробно писал Татьяне. Но более важными были заочные споры о значении произошедшего на родине – о революции и ее восприятии, влиянии на интеллигенцию и молодое поколение. На пасхальные каникулы 1908 года Татьяна поехала в Швейцарию и Германию, где встречалась и со своим старым другом Владимиром Александровичем, и с Федотовым. Способность выслушивать и сочувствовать сделала Жоржа незаменимым «поверенным» в душевных делах Татьяны³². Он всегда был готов прийти ей на помощь в трудные минуты. В одном из писем он писал Татьяне:

«Ты только что в прошлом письме попеняла мне на то, что я не завел знакомств. После этого я уже успел загладить свою вину. Я сошелся с новыми саратовскими знакомыми на почве общей кухмистерской (самая прочная связь). У них образовался тут маленький мирок, совершенно замкнутый, который живет (вот, кажется, уже год) воскресными поездками в Тегель: это местечко близ Берлина. Всю неделю разговоры о прошлом и будущем путешествии. Отправился с ними и я. Тебе в Петербурге трудно поверить, чтобы сейчас можно было устраивать пикники. А здесь ничего. Мы долго гуляли по берегу озера, в густом лесу, дурачились, дрались. Что-то напомнило Россию, когда Берлин остался позади, хотя природа, конечно, не наша. Север и твои милые сосны»³³.

Новым местом жительства Федотова стала Йена, где его не без проволочек приняли в университет. «Но и в Йене меня сначала не хотели принимать, – писал он по этому поводу Т.Ю. Дмитриевой, – потому что в аттестате Берлинского университета было написано, что я выслан за участие в ‘тайном заседании’». Насилу добился. Теперь я доволен. Йена куда удобнее Берлина. Я жалею, что не приехал в про-

винциальный город в прошлом году. Здесь так легко и спокойно учиться. Я читаю целый день и при этом не утомляюсь, как в Берлине»³⁴. В письмах из Йены Федотов чаще описывал красоты ее окрестностей, по которым любил гулять с книгой. О своих занятиях в местном университете он упомянул лишь однажды, дав оценку националистической направленности исторического образования в Германии.

«По утрам сижу в историческом семинаре, который для меня искушает и бездарность профессоров, и немецкий дух здешней истории. Всё это было бы очень досадно для меня в прошлом году, но теперь я начал входить во вкус науки, – и мелочность и узость не так отпугивают меня. Один мой знакомый даже дразнит меня ‘архивной крысой’. Я, правда, стал любить старые желтые книги и латинские хроники, хотя до сих пор еще не могу освоиться с латынью, как следует. А жаль все-таки, что немецкий профессор на кафедре чувствует себя историком Германской империи, и ничего больше»³⁵.

У того же профессора он продолжил свои занятия в весеннем и летнем семестрах, хотя и признавался в письме Т.Ю. Дмитриевой, написанном в мае 1908 года, что тот «не умеет внести ни капли оживления в занятия.» Внешняя жизнь протекла достаточно однообразно:

«В Йене время точно остановилось – или падает так быстро, что его не замечаешь, как колесных спиц. Это одно и то же. Все дни похожи друг на друга. Если я не в университете или не за книгой, то у моего приятеля художника посмотреть его последний этюд или поспорить об эстетике – или захожу к Иосифу-армянину, который всегда в тоске, не может примириться с тем, что он не в Баку, и переживает, как я в прошлом году, свой первый кризис. Доктора, которые не верят в Бога, советуют ему, как и мне, обливание и режим. Два раза в русском фереине читались очень скучные рефераты, но я был рад им, как манне небесной. От споров молодеешь, и я, как и всегда, могу думать только во время спора. Только потом наступает реакция. Я недавно только вполне оценил, как я изменился за это заграничное время. Когда-то я мог думать, что эта перемена к лучшему. Я стал терпелив, не так зол и самоуверен. Теперь я понимаю, что это означает только недостаток энергии. Слабые – добры и терпимы. Эта способность рассматривать вещи с разных сторон, быть объективным и историческим, происходит от ослабления личности. Человек должен резко говорить свое ‘да’ и ‘нет’, пока он живет. Объективным имеет право быть понимание мира, а не его оценка. Пройдет ли моя нравственная вялость – не знаю. Я только боюсь, что ты не узнаешь меня, Таня».³⁶

В одном из писем он просил Татьяну узнать через какого-нибудь знакомого студента, каковы условия его восстановления в Петербург-

ском университете, в который он был принят в 1906 году и «даже заплатил 25 рублей, которые лежат в кассе». Однако этой суммы, как выяснила тогда же Т.Ю. Дмитриева, было недостаточно, так как она составляла плату лишь за один семестр посещения университета. Поэтому матери Г.П. Федотова пришлось срочно высылать еще 75 рублей, чтобы оплатить все два года, которые он числился студентом Петербургского университета, находясь за границей.

Эмиграция тяготила Федотова, несмотря на то, что в Йене он обзавелся новыми друзьями, которые скрашивали его одиночество. В одном из писем он признавался: «Мне кажется, что еще год за границей – и я разучусь и говорить и думать по-русски, то есть вообще говорить и думать. В семинаре занимаюсь у моего прежнего доброго и скучного профессора. И хотя он не умеет внести ни капли оживления в занятия, я не променяю его здесь ни на кого – именно за его простоту и добродушие. Здесь так привыкаешь к волчьим нравам, что начинаешь ценить христианские добродетели»³⁷.

После возвращения Федотова в Россию финансовый вопрос и связанные с ним разбирательства стали первым препятствием на пути к восстановлению его в правах студента Петербургского университета. Мать обратилась в Государственное казначейство за стипендией для Георгия, которую она могла получать как вдова высокопоставленного чиновника. Правда, для этого необходимо было представить в Саратовскую казенную палату свидетельство, что Федотов не получал в университете министерской стипендии. В ходе начавшейся по этому вопросу переписки между канцеляриями университета и казначейства выяснилось, что он «с 12 октября 1906 г. по 1 октября 1908 г. слушал лекции в иностранных университетах», вследствие чего чиновники казначейства правомерно ставили вопрос: «Мог ли он состоять одновременно студентом в Санкт-Петербургском университете?»

Особую роль в отстаивании интересов Федотова сыграл Ф.Ф. Зелинский³⁸, бывший в то время деканом факультета. На основе его ходатайства и заявления, «что Федотов за время болезни и лечения за границей занимался предметами своего факультета, к Федотову не была применена ст. 126 п.б Университетского устава, и он был оставлен в числе студентов». После того, как вопрос о зачете Г.П. Федотову предметов, изученных им за границей, по решению правления был передан «на усмотрение факультета», Ф.Ф. Зелинский содействовал также тому, что ему зачли сначала просеминирии, а потом два семестра обучения в немецких университетах. Однако не только формальности препятствовали началу университетских занятий Федотова. В сентябре 1908 года в Петербургском университете вновь вспыхнули студенческие волнения, охватившие почти все высшие учебные заведения столицы. Хотя Георгий Федотов и радовался им «как симптому» пробуждения студенчества, но отмечал отсутствие у себя «энту-

изма, революционного настроения». Он принял участие лишь в одной «вокальной» обструкции («серенаде», как он назвал ее в одном из писем) на восточном факультете, воздерживаясь от выступлений на сходках, которые вскоре прекратились.

Пребывание в Германии помогло Федотову пересмотреть многие увлечения юности. В течение двух лет он слушал лекции по философии и истории в университетах Берлина и Йены. Находясь в Германии, он продолжал посещать нелегальные собрания социал-демократов. Оторванный от России, он медленно, но верно начинает нащупывать свой путь, открывает для себя свое, особое призвание – быть ученым. Но не просто кабинетным ученым, оторванным от мира и всецело погруженным в проблемы, далекие от современности. Нет, уже тогда он понимал, что его призвание – всегда находиться в гуще событий, но не отдаваться им целиком. Его призвание – наука, а не политика.

Глава четвертая. ВОЗВРАЩЕНИЕ В РОССИЮ

Учась в Германии, каждое лето Федотов нелегально пробирался в Финляндию, где его ждала мать, и проводил вместе с нею летний период. Срок высылки Федотова закончился осенью 1908 года, и он сразу же вернулся на родину и продолжил учебу в Петербургском университете. Однако это оказалось не так просто. С одной стороны, двухлетнее отсутствие без всякого основания, а главное – неуплата положенных сумм за слушание лекций стали первым препятствием³⁹. С другой, 1908 академический год начался массовыми студенческими волнениями. Эта тема стала одной из центральных в переписке. Волнения в студенческой среде тревожили и Татьяну, неудовлетворенную преподавательской работой в Саратовской женской гимназии. Она решила получить медицинское образование.

Постепенно положение студента Федотова прояснилось: деньги за учебу были внесены, семестры обучения в немецких университетах были зачтены, а студенческая забастовка прекратилась. С этого времени «университет занимает все помышления» Жоржа. Он с увлечением писал Татьяне о своих научных занятиях под руководством профессора-медиевиста И.М. Гревса, университетских лекциях и семинариях, появлении в аудиториях университета вольнослушательниц, работе студенческих кружков и культурной жизни Петербурга. Мать оставалась для сына самым близким человеком. Она довольно спокойно относилась к революционным увлечениям сына. Столь же спокойно она отнеслась к его отпадению от Церкви. В этот период он подружился с Ольгой Николаевной Анненковой, которая увлекалась антропософией и сумела открыть Федотову поэтический мир символов.

Вернувшись в Петербург, Г.П. Федотов начал заниматься в семи-

наре И.М. Гревса, о чем поспешил уведомить 14 октября 1908 года Т.Ю. Дмитриеву.

«Гревс принял меня в свой семинар, чему я несказанно рад. Вчера мы уже читали ‘Confessiones’ Августина. Так как я по этой эпохе ничего не знаю и не хочу оскандалиться на первых порах, то приходится много читать. Это, впрочем, такая приятная работа, какой я уже давно не занимался. О Гревсе должен тебе признаться, что он меня очень увлекает. Я несколько иным рисовал его себе с твоих слов. С одной стороны, боясь некоторой идеализации в твоём портрете, я делал слишком большую отрицательную поправку. И потому я боялся встретить в нем смесь ученого олимпийства с преувеличенной («дамской») восторженностью, т.е. боялся пафоса. Я приятно разочарован. В нем – по крайней мере внешне – много мягкости и скромности. Он знает чувство меры – античное благородство, что не мешает ему бросать искры мысли, будить активность, словом, как учитель он идеален. Он может быть и не вполне искренним человеком, но на кафедре он удивителен»⁴⁰.

Позже Георгий не изменил своего отношения к учителю.

«Мне казалось всё, что Иван Михайлович – дамский профессор, – писал он Татьяне в начале декабря 1908 года. – Теперь я в этом убедился вполне, но мне он по-прежнему нравится. Сначала я с удивлением убедился, что в университете нет ни одного человека, который бы высоко ставил его научный авторитет. В особенности резко выражалась о нем та группа, с которой он ведет занятия на дому – из истории городов. Вот одно мнение: Иван Михайлович прекрасный человек, – но ученый... Сначала я удивлялся, потом понял. Гревсу совершенно чужда острота и энергия в постановке вопроса. Он меньше всего – аналитический ум, несмотря на его любимое Quaeго*. Quaeго – это лишь фраза. Он не ищет, но мастерски рисует и строит. В нем живет историк-художник, который был мне тем более приятен после моих немецких аналитиков. Но, конечно, надолго он уже не удовлетворяет. Самое ценное в нем – это его религиозное отношение к науке. Но ведь в этих словах есть и внутреннее противоречие. Теперь я вполне понял секрет его обаяния на курсах и малый успех в университете. Впрочем, я с моими малыми знаниями, конечно, не смею сказать, что вырос из школы Гревса, и остаюсь пока единственным патриотом Гревса в семинарии»⁴¹.

Федотов увлекся темой, предложенной для изучения И.М. Гревсом. Это увлечение, переросшее в любовь, завершило процесс внутреннего переворота:

* Поиск (лат.)

«У Ивана Михайловича никто не занимается Августином. У всех апатия, а больше всего у способных историков. Зависит это, мне кажется, от того, что сюжет наш более литературно-критический, чем исторический. Но я почему-то люблю Августина, то есть самого Аврелия Августина. Конечно, он во многом дрянь, но и я такая же, и я давно не читал книги с таким захватывающим интересом, как его 'Исповедь'. Мне казалось, что я сам переживал бы то же на его месте (это всегда так кажется), а психолог он изумительный. И вот следы этого любовного отношения к Августину, должно быть, сказались в реферате. Я боялся за него; когда перечитывал дома, он мне показался плохим, но успех был больше, чем я мог думать. Иван Михайлович предложил мне взять работу по Августину, в эту ночь я никак не мог заснуть от нервов. Этого со мной давно не бывало»⁴².

Кроме семинарских занятий по Августину Г.П. Федотов занимался в семинаре философа И.И. Лапшина изучением нравственной философии И. Канта. Из всех лекционных курсов он наиболее высоко ценил лекции И.М. Гревса по всеобщей истории и лекции по русской истории С.Ф. Платонова, так как они «очень много дают, и слушать их одно наслаждение». Напротив, лекции А.С. Лаппо-Данилевского по методологии истории его скорее раздражали, чем увлекали. «Он вызывает во мне странное впечатление, – писал Георгий Татьяна, – чего-то тупого и злого, может быть, благодаря сосредоточенному педантизму, с которым он из самых простых вещей высасывает свои 'научкообразные, идеографические' теории»⁴³. Критически он отзывался и о лекциях философа А.И. Введенского, который «иногда оскорбляет своей популярностью, в которой чувствуется много презрения к познавательным способностям слушателей». Остальные лекторы, по оценке Федотова (а ему было с кем их сопоставить), находились на уровне «немецкой цеховой академической среды».

По сравнению с немецкими «*commilitones*» (товарищами) русские студенты показали ему более вдумчивыми и знающими. Хотя он сетовал на недостаток времени для участия в студенческих кружках и обществах, но был в курсе всех культурных событий, которые привлекали его товарищей, будь то обсуждение рефератов о Л.Н. Толстом и Ж.-Ж. Руссо или о философском («кантианском») обосновании социализма в научном студенческом обществе. Он слушал доклад Б.Б. Веселовского по истории земств в Вольном экономическом обществе, выступления Д.С. Мережковского и А.А. Блока на первом собрании Религиозно-философского общества, наблюдал комедийный процесс над Ф. Соллогубом, разыгранный студентами.

В это время Петербургский университет переживал период расцвета. Один из учеников И.М. Гревса, известный культуролог Николай Павлович Анциферов, вспоминал:

«...по длинному коридору шли профессора. Они медленно направлялись к своим аудиториям. Вот показался невысокий человек в узком и коротком сюртуке, с острым носом, большими голубыми глазами навывкате, словно застывшими от изумления, с рыжими бровями, нависшими над глазами. Это Б.А. Тураев, египтолог. Его прозвище – бог Тот, мудрый знаток папирусов с головой и длинным клювом ибиса. Переваливаясь на своих слоновых ногах, с огромным животом и окладистой бородой, в форменном сюртуке шествует похожий на боярина профессор древней русской литературы Шляпкин. За ним – весьма аккуратно одетый, с острыми, как-то недоверчиво смотрящими глазами, схожий с ‘дьяком, в приказах поседельм’, – С.Ф. Платонов, профессор русской истории. За ним как-то пробирается, словно стараясь пройти незамеченным, Н.О. Лосский. Его лысина на большом, как у Сократа, черепе, сверкает. У Лосского рыжеватая борода и застенчивая улыбка. Всё это профессора моего факультета.

Вперемежку с ними идут профессора других факультетов. Медленно идет грузный М.М. Ковалевский (‘друг Карла Маркса’, как он себя называл), профессор международного права. Довольный миром и собой, он, улыбаясь, чуть снисходительно беседует с вольнослушательницей, которая робко задает ему какие-то вопросы. Похожий на татарина, с узкими глазами и жиденькой бородкой, профессор политической экономии Туган-Барановский, а за ним худой, подсушенный, со строгим, умным лицом, весь застегнутый, прославленный профессор энциклопедии права Петражицкий. Седой, аккуратный физик Боргман, в тот год – ректор университета, щеголеватый биолог Шевяков... В актовЫй зал с белой колоннадой направляется Овсяннико-Куликовский. Его слушают студенты всех факультетов. У него большая голова с плоским затылком, седая маленькая эспаньолка. Он похож на украинского гетмана старинных портретов. Красноватое лицо еще резче оттеняет серебро его седин. Большие голубые глаза кажутся усталыми. Его голос звучит очень тихо...

Одним из наиболее популярных профессоров историко-филологического факультета был Фаддей Францевич Зелинский (пан Тадеуш), слушать его собирались студенты всех факультетов... Свой курс Зелинский обычно читал в классическом семинарии, где у стен были собраны фрагменты античных стел, саркофагов и статуй. Его окружение гармонировало с обликом профессора. Его портрет хотелось писать на таком именно фоне. Фаддей Францевич был высок. Его выпуклый лоб куполом венчал лицо. Темные с проседью волосы, вьась, обрамляли чуть закинутую голову. Слегка курчавая борода напоминала бороду Софокла; в его глазах, широко раскрытых, казалось, отражался тот мир, который он воскрешал своей вдохновенной речью. Говорил он медленно, торжественно, слегка сквозь зубы, и казалось, что слово его было обращено не к нам, что он направлял свою речь через наши головы – отдаленным слушателям...»⁴⁴

Среди профессоров также славились своими познаниями и трудами историк Рима М.И. Ростовцев, знаток XVIII века академик А.С. Лаппо-Данилевский, профессор новой истории Н.И. Кареев и, конечно же, Иван Михайлович Гревс. Семинары Гревса привлекали немалое количество студентов: по пятницам профессор читал общий курс «Французское Средневековье», по понедельникам – спецкурс

«Духовная культура конца Римской империи и раннего Средневековья». Николай Павлович Анциферов, соученик Федотова, вспоминал:

«В небольшой комнате исторического семинария студенты сидели вокруг столов. На стенах висело всего два портрета: Моммзена⁴⁵ и Ранке...⁴⁶ Там высокая фигура Ивана Михайловича казалась чрезвычайно стройной. Смуглое лицо с подстриженной, побелевшей бородой выступало в раме седеющих волос, зачесанных назад. Ничего профессорски декоративного: ни длинных кудрей, ни развевающейся бороды, как у Маркса. Что-то скромное, почти застенчивое и, вместе с тем, полное благородного изящества и чувства достоинства. Движения были мягки и сдержанны. Характерный жест: сосредоточиваясь на своих мыслях, он склонял набок голову и прикладывал к носу палец. Лоб Ивана Михайловича был очень высок, но не широк. Вместе с носом он составлял почти прямую линию. Черные глаза смотрели пристально, и каждому слушателю казалось, что Иван Михайлович обращается к нему. Порой лицо его светилось улыбкой, необыкновенно ясной и нежной. И от этой улыбки, казалось, светлело всё вокруг». (166)

Иван Михайлович был от Бога наделен педагогическим даром, но самое важное – он сумел воспитать плеяду учеников, которые не только творчески восприняли его взгляды, но и сумели развить их. Среди его учеников были: Л.П. Карсавин, Н.П. Оттокар, после революции профессор во Флоренции, А.П. Смирнов, погибший в сталинских лагерях, Н.П. Анциферов, создавший один из шедевров культурологии – книгу «Душа Петербурга», культуролог, историк культуры эмиграции, литературовед В.В. Вейдле и, наконец, наиболее близкая к учителю О.А. Добиаш-Рождественская, вырастившая в СССР школу латинских палеографов, а также С.С. Безобразов, впоследствии, уже в эмиграции, ставший епископом Кассианом и предпринявший перевод Нового Завета на современный русский язык. Наиболее яркими личностями из числа учеников Гревса оказались Л.П. Карсавин, погибший после войны в сталинском лагере «Абезь», и Г.П. Федотов.

Взгляды Гревса на развитие культуры были весьма оригинальны и проникнуты подлинно христианским духом. «Иван Михайлович горячо отстаивал идею единства процесса всечеловеческого развития. История – биография рода человеческого... *Nominum genus* (Род человеческий. – С.Б.) и есть субъект истории. В этом учении о преемственности культур, о невозможности каждой из них полного исчезновения, о продолжении жизни одной культуры в другой, заключалась большая любовь к человечеству, вера в жизненность заложенных в него начал и, наконец, благочестивое отношение к угаснувшим поколениям, добрая вера в то, что ничто не погибает, а сохраняет так или иначе свое бытие в сменяющихся поколениях». В семинаре Гревса Федотов ближе всего сошелся с С.И. Штейном, а

через него познакомился с семьей его отчима – М.В. Гессена, старыми петербуржцами. Атмосфера, царившая на семинарах Гревса, не могла не захватить революционно настроенного юношу – в нем продолжалась работа по переоценке прежних убеждений. С.С. Безобразов в своих воспоминаниях подчеркивал, что Гревс был не только талантливым и глубоким знатоком Средневековья, но и «учителем жизни». Обращение к текстам блаженного Августина или Данте требовало не просто отстраненного изучения, но прежде всего вживания.

«Иван Михайлович стремился, по завету Тацита, излагать историю *sine ira et studio* (Без гнева и пристрастия. – С.Б.). Но его беспристрастие было ограничено глубоким и горячим моральным чувством. Его особенно привлекали духовно прекрасные личности и, во всяком случае, те, кто был носителем (или искателем) правды. Таковы Августин, Франциск, Данте. Это были его герои.» (Анциферов, 167)

Достаточно внимательно изучить темы и основополагающие взгляды профессора Гревса, чтобы уяснить себе истоки творчества Федотова:

«Иван Михайлович не во всем соглашался с Фюстелем де Куланжем, которого высоко ценил, так, он не соглашался с тем, что исторические процессы ‘слепы’ и ‘безличны’. Гревс всегда искал индивидуальные черты, ‘лицо эпохи’, ‘лицо культуры’ или ‘лицо города’. В этом отношении для меня особый интерес представил его второй курс ‘Духовная культура конца Римской империи’. Этот курс был посвящен, в основном, характеристике отдельных личностей: Лактанция, Паулина Ноланского, Авзония, Сидония Апполинария и др. Иван Михайлович не поднимал вопроса о роли личности в истории. Он стремился воссоздавать отдельные человеческие образы, которые выражали собою те или другие стороны исторического процесса, различные эпохи, разнообразные культуры. А поскольку история есть биография рода человеческого, постольку эти образы отдельных людей назывались Иваном Михайловичем ‘образами человечества’». (169)

Семинары Гревса сыграли огромную роль в продолжающемся пересмотре иерархии ценностей у молодого студента Федотова. Сначала он приходит от марксизма к манихейству, которое «освобождало Бога от ответственности за мировое зло». Затем, постепенно, под огромным влиянием лекций Гревса, Федотов возвращается, уже обогащенный, к христианству. Он отходит от революционной деятельности, хотя в Петербургском университете это было сделать нелегко – достаточно перечитать воспоминания Н.П. Анциферова. Университет особенно бурлил в начале 1910-х годов.

В семинаре Гревса у Федотова окончательно сформировался особый взгляд на развитие культуры, который всегда отличал его:

«В области духовной культуры – а я только о ней и говорю –

наука касается ценностей, которые не могут быть индифферентны для ее носителей. Чтобы понять их, нужно прежде всего понять их как ценности, то есть произвести оценку. Невозможно понять значение композитора, не обладая ни слухом, ни музыкальным развитием. Всё объективное – в смысле естественной объективности, – что связано с этим миром ценностей, есть внешнее, постороннее для них. Часто это может быть их симптом, но не более. Филологи изучили только законы античного стихосложения, но лишь поэты открыли нам красоту древних.

Задача историка, правда, не в том, чтобы понять красоту, но объяснить ее – так же, как объяснить уродство, как объяснить всё. Но для этого он должен войти в круг господствующих здесь законов, уметь выделить главное от второстепенного, уловить связь, в которую – с необходимостью – вступают между собой отдельные образования в мире ценностей. Словом, он должен понять его структуру, прежде чем выяснить его генезис. Прежде всего он должен быть зрячим, а не закрывать глаза во имя ‘объективности’. Иначе он будет лишен самого дорогого материала своего исследования. Поскольку субъективисты правы, то они должны возвыситься над односторонностью своих оценок. Это легко сказать. Но самая сущность оценки – в ее односторонности, исключительно. Понять и простить всё – не значит ли это ничего не понять? *Qui prouve trop, ne prouve rien.*»⁴⁷

Глава пятая. РЕВОЛЮЦИОННЫЙ БУМЕРАНГ

При почти полном погружении в науку иногда напоминали о себе былые связи Федотова с социал-демократами. Он упоминал о них в посланиях Татьяне кратко и лишь намеками. В конце 1908 – начале 1909 годов он выступал своеобразным посредником между саратовской и петербургской большевистскими организациями. Его деятельность вновь привлекла внимание полиции. Революционная работа давно уже не поглощала его. Связанная с нею опасность ареста будоражила его, но в то же время воспринималась им как нечто давно пройденное. Как он выразился о прошедшем, у него в тот период обыске: «...противоречие его с моей жизнью в Августине». Заграничная жизнь отдалила его от революционной деятельности, а университетская учеба внушила новые ценности. Наука стала его свежим и всепоглощающим увлечением.

Несколько позже – осенью–зимой 1908–1909 годов – тяжелый кризис пережила Татьяна, утратившая смысл жизни и интерес к ней. 14 октября 1908 года она записала в дневнике:

«...Бога потеряла, идеалы тоже, в политической борьбе изверилась, в ‘народе’, учениках разочаровалась (вольню же было очаровываться!), хуже,

чувствую себя горько-оскорбленной ими, друзей растеряла (да думаю, что их привязанность до первой разлуки), учениц своих не люблю... Наука, искусство – одно переносимо, потому что в семье – все чужие... Но как же все-таки мне жить, чем? Искусство – бесконечное счастье, оно закрыто для меня, душа слишком бедна и жалка, – не одарена. Наука? Свою науку я считаю набором фраз, стремление мысли выпрыгнуть из себя, мерзкая стирка поэзии, пока она не обратится в удобную половую тряпку и не пойдет по рукам. С историей я не могу сродниться, она всё же кажется мне бесцельной, а законы ее – натяжками. Изучать новые науки – нет сил и энергии».

1 сентября 1908 года она записала в дневнике:

«Знаю счастье – безжеланность,
Умер дух больной...
Жизнь – мучительная странность,
Первозданная туманность...

– Написал это мне как-то Жорж. Не это ли происходит и со мной»⁴⁸.

Пытаясь освободиться от депрессии, она стремилась к созданию хотя бы временной семьи (пусть с нелюбимым, но близким по духу человеком – Сергеем Михайловичем Шиллингом), о чем, по-видимому, достаточно откровенно говорила при встречах или писала в письмах Федотову⁴⁹. Это не сближало, а, наоборот, отдаляло от него Татьяну, записавшую вскоре после его очередного ареста 16 мая 1909 года в дневнике: «Жорж в тюрьме. Удивительно, как мало я скучаю об нем». (Л. 59) 25 мая 1913 года Татьяна записала в дневнике: «И самая большая вина, что я была слишком правдива с Жоржем, потому я его и потеряла. Я не могла скрыть ни одного душевного движения, а у меня они были часто полны противоречий, думала – что Жорж лучше меня сумеет разобраться в моей душе. Без боязни впускала его во все уголки. Доверяла ему больше, чем ребенок доверяет матери». (Л. 20)

Лето 1909 года Федотов провел под Саратовом в имении тети. Татьяна же ездила в Норвегию, что было не столько путешествием, сколько неудавшимся бегством от себя. Осенью она перебралась в Петербург, где в 1909/10 академическом году преподавала в Петергофской гимназии В.В. Павловой, а в следующем году, продолжая преподавание, поступила в Петербургскую педагогическую академию. Жорж в это время завершал учебу в университете и чувствовал себя на распутье. В конечном счете он вынужден был в спешке оставить университет, не сдав государственных экзаменов и получив только свидетельство о прослушанных в нем курсах⁵⁰. Летом 1910 года лишь по случайности он избежал ареста в Саратове, куда привез по просьбе товарищей пропагандистскую литературу. Оставшись без вида на жительство, Федотов оказался на нелегальном положении.

Частые встречи в Петербурге привели к оскудению переписки с

Татьяной, но в этих редких письмах отразилось их постепенное духовное сближение – любовь Жоржа к Татьяне вновь возрождается. Правда, как свидетельствуют его письма и дневник Татьяны, это было не безоблачное светлое чувство, а скорее любовь-ненависть. Она рождала страдание. 14 февраля 1910 года Татьяна записала в дневнике:

«Сегодня я его встретила в Эрмитаже. Я туда пошла, чтобы увидеть его... Я видела, что в Эрмитаже он заметил меня, но сделал вид, что не видит. Мне было больно, – и самолюбие горело огнем. Он это делает потому, что любит чрезмерно. Он бледен, как смерть, худ, жалок – он страдает. Это одно мирит меня с тем, что заставило меня вынести эти два часа в Эрмитаже... Вечером, тогда же. Удивительно! Жорж пришел... Не вытерпел. Но странная у него любовь – постоянно переходящая в ненависть, она не греет».⁵¹

Немного позже, весной 1911 года, в эссе о любви, написанном специально для Татьяны, Жорж задавался вопросом: «Кто сказал, что любовь и ненависть полярны. Ты, Эмпедокл, подошел к порогу истины, но можешь ли ты отличить любовь от ненависти?». И далее: «Что же такое любовь, когда в ней живут пышность и жадность, жестокость и страх. А разве нет в ней молитвы? Нет тихой печали? Нет шумной радости, минувших песен?.. Любовь – это одно бесконечное 'да' жизни, восторг ее, принятие ее без выбора, без разделения. Благословляю небо и землю, Бога и дьявола, бурю и ясность, брата-зверя и нежного ангела».⁵² Жизнеутверждающая идея эссе – «*Deus sive Natura sive Amor*» (Бог, или природа, или любовь) – результат переосмысления жизненных ценностей, к которому неоднократно призывал Татьяну в письмах Жорж. Доверяясь воспоминаниям Елены Федотовой, на пути возвращения Федотова к христианству через манихейство ему предшествовало своеобразное эпикурейство, ироничный манифест которого был составлен для Татьяны Жоржем⁵³.

О политике Георгий в письмах этого времени упоминал мимоходом, однако его отношения с социал-демократическими организациями столицы и Саратова сохранялись. В конце 1908 – начале 1909 годов он оказался в роли связного между ними. Приехав домой на рождественские каникулы в конце 1908 года, он встретился со студентом Петербургского университета Георгием Оппоковым, большевиком, известным впоследствии под псевдонимом Ломов. Через несколько дней состоялась новая встреча, в которой принимали участие брат Георгия Оппокова, Николай, и братья-студенты Загребские. Озабоченность арестами, вызванными ограблением ювелирного магазина в Саратове, обсуждалась в начале собрания. Однако главной темой стал вопрос о средствах, остающихся от благотворительных концертов и вечеров, которые проводили саратовские студенты. Георгий

Федотов предлагал направить часть их в распоряжение Петербургского комитета РСДРП на оборудование типографии для выпуска новой партийной газеты. Предполагалось, что она «будет издаваться в России. Или же деньги будут переданы в распоряжение Московской окружной организации для поддержки издаваемой ею газеты ‘Рабочее знамя’». «Предложение Федотова, прошло», – отмечалось в полицейском рапорте, хотя местная организация и попросила «оставить в ее распоряжении не менее 60 рублей для покупки и перевозки в Саратов из Уфы продаваемой там бездействующей группой ‘анархистов’ типографии». Названный в рапорте «делегатом» Центрального комитета партии Федотов сообщил местной организации адрес новой явки в Питере, а также новый шифр для тайной переписки. Он увез с собой 40 рублей, собранных на благотворительных вечерах.

Подробная характеристика собрания в рапорте и письмо о явке и шифре на имя Алексея Туровцева, приложенное к нему, свидетельствуют о том, что среди саратовских социал-демократов действовал осведомитель. Возможно, несогласованность действий местной и столичной полиции позволила тогда Георгию избежать задержания. Оно произошло позже – весной 1909 года, когда в конце апреля Федотов вновь приехал в родной Саратов. Однако еще в конце зимы он снова оказался в поле зрения жандармов, когда 14 февраля на станции Белоостров был арестован член ЦК РСДРП Виктор Павлович Ногин. Он бежал из сибирской ссылки и пытался выехать за границу по паспорту, выданному канцелярией Петербургского градоначальника на имя Г.П. Федотова. Во время обыска, проведенного у Федотова на квартире в Петербурге, не было обнаружено компрометирующих материалов. После его задержания 16 мая в Саратове вместе с активистами саратовской организации социал-демократов был проведен еще один обыск у него дома. Отсутствие улик облегчило его участь. Сохранилось письмо матери, которое было написано ею в тюрьму, где содержался Георгий:

«Георгию Петровичу Федотову. Въ Губернскую тюрьму, старый корпусъ. Дорогой Жоржикъ! Хотя мы и увидимся завтра, но всё-таки пишу тебѣ, так как завтра ты меня не услышишь: я очень охрипла и не могу всёхъ перекричать. Говорить будешь ты. Коля перешель въ VIII кл. также и Яша, который уже отъ меня перешель къ роднымъ. Шура съ помощью Бори готовится к алгебрѣ, которая будетъ завтра. Получилъ ли ты Диккенса? и что тебѣ еще прислать? Послѣ 1-го всё уѣдемъ, и я буду приѣзжать акуратно на свиданіе съ тобой. Пиши по моему городскому адресу. Таня уѣзжаетъ въ субботу, просила свиданія, которое ей не разрѣшено. Бабушка Таня вернулась изъ Вольска. У меня много работы и разныхъ дѣлъ, всё спѣшу, а отдохну только на дачѣ. Крѣпко тебя цѣлую, не скучай, будь покоенъ и занимайся историей, что поможетъ тебѣ скоротать время. Любящая тебя Е. Ф. 29 мая 1909 года»⁵⁴.

Через две недели он был выпущен на свободу. Сохранение старых связей с революционным подпольем всё больше тяготило Федотова. Еще до ареста он подробно писал об этом Татьяне. В тюремную камеру он просил передать не только английский и латинский словарь, какой-нибудь английский роман и «Энеиду», но и исторические сочинения К. Белоха⁵⁵ и Ф. Олара⁵⁶.

1909–1910 академический год стал решающим – Федотов завершил университетское образование и окончательно определился в выборе жизненного пути. Он решил посвятить себя науке. Огромное значение в этом выборе сыграла высокая оценка И.М. Гревсом курсного сочинения Г.П. Федотова «‘Исповедь’ бл. Августина как исторический источник для его биографии и для истории культуры эпохи». Отмечая крупные «методические, фактические и идейные достоинства» работы, учитель завершал свой отзыв заключением о том, что «из них обнаруживаются настолько определенные научные дарования в аналитическом исследовании и синтетическом конструировании, весь полновесный труд одухотворен таким благородным подъемом идеализма, что, без всякого сомнения, автору разбираемого сочинения должна быть присуждена *золотая медаль*: в нем ясно видится многообещающая духовная сила, которая хорошо послужит науке»⁵⁷. Служению науке мешала его политическая неблагонадежность. Федотов первоначально решил «для легализации» явиться в Саратов с повинной. Но эти планы были сорваны полицией, предпринявшей неудачную попытку арестовать его летом 1910 года за «принадлежность к социал-демократической партии».

Поводом для ареста стали результаты обыска, произведенного 25 июня по требованию Петербургского охранного отделения на квартире Георгия Оппокова. Полицейские чины обнаружили письмо за подписью «Ваш тезка», фамилия которого была уже хорошо известна саратовским жандармам. В письме Федотов сетовал, что не может приехать к нему в Пристанное, и осведомлялся, что делать с посылкой, привезенной из столицы, поскольку ее «хозяев не находится». «Не найдете ли Вы?» – спрашивал он товарища. Во время обыска, произведенного в этот же день на квартире, где проживал незадачливый курьер, жандармы обнаружили ответ: «Жорж! Напишите свой адрес (летний), а то я не знаю, как Вас найти. Посылку Вы, пожалуйста, доставьте мне в Саратов на Константиновскую. Публику я нашел тутошнюю. Собираюсь как-нибудь навестить Вас. Ваш Жорж». Полиции место его пребывания было известно лучше, чем товарищу. Им удалось найти в письменном столе привезенную Георгием Федотовым из столицы «посылку» раньше, чем она была передана по назначению. В ней было обнаружено более семидесяти революционных брошюр, газеты «Пролетарий» и «Социал-демократ», листовки и воззвания антиправительственного содержания.

Поскольку в Саратове Федотов не нашел нужного человека, он небрежно сунул «посылку» в комод в материнской квартире и отправился на дачу к тетке. Когда Жорж вернулся в Саратов, маленькая племянница предупредила его о том, что на квартире матери проходит обыск и его ищут. Он провел ночь в усыпальнице, над могилой дяди, а утром покинул Саратов. Посоветовавшись с друзьями, решил эмигрировать. Его младшие братья – Борис, студент Московского университета, и Николай, ученик 2-й саратовской гимназии, были арестованы. Осенью 1910 года саратовский губернатор распорядился полицмейстерам и уездным исправникам предписание принять необходимые меры к розыску Георгия Федотова. Если бы Федотов был задержан, его сразу же отправили бы в распоряжение архангельского губернатора.

Об этом приключении подробно повествовалось в письме, написанном если не самим преследуемым, то явно под его диктовку, и переданным полицейским.

«Может быть, Вам не вполне известны подробности ухода Георгия Петровича, и как братья могли не знать об уходе, я могу Вам их рассказать с речительством за точность, – писал начальнику Саратовского губернского жандармского управления полковнику Семигановскому автор письма, подпись которого едва ли смог бы разобрать даже самый опытный криптограф. – Георгий Петрович пошел в сад Ростовцевых рвать вишню, а потом хотел пройти к хозяйкам взвесить нарванную вишню. Когда брат его привел жандарма к Ростовцевым, то они ответили, что Георгия Петровича у них не было. Сад маленький, вероятно, Георгий Петрович видел жандармов или слышал разговор, потому что, не заходя к Ростовцевым, он ушел домой, его встретила какая-то девочка выходящим из сада. Придя домой, он встретил в саду свою племянницу Машу Устякину, внучку Ольги Андреевны Буковской, которой всего пять лет. Какой разговор был между ними, девочка передать не может, но только сказала, что дядя она говорила, что у них на дворе жандармы, тот повернулся и ушел. Знали ли братья, что в столе была нелегальная литература, или нет, думаю, что не знали, потому что они прямо говорят, что если бы она им попала, то они сейчас бы ее сожгли. Что будет дальше, не знаю, но сейчас они как дети радуются свободе и за версту обойдут каждого революционера и социалиста»⁵⁸.

Это, как и собственноручно написанное Г.П. Федотовым письмо о невиновности братьев, посланное накануне в жандармское управление, должно было отвести от них подозрения, когда их арестовали вскоре после неудачной попытки задержать старшего брата. Так и произошло: Борис и Николай Федотовы были отпущены из тюрьмы через две недели «без каких-либо последующих действий». Положение

Жоржа становилось всё более критическим. Скрываться у родственников было небезопасно. Полиция могла нагрянуть еще раз, как это случилось в августе сначала днем в Саратове, где полицейские несолоно хлебавши стояли у запертой двери, а потом нагрянули ночью на дачу с «внезапным обыском», который переполошил родных и соседей.

Воспользовавшись паспортом друга, С.А. Зенкевича, Георгий покинул Россию и год провел в Италии. Он пытался найти место учителя в богатых русских семьях, но это ему не удалось. Он возвратился в Петербург по паспорту Зенкевича и продолжил учебу в Петербургском университете. По месту жительства он числился как Зенкевич, а в университете – как Федотов. В течение года ему пришлось вести двойную жизнь – больше всего в этот период его мучило одиночество. Федотов решил разом покончить с двусмысленным положением, стремясь во что бы то ни стало завершить университетское образование. Весной 1912 года он явился с повинной в полицию. Этот шаг позволил ему сдать экзамены и получить диплом. Наказание – ссылка под гласным надзором полиции – было отсрочено и сокращено с трех лет до шести месяцев с заменой места отбывания: вместо Архангельской губернии он жил на Рижском взморье в Карлсбаде (сегодняшнее Меллужи) неподалеку от Риги⁵⁹.

Отбыв ссылку, Федотов поспешил в Петербург, но и там его ждали неприятности. На основании заочного приговора об административной высылке начальник Саратовского губернского жандармского управления запросил 3 июля у ректора университета документы на Г.П. Федотова. Ссылаясь в связи с перепиской «в порядке Положения о государственной охране», он указал, что Федотов скрылся от полиции. Узнав об этом от своих наставников, Георгий поспешил принять упреждающие меры. 18 августа 1912 года он заявил в сыскную полицию об утере отпускного свидетельства, которое, якобы, не смог представить в университет с соответствующей отметкой местной полиции, разыскивающей его. В этот же день Георгий обратился к декану историко-филологического факультета с просьбой «о выдаче выпускного свидетельства о прослушании... полного курса наук в Санкт-Петербургском университете». И через два дня типовой бланк свидетельства был оформлен, завизирован подписями декана и секретаря историко-филологического факультета и удостоверен печатью. В нем, наряду со всеми дисциплинами курса, отпечатанными типографским способом, было написано дополнение о том, что Г.П. Федотов «участвовал в практических занятиях по немецкому языку». В приложенном к свидетельству списку отметок число дисциплин было меньше. Прослушанные в немецких университетах и зачтенные позже лекционные курсы и семинарские занятия не указывались. Но против каждой дисциплины стояла отметка «весьма удовлетворительно» (в то время высший балл). На следующий день по просьбе декана И.Д. Андреева свиде-

тельство было выдано бывшему студенту «без предъявления матрикул и входного билета», которые он так и не получил. В обмен Георгий сдал в университетскую канцелярию свидетельство «для свободного проживания в Петербурге» с отметками о возврате всех библиотечных книг в 1909 и 1910 годах.

Поскольку выпускное свидетельство не могло служить видом на жительство, Г.П. Федотов сразу же оказался на нелегальном положении. К тому же канцелярия (в соответствии с существующими правилами) сообщила в Воронежское уездное по воинским делам присутствие о том, что он выбыл из числа студентов. Это означало прекращение действия отсрочки от воинской службы, полученной в связи с поступлением в университет и продленной в 1909 году. Федотов пытался выйти из сложной ситуации, подав прошение во Владимирское военное училище. Но и эта попытка не удалась. Управляющий учебным округом сообщил ректору Петербургского университета, что Георгий Федотов приговорен «согласно ст. 34 Положения о государственной охране» к высылке под надзор полиции в Архангельскую губернию на три года, «считая... со дня задержания». Этот документ препятствовал легальному общению бывшего студента с наставниками. Федотов считал, что он не вправе ставить своих учителей под угрозу увольнения.

Глава шестая. ПРОДОЛЖЕНИЕ МЫТАРСТВ

Федотов принимает решение вновь уехать за рубеж. Его избранница дала согласие на поездку вместе с ним. Совместная поездка летом 1911 года в Италию стала осуществлением давнишней мечты Татьяны. В выборе страны, по-видимому, сказалось влияние И.М. Гревса. Это путешествие было временем наибольшего их сближения. Для дальнейшей творческой судьбы Федотова немаловажным было глубокое знакомство с культурой средневековой Италии. Путешественники уделяли много времени искусству итальянского Возрождения. Они посетили Милан и Венецию, Флоренцию и Равенну, и, конечно же, Рим. Путешествие осуществлялось в полном соответствии с принципами экскурсионного изучения культурных центров, которые были разработаны его учителем Гревсом. После путешествия в Италию, когда их отношения обрели ясность, Татьяна сумела преодолеть неразделенную любовь к Владимиру Александровичу. Отныне она видела себя рядом с Жоржем.

Однако к долгой эмиграции Георгий Петрович оказался не готов, да и финансовые возможности были скудными. Поэтому осенью 1911 года он возвратился в Россию, используя, как и при выезде, чужой паспорт – С.А. Зенкевича, брата своего давнего друга Михаила Зенкевича. По приезде Федотов сразу же включился в работу одного из семинариев, проводимых И.М. Гревсом «на дому», в котором

изучалось творчество Данте. В письмах Татьяне Жорж всё чаще писал об окончательном обретении смысла своей жизни. Он бесповоротно решил посвятить свою жизнь науке. Весной 1912 года Федотов решил явиться в полицию с повинной и заявить, «что он уехал за границу, не ведая об определенном ему административном взыскании». «Узнав же ныне, что ему назначена высылка в Архангельскую губернию, – свидетельствует далее документ, – он явился в Санкт-Петербург, чтобы подчиниться наложенной на него каре, но умоляет дать ему возможность перед высылкой сдать государственные экзамены». Высокая оценка его учебных успехов, данная профессорами Андреевым и Гревсом, способствовала успеху. Они считали, что «преграждение ему возможности окончить курс составит потерю для русской науки». К их мнению прислушался министр внутренних дел А.А. Макаров, разрешивший Федотову сдачу государственных экзаменов «с установлением за ним гласного надзора».

Весна 1912 года, как свидетельствуют письма Федотова, стала временем интенсивной и успешной подготовки к экзаменам в испытательной комиссии историко-филологического факультета. К экзамену по Древнему Востоку он готовился вместе с друзьями – Б.А. Романовым и С.И. Штейном по «варварским лекциям Тураева». И прекрасно выдержал его. Следующий экзамен – история славянских народов. Он писал Татьяне: «Третьего дня я сдал удачно экзамен по истории славян, и заодно, совершенно неожиданно, у Ивана Михайловича. Мне кажется, что это половина дела, так как требования Ястребова превосходят всякие меры. Я даже не успел дочитать всех книг. Вчера получил свидетельство ‘благонадежности’, так что препятствий для экзаменов нет никаких. А тетя Оля уверяет меня (она бывала во всяких местах), что и мои политические дела устроятся благополучно. В этом я, впрочем, сомневаюсь. Теперь пойдут экзамены каждую неделю до 26-го апреля; читаю до одури и, несмотря на быстрое утомление, вижу, что здоровье не изменяется»⁶⁰.

Он успешно сдал экзамены и надеялся избежать административного наказания. Татьяна даже предлагала Жоржу вновь провести лето вместе в дачном месте Тригуляеве близ Тамбова. Однако Жорж был более реалистичен: «Ну а самое главное – это то, что у меня немного надежды на свободу располагать своим местом жительства, хотя надеюсь, что этот вопрос выяснится вскоре (университет я окончил)»⁶¹. По итогам учебы и экзаменов Федотову был присужден диплом I степени, который позволял ему продолжить образование уже в качестве магистранта. Так закончились студенческие годы начинающего историка. Впереди его ждала ссылка под гласный надзор полиции, оказавшаяся, к счастью, не столь отдаленной и продолжительной. Вместо Архангельской губернии ему разрешили поселиться «в избранном им самим месте жительства».

Он уехал в Мариенбад близ Риги, куда однажды якобы бежал от преследования полиции шесть лет назад. Три долгих года ссылки были сокращены до шести месяцев. 3 декабря 1912 года департамент полиции уведомил попечителя Петербургского учебного округа, что «по пересмотре дела о состоящем под гласным надзором полиции в местечке Ассе[r]не бывшем студенте Санкт-Петербургского университета Георгии Петрове Федотове», министр внутренних дел 19 ноября распорядился прекратить переписку о нем и освободить его из-под надзора. Наконец-то появилась возможность вернуться не только в столицу, но и в родной университет. 16 марта 1913 года по ходатайству И.М. Гревса он был оставлен при кафедре всеобщей истории Петербургского университета для приготовления к профессорскому званию.

Размышляя о взаимоотношениях с Жоржем, в дневниковой записи, датированной 1913 годом, Татьяна признавалась себе:

«Больше всего на свете я ценила семью и детей, я мечтала об этом с детских лет, всю жизнь себя подготавливала к этому, боялась революции, т.к. знала, что в ней растратишь силы, а я хотела быть здоровой, сильной, новой женщиной и создать счастливую и новую семью. Перед Богом с чистой совестью я могла бы сказать, – если бы мне предложили выбор между всеми сокровищами мира и семьей, я бы не колебалась ни минуты. Но ради Жоржа я отказалась от семьи. Правда, это было не то, о чем я мечтала, но всё же, верно, я была бы счастлива. Так ясно мне рисовалась, бывало, одинокая, холодная жизнь, но в ней Жорж, – и всякий раз я выбирала ее, а не спокойную, ясную другую жизнь.... И моя тайная мечта: у меня будет уголок в деревне – природа значит так много, с ней никогда не будешь совсем одинок – и туда будет приезжать Жорж отдыхать. Это всё – в моих руках, и это выбираю в жизни, – а другого ничего не хочу. Ни новых встреч, ни впечатлений, – ничего. Жорж мой, неужели и это всё обмануло?»⁶²

Отказ Жоржа приехать в деревню, по-видимому, стал причиной ссоры и долгого перерыва в переписке.

В 1912 году он сдал государственные экзамены, а за сочинение на тему «Исповедь блаженного Августина как исторический источник» получил золотую медаль. В рецензии на сочинение молодого историка И.М. Гревс отмечал:

«Пересматривая все содержание первой части разбираемой работы, выносишь редкое удовлетворение от ее качества и полноты. Можно спорить против отдельных взглядов, найти немало частных пробелов, но основное воззрение вызывает согласие и радостное успокоение. Сквозь изложение ярко светятся симпатичные свойства, живущие в авторе, – высокая трудоспособность и интенсивное трудолюбие, задушевное увлечение вопросом, обладание материалом и самостоятельное отношение к проблеме. Правда, действует он и побеждает трудности скорее чутким органом мягкой и тонкой поэтической интуиции, чем острым ножом суровой и мелочно точной крити-

ки. Но живая нота реконструирующего воображения не подавляет в нем вполне сознательного и определенно научного отношения к предмету и тщательной подготовки».

Завершая рецензию, И.М. Гревс произносит пророческие слова:

«Никогда не выходит ничего вполне совершенного из рук отдельного труженика науки, ни в глазах его собственных, если высоко настроена его совесть, ни в глазах критики, если она строга и принципиальна. Не чужд недостатков и предлежащий плод доброго юношеского ученого усилия. Но методические, фактические и идейные достоинства его настолько крупны и очевидны, из них обнаруживаются настолько определенные научные дарования в аналитическом исследовании и синтетической конструкции, весь полновесный труд одухотворен таким благородным подъемом идеализма, что, без всякого сомнения, автору разбираемого сочинения должна быть присуждена золотая медаль: в нем ясно видится многообещающая духовная сила, которая хорошо послужит науке».⁶³

Успешно сдав государственные экзамены, Георгий Петрович был оставлен при университете по кафедре средневековой истории. Осенью 1912 года он стал приват-доцентом. Преподавать в университете ему не пришлось – профессор Гревс воспитал столько медиевистов, что не хватало слушателей. Одновременно Георгий Петрович поступил работать в Публичную библиотеку, в отдел искусства. В письмах этого периода к Татьяне прослеживается окончательное обретение Жоржем своего призвания в исследовательской научной работе. Она же после возвращения в Россию вновь погрузилась в духовный кризис. Попытка возобновить переписку весной следующего, 1913, года после встречи на Пасху в Петербурге оказалась неудачной. Жорж отказался от предложения Татьяны сопроводить его в научную командировку в Париж⁶⁴, куда его намеревались направить как оставленного при кафедре всеобщей истории Петербургского университета⁶⁵. К этому времени относятся дневниковые записи Татьяны, полные отчаяния и негодования (во многом справедливого) по отношению к старому другу. Начиная с 1913 года Федотов преподавал историю в коммерческом училище М.А. Шидловской. В этот период он начинает публиковать свои работы – статья «Письма блаженного Августина» увидела свет в сборнике, посвященном И.М. Гревсу. Появились его статьи в Новом энциклопедическом словаре. Обостренное чувство одиночества после возвращения Федотова в Петербург и неудовлетворенность педагогической работой в гимназии Шидловской способствовали возобновлению переписки с Татьяной. Он попытался убедить ее перебраться в Петербург. На этот раз отказалась она. Вновь возникла долгая пауза в их переписке.

Первая мировая война существенно не повлияла на их отношения. Федотов как политически неблагонадежный не был призван в

армию. Татьяна, несмотря на частые конфликты с руководством гимназии, стремилась найти себя в педагогике: она организовала исторический кружок, при ее участии стал издаваться рукописный журнал «Уа-уа»⁶⁶. Федотов, судя по его ежегодным отчетам, полностью погрузился в работу над магистерской диссертацией. Его письма за 1914 год отсутствуют, а немногочисленные послания за 1915–1916 годы свидетельствуют скорее об отчуждении в отношениях Георгия и Татьяны. Важнейшие события в его жизни за эти два года – сдача магистерских экзаменов и утверждение его приват-доцентом Петербургского университета⁶⁷.

В это же время он поступил «вольнотруждающимся» в Публичную библиотеку⁶⁸, где произошло его знакомство с А.В. Карташёвым и А.А. Мейером, сыгравшими важную роль в его возвращении к христианству и воцерковлению⁶⁹. Беседы с ними приблизили Георгия Петровича к пониманию церковного христианства. В 1914–1915 годах он собирал материалы для магистерской диссертации. Ее тема была близка его студенческому сочинению – «Святые епископы меровингской эпохи». В этот же период он сдал магистерские экзамены, но саму степень получить так и не смог. Начавшаяся война помешала ему зарубежной командировке в Париж, где он намеревался собрать необходимый для защиты материал. В его архиве сохранились отдельные части диссертации – «Меровингское государство перед судом Церкви». Завершенные отрывки он всё же сумел опубликовать в первые революционные годы.

В семинаре Гревса Федотов познакомился с Еленой Нечаевой. Они были ровесниками. В дневниках Федотова имя Леночки Нечаевой встречается довольно часто. Он характеризует ее как «очень способную и пылкую, ищущую, но неуравновешенную, по характеру ‘богема’». Елена Нечаева по окончании гимназии О.Л. Таганцевой в 1903 году поступила на Бестужевские курсы по группе всеобщей истории и окончила их в 1911 году. В семье кроме нее воспитывались две сестры. Воспитанием в основном занималась няня, поскольку мать была всецело поглощена общественной деятельностью. С детства Елена была дружна с дочерью И.М. Гревса, Александрой, и часто бывала в этой семье. Отец Елены, человек увлекающийся, был присяжным поверенным, быстро промотавшим приданое жены. А мать, Ольга Константиновна Нечаева, – известная поборница женского просвещения в России, блестящий педагог, – оставила заметный след в истории преподавания на Высших женских (Бестужевских) курсах.

Ольга Нечаева происходила из состоятельной семьи военного Константина Ракуса-Сушевского, поляка по происхождению. С 10 лет он воспитывался в военном корпусе, окончил Михайловское артиллерийское училище. Женился на богатой невесте – Марии Пантелеевне Демидовской. Ее отец был категорически против этого брака, так как

Сушевский был беден. Дочь три года ждала благословения отца, но только после достижения ею 21 года отец уступил. Она родила мужу двух детей – дочь Ольгу и сына Константина. Их воспитанием из-за крайней болезненности матери занимались гувернантки и бонны. Когда Ольге исполнилось 13 лет, отца назначили инспектором всех пороховых заводов. Семья переехала в Петербург, и вскоре Ольга начала посещать аристократический пансион.

У нее сформировался мужской характер, и она во всем стремилась настоять на своем. Ей претили наряды, танцы, званные вечера и балы. Ее тянуло к простым людям, она много читала и внимательно следила за тем, что происходило в общественной жизни России. Деятельно помогала курсисткам, которые учились на Женских врачебных курсах. В этой среде она встретила присяжного поверенного Николая Нечаева, который исповедовал демократические убеждения и защищал в судах политических преступников, но сам не принимал участия в работе революционных кружков. Ольга Константиновна была богатой невестой, и в поклонниках не было недостатка. Но в 1883 году она вышла замуж за Николая Нечаева. Как позже признавалась сама, «не по любви, а потому что с ним – и только с ним изо всех окружавших ее людей – она могла пойти по той дороге, которая манила ее уже несколько лет». (35-36)

В приданое молодые получили имение Калище, и муж начал активно работать в земских учреждениях. Жена сопровождала его в поездках на земские собрания, где разгорались баталии между крепостнической и прогрессивной партиями. Супруги принимали в них участие. В следующем году Ольга Константиновна была избрана членом Комитета только что организованного Общества пособия слушательницам медицинских и педагогических курсов. В это время она подружилась с поборницей женского образования, преподавательницей и видным публицистом Александрой Калмыковой и молодым ученым, историком Сергеем Ольденбургом. Правительство Александра III устроило настоящие гонения: были закрыты женские курсы Герье, на грани закрытия находились и Бестужевские курсы. Николай Нечаев выступил с докладом в Городском управлении Санкт-Петербурга. Он предложил петербургской Думе взять Врачебные женские курсы в свое заведование, ассигновать ежегодные пособия и предоставить городские больницы для практических занятий слушательниц. Этот доклад был принят Думой, и Нечаев стал широко известен. Только близкие друзья понимали, что за его спиной стояла жена, вдохновлявшая и всячески поддерживавшая его. Позже она вспоминала о муже: «По характеру Н.А. был сильно увлекающийся человек, с большой инициативой, с большими организаторскими способностями, но, загоревшись ярким пламенем, он быстро потухал: начав дело с широким размахом, он скоро к нему остывал; у него было полное отсутствие выдержки...» (35-36)

В 1887 году Ольга Константиновна познакомилась с Варварой Тарновской. Это была яркая, красивая женщина, с сильным характером, умевшая не только ставить цели, но и достигать их. Ольга Константиновна без колебаний стала ее соратницей. Они решили создать женский университет. В 1886 году были закрыты все Женские курсы. Но Тарновская и Нечаева продолжали борьбу, и летом 1889 года добились возобновления курсов, но уже на другой основе. Теперь директор назначался правительством, вводилась должность инспектрисы и предусматривалось общежитие для приезжих девушек. Ольга Константиновна в 1890 году была назначена заведующей общежитием. Немало сил было потрачено на оборудование общежития, устройство дешевой столовой. Ольга Константиновна вникала в жизнь каждой приезжей, стремясь поддержать их в незнакомом городе. Забывая о семье, она с утра до вечера пропадала на Женских курсах. В этот период начались расхождения с мужем. Он пустился в финансовые операции, и вскоре семья вынуждена была продать за долги имение Калище, в котором они обычно проводили лето.

Ольга Константиновна устроилась делопроизводителем в Общество попечительства об учительницах и воспитательницах в России. Она поселилась вместе с тремя дочерьми в двух комнатах, отведенных при конторе этого общежития. В эти годы она стала настоящим общественным деятелем. Она вникала во многие проблемы Женских курсов, помогала девушкам, желавшим получить образование, но сталкивавшимся с нежеланием родителей или супругов отпускать их из дома. Нередко ей приходилось выезжать в другие города, чтобы разрешить семейные конфликты. Она принимала горячее участие в работе Общества попечения о молодых девушках, которое пыталось разрешить проблему проституции в России. Немало труда приложила она и к разрешению еврейского вопроса. Часто девушки из еврейских семей не могли попасть на Женские курсы из-за того, что жили в черте оседлости. Ольга Константиновна бесстрашно билась за их право получать образование. При такой нагрузке у нее не всегда хватало времени на своих дочерей. Их воспитанием занималась няня – Настасья Ивановна, крестьянка, не получившая никакого образования. Но духовно дочери были очень близки с Ольгой Константиновной.

В 1914 году отмечалось 25-летие ее служения Женским курсам. В приветственном адресе говорилось:

«...Сменялись поколения слушательниц, чередовались директора Курсов, приходили и уходили профессора, вырастали новые и новые здания, дело росло и ширилось, и все, кто для него работал, знали, что в любую минуту, радостную или печальную, вы всегда на своем посту, любящая, сильная, верящая, жертвующая всем для любимого дела. Прошли годы, многих из наших старших товарищей и друзей уже нет, но их дух жив; он живет в вас и в тех,

кто вместе с вами вступил в ряды Комитета в его героический период; он заразил тех, которые присоединились позже. Прошли годы, но вы всё та же – неутомимая, горячая, всегда готовая работать, помочь всем и каждому в великом и малом. Мы верим, годы бессильны перед этой любовью и этой энергией». (63)

Революцию 1917 года Ольга Константиновна приняла как долгожданное событие. Вскоре все Женские курсы были упразднены большевиками. Она вела аскетический образ жизни. Ее дочери получили высшее образование, вышли замуж, появились внуки. Ее всегда поддерживали любимый брат и та огромная семья, которую она создавала в течение всей жизни. Она умерла по современным меркам рано – в 66 лет. Не стоит забывать тяжелейшие годы революции и Гражданской войны, когда голодала вся страна. В последние годы жизни она страдала от развивающейся глухоты, но воспринимала болезнь стоически. До последних дней сохранила дружбу с историком Сергеем Ольденбургом и Варварой Тарновской, с выдающимся медиевистом Иваном Гревсом, у которого в гимназии Таганцевой учились ее дочери, а затем у него в семинаре – ее дочь Елена.

Елена Николаевна выросла в атмосфере народничества. Аскетизм матери она впитала в себя и сохранила до последних дней жизни, но многое унаследовала от отца – его неустойчивый, противоречивый характер, неумение прощать чужие ошибки. Она разделяла убеждения мужа и всячески помогала ему. Занятия историей Елена Николаевна продолжила в Дантовском семинаре, который вел И.М. Гревс. Вместе с другими участниками семинария в 1912 году совершила поездку в Италию. После начала Первой мировой войны окончила курсы сестер милосердия и работала в госпиталях. На фронте вышла замуж. В 1916 году родилась дочь Нина. Вскоре после рождения дочери брак распался, и она вернулась в Петроград. После возвращения продолжила учебу и 17 мая 1918 года поступила на службу в Публичную библиотеку. С 28 сентября 1918 года «служащая библиотеки Елена Николаевна Нечаева» была переведена в отделение философии. В декабре 1918 года участвовала в редактировании Инструкции по составлению каталогов.

27 марта следующего года Нечаева была переведена на работу в читальный зал библиотеки, где в это время работал Федотов⁷⁰. Елена Николаевна и Георгий Петрович уже были знакомы, так как оба занимались в семинарии И.М. Гревса. В 1919 году они поженились. Георгий Петрович удочерил ее дочь. С 16 мая 1920 года «научный сотрудник Нечаева» была назначена младшим помощником низшего оклада. Уволилась 1 июля 1920 года, через десять дней после увольнения Федотова, который уехал в Саратов. В 1922 году супруги вернулись в Петроград. В июне 1922 года Нечаева еще раз попыталась вернуться на службу в Публичную библиотеку, но вакансии, к сожалению, не оказалось.

Глава седьмая. РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА

«Февральскую революцию он принял без восторженных иллюзий, скорее со страхом, так как за февралем провидел лик октября», – отмечала в воспоминаниях Е.Н. Федотова⁷¹. Хотя это утверждение является оценкой *post factum*, в первой части оно точно, о чем свидетельствуют краткие, но емкие по содержанию письма Федотова к Татьяне Дмитриевой. В них отразились «переходы от надежды к отчаянию», стремление хоть как-то повлиять на ход событий, участвуя в пропагандистской работе социалистов-оборонцев. Тревога, вызванная кровопролитием после первомайской демонстрации в Петрограде, посеявшим «рознь между рабочими и частью солдат», постепенно утихла, особенно после летней поездки в Саратов.

В письме к Татьяне от 11 ноября 1917 года он пишет:

«...Сейчас получил твое письмо с описанием саратовских ужасов. Мы не пережили здесь и десятой доли ваших впечатлений. Просто потому, что в большом городе все события рассеиваются в пространстве. Я, например, не слышал ни одного выстрела во время бомбардировки Зимнего дворца и Владимирского училища. Духовное состояние было ужасное. Рухнули последние надежды на сохранение России, республики, чести. Целую неделю ждали избавления от Керенского, от ставки, потом от Каледина. Никто не двинулся. Теперь судьба России в руках авантюристов, шпииков и бывших охранников. То же, что в доброе распутиное время. Нужно сказать только правду, что рабочие массы переживают это серьезно. Для них тут социальная революция, то есть начало земного рая. Как ужасно будет разочарование! Уже сейчас закрылось большинство (говорят) заводов в Петрограде. Хлеба дают полфунта на два дня, а скоро... Насилий над личностью немного. Грабежи сильно сократились первое время, и мы имеем образец 'революционного порядка'. Но сейчас опять грабят на улицах среди белого дня. Но не это главное. Сепаратный мир становится фактом, а этого позора никто не смочет с истории России... Скверно на душе, хотя я и не спорю о политике. Защищать большевиков у меня рот не открывается, хотя они не оправдали своей репутации террористов. В общем, они не идут дальше черной сотни»⁷².

Однако надежда на то, что эта власть с республикой могут уцелеть, если «судьба избавит нас от новых катастроф», не оправдалась. Развитие событий после неудачного июльского наступления на фронте привело в конечном итоге к падению правительства А.Ф. Керенского. Первоначальное недоверие к Временному правительству было вызвано внешней политикой П.Н. Милюкова, которой Федотов противопоставлял лозунг «мир без аннексий и контрибуций на основе

права народностей на самоопределение». Однако это не означало приверженности большевистской трактовке этого лозунга. Федотов считал наиболее эффективным средством покончить с войной – социальную революцию. Но ее реализацию он видел не в «насильственном восстании», а в «революции в сознании, действительно моральном торжестве пролетариата и проведении им в жизнь идей социализма». Среди ведущих идей, которые должны были утвердиться в сознании пролетариата, отмечалась идея интернационализма.

В опубликованных лекциях «Война и ее происхождение», которые Федотов прочитал весной или летом 1917 года на курсах агитаторов в Петрограде, он выделял три важнейших причины войны: экономические, национальные и политические. Первая из них определялась в марксистском ключе как империалистическое стремление «к возможно большему расширению господства ради обеспечения национальной промышленности рынками и сырьем и ради более выгодного применения финансового капитала»⁷³. Судя по тексту, лекции были прочитаны в период с конца апреля по конец июля. Можно предположить, что они читались в связи с обсуждением вопроса об участии российских социалистов в планируемой международной социалистической конференции по проблеме войны и мира в Стокгольме. Однако вина за развязывание войны в большей степени переносилась на «захватнический империализм» Германии и Италии, которому противостоял «охранительный, консервативный империализм» Англии и Франции. Вторая причина – нерешенность национальных проблем, порожденных еще в XIX веке. Симпатии Федотова были на стороне Франции, вступившей в войну для решения эльзас-лотарингского вопроса. Наконец, третья причина, по его мнению, крылась в политической отсталости России и милитаризме Германии. Главное обвинение выдвигалось против германского милитаризма.

Призыв к миру, однако, не означал его немедленного заключения, ибо ситуация была более выгодной для «германского кайзеризма», являвшегося одной из причин войны. Пока он не будет уничтожен, возможности справедливого и прочного мира остаются призрачными. Вот почему Федотов завершал лекции парадоксом: «...социализм, войну отрицающий, должен еще продолжать ее для осуществления своих идеалов. Это – трагическое противоречие, но путь истории всегда есть путь трагический». (100) Федотов считал, что мнение о сознательном провоцировании войны Россией летом 1914 года ошибочно. Неприятие власти большевиков, голод, ожидание скорого вступления немецких войск в Петроград подталкивали Федотова к решению перебраться в Саратов, о чем он сообщал Татьяне. Захват власти большевиками означал для него крушение надежд на сохранение России, республики, чести.

Однако найти подходящее место для работы в родном городе ему

не удалось. Поэтому уже 20 января 1918 года он вернулся в Петроград. После полного тревог и опасностей путешествия по железной дороге жизнь в столице показалась терпимой. Вскоре стало очевидным, что положение значительно хуже, особенно с продовольствием, о чем свидетельствуют частые упоминания в письмах о посылках. И хотя Федотов всячески стремился смягчить вопрос о продовольственных трудностях, упоминания о них, не свойственные корреспонденции дореволюционного периода, говорят о многом. К этому прибавлялись тяготы военного положения, известия об арестах знакомых и родственников. Но более существенными были духовные раны, наносимые политикой большевиков и прежде всего заключением Брестского мира. Его Федотов воспринял как пролог реставрации монархии и капитализма, с чем он, как социалист, смириться не мог.

Письма зимы–весны 1918–1919 годов дают представление о восприятии Федотовым нового этапа революции. Большевики захватили власть, и остатки иллюзий рассеялись. В письме от 3 марта 1918 года Жорж пишет Татьяне:

«...Бросил я думать о социализме и республике. Стиснув зубы, будем готовиться к реваншу. Бойскауты, сокольские общества, военное воспитание (на уроках истории). Много горько, но многое хорошо. Будем любить Россию. Скажем: родина-мать. Будем гордиться ее прошлым и верить в ее воскресение. Эту веру передадим (через школу) и рабам, ее предавшим. Ну а какое же должно быть воспитание? Я думаю: строгое, до жестокости. Давно уже я обвиняю гуманность школы в нашем общем вахлачестве. Я не откажусь от свободы. Но свобода ведь совместима с суровостью. Суровая свобода – это Спарта. Я думаю о школе, потому что в случившемся повинна интеллигенция больше народа. Конечно, Россия, как и Церковь, поражена *in capite et membris**. Но гнить она начала с головы, а не хвоста. Голова первая и ответила. Но голова должна и спасти ее...»⁷⁴

В оценке революции Федотов полностью созвучен размышлениям о революции своего современника Николая Бердяева:

«Революция всегда говорит о том, что власть имеющие не исполнили своего назначения. И осуждением до революции господствовавших слоев общества бывает то, что они довели до революции, допустили её возможность. В обществе была болезнь и гниль, которые и сделали неизбежной революцию. Это верно и по отношению к старому режиму, предшествовавшему революции русской. Сверху не происходило творческого развития, не излучался свет, и потому прорвалась тьма снизу. Так всегда бывает. Это – закон жизни. Революциям предшествует процесс разложения, упадок веры, потеря в обществе и народе объединяющего духовного центра жизни. К

* С головы до ног (*лат.*)

революциям ведут не созидательные, творческие процессы, а процессы гнилостные и разрушительные. Чувство любви, порывы творчества, акты созидания никогда не приводят к революциям. На всякой революции лежит печать безблагодатности, богооставленности или проклятия. Народ, попавший во власть революционной стихии, теряет духовную свободу, он подчиняется роковому закону, он переживает болезнь, имеющую свое неотвратимое течение, он делается одержимым и бесноватым. Не люди уже мыслят и действуют, а за них и в них кто-то и что-то мыслит и действует.

Народу кажется, что он свободен в революциях, это – страшный самообман. Он – раб темных стихий, он ведется нечеловеческими элементарными духами. В революции не бывает и не может быть свободы, революция всегда враждебна духу свободы. В стихии революции темные волны захлестывают человека. В стихии революции нет места для личности, для индивидуальности, в ней всегда господствуют начала безличные. Революцию не делает человек как образ и подобие Божие, революция делается над человеком, она случается с человеком, как случается болезнь, несчастье, стихийное бедствие, пожар или наводнение. В революции народная, массовая стихия есть явление природы, подобное грозам, наводнениям и пожарам, а не явление человеческого духа. Образ человека всегда замузнен в революции, затоплен приливами стихийной тьмы низин бытия. Тот светлый круг, который с таким страшным трудом образуется в процессе истории и возвышается над необъятной тьмой, в стихии революции заливается дурной бесконечностью ничем не сдерживаемой тьмы»⁷⁵.

Несмотря на голод и хаос, Федотов пытается осмыслить происходящее и найти выход из положения. В письме к Татьяне от 16 марта 1918 года он признается:

«Как мы живем? В каком-то полусне, в том пассивном состоянии, когда утрачиваются даже границы между мечтой и действительностью. На действительность, то есть на отдельные удары, почти не реагируешь. Остается общее чувство тупой боли. В этой боли для меня с каждым днем всё сильнее раскрывается, чем была для меня Россия. По правде, и немцев здесь я готов перенести для того, чтобы мучительнее любить Россию. Не хочется ни о чем думать и говорить, кроме как о России, о ее славе. (Счастлив, что есть люди, с которыми можно говорить об этом). Да еще хочется бывать в церкви, слушать слова покаяния и созерцать тысячелетнюю славу и красоту. В ее неизменности и красоте почерпнешь опору. (Об этом можешь не говорить никому).

А за этим остается мир обывательский, который при разбитом и жалком состоянии воли не кажется презренным. Жизнь научила смирению. Я понимаю горе хозяек и матерей в очередях, сам занят добыванием хлеба насущного и чувствую, что это хорошо, да и хлеб – вещь святая ('Даждь нам днесь'). Не думай, впрочем, что я голодаю. При эвакуации нам раздали больше обычного продуктов (чтобы запасы не достались немцам, что ли?), и пока мы сыты. Я занят вопросами хле-

бопечения, и на всякие лады пробую употребить полученный мною фунт муки. Но на керосинке дрянной ничего не выходит. Однако поджаренное тесто напоминает пряник, а я прямо через булочника вышел в кондитеры. Чисто по-русски: скачешь через ступеньки.

Солнышко светит по-весеннему, чуть-чуть тает. Помнишь очарование петербургской весны? Всё же еще холодно. Не знаю, как мне быть с квартирой. Миша (Зенкевич), наверное, не приедет. А держать мне одному не по силам. Хочу приискывать сожителя, но кто теперь пойдет? Город посылает. Можно только даром отдать. Если бы ты знала, сколько интеллигентных людей пошли в газетчики и Бог знает еще куда!»⁷⁶

Эти письма позволяют лучше понять контекст, в котором возникла идея издания журнала «Свободные голоса». 14 апреля 1918 года он сообщает Татьяне: «...Кстати, мы выпускаем журнал. И мне, как это ни странно, выпала вся практическая работа по изданию. Мне посчастливилось найти очень дешевую типографию. Будет маленький неперидический листовочник, называется ‘Свободные голоса’ (именно голоса – разные голоса). В 1 номере будет моя программная статья о России. Но всё анонимно. В это дело, как и в наш кружок, я вкладываю сейчас душу»⁷⁷. В начале мая 1918 года вышел первый номер журнала, в котором была опубликована статья Федотова «Лицо России». Главная угроза виделась ему в сепаратном мире с Германией. Именно это событие стало импульсом к публичному выступлению на страницах журнала «Свободные голоса». Два номера журнала, опубликованные весной–летом 1918 года, – результат сотрудничества группы единомышленников, входивших в кружок, сформировавшийся вокруг христианского философа, активного участника Религиозно-философского общества А.А. Мейера.

Спасительным очагом в суровых условиях для Федотова, как и для многих интеллигентов, стала Русская Церковь. Он находил поддержку и понимание в нескольких религиозных кружках: один сформировался вокруг его товарища по библиотечной службе А.А. Мейера, другой – вокруг его учителя И.М. Гревса, третьим было известное Братство Святой Софии, инициатором создания которого был А.В. Карташёв. В духовном общении с единомышленниками завершался постепенный процесс возвращения в ограду Церкви. Однако он не был мгновенным. Не стал окончательным и его переезд из города на Неве в город на Волге. Федотов лишь на время возвращался на родину для чтения лекций в Саратовском университете.

Еще осенью 1917 года вокруг Александра Мейера и Ксении Половцевой, многолетней подруги Мейера, возник немногочисленный кружок. В него входили три протестанта, две католички, перешедшие из православия, несколько некрещеных евреев и несколько человек,

православных по крещению, но всё еще находившихся вне стен Церкви. Важно, что в центре собраний кружка стоял Христос. Поскольку члены кружка поначалу собирались по вторникам, то они так себя и называли – «вторничанами». Академик Д.С. Лихачев вспоминал:

«...атмосфера полной свободы, характерная для начала 20-х, была наиболее благотворной. Во-первых, еще не была развита техника подслушивания, и сами карательные органы не были еще столь хорошо организованы. Конечно, в те годы расстреливали, и весьма часто. Но все эти репрессии проводились не по данным телефонных прослушиваний или перлюстрации – даже доноситељство в эти годы не было столь развито, как в последующие. Поэтому часто случалось так, что одновременно собиралось несколько молодежных кружков и соперничали за выбор времени. Молодежь собиралась по воскресеньям, по вторникам, по средам. Мы собирались у Ивана Михайловича Андреевского в его кружке ‘Тельфернак’ по средам. Кружок Александра Мейера собирался по вторникам...»⁷⁸

На Пасху 4 мая 1918 года Жорж пишет Татьяне:

«Христос Воскресе, милая Таня! Мне жаль, что я не могу вложить в эти слова всего, что вкладывают в них христиане, но всё же я вкладываю в них многое. Верю в наше общее воскресение, как ни темно кругом. Сегодня я послал тебе заказной бандеролью первый номер нашего журнала ‘Свободные голоса’. Из него ты увидишь, что меня поддерживает в этот тяжелый год (передовица тоже моя). Я очень сблизился с Церковью за время поста, но не вошел в Нее и сохранил свою горькую свободу. Кругом меня почти все ‘обратились’. Никогда еще Церковь не собирала такого богатого урожая. Гревс, Лосский, Анциферов в первый раз причащаются. О.А. Добиаш вступила в основанное Карташёвым братство-орден, где, кроме названных мною, состоит и обратившийся Карсавин. Только я один упорствую и торгуюсь. Знаешь, почему? Верую во Христа грядущего, в новое христианство, то есть новую Церковь. Чувствую себя иудеем, чающим. <...> Здесь стою и я, и не могу идти дальше. А все-таки грустно быть отрезанным от общей чаши. Хотелось бы участвовать в обряде, если не в мистерии – хотя бы в домашней церкви (двое или трое во имя мое).

Признаться, я несколько поджидал тебя, хотя и сознавал, что тебе не следует ехать. Я не скучаю на праздниках. Они у меня коротки, и очень заняты хлопотами, в связи с журналом. Большое тебе спасибо за масло. Благодаря тебе я делаю сдобные пышки из выданной нам муки. А невеселые вещи рассказал гардемарин про Саратов, хоть и не очень был многоречив. Получила ли ты мое письмо, где я сообщаю о выставлении своей кандидатуры в Саратовский университет?»⁷⁹

Младший соученик Георгия Петровича по семинарам Гревса, Николай Павлович Анциферов, вспоминал о возникновении кружка:

«...мы, рядовые интеллигенты, не могли разобраться в смысле происшедшего. Все чувствовали себя растерянными, одинокими, тянулись друг к другу. Я служил в эти дни в отделе Rossica в Публичной библиотеке. Ко мне обратился А.А. Мейер с предложением встретиться и вместе подумать. Встреча была назначена у Ксении Анатольевны Половцевой в ее квартире на Пушкинской. Так возник кружок А.А. Мейера. Александр Александрович был очень красив, статен, высок, с тонкими правильными чертами лица, окаймленного густыми длинными волосами. Лицо нервное, одухотворенное, речью, сперва медленная, становилась всё более страстной. Ксения Анатольевна была также красива, с синими глазами и темными просто причесанными волосами. Ее внутренняя жизнь была всегда напряженной.

В кружке Мейера должны были раздаваться свободные голоса, свободные от всяких трафаретов партийных уз. Нас всех объединяло одно имя 'Христос'... В кружке Мейера было решено воздерживаться от споров. Кто-нибудь выдвигал какой-нибудь вопрос, и начиналось обсуждение по кругу. В моем дневнике, сторевшем в нашем домике в дни ленинградской блокады, я записывал все прения, и теперь, по памяти, мне трудно восстановить даже наши темы. Всё же кое-что запомнилось. 'Патриотизм и интернационализм' (правда того и другого), 'Взаимосвязь понятий свобода, равенство и братство'... Запомнилось мне своеобразное выступление Марии Константиновны Неслуховской (теперь жена Н. Тихонова). Она говорила о смысле грехопадения: 'Адам и Ева вздумали приобрести самое ценное – познание добра и зла – без всякого труда, просто вкусив запретное яблоко'. Труд был для нас основной нравственной жизни.

Собирались мы первоначально по вторникам, а потом решили встречаться в воскресные дни, чтобы иметь более свежие головы. Наши вечера напоминали собрания кружка Н.В. Станкевича строго трезвенным характером: только чай. Встречались самые разнообразные люди. Приходили и уходили. Бывали биолог Л.А. Орбели, художники К.С. Петров-Водкин и Л.А. Бруни, литературовед Л.В. Пумпянский, музыкант М.В. Юдина, бывал рабочий Иван Андреевич. Скромный и обаятельный человек, но фамилию его забыл. Постепенно кружок срастался и начинал менять свой характер: становился более религиозным. По инициативе Мейера и Половцевой собрания начинались молитвой. В нее были включены слова о 'свободе духа'... Не помню, у кого возникла идея издавать свой журнал. Не помню, кто дал средства. Это был 1918 год (начало). Свой орган мы назвали 'Свободные голоса'. Вышло всего два номера. Журнал вызвал резкую оппозицию Д. Мережковского и З. Гиппиус. Они обвинили нас в том же грехе, что и А. Блока за его 'Двенадцать'... В 'Свободных голосах' я привел текст из Герцена о царевиче, заключенном в бочку, носимую по волнам, который хочет поднатужиться и выбить дно: пусть погибну или обрету волю. Царевич – народ, которого все уговариватели стремились удержать от рискованных действий»⁸⁰.

Первый номер журнала «Свободные голоса» вышел 22 апреля, а второй – 23 июня 1918 года. Редактором-издателем был Федотов.

Кроме него в издании журнала участвовали А.А. Мейер, Н.П. Анциферов, Г.В. Пигулевский и З.Н. Гишпиус. На издание журнала в июне 1918 года хотел откликнуться И.М. Гревс. Он писал А.Л. Вольнскому, сотруднику «Биржевых ведомостей»: «...мне очень бы хотелось, как можно скорее, поместить статью (если нельзя статью, то рецензию) на недавно вышедший первый выпуск журнальчика ‘Свободные голоса’, который мне было бы дорого критически подержать. Его замыслила очень талантливая, хорошо известная мне группа, с которою я во многом несогласен, но из них, по-моему, составляет очень положительное явление». (Анциферов, 448)

20 мая 1918 года Жорж пишет Татьяне из Петрограда:

«...Моя жизнь в книгах, в которые я погрузился с давно забытым наслаждением. Не только читаю, но и работаю. Хотя писать что-то не пишется. Долгая отвычка сказывается. С трудом представляю себе, как я буду жить без милых книг в провинции. Как много для этого нужно иметь в себе и с собой, и как я беден. Очень согревает мою жизнь наш кружок, не один, впрочем, то есть я бываю и на собраниях у Ивана Михайловича. Славная молодежь, и вопросы жгучие, требующие решения повелительного. Интеллигенция меняет кожу: ‘старый змей линяет в жар и в холод’. Что сохранить с собой на новый путь? Что выбросить? Революцию, народ, социализм? Вот о чем мы спорим, и я иногда жалею, что тебя нет с нами. При всей твоей привязанности к старым шкуркам, думаю, что и ты переживаешь минуты сомнения в старых идеалах. Николай Павлович изумителен. Он на моих глазах преобразается в святого францисканского толка. Он прямо сочится любовью, как Иван Михайлович – скорбью. Но озлобленности я здесь не вижу, и это большое облегчение.

Ольга Антоновна выпустила свою новую книгу – отлитографированную: ‘Култ св. Михаила’. Очень интересно, хоть и не доделано (по ее собственному признанию). Я заходил к ней, в первый раз, и провел с час в беседе неожиданно задушевной. Пожалел, что не завязывал с ней знакомства раньше, и сказал ей это. У нее чудесная душа. Она, как и Николай Павлович, силится понять большевиков – ‘сатану простить’. А Блок пишет в ‘Знамени Труда’ – это для меня большой удар»⁸¹.

В письме Федотов перечисляет членов братства: И.М. Гревса, Н.П. Анциферова, О.А. Добиаш-Рождественскую. С горечью сообщает Татьяне о публикации Блоком в газете «Знамя Труда» поэмы «Двенадцать».

Вспоминая те сумасшедшие годы, поэт А.П. Шполянский, более известный под псевдонимом Дон-Аминадо, писал:

«Надо сказать, что при всем том писателей и литераторов, профессио-

нальных газетчиков и журналистов покуда еще не трогали. И не столько из соображений такта или особого к ним уважения, или какого-то мистического целомудрия, а больше по тем же легендарным причинам, кои, как принято считать, всегда предшествуют образованию Космоса. Ибо советский Космос, как и библейский Космос, возник из распутного и разнузданного Хаоса, из первобытного, бесформенного, безмордого месива солдатни и матросни, и сотворение ленинского мира хотя и произошло в один день, но такие высокоценные детали, как миропомазание Маяковского, раскаяние Эренбурга и удвоенные пайки для ‘Серапионовых братьев’, – всё это появилось не сразу. Поэтому ничего удивительного не было и в том, что так называемые труженики пера, попавшие в категорию первых беспризорных, оказались по полицейскому недосмотру в некоем неестественно-привилегированном положении и, разумеется, не преминули этой кратковременной привилегией воспользоваться. Газеты рождались явочным порядком и, как однодневные мотыльки, бесследно исчезали по безапелляционному, с претензией на церемонную законность, постановлению Комиссариата по делам печати... Отношение к цензуре, к цензурным комитетам, главным управлениям, особым присутствиям и прочим достижениям шефа жандармов Бенкендорфа и великого инквизитора Победоносцева было по преимуществу сугубо ироническим, не без намеренного верхоглядства – ты меня за бока, а я на тебя свысока!...»⁸²

Неудивительно, что «Свободные голоса» просуществовали столь недолго. Георгий Петрович, пытаясь определить суть происходящего, писал: «Сегодняшний день не наш. Сегодня царство рока. Стихии пожирают себя, и в их огне творится суд над человеком... Надолго из русских исторических сил будет вычеркнут и русский рабочий класс, и связавшая с ним свою судьбу интеллигенция. Но нельзя допустить, чтобы живущий в ней и пополающий ее пламень правды и подвига был заглушен и расточен бесплодно... Спасти от отчаяния побежденных хотим мы. Указать если не выход, то возможность его... Если всё потеряно, то всё может вернуться с избытком. Силы реакции греют прозябающие семена новой жизни...»⁸³

Несмотря на тяжесть военных лет – в России шла Гражданская война, – Федотов продолжал трудиться в Публичной библиотеке, встречался в кружке Мейера с единомышленниками. Разрыв отношений с Татьяной Дмитриевой стал окончательным и бесповоротным после того, как он сообщил ей о своей любви к Елене Николаевне Нечаевой, венчание с которой произошло 15 июня 1919 года. Надежда Федотова на начало «нового возраста, более спокойного, зрелого и бескорыстного» в их длительной дружбе с Дмитриевой не сбылась. Написанная им вскоре после приезда в Саратов в январе 1920 года записка к Татьяне с просьбой о встрече оказалась не только безответной, но и последней в их долгой переписке.

Спустя год после того, как начались встречи у Мейера, общение было преобразовано в братство, которое получило название

«Христос и свобода». Образование братства было откликом на призыв патриарха Тихона, который 30 января 1918 года обратился к православным пастырям:

«Не теряйте же времени, собирайте вокруг себя стадо свое, наставляйте его безвременно и благовременно, не унывайте от временного неуспеха или даже гонения. По одному, по два созывайте их на пастырские беседы, читайте им слово Божие, особенно пророческие писания, где много найдете указаний на смуты и лихолетье, подобные настоящему. Отбирайте сначала лучших людей, не пренебрегайте беседами с благочестивыми женщинами, которые часто удерживают своих мужей и братьев от беззаконных поступков и защищают Церковь Божию. Составляйте из благонамеренных прихожан братства, союзы, советы, что найдете полезным по местным условиям...»⁸⁴

Это было время возвращения в лоно Церкви лучших представителей интеллигенции. Многие осознали греховность и бессмысленность той вражды, которую на протяжении нескольких поколений воспитывали в интеллигентах их наставники – Чернышевский, Добролюбов, Михайловский. Если Церковь в царской России всегда в сознании интеллигентов ассоциировалась с государством, с аппаратом угнетения, то теперь Церковь стала гонимой – это обстоятельство также содействовало возвращению «блудного сына».

В феврале 1919 года Федотов писал Татьяне из Петрограда:

«...Здесь люди живут такими нелепыми слухами, так мало читают газеты (то есть московские) и так от страданий готовы верить всякой несбыточной надежде. Да и надежды, в сущности, никакой нет. Есть безысходность. Я из моей поездки привез одну довольно-таки фантастическую идею: перерождения якобинства в империю. С этой предвзятой точки зрения я читаю 'Известия' и каждый день нахожу следы этой глубоко интересной эволюции. Но я осознаю, разумеется, как медленно происходит поумнение и как быстро приближается катастрофа – хозяйственная. Что наступит раньше? Никто не может этого сказать. Нутром своим, то есть, вернее, чревом, я призываю катастрофическую развязку, но как 'политик и историк' нахожу гораздо более ценным и интересным другой путь: от классовой к государственной диктатуре. В ожидании люди умирают с голоду, и какие люди! Недавно мы схоронили Лаппо-Данилевского. Его смерть глубоко потрясла. Ты знаешь, я не поклонник его методологии, но для меня он был воплощением научного долга и совести. У нас это почти единственный европеец по систематичности и неуклонности работы, которую он нес. Накануне своей смерти (а он умер от заражения крови – фурункул) он заставил читать себе и делать выписки. За кем теперь черед? Какая расплата за 'интересный эксперимент'. И сравниваешь. Я не видел ни одного рабочего с веселым лицом (женщины – другое дело)...»⁸⁵

В России бушевала Гражданская война. Царили хаос, болезни и голод. Смерть академика А.С. Лаппо-Данилевского не была единственной утратой – от голода и холода умерли видные ученые-академики с мировым именем Б. Тураев, А. Шахматов. Тех, кто выживал, спасшись от голода, косил тиф или расстреливали большевики, как расстреляли поэта Николая Гумилева. Результатом большевистского террора, развернутого против интеллигенции, стала массовая эмиграция представителей русской культуры. Потери были весьма ощутимы. Страну покинули химик П.И. Вальден, историки Н.П. Кондаков, П.Г. Виноградов, выдающийся авиаконструктор И.И. Сикорский, крупный механик С.П. Тимошенко, социолог и правовед Н.С. Тимашев и другие крупные ученые.

В одном из последних писем к Зое Микуловской, уже находясь в США, Федотов так оценивал пройденный им революционный путь:

«По существу же Вы сказали то, что я сам говорил себе в Вашу защиту. Не всем быть революционерами. Революционизм – мой тип развития – духовная болезнь, уродство, особенно тяжкое для женщины. Ваша верность, Ваша благодарность меня трогают, и всегда трогают. Что они могут задерживать духовный рост, Вы сами признаете. Что же, можно примириться с неизбежными односторонностями. Для Древней Руси утрата классической культуры связана с обретением кенотического Христа, и я по сию пору не знаю, стоит ли жалеть»⁸⁶.

Глава восьмая. В СОВЕТСКОЙ РОССИИ

Когда Федотов писал в 1917 году, что «большевики не оправдали репутации террористов», он глубоко ошибался. Гражданская война, начатая ими, принесла России неисчислимые бедствия и сотни тысяч жертв. Была развязана беспрецедентная война против Церкви, а также против интеллигенции. Большевики ввели в обиход термин «бывшие люди». В эту категорию российских граждан попали представители дворянства, интеллигенции и духовенства. Жизнь этих людей в одночасье обесценилась. С точки зрения правящей партии их жизни не стоили и копейки. Более того, их считали врагами строящегося общества. «Философский пароход» – собирательное имя для рейсов немецких пассажирских судов «Обербургомистр Хакен» и «Пруссия», доставивших из Петрограда в Штеттин (Германия) более 160 человек. На самом деле пароходов было не менее пяти, а кроме них – еще и поезда... На борту первого парохода уплыли в Германию Н.А. Бердяев, С.Л. Франк, И.А. Ильин, С.Е. Трубецкой, Б.П. Вышеславцев, М.А. Осоргин и многие другие. Через полтора месяца пароход «Пруссия» увез Н.О. Лосского, Л.П. Карсавина, И.И. Лапшина, А.А. Кизеветтера. Еще раньше фило-

софы П.А. Сорокин и Ф.А. Степун были депортированы в Ригу, а историк А.В. Флоровский – в Константинополь. 31 декабря 1922 года, на следующий день после того, как I Всесоюзный съезд Советов одобрил «Договор об образовании СССР», за рубеж был выслан известный философ и религиозный деятель священник Сергей Булгаков.*

«Мы этих людей выслали, – заявлял Лев Троцкий, – потому, что расстрелять их не было повода, а терпеть было невозможно.» Акция имела целью устрашение оставшейся в стране интеллигенции, являлась четким идеологическим предостережением. Статья в «Правде», посвященная высылке, так и называлась: «Первое предостережение». Высылка вместо расстрела вместе с тем была рассчитана на признание иностранными правительствами гуманности и легитимности советской власти: ведь на территории Российской империи и вместо нее именно в конце 1922 года был создан СССР.

Церковь была объявлена врагом номер один. В ночь с 24 на 25 ноября 1918 года был проведен обыск у недавно избранного патриарха Тихона, а сам он заключен под домашний арест. Деятельность Высшего Церковного Управления была парализована, поскольку патриарх председательствовал не только в Священном Синоде, но и в Высшем Церковном Совете. Оба эти органа после насильственного прекращения работы Поместного Собора постоянно собирались для решения важнейших вопросов церковной жизни. Множились закрытия монастырей и храмов. Только за 1918 год было закрыто 26 монастырей и 94 храма, убито 102 священника, 154 диакона, 94 монаха и монахини.⁸⁷ Многие иерархи были подвергнуты тюремному заключению. Осень 1918 года стала для страны поистине кровавой.

Начало 1919 года ознаменовалось постановлением Президиума Московского Совета о передаче монастырских помещений Отделу

* Источники дают разные данные о количестве высланных из Петрограда, Москвы и Украины, с членами семей, – от 228 до 272 человек. В частности, по исследованию Н. Дмитриевой (ж. «Пушкин», № 4, 2009. С. 58-63) первым из «философских пароходов» был корабль (название не сохранилось) из Одессы в Константинополь с тремя высланными: проф. Б.П. Бабкин и А.В. Флоровский с ассистентом Г.А. Секачевым. Второй корабль, «Oberbürgermeister Naken», принял на борт московскую группу из 24 человек (с семьями 84). Пароход «Preussen» сделал несколько рейсов с высланными: 16 ноября из Петрограда группа из 17 человек с членами их семей (всего 44 человека); в ночь с 15 на 16 декабря выслан писатель В.Я. Ирецкий; 17 февраля 1923 года выслан редактор ж. «Экономист» Д.А. Лутохин. Четвертый корабль – итальянский «Jeanne» – увез 27 декабря 1922 года из Севастополя в Константинополь С.Н. Булгакова с семьей. Пятый пароход, из Одессы в Варну (прибыл 11.02.1922), имел на борту троих профессоров Новороссийского университета. Депортировали также и поездами. Большая группа была выслана из Грузии. В трех списках ГПУ (1922 год) подлежащих депортации лиц содержалось 195 имен (без указания членов семей), из них часть была не выслана за границу, а арестована. Имеются данные о списках московском, петроградском, украинском и грузинском. (Ред.)

народного просвещения. А 16 февраля 1919 года было опубликовано постановление Народного комиссариата юстиции об организации вскрытия мощей. Процесс вскрытия мощей, к сожалению, не сопровождался зафиксированным в документах сопротивлением верующих. А когда сопротивление оказывалось, проводились расстрелы и аресты мирян и духовенства. Отвечая на запрос председателя ВЦИК Михаила Калинина, председатель ВЧК Феликс Дзержинский и начальник секретного отдела ВЧК Тимофей Самсонов так обосновывали причину ареста патриарха: «Как создание следствия и судебного процесса, так и факт домашнего ареста над патриархом Тихоном есть просто результат политики, ведущейся ВЧК и Наркомюстом по отношению к духовенству, заключающейся частью в дискредитации духовенства и лишении их возможности устраивать торжественные богослужения, привлекающие массы богомольцев и являющиеся рассадником религиозной и до некоторой степени антисоветской политической агитации»⁸⁸.

Под домашним арестом патриарх Тихон находился до 6 сентября 1921 года. Два с половиной года он должен был испрашивать позволения у ВЧК на каждое публичное богослужение в том или ином храме Москвы. Правда, после окончания Гражданской войны домашний арест оставался скорее фикцией и потом был отменен.

Патриарх Тихон неоднократно обращался к высшим властям страны с просьбами прекратить глумление над чувствами верующих, но волна воинствующего атеизма продолжала нарастать. Неоднократно в эти тяжелые для Церкви дни он, по долгу печалования, обращался и к правительству, и к верным чадам Русской Церкви:

«...Трудная, но и какая высокая задача для христианина сохранить в себе великое счастье незлобия и любви и тогда, когда ниспровергнут твой враг, и когда угнетенный страдалец призывается изречь свой суд над недавним своим угнетателем и гонителем. И Промысел Божий уже ставит перед некоторыми из чад Русской Православной Церкви это испытание. Зажигаются страсти. Вспыхивают мятежи. Создаются новые и новые лагеря. Разрастается пожар сведения счетов. Враждебные действия переходят в человеконенавистничество. Организованное взаимоистребление – в партизанство, со всеми его ужасами. Вся Россия – поле сражения! Но это еще не всё. Дальше еще ужаснее. Доносятся вести о еврейских погромах, избииении племени, без разбора возраста, вины, пола, убеждений. Озлобленный обстоятельствами жизни человек ищет виновников своих неудач и, чтобы сорвать на них свои обиды, горе и страдания, размахивается так, что под ударом его ослепленной жаждой мести руки падает масса невинных жертв. Он слил в своем сознании свои несчастья со злой для него деятельностью какой-либо партии и с некоторых перенес свою озлобленность на всех. И в массовой резне тонут жизни вовсе непричастных причинам, породившим такое озлобление...

Мы содрогаясь, что возможны такие явления, когда при военных действиях один лагерь защищает передние свои ряды заложниками из жен и

детей противного лагеря. Мы содрогамся варварству нашего времени, когда заложниками берутся в обеспечение чужой жизни и неприкосновенности. Мы содрогамся от ужаса и боли, когда после покушений на представителей нашего современного правительства в Петрограде и Москве, как бы в дар любви им и свидетельство преданности, и в искупление вины злоумышленников, воздвигались целые курганы из тел лиц, совершенно непричастных к этим покушениям, и безумные эти жертвоприношения приветствовались восторгом тех, кто должен был остановить подобные зверства. Мы содрогались – но ведь эти действия шли там, где не знают или не признают Христа, где считают религию опиумом для народа, где христианские идеалы – вредный пережиток, где открыто и цинично возводится в насущную задачу истребление одного класса другим и междоусобная брань. Нам ли, христианам, идти по этому пути. О, да не будет!»⁸⁹

Патриарх Тихон стремился противопоставить большевистскому натиску на Церковь действенное миссионерское служение. Порой он прибегал к необычным методам, опробованным еще в Холме* и Ярославле. Его современник, историк Церкви Михаил Губонин вспоминал:

«...в самом начале революции, когда еще не совсем угадали надежды на будущее более или менее нормальное положение Церкви в государстве, а потому и дело духовного образования казалось неизбежным в каком-то объеме, люди, болеющие этими вопросами, в целях изыскания хотя бы минимальных денежных средств, с благословения Святейшего патриарха Тихона, решили в помещении Московского епархиального дома (тогда еще не окончательно отобранного у Церкви) систематически устраивать различного рода духовные концерты с участием лучших артистических сил Москвы.

Весь чистый сбор должен был поступать на дело духовного образования. К участию же в концертах на первых порах предложено было пригласить – и в действительности приглашались: И.М. Москвин, О.Л. Книппер-Чехова, А.В. Нежданова, Ф.И. Шаляпин, протодиаконы К.В. Розов, М.К. Холмогоров, лучшие церковные хоры московских храмов... Святейший патриарх с большим доброжелательством организовывал и поощрял всякую инициативу в деле устройства всех этих концертов, так как смотрел на них не только как на предприятия материального значения, но и в гораздо большей степени усматривая в них один из очень действенных путей для религиозного, богословского и церковно-эстетического воздействия на души человеческие, которым ни в коем случае не следует пренебрегать в наши дни...»⁹⁰

В начале 1920 года Георгий Петрович во время одной из поездок в деревню за хлебом заразился сыпным тифом и тяжело переболел. Летом, получив отпуск, уехал в Саратов, чтобы немного поправить здоровье. Но почти сразу после приезда вновь заболел сыпным тифом. Саратов после Петербурга оказался благополучным городом – здесь

* В молодости патриарх Тихон служил в городе Холм Люблинской губернии Царства Польского.

хватало хлеба, тепла и света. Казалось, что окончание Гражданской войны ознаменуется стабильностью, и голод отойдет в прошлое. Однако именно в Саратове Георгию Петровичу пришлось убедиться в обратном. Разоренные Гражданской войной и непосильными поборами большевиков хлебопашцы, в том числе из богатых немецких колоний, голодали. Из последних сил они добредали до города и просили милостыню. Зимой, поздним вечером, когда на улице стоял сильный мороз, в дверь профессорского общежития, где тогда жил Федотов, постучали. Когда отворили дверь, то увидели, что у дверей лежит изможденная, в лохмотьях женщина. Испуганные профессора, решив, что это симулянтка, которая хочет впустить в общежитие бандитов, потребовали, чтобы ее немедленно выбросили на улицу. Федотов настоял на том, чтобы женщину пустили, утром вызвал доктора и сам отвез ее в больницу. Он вновь заразился тифом, на этот раз возвратным. Переболев, возвратился в Петроград.

В июне 1920 года Федотов уволился из библиотеки и вместе с семьей приехал в родной город, где начал преподавать средневековую историю в университете. В начале 20-х годов в Саратовском университете собрался сильный коллектив преподавателей – здесь Федотов сблизился с Семеном Франком, с В.Э. Сеземаном, а также встретил старых знакомых по Петербургскому университету – Павла Любомирова и Сергея Чернова, учеников историка Сергея Платонова. В университете Федотов вел курс по Средневековью – к сожалению, у него было слишком мало слушателей, курс казался излишне специальным и несовременным. Самым интересным в этот период были для него студенческие религиозно-философские кружки, которые жили интенсивной духовной жизнью. Но в 1922 году власти обратили свой неблагоприятный взор на студентов, и многие кружки пришлось закрыть.

Наступление на Православную Церковь и другие религии продолжалось. К началу 1921 года было ликвидировано 573 монастыря, а за несколько первых месяцев этого же года еще 40. Летом разразился небывалый голод – следствие Гражданской войны и продовольственной политики большевиков, которые насильственно изымали у крестьян всё зерно, включая посевной фонд. Голод захватил многие районы России, перерастая в национальную катастрофу. К началу 1922 года голодало более тридцати миллионов человек. Попытки российской общественности помочь голодающим привели к разгону большевиками Всероссийского комитета помощи голодающим. Комитет был узаконен постановлением Президиума ВЦИК 21 июля 1921 года; постановление подписано его председателем М.И. Калининным. В партийных архивах сохранились документы, свидетельствующие о том, что решение ввести в ВКПГ патриарха Тихона принималось на уровне Политбюро. На заседании от 7 июля 1921 года: «Слушали: о посылке

по радио воззвания патриарха Тихона. Постановили: согласиться с заключением комиссии т. Рыкова и дать распоряжение о посылке по радио воззвания патриарха Тихона, поручив составить сообщение для газет об этом воззвании тт. Бухарину и Стеклову, не помещая самого воззвания в газетах»⁹¹. Протокол подписан секретарем ЦК Молотовым.

Но просуществовал ВКПГ немногим более месяца: 27 августа того же года появилось постановление Президиума ВЦИК за подписью заместителя председателя Петра Залуцкого о его ликвидации. В преступление членам Комитета вменялось не только их стремление помочь голодающим, но и обращение за помощью к патриарху Тихону, а также то, что летом 1921 года стотысячным тиражом было напечатано его воззвание к верующим в России и за рубежом с просьбой помочь голодающим. В нем прозвучал призыв:

«Пастыри стада Христова! Молитвою у престола Божия, у родных святых исторгайте прощение Неба согрешившей земле. Зовите народ к покаянию: да омоется покаянными обетами и Святыми Тайнами, да обновится верующая Русь, исходя на святой подвиг и его совершая, да возвысится он в подвиг молитвенный, жертвенный подвиг. Да звучат вдохновенно и неумолчно окрыленные верою в благодатную помощь свыше призывы ваши к святому делу спасения погибающих. Паства, родная моя! В годину великого посещения Божия благословляю тебя: воплоти и воскреси в нынешнем подвиге твоём святые, незабвенные деяния благочестивых предков твоих, в години тяжчайших бед собиравших своею беззаветною верою и самоотверженной любовью во имя Христова духовную русскую мощь и ею оживотворявших умиравшую русскую землю и жизнь... Помогите! Помогите стране, помогавшей всегда другим! Помогите стране, кормившей многих и ныне умирающей от голода...»⁹²

Усилия Комитета и воззвание патриарха Тихона сделали свое дело – 21 августа 1921 года в Риге заместителем наркоминдела М. Литвиновым было подписано соглашение с представителем Американской организации помощи / American Relief Administration (ARA). Американцы заявили о немедленной высылке первых вагонов с продовольствием, а Герберт Кларк Гувер, тогдашний глава АРА, обещал, что ежемесячно на нужды голодающих будет расходоваться не менее полутора миллионов долларов – по тем временам колоссальная сумма. От имени общественности соглашение о поставке продовольствия подписал верховный комиссар Лиги Наций, знаменитый путешественник Фритьоф Нансен. Но Ленин и Троцкий приняли решение разогнать ВКПГ. После разгона Комитета почти все его члены были препровождены на Лубянку. Ленин призвал прессу «на сотни ладов высмеивать ‘Кукишей’» – так он называл ВКПГ. Неудивительно, что голод в стране приобретал всё больший размах. Разгон ВКПГ показал, что власти не намерены терпеть какой-либо помощи, и прежде

всего от Церкви. И все-таки Политбюро вынуждено было еще раз уступить патриарху. На заседании Политбюро 9 февраля 1922 года большевики были вновь вынуждены вернуться к вопросу об обращении за помощью к Церкви: «Слушали: о разрешении напечатать воззвание патриарха Тихона о помощи голодающим. Постановили: разрешить напечатать отдельным листком»⁹³. Протокол также подписан секретарем ЦК Молотовым.

В тех же партийных архивах хранится документ, адресованный советской прессе. В нем уверяется: «...По постановлениям Центрального Комитета помощи голодающим ВЦИК собранные духовенством средства поступают в КомПомГол на особый счет духовенства. Духовенство допускается к совместной разработке плана использования собранных средств, и распределение пожертвований, собранных духовенством, будет производиться на местах голода КомПомГол при участии местных духовных органов»⁹⁴. Мнения в Политбюро разделились – сторонники жесткой линии стремились во что бы то ни стало не допустить Церковь к участию в деле помощи голодающим. Их было большинство – среди них Ленин, Сталин, Троцкий, Зиновьев, Красиков, Ярославский. Им противостояло меньшинство – Калинин как председатель ЦК Помгола, Рыков и Каменев. Но всё же Церковь временно была допущена к делу помощи голодающим – вопреки мнению большинства. Этому способствовала ситуация: голод зимой 1921–1922 годов стремительно нарастал. К началу зимы голодало 23 миллиона, прогнозировалось, что количество голодающих может достичь 50 миллионов человек. В какой-то миг казалось, что большевики готовы сотрудничать с Церковью в деле помощи голодающим. Но это была иллюзия.

Патриарх Тихон все полученные им пожертвования, как из России, так и из-за рубежа, передавал в ЦК Помгола. В храмах зачитывалось его послание, и по воскресеньям шел активный сбор средств, которые передавались в местные комиссии Помгола. Но чаще всего власти на местах игнорировали это распоряжение Политбюро и не допускали духовенство в комиссии Помгола. По различным подсчетам, от голода в России в 1921–1922 годах погибло около 5 миллионов человек.* К концу зимы сторонники жесткой линии в Политбюро взяли верх. 23 февраля 1922 года был издан декрет ВЦИК об изъятии церковных ценностей. Спустя пять дней, 27 февраля, патриарх Тихон обратился к верующим с посланием:

«...Тогда же (в августе 1921 г.) был основан Нами Всероссийский церковный комитет помощи голодающим, и во всех храмах и среди отдельных

* По данным Наркомздрава и ЦСУ РСФСР, в течение 1921–1922 гг. от голода умерли свыше 5 млн человек (5053000–5200000). Общие потери от Гражданской войны, голодомора и эмиграции, по разным источникам, насчитывают от 13 до 16 млн человек. (Ред.)

групп верующих начались сборы денег, предназначенных на оказание помощи голодающим. Но подобная церковная организация была признана Советским правительством излишней, и все собранные Церковью денежные суммы потребованы к сдаче и сданы правительственному комитету. Однако в декабре Правительство предложило нам делать при помощи органов церковного управления... пожертвования деньгами и продовольствием для оказания помощи голодающим. Желая усилить возможную помощь вымирающему от голода населению Поволжья, мы нашли возможным разрешить церковноприходским Советам и общинам жертвовать на нужды голодающих драгоценные церковные украшения и предметы, не имеющие богослужебного употребления, о чем и оповестили православное население 6 февраля сего года особым воззванием... Но вслед за этим, после резких выпадов в правительственных газетах по отношению к духовным руководителям Церкви, 23 февраля ВЦИК для оказания помощи голодающим постановил изъять из храмов все драгоценные церковные вещи, в том числе и священные сосуды и прочие церковные богослужебные предметы. С точки зрения Церкви подобный акт является актом святотатства...»⁹⁵

Патриарх запретил верующим отдавать священные сосуды и богослужебные предметы. В секретной инструкции к посланию патриарх Тихон уведомлял епископат и духовенство: «Мы с гневом отвергаем и караем отлучением от Церкви даже добровольное пожертвование священных риз и чаш: важно не что давать, а кому давать. Читая строки послания нашего, укажите о сем своей пастве на собраниях, на которых вы можете и должны бороться против изъятия ценностей. Мы разрешаем отдавать только лом и подвески с образом...» (С. 191) Несмотря на противодействие властей, Русская Церковь сумела собрать за предельно короткий срок – к февралю 1922 года – около 9 миллионов рублей, не считая ювелирных изделий, золотых монет и продовольственной помощи голодающим.

И всё же противостояние между Церковью и правительством большевиков, которое на протяжении нескольких лет нарастало, достигло апогея. Вспыхнул конфликт: попытка насильственного изъятия церковных ценностей в городе Шуе привела к вооруженному столкновению, в результате которого было убито четыре человека и ранено десять. События произошли 15 марта, а 19 марта 1922 года Ульянов (Ленин) обратился к Вячеславу Молотову с секретным письмом для членов Политбюро. Давая оценку событиям, произошедшим в г. Шуйе, он отметил:

«...Я думаю, что здесь наш противник делает громадную стратегическую ошибку, пытаясь втянуть нас в решительную борьбу тогда, когда она для него особенно безнадежна и особенно невыгодна. Наоборот, для нас именно данный момент представляет из себя не только исключительно благоприятный, но и вообще единственный момент, когда мы можем 99 из 100 шансов на полный успех разбить неприятеля наголову и обеспечить за собой необходимые для нас позиции на много десятилетий. Именно теперь, и толь-

ко теперь, когда в голодных местностях едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем (и поэтому должны) провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией и не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления»⁹⁶.

Ульянов никогда не скрывал своего отношения к Церкви и к религии. Наиболее ярко он выразил его в письме к Максиму Горькому, когда тот в предреволюционный период пытался оправдывать марксистов-богоискателей. Он писал ему: «...всякий боженка есть труположество – будь это самый чистенький, идеальный, не искомый, а строяемый боженка, всё равно... Миллион грехов, пакостей, насилий и зараз физических гораздо легче раскрываются толпой и потому гораздо менее опасны, чем тонкая, духовная, приодетая в самые нарядные ‘идейные’ костюмы идея боженки»⁹⁷. А в следующем письме Горькому он утверждал: «...В действительности ‘зоологический индивидуализм’ обуздана не идея бога, обуздано его и первобытное стадо, и первобытная коммуна. Идея бога всегда усыпляла и притупляла ‘социальные чувства’, подменяя живое мертвечиной, будучи всегда идеей рабства (худшего, безысходного рабства)». (С. 96)

На следующий день после того, как членами Политбюро было получено секретное письмо Ленина, прошло очередное заседание. Присутствовали Троцкий, Молотов, Сталин и Каменев. Ленин, настигнутый первым ударом паралича, отлеживался в Горках. Обсуждался проект директив об изъятии церковных ценностей, разработанный Львом Троцким. В борьбе с Церковью на всем протяжении первой половины 20-х годов Троцкий играл роль первой скрипки. Но, согласно указаниям Ленина, должен был оставаться в тени, дабы не возбудить гнев народа против евреев. На этом заседании проект Троцкого был принят с небольшими поправками.

28 марта 1922 года в газете «Известия» был опубликован «Список врагов народа» – первым указан патриарх Тихон «со всем своим церковным собором». Решительное сражение, к которому призывал Ленин, разворачивалось по всей стране. Массовые изъятия церковных ценностей привели к кровавым столкновениям – их насчитывалось к концу года более полутора тысяч. 26 апреля проходил процесс в Москве – к расстрелу были приговорены 11 человек. 5 мая на очередном судебном процессе в качестве свидетеля выступал патриарх Тихон, находившийся под пристальным надзором ГПУ. А 12 мая 1922 года, словно по мановению волшебной палочки в руках Льва Троцкого и Феликса Дзержинского, возник раскол в РПЦ, который позже получил название Обновленческой «Живой Церкви». Несколько священников – Введенский, Красницкий, Калиновский, Белков – попытались узурпировать власть в Церкви. Большевицкая пресса оказала им действительную поддержку – их декларация была

опубликована по личному указанию Льва Троцкого в «Известиях» от 14 мая 1922 года. Эта попытка взорвать Церковь изнутри едва было не увенчалась успехом. Исполнителем большевистского замысла стал Евгений Тучков, чекист, недавно прибывший в Москву из Уфы. Довольно скоро он становится ключевой фигурой в ВЧК-ОГПУ и делает в течение года головокружительную карьеру. Осенью 1922 года он – заместитель начальника 6-го секретного отдела ГПУ и ответственный секретарь Антиралигиозной комиссии Политбюро, через полгода – уже начальник секретного отдела ОГПУ. После ареста патриарха Тихона Тучков лично допрашивал его. Он служил связующим и направляющим звеном в работе большевиков с обновленцами.

Весной 1922 года «Живая Церковь» господствовала лишь в некоторых крупных центрах СССР. Патриарх Тихон находился под домашним арестом. После отказа митрополита Петроградского Вениамина подчиниться Высшему Церковному Управлению, сформированному «живоцерковниками», 29 мая он был арестован. А уже 31 мая на имя Ленина представителями Церквей Великобритании была направлена телеграмма с протестом против преследований патриарха Тихона. Весь июнь на имя Ленина продолжали поступать телеграммы в защиту патриарха. 11 июня открылся судебный процесс над епископами и священниками в Петрограде. 5 июля прозвучал приговор: 10 человек приговорены к расстрелу, остальные – к тюремному заключению. 10 августа ВЦИК помиловал шестерых, но оставил в силе приговор для остальных четырех подсудимых. Митрополит Вениамин (Казанский), архимандрит Сергей (Шейн), а также председатель правления Общества объединенных Петроградских православных приходов проф. Ю.П. Новицкий и юрист-консульт Александро-Невской Лавры И.М. Ковшаров были расстреляны.

К концу 1922 года по делу об изъятии церковных ценностей погибло и было расстреляно более восьми тысяч человек. 1923 год начался усилением антирелигиозной пропаганды – повсеместно проводились показательные «суды над Богом». 26 марта закончился процесс над группой католиков во главе с архиепископом Яном Цепляком. Архиепископ и прелат Буткевич приговорены к расстрелу. В апреле поднялась волна протестов на Западе против преследований верующих в СССР. В конце марта архиепископ был помилован, а прелат Буткевич расстрелян. 8 мая прозвучал ультиматум министра иностранных дел Великобритании лорда Дж.-Н. Керзона с требованием прекратить коммунистическую пропаганду в Азии, а также остановить казни духовенства и верующих. Георгий Чичерин и Лев Троцкий обратились к Петроградскому и Московскому Советам с призывом не делать ни одного шага, который мог бы осложнить международную обстановку. Англия угрожала расторгнуть торговый договор от 1921 года. 17 мая Красин встретился в Лондоне с Керзоном и добился

десятидневной отсрочки ультиматума. Именно в эти дни патриарх Тихон был помещен во внутреннюю тюрьму Лубянки.

16 июня 1923 года он был освобожден, и в печати появилось его заявление, в котором он раскаивался в «антисоветских поступках». Верующими этот акт был воспринят как вынужденный – патриарх оклеветал себя, чтобы спасти Церковь. Летом же 1923 года наметился перелом в церковной ситуации: духовенство и миряне массами возвращались в лоно Церкви, покидая «Живую Церковь». Наиболее активные епископы, сохранившие верность патриарху Тихону, продолжали томиться в заключении. Несмотря на то что патриарх Тихон был освобожден из-под стражи, а «Живая Церковь», инспирированная ГПУ, теряла свое влияние, продолжались аресты епископов, сохранивших верность патриарху. К концу 1923 года число заключенных христиан на Соловках достигало пяти тысяч человек.⁹⁸ Призыв Ленина: «Чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать»⁹⁹ – воплощался в жизнь.

В этом же году произошел конфликт Федотова с коллегами. Историко-филологический факультет взял шефство над одной из фабрик. Декан факультета вместе с профессорами должны были принять шефство, стоя под красным знаменем под пение «Интернационала». Для Федотова это было неприемлемо. Он заявил коллегам, что эта процедура противоречит его религиозным и политическим убеждениям, поэтому он отказывается принять в ней участие. И до этого он никогда не ходил на Первомайские и Октябрьские демонстрации, которые уже в те годы становились обязательными для всех. Власти не заметили его отсутствия на фабрике, но коллеги были возмущены и негодовали. Всё это подтолкнуло Федотова к отъезду. В начале 1923 года он покинул Саратов и вернулся в Петроград.

В Петрограде он занимался переводческой деятельностью в частных издательствах – после саратовского опыта он наотрез отказался от преподавания. Позицию российских ученых, пошедших на сотрудничество с новой властью, со свойственной ему резкостью называл «круговой порукой подлости». Также он отказался от предложений Госиздата, а сотрудничал только с частными издательствами. Возвращение в Петербург было и возвращением в братство «Христос и свобода»:

«Церковное положение православных членов в это время не изменилось, инициаторы кружка всё еще оставались вне таинства. Евреи разрешали этот вопрос гораздо легче и проще, может быть потому, что над ними не тяготело никакое церковное прошлое, свое или семейное. Надо сказать, что обра-

щение евреев-интеллигентов в христианство было в то время явлением довольно частым. Чуждаясь много лет Церкви господствующей, многие в жертвенном порыве устремлялись в Церковь гонимую, которая могла сулить им только мученичество. Невозможно было не радоваться обращению ко Христу сынов и дочерей Израиля. Каждое крещение праздновалось торжественным образом. Но, вместе с тем, большею частью – слава Богу, не всегда – это было тяжелым ударом для ‘братства’. Новообращенные попадали под влияние крестившего их священника и под его влиянием начинали подозревать и обличать А.А. Мейера в ‘мережковских’ ересях»¹⁰⁰.

Когда товарищ Георгия Петровича по семинару Гревса С.С. Безобразов решил покинуть Россию, он посоветовал Федотову в случае нужды обращаться за духовной поддержкой к своему духовному отцу – протоиерею Тимофею Налимову. Отец Тимофей был преподавателем Санкт-Петербургской Духовной академии, а после событий 1905 года – первым свободно избранным ее ректором. В годы реакции он был вынужден покинуть академию вместе с А.В. Карташёвым и вплоть до Февральской революции был одним из священников Казанского собора. Он был духовником будущего митрополита Вениамина (Казанского). Когда весной 1917 года в результате свободных епархиальных выборов епископ Вениамин был избран митрополитом Петербургским, отец Тимофей вновь стал влиятельным духовным лицом. После ареста митрополита Вениамина был арестован и отец Тимофей. Ему пришлось перенести долгое тюремное заключение. В конце концов его освободили, но с него было взято обязательство воздерживаться от участия в публичных богослужениях. Более того – рекомендовано не приглашать никого и на домашние богослужения. В своей небольшой квартире отец Тимофей только исповедовал. Когда к нему обратился Федотов, то после исповеди отец Тимофей посоветовал ему причащаться у своего духовного сына протоиерея Леонида Богоявленского. Так завершился путь Федотова «от марксизма к Православию». В это же время окончательно вернулись в Православие и другие члены братства, в том числе А.А. Мейер.

Внешне жизнь текла довольно ровно: Федотов зарабатывал переводами, духовное общение в братстве наполняло и обогащало его жизнь. Этого он будет лишен все последующие годы эмиграции. Однако накапливалась внутренняя неудовлетворенность – он был лишен возможности публиковать свои работы. За годы советской власти удалось опубликовать лишь три статьи в научных журналах и в 1924 году – исследование об Абелияре, которое цензура не успела изуродовать, но слово «Бог» уже печаталось с маленькой буквы. Статья «Об утопии Данте» была запрещена к публикации. Вновь встала проблема: или идти на компромиссы с властью, «вставая на горло собственной песне», или совершенно отказаться от научной работы. К компромиссам Федотов не был способен.

Почему он обратился к личности и трудам Пьера Абеляра, мыслителя XII века?

«Фундаментальное соотношение двух способностей человеческой души – разума и веры – во всё время развития истории общественной мысли является важнейшей философско-теологической проблемой. Многовековая борьба между рационализмом и верой, по мысли Федотова, с новой силой разгорается в начале XX века, и так становится актуальным наследие Абеляра. Однако русского ученого привлекает не столько ‘святочение’ (философско-теологическое учение) Абеляра, сколько его личность, которая ‘интереснее его “дела”»; а в структуре личности – культурно-психический феномен, который он называет ‘взрывом’ человеческого ‘самосознания в самой глубине средневековья’. В рамках изучения самосознания французского автора Федотов сосредоточивается на концепции любви, ведь Абельяр – ‘первый средневековый человек, рассказавший не в лирической песне о своей любви’»¹⁰¹.

После массовой высылки в 1922 году представителей российской интеллигенции, не признавшей советской власти, в середине 20-х годов появилась возможность покинуть Россию. Власти беспрепятственно выдавали паспорт, и не требовалось никаких формальных причин для поездки за границу. Достаточно было указать, что мотивом поездки является свидание с родственниками, живущими за границей, или необходимость работы в зарубежных архивах. Георгий Петрович, договорившись с Еленой Николаевной, что они с дочерью временно останутся в Петрограде (уже подрастала ее дочь Нина), решил уехать. Братчики отговаривали его, считая подобное решение дезертирством. В отличие от спокойной реакции Гревса, члены братства рассматривали его отъезд как «дезертирство с поста, определенного Богом». Судьба большинства братчиков сложилась трагически: в конце 1928 – начале 1929 годов сотрудниками ОГПУ было сфабриковано дело об организации «Воскресение». По обвинению в «антисоветском заговоре» участники братства были сосланы кто на пять, кто на десять лет.

Федотова убеждали, ссылаясь на то, что за рубежом его ждут материальные трудности и что отрыв от России может трагически сказаться на развитии его творческого дара. Однако решение было принято, и в сентябре 1925 года Федотов покинул Россию.

Насколько оправдана была эмиграция? В 1929 году поэт Борис Пастернак напечатал повесть «Охранная грамота». Что такое «охранная грамота»? Это *документ*, защищающий жизнь предьявителя и его имущество. Пастернак не случайно назвал повесть юридическим термином. Надежда Мандельштам вспоминала, что писатели и поэты, оставшиеся в советской России, «ходили» к большевистским бонзам в гости. Своим либерализмом славился Анатолий Луначарский, привечали творческую элиту Лев Каменев, Абель Енукидзе и

Николай Бухарин. Лариса Рейснер воспринималась как героиня русской революции.

Федотов был свободен от каких-либо иллюзий относительно большевиков. Он прекрасно понимал, вспоминая бывших соратников по революционному движению, что для них существует не общечеловеческая, а лишь «классовая мораль». Человек для большевиков – расходный материал. Если человек не вписывается в их представления о коммунистическом обществе, значит его надо уничтожить. Федотов органически не принял большевистский переворот. Он предвидел дальнейшее трагическое развитие событий. В отличие от доктора Живаго, у него не было за спиной могущественного родственника – генерала Евграфа Живаго. Федотов понимал, что его друзья, оставаясь в советской России, обречены на гибель. Поэтому избрал другой путь, понимая, что в новой России его таланты не будут востребованы. Он оказался прав – большинство братчиков провели лучшие годы в лагерях или были расстреляны. «Красное колесо» большевизма набирало силу и безжалостно катилось по России, выжигая всё живое на своем пути.

(продолжение следует)

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Биограф и издатель его трудов в России профессор Владимир Кантор выпустил интереснейший том «Федор Степун. Письма» (М., 2013), помогающий нам проследить развитие сложного внутреннего мира философа, ознакомиться с его оценками различных явлений общественной жизни, с литературными и философскими пристрастиями.
2. *Федотов, Г. П.* Собр. соч. Т. 12. М., 2008. С. 403.
3. Там же. С. 414.
4. *Струве, Н.А.* Великий молчальник / Доклад на конференции, посвященной 125-летию со дня рождения Г.П. Федотова. М., 2011. Архив автора.
5. *Нива, Жорж.* О пользе Федотова. Там же. Архив автора.
6. О Г. П. Федотове защищено около дюжины кандидатских диссертаций и одна докторская. Библиография подготовлена д.и.н. А.В. Антошенко, который на сегодняшний день является ведущим «федотоведом» в России и за рубежом. См.: *Галахтин, М.Г.* Философия истории Г.П. Федотова / Автореф. дис... канд. филос. наук. М., 1993; *Рыбачук, В.Б.* Философия культуры Г.П. Федотова / Автореф. дис... канд. филос. наук. М., 1995; *Морозова, М.Ю.* Исторический анализ проблемы интеллигенции в трудах Г.П. Федотова / Автореф. дис... канд. филос. наук. М., 1997; *Довгий, Т.П.* Историческая концепция России в творчестве Г.П. Федотова / Автореф. дис... канд. филос. наук. М., 1997; *Золотая, Г.В.* Социологические аспекты творчества Г.П. Федотова / Автореф. дис.. канд. социол. наук. М., 1998; *Шаряпова, Э.Л.* Философия русской культуры Г.П. Федотова / Автореф. дис... канд. филос. наук. М., 1999; *Волкова, Е.А.* Исторические взгляды и политическая деятельность Г. П. Федотова в «парижский период» (1925–1940 гг.) / Автореф. дис..

канд. ист. наук. Орел, 2004; *Селиванова, Ю.В.* Социально-политические взгляды Г.П. Федотова (социологический анализ) / Автореф. дис.. д-ра социол. наук. Саратов, 2005; *Елькин, А.В.* Философия культуры Ф.А. Степуна и Г.П. Федотова. Новоградство / Автореф. дис.. канд. филос. наук. М., 2005 и другие.

7. *Федотова, Е.* Георгий Петрович Федотов / Лицо России. Париж, 1988. С. III.

8. Там же.

9. Там же. С. IV. Однокласснику Федотова Блюммеру после революции удалось эмигрировать вместе с семьей. Они жили во Франции, бедствовали, и Федотов по мере возможности помогал им материально. В письме к жене от 11 января 1937 г. он пишет: «Блюммерам живется немного лучше. Дочка, очень милая, при некоторой грубоватости – вроде Тоси. Кажется, ей удастся бросить фабрику и поступить в католический пансион».

10. Речь идет о прозаике Алексее Скалдине и его романе «Странствия и приключения Никодима старшего», 1917. С 1918 г. Скалдин жил в Саратове. Скорее всего, Федотов с ним был знаком.

11. Дневник Г.П. Федотова. Записи из дневника цитируются по его машинописной копии, сохранившейся в личном архиве З. О. Микуловской-Юрьевой. Запись от 14 июля 1935 г. Архив автора.

12. Письма-исповедь Федотова были опубликованы доктором исторических наук А.В. Антощенко: «Я старался быть объективным как историк и просто понять». Письма-исповедь Г.П. Федотова к Т.Ю. Дмитриевой (1906–1907 гг.) / Мир историка. Изд. Омского Гос. ун-та им. Ф.М. Достоевского. 2015, № 10. С. 393-454; Приложение к письмам Г.П. Федотова Т.Ю. Дмитриевой (1884–1957?) / Научно-исслед. отдел рукописей РГБ, ф. 475, к. 4, ед. хр. 17, л. 1. Рукописное «Приложение» к письмам Татьяне Дмитриевой было написано Федотовым во время рождественских каникул 1906 г. в Берлине. Переписка Г.П. Федотова с Т.Ю. Дмитриевой освещена доктором филологических наук А.В. Антощенко в 12-м томе Собрания сочинений Г.П. Федотова, М., 2008.

13. Во 2-ой пол. 1950-х гг., вскоре после XX съезда КПСС, Татьяна включила в свою автобиографию упоминание о том, что Н.К. Крупская рекомендовала ее в Смоленскую школу для рабочих на Шлиссельбургском тракте.

14. *Антощенко, А.В.* «Я старался быть объективным как историк и просто понять». Письма-исповедь Г.П. Федотова к Т.Ю. Дмитриевой (1906–1907 гг.) / Указ. изд. С. 395-396.

15. *Бердяев, Н. А.* Философия неравенства. Париж, 1971. С. 20-21.

16. *Шмеман, Александр, протопресвитер.* Основы русской культуры. 2021. С. 96-97.

17. *Франк, Семен.* Этика нигилизма / Сб. «Вехи», М., 1991. С. 174-175.

18. *Антощенко, А.В.* «Я старался быть объективным как историк и просто понять». Указ. изд. С. 398-399. В этом отрывке Федотов упоминает Арапова, друга семьи Дмитриевых, социалистическую газету «Вперед», в ней юного Жоржа привлекла статья Ленина, а также французскую социалистическую газету «L'Аurore» («Заря»).

19. *Катков, С. и Лукин, С.* Возвращение (К биографии Георгия Федотова) / Годы и люди. Вып. 7. Саратов, 1992. С. 37-38.

20. Речь идет, по-видимому, о Владимире Александровиче Альтшулере (1882–1965), в которого была влюблена Татьяна Дмитриева. Активный участник Первой русской революции 1905 года в Саратове; кличка

«Волжский Лассаль». В 1912–1920 работал в издательстве И. Кнебеля (в 1918 году национализированном). С 1920 г. – на советской работе: 1920–1922 – в Наркомвнуделе РСФСР по организации и налаживанию работы местных органов. С января 1922 был представителем Президиума ВСНХ в смешанной советско-польской комиссии в Наркоминделе по выполнению Рижского договора, затем – в Наркомвнуторге по вопросам налогообложения частной торговли. В 1925–1931 гг. работал редактором-консультантом в Совнарком СССР, с 1931-го – в Наркомфине СССР заместителем начальника Управления госдоходов, в 1938–1939 гг. – в секторе общего надзора Прокуратуры СССР. С 1934 г. – персональный пенсионер союзного значения. В мае 1931 года был принят кандидатом в члены ВКП(б) в порядке, установленном для выходцев из других партий; в 1938 г. исключен из кандидатов как бывший меньшевик. Добился приема в партию в 1958 году.

21. Антощенко, А.В. «Я старался быть объективным как историк и просто понять». Указ. изд. С. 406-407.

22. Елизавета Александровна Дьяконова (1874–1902), автор «Дневника русской женщины», книги публицистических статей, рассказов и стихов.

23. Антощенко, А.В. «Я старался быть объективным как историк и просто понять». Указ. изд. С. 429-430. Письмо Т.Ю. Дмитриевой [ок. 19 марта 1906 г., Вольск] // НИОР РГБ, ф. 745, к. 4, ед. хр. 17, Л. 20.

24. В написанном 17 июля 1906 г. прошении на имя ректора говорилось: «Я окончил курс Воронежской классической гимназии в 1904 г. с золотой медалью. Осенью того же г. я поступил в Петербургский технологический институт. Убедившись, что избранный мною путь не соответствует моим способностям, я решил перейти на историко-филологический факультет. Вследствие этого я обращаюсь к Вам с просьбой при наличии вакансии зачислить меня студентом 1-го курса историко-филологического факультета при Вашем университете». См.: Федотов, Георгий Петрович // ЦГИА СПб, ф. 14, оп. 3, д. 47244, Л. 2.

25. Федотов, Г.П. Собр. соч. Т. XII. М., 2008. С. 52. Письмо Т.Ю. Дмитриевой от 15 октября 1906 года.

26. Дельбрюк Ханс (*Hans Gottlieb Leopold Delbrück*, 1848–1929), немецкий историк, основоположник современной истории военного искусства.

27. Лиутпранд Кремонский (ок. 920 – ок. 972), средневековый итальянский дипломат, политический деятель, историк и писатель.

28. Федотов, Г.П. Собр. соч. Т. XII. М., 2008. С. 60.

29. В 1904 г. Дмитриева была выслана из Санкт-Петербурга в Сибирь за участие в антиправительственной и антивоенной пропаганде среди рабочих, но вскоре ей разрешили вернуться в Саратов.

30. Федотов, Г.П. Собр. соч. Т. XII. М., 2008. С. 58. Письмо Т.Ю. Дмитриевой от 18 ноября 1906 года.

31. Там же. С. 49. Письмо Т.Ю. Дмитриевой от 19 октября 1906 года.

32. Позже, в 1913 году, Татьяна писала в своем дневнике: «Я была влюблена, Жорж был моим поверенным, он не разбирался тогда, что это была фантазия, а ему было больно». См.: Дневник Т.Ю. Дмитриевой // НИОР РГБ, ф. 745, к. 1, ед. хр. 19, Л. 55-55 об.

33. Федотов, Г.П. Собр. соч. Т. XII. М., 2008. С. 62. Письмо Т.Ю. Дмитриевой от 7 декабря 1906 года.

34. Там же. С. 88. Письмо от 13 ноября 1907 года.

35. Там же. С. 90-91. Письмо Т.Ю. Дмитриевой от 17 декабря 1907 года.

36. Там же. С. 93-94. Письмо Т.Ю. Дмитриевой от 15 января 1908 года.
37. Там же. С. 102. Письмо Т.Ю. Дмитриевой от 19 мая 1908 года.
38. Фаддей Францевич Зелинский (1859–1944), российский и польский антиковед, переводчик, культуролог, общественный деятель. В 1906–1908 гг. был деканом историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета.
39. ЦГИА СПб, ф. 14, оп. 3, д. 47244, Л. 10-28, 41-44.
40. *Федотов, Г.П.* Собр. соч. Т. XII. М., 2008. С. 119. Письмо Т.Ю. Дмитриевой от 14 октября 1908 года.
41. Там же. С. 127. Письмо Т.Ю. Дмитриевой от 7 декабря 1908 года.
42. Там же. С. 136-137. Письмо Т.Ю. Дмитриевой от 8 марта 1909 года.
43. Там же. С. 122. Письмо Т.Ю. Дмитриевой от 31 октября 1908 года.
44. *Анциферов, Н.П.* Из дум о былом. М., 1992. С. 155-158.
45. Кристиан Маттиас Теодор Моммзен (1818–1903), немецкий историк античности, филолог-классик, юрист и политик, лауреат Нобелевской премии по литературе в 1902 г. за труд «Римская история».
46. Леопольд фон Ранке (1795–1886), немецкий историк, разработавший методологию современной историографии, основанную на архивных источниках.
47. *Федотов, Г.П.* Эссе / Публикация А.В. Антощенко. «Когда любишь, тогда понимаешь все» / Диалог со временем. 2011. Вып. 37. С. 297-314. «Кто доказывает слишком много, не доказывает ничего» (*фр.*). Письмо П.Г. Федотова Т.Ю. Дмитриевой, 8 марта [1909 г., Петербург] / НИОР РГБ, ф. 745, к. 4, ед. хр. 15, Л. 34 об.
48. Дневник Т.Ю. Дмитриевой. НИОР РГБ. ф. 745, к. 1, ед. хр. 19, Л. 8. Дневник опубликован А.В. Антощенко: Трагедия любви. (Путь Г.П. Федотова к Истории) / Мир историка. Историограф. сборник / Изд. Омского гос. ун-та им. Ф.М. Достоевского. 2008. Вып. 4. С. 50-75.
49. Дневник Т.Ю. Дмитриевой. Л. 14 об. 15.
50. См.: ЦГИА СПб., ф. 14, оп. 3, д. 47244, Л. 36.
51. Дневник Т.Ю. Дмитриевой. Л. 36 об., 38.
52. *Федотов, Г.П.* Заметки философского характера, выписки и т.д. (1900–1910 гг.) / НИОР РГБ, ф. 745, к. 4, ед. хр. 33, Л. 36 об., 37.
53. *Федотова, Е.Н.* Георгий Петрович Федотов (1886–1951) / *Федотов, Г.П.* Лицо России. Сборник статей (1918–1931 гг.). Paris, 1967. С. VIII.
54. *Федотов, К.Б. и Митрофанова, Е.Б.* Г.П. Федотов. Жизнь русского философа в кругу его семьи. М. Ridero, 2019. С. 56-57. Близость Федотова с матерью сохранялась вплоть до ее смерти в 1936 году. Последние годы она жила с семьей сына Бориса в Москве. Георгий постоянно переписывался с матерью и регулярно посылал ей, когда это было возможно, денежную помощь. В архиве его внуки, Татьяна Рожанковской-Коли, сохранились письма Елизаветы Андреевны к сыну и его жене, Елене Николаевне, из России во Францию – всего 143 письма, начиная с 12-го сентября 1925 г. по 25-го октября 1936 год.
55. Карл Юлиус Белох (1854–1929), немецкий историк, антиковед. Главный труд – «Греческая история».
56. Франсуа Виктор Альфонс Олар (1849–1928), французский историк. Главный труд – «Политическая история Французской революции».
57. *Федотов, Г.П.* / Собр. соч. Т. I. М., 1996. С. 17.
58. Там же. С. 16.

59. ЦГИА СПб., ф. 14, оп. 3, д. 47244, л. 1-1 об., 47.
60. *Федотов, Г.П.* Собр. соч. Т. XII. М., 2008. Сс. 183-184. Письмо Т.Ю. Дмитриевой от 22 апреля 1912 года.
61. Там же. С. 185. Письмо от 28 мая 1912 года.
62. Дневник Т.Ю. Дмитриевой. Л. 56, 59 об. 60.
63. *Гревс, И.М.* Исповедь бл. Августина как источник для его биографии и для истории культуры эпохи. Сочинение, написанное Г. П. Федотовым на тему, предложенную историко-филологическим факультетом по средневековой истории / Отчет о состоянии и деятельности императорского Санкт-Петербургского университета за 1910 год. Под ред. И. И. Веселовского. СПб., 1911. С. 351-355.
64. См. запись об этом 23 мая 1913 г. в дневнике Т.Ю. Дмитриевой (Л. 58).
65. Г.П. Федотов был оставлен при университете решением Совета с 16 марта 1913 г. по 16 марта 1915 г. Затем срок был продлен до конца 1916 г. См.: Федотов, Г.П., об оставлении при кафедре всеобщей истории, 1913–1922 гг. / ЦГИА СПб., ф. 14, оп. 1, д. 10765, Л. 1-4, 10-15, 23, 30, об.
66. Воспоминания Е.Н. Кушевой / Отечественная история. 1993. № 4. С. 130.
67. 10 декабря 1916 г. попечитель Петроградского учебного округа, «не предвещая вопроса об отбывании воинской повинности», допустил Г.П. Федотова «к чтению лекций и ведению практических занятий с весеннего полугодия 1917 г.» в звании приват-доцента. ЦГИА СПб., ф. 14, оп. 1, д. 10765, Л. 32-34.
68. Архив РНБ, ф. 1, оп. 1 (1916), д. 113, л. 1. Г.В. Михеева подметила, что зачисление на службу было оформлено «задним числом». Ср.: *Михеева, Г.В.* «К биографии русского философа Г.П. Федотова» / Отечественные архивы. 1994. № 2. С. 101.
69. См. сборник «Ольга Константиновна Нечаева». Ленинград, 1927. С. 30.
70. Среди сотрудников библиотеки в это время были П.А. Анциферов и С.С. Безобразов, с которыми Г.П. Федотов поддерживал дружеские отношения.
71. *Федотова, Е.Н.* Георгий Петрович Федотов (1886–1951) / *Федотов, Г.П.* Лицо России. Сборник статей (1918–1931 гг.). Paris. 1967. С. X-XI.
72. Письмо Татьяне Дмитриевой от 11 ноября 1917 г. / Собр. соч. Г.П. Федотова. Т. 12. М., 2008. С. 208. Ср.: *Федотов, Г.П.* Февраль и Октябрь / Новая Россия. 1937. № 23. С. 4-5.
73. *Федотов, Г.П.* Война и ее происхождение / Собр. соч. Г.П. Федотова. Т. I. М., 1996. С. 80-100.
74. Письмо Татьяне Дмитриевой от 11 ноября 1917 г. / Собр. соч. Г.П. Федотова. Т. 12. М., 2008. С. 208-209.
75. *Бердяев, Н.А.* Философия неравенства. Париж, 1971. С. 9-10.
76. Письмо Татьяне Дмитриевой от 3 марта 1918 г. / Собр. соч. Г.П. Федотова. Т. XII. М., 2008. С. 213.
77. Письмо Татьяне Дмитриевой от 16 марта 1918 г. / Указ. соч. С. 215–216.
78. *Лихачев, Д.С.* В надежде славы и добра / «Московский комсомолец», 23 июля 1995. С. 3.
79. Письмо Татьяне Дмитриевой от 4 мая 1918 г. / Собр. соч. Г.П. Федотова. Т. XII. М., 2008. С. 218-219.
80. *Анциферов, И.П.* Из дум о былом. М., 1992. С. 323-326.
81. Письмо Татьяне Дмитриевой от 4 мая 1918 г. / Собр. соч. Г.П. Федотова. Т. XII. М., 2008. С. 218.

82. *Дон-Аминадо*. Поезд на третьем пути / «Наша маленькая жизнь.» М., 1994. С. 624-625.
83. *Федотов, Г.П.* Редакционная статья в № 1 журнала «Свободные голоса». 1918 г. / Собр. соч. Г.П. Федотова. Т. I. М., 1996. С. 21.
84. Акты святейшего патриарха Тихона. М., 1994. С. 89 (послание от 30.01.1918).
85. Письмо Татьяне Дмитриевой от 19 февраля 1919 г. / Собр. соч. Г.П. Федотова. Т. XII. М., 2008. С. 236-238. Академик А.С. Лаппо-Данилевский умер в феврале 1919 года.
86. Письмо Федотова к Зое Микуловской от 20 апреля 1950 года. Архив автора.
87. Акты Святейшего патриарха Тихона и позднейшие документы. М. 1994; Материалы Антирелигиозной комиссии – Политбюро и Церковь. 1922–1925. Книга 1. Новосибирск–Москва, 1997; Политбюро и Церковь. 1922–1925. Книга 2. Новосибирск–Москва. 1998.
88. Акты Святейшего патриарха Тихона и позднейшие документы о преемстве высшей церковной власти. 1917–1943 / Составитель М.Е. Губонин. М., 1994. С. 160-161.
89. Следственное дело патриарха Тихона. М., 2000. С. 100.
90. Патриарх Тихон и история Русской церковной смуты. СПб., 1994. С. 238-239.
91. Российский Государственный архив социально-политических исследований. Ф. 17. Оп. 3. 184. Л. 1.
92. Акты Святейшего патриарха Тихона. С. 176-177.
93. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 261. Л. 6.
94. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 244. Л. 29.
95. Акты Святейшего патриарха Тихона. С. 190.
96. *Ленин, В.И.* Письмо В.М. Молотову для членов Политбюро ЦК РКП(б) от 19 марта 1922 г. / Известия ЦК КПСС, № 4. 1990. С. 191.
97. *Ленин, В.И.* О религии и церкви. М., 1966. С. 95-96.
98. Акты Святейшего патриарха Тихона и позднейшие документы. М. 1994.
99. *Ленин, В.И.* Письмо В.М. Молотову... С. 194.
100. *Федотова, Е.Н.* Георгий Петрович Федотов. С. XVI–XVII.
101. *Луцевич, Людмила.* Пьер Абеляр в трактовке Георгия Федотова / Научный электронный журнал. Философические письма. Русско-европейский диалог. Т. (3). № 2, 2020. С. 271.

Елена Кулен

Николай Ульянов. Долгий путь к свободе

Сотрудничество историка Николая Ивановича Ульянова (1904–1985) с «Новым Журналом» началось в эмиграции в 1952 году с № 28 и продолжилось тридцать три года до кончины ученого.

Наше внимание обращено к малоизвестным фактам биографии Ульянова: войне, немецкому плену (октябрь 1943 – апрель 1945) и раннему послевоенному периоду в Мюнхене (май 1945 – декабрь 1947). Нам хотелось бы представить читателям неопубликованные документы по вышеуказанным периодам.

Николай Иванович Ульянов – один из самых известных историков «второй волны» Русского Зарубежья. Ему, профессору Йельского университета, проработавшему там около 17 лет (1956–1973), удалось получить не только признательность от американских коллег-историков и студентов, но и высокую оценку его научных трудов, исторических романов и публицистики от ведущих интеллектуалов идейно-разрозненной эмиграции первой и второй волн.

Имя Ульянова стало известно в русской эмиграции с 1948 года по его регулярным публикациям в дипийской прессе сначала в Мюнхене (например, в журнале «На переломе»), а затем и в парижских изданиях «Возрождении» и «Российский Демократ» (ред. С. Мельгунов), в нью-йоркских «Новом Журнале» и «Социалистическом Вестнике», а также в газете «Новое русское слово».

Первые биографические обзоры жизни и деятельности Н.И. Ульянова появились в зарубежной эмигрантской прессе по случаю его восьмидесятилетия 5 января 1985 года¹, который историк праздновал по новому стилю (по старому стилю – 23 декабря 1904 года, празднование по новому календарно делало его на год моложе²). Но уже через три месяца юбилейные поздравления сменились многочисленными некрологами³: историк скончался 7 марта 1985 года. Первый обстоятельный обзор трудов Н. И. Ульянова был сделан его вдовой, Надеждой Николаевной Ульяновой, в 1986 году, в сборнике, посвященном памяти ученого (вышел под редакцией В.М. Сечкарева в Нью-Хейвене).

В советской историографии изучение наследия Н.И. Ульянова, как и других историков-эмигрантов, было абсолютно невозможно на протяжении долгого времени. Представители «второй волны», каким был Н. И. Ульянов, десятилетиями стигматизировались совет-

скими исследователями как предатели родины, их труды подверглись пропагандистской дискредитации и санкционированному забвению. С момента распада СССР в 1991 году в постсоветской историографии начался период «открытия имен», как расплывчато обозначен этот процесс возвращения эмигрантского культурного наследия в Российской Федерации. Мы бы назвали этот период преодолением санкционированного советского ликбеза.

Первой постсоветской публикацией о Н.И. Ульянове стал очерк архангельского историка Ю. Дойкова в газете «Северный комсомолец» (№ 17 (10501) от 21.04.1990) в Архангельске, где Ульянов проработал три года в «принудительно-обязательной командировке» доцентом местного комвуза. В 1991-м Дойков опубликовал в журнале «Волна» материал о ссылке Ульянова на Соловки и в Норильск («Личное дело № 43, или судьба эмигранта Ульянова», «Волна», 7.11.1991, Архангельск). Первые биографические исследования о Н.И. Ульянове были сделаны московским историком В.Э. Багдасаряном в 1997 году и его петербургским коллегой П.Н. Базановым (в 1995-м, 2018-м, 2021-м).

В своем исследовании биографии Ульянова мы сфокусировали внимание на процессе развития его личности от советского юноши через состояние «внутреннего эмигранта» к реальной иммиграции – долгому пути Ульянова через «советские университеты», ГУЛАГ и войну.

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ Н.И. УЛЬЯНОВА

В анкете американской Проверочной Комиссии, рассматривающей документы Н.И. Ульянова на эмиграцию, от июля 1947 года, указано самим заявителем, что он родился в крестьянской семье в деревне Ганеша⁴ Осьминской волости, Гдовского уезда, Петербургской губернии. Этот регион состоит из огромных территорий тайги и болот. Бедность северорусских крестьянских хозяйств в тех местах была обусловлена суровыми климатическими и природно-ландшафтными условиями, что, несомненно, повлияло на формирование особенностей менталитета той социальной среды, к которой принадлежали Ульяновы.

Судьба отца историка, Ивана Ульянова, рожденного в 1870 году, была довольно типична для бедного гдовского крестьянства. Иван был «безлошадным», то есть представителем беднейшего крестьянства, и уход из деревни для заработка был единственным выходом для него. Он рано покинул родную деревню и, таким образом, навсегда разорвал связи с крестьянской средой, ее патриархальным укладом, глубинными православными истоками, превратившись в типичного городского пролетария в северной столице Российской империи.

Согласно данным Ю. Дойкова⁵, который опирался в своих исследованиях на переписку с вдовой историка Надеждой Николаевной Ульяновой, сведения о семье довольно кратки: «Отец с 12 лет жил в Петербурге и хозяйства не вел. В городе работал в качестве слесаря-водопроводчика и при разных строительных конторах. Основным местом работы отца был Александровский лицей».

Александровский лицей являлся знаменитым «Пушкинским» Царскосельским лицеем, переехавшим из Царского Села в Петербург на Каменноостровский проспект в 1843 году. После чего он и стал именоваться по указу Николая I «Императорским Александровским»⁶.

Заметим, что к моменту появления Ивана Ульянова в лицее там уже шла перестройка здания – история бесконечных строительных видоизменений, достроек, начавшихся с 1844 года, времени передачи здания в казенную собственность, и вплоть до 1911 года. Знаменитый В.В. Стасов⁷ называл Александровский лицей «стройкой века»: реконструкция длилась 67 лет.

Иван Ульянов, отец историка, в 12 лет покинул свою деревню, но связь с родными местами оставалась. Создав семью с девушкой из соседней деревни, он продолжал жить на два места: Петербург и Ганеша. Тяжелая работа слесарем-водопроводчиком в Александровском лицее и редкие визиты домой в деревню привели к непреодолимой раздвоенности. В 1908 году 38-летний отец историка, имея к этому времени уже 25-летний стаж работы, ввиду серьезного психического расстройства обратился за медицинской помощью в психиатрическую больницу в Петербурге. Там он позднее, в 1918 году, и скончался.

По информации Ю. Дойкова, «мать, Екатерина Гавриловна Ульянова, урожденная Свирбловская (1878 – ?), после болезни мужа, не имея возможности одной поддерживать хозяйство в деревне, тоже переехала в Петербург, где устроилась уборщицей в общество «Детский городок», а затем в школу, куда позднее поступил ее сын. Маленький Николай Ульянов после отъезда матери в Петербург оставался жить некоторое время в деревне под наблюдением дяди и смог переехать к матери лишь в 1914 году, когда мать сумела устроиться и снять маленькую комнату на Васильевском острове»⁸.

Исходя из этого, можно сказать, что петербургский период жизни Николая Ульянова начался в десятилетнем возрасте, когда он был определен во 2-й класс начальной городской школы Петербурга. Смена тихой атмосферы деревни в Гдовском уезде на шумную городскую среду в российской столице пришлось для Ульянова-мальчика на период конфронтации между Россией и Германией и Первой мировой войны. Ребенком он стал свидетелем превращения европейского по духу Санкт-Петербурга в город с новым «военным» лицом: в июле–августе 1914 г. начались погромы немецких магазинов, были

закрыты все немецкие газеты и немецкие школы. Музыка Вагнера не было места в репертуаре Мариинского театра. Обладатели немецких фамилий спешно их русифицировали, пытаясь спасти себя и семьи от массовых погромов. Апогеем организованной народной ненависти к немцам стал разгром посольства Германии на Исаакиевской площади. Санкт-Петербург был официально переименован в Петроград 31 августа 1914 года. Выяснение этих деталей военного петроградского быта помогут нам понять атмосферу взросления и социализации Ульянова.

Первый учебный год в столице начался для Николая Ульянова в городе с новым названием «Петроград» и в новой атмосфере патриотического панславистского подъема. Все школы столицы спешно меняли формуляры с указанием на новое название города, где уже ничто не напоминало об участии немцев в его истории.

Мальчик должен был учиться всему заново: не только петербургскому акценту, отличному от гдовского диалектного, но и новой модели поведения в городе. Посещение начальной школы в Петрограде с более высоким общеобразовательным уровнем стало для Николая Ульянова не только первым соприкосновением с детьми из других социальных сословий и с городской культурой, но и открытием мира книг.

После переезда из деревни в Петроград Ульяновы жили втроем: мать, Николай и его младшая сестра Ольга (в замужестве Ильина), родившаяся в 1906 году (возможно, в перерывах между лечением в больнице с ними жил и отец Иван). Неизвестно также, работала ли мать Николая Ульянова уборщицей в той же школе, где он учился, чтобы не платить за обучение.

К моменту смерти отца в декабре 1918 г. Николаю Ульянову исполнилось 14 лет. Чтобы избежать стандартно-советской мифологизации бесстыдного захвата власти большевиками в октябре 1917-го, нам хотелось бы для осмысления атмосферы первых месяцев их правления привести цитату из дневника петербургского банкира Теодора Шварца («Банк Майера» на Английской набережной в Петербурге), чудом спасшегося от расправ большевиков, убежав зимой по замерзшей Неве в Финляндию: «Петербург декабря 1918 г. – это погрязший в грязи город с заплывшими семечками мостовыми, это тысячи и тысячи солдат на вокзалах, едущих с фронта вглубь страны, измученных многодневным ожиданием дальнейших проездов, штурмующих вокзалы и поезда, чтобы хоть как-то добраться до родных деревень и семей, чтобы скорее вернуться домой, где начали делить землю. Какое сладкое соблазняющее слово ‘земля’ для русского крестьянина из покон веков! Большевики обещали солдатам землю, так началось массовое бегство крестьян с фронта. Бедные, их обманули! Начиная с января 1918 г. в Петрограде царит беспредел обычных бандитов и преступни-

ков в большевистских кожанках. Это грабеж квартир, домов, институтов, школ, больниц, банков. Это абсолютная правовая незащищенность обычных граждан в Петербурге, это вездесущий беспредел. 1918 г. – это голод и радость сухой вобле. Это холод в покрытых инеем зданиях снаружи и внутри, пронизывающий тебя до костей, хотя ты сидишь в шубе в комнате и плача сжигаешь бесценные книги для частички тепла на 5 минут. Это остановившиеся на недели замерзшие трамваи в январе 1918 г. и разведенные мосты над ледяной Невой при отсутствии электричества, это ночные черные улицы и проспекты без фонарей, это страшные черные окна домов. Это шайки бандитов, нападающих на прохожих на темных улицах. Это расклеенные листки на фонарях с приказами о расстрелах, это страшная тишина в зимнем городе, это наше почти животное желание выжить и выскочить из этого страшного сна! Это нависшая смерть над городом!»⁹

Б.Э. Багдасарян указывает, что Н.И. Ульянов закончил не гимназию в Петербурге, а четырехгодичное народное училище, которое после Октябрьской революции было преобразовано в Трудовую школу II ступени. Это был период экспериментов, предпринятых советской властью в области школьного реформирования, где, по утверждению Ульянова «сохранялась еще старая традиция, когда университетские профессора не только не гнушались, но считали это чем-то вроде почетной миссии»¹⁰.

И всё же в тот декабрь 1918-го Николай Ульянов в свои 14 лет воспринимает жизнь с жадностью, вбирая всё новое, что неистово закружилось в городе. Сергей Львович Голлербах, царскоселец, вспоминал свою беседу с Ульяновым: «Однажды я спросил его о первых днях Октябрьской революции, мне было интересно, схоже ли это было с эйзенштейновскими картинками из заказанных ему партией фильмах ‘Октябрь’ и ‘Старое и Новое’. Ульянов ответил: ‘Только сейчас, с высоты опыта понимаешь, что это был за страшный разрушительно-смертельный вихрь, но тогда нас, мальчишек из бедных семей с Васильевского острова, охватывало радостное чувство анархии. Нам казалось, что всё-всё будет теперь по-другому; это так опьяняло и давало нам уверенность в наших возможностях выскочить из нашей бедности’»¹¹.

По данным П. Н. Базанова, мать Н.И. Ульянова работала «с 1919–1921 на детской площадке Северо-Западной железной дороги (СЗЖД), в 1921–1922 – в 3-м клубе 1-й степени СЗЖД, затем в школе ‘Наша надежда’; проживали Ульяновы (мать, сын и дочь) по адресу 4-я рота (ныне ул. 4-я Красноармейская), д. 19, кв. 3»¹².

Период первых тяжелых месяцев после Октябрьского переворота связан для Николая Ульянова с театром. Это были его попытки поступить на «Инструкторские Курсы по обучению мастерству сценических постановок», первые режиссерские курсы, созданные В.Э. Мей-

ерхольдом в июне 1918 года в революционном Петрограде. Занятия театром Ульянов соединял с работой подручным водопроводчика в лазарете еще не уничтоженного большевиками «Союза городов». Этот заработок помогал выжить семье.

При приеме на театральные курсы, или кратко Курмасцен, Ульянов получил сначала деликатный отказ ввиду его несовершеннолетия. Но он не оставлял попыток и, наконец, поступил в «Институт ритма совершенного движения», а в 1919 году сумел перевестись в желанный Курмасцен. Период с 1918 по 1922 гг. был для Н.И. Ульянова периодом театра, обретения уверенности в себе и нового круга друзей. Вот как он сам описывает этот период в Курмасцене: «Я – единственный несовершеннолетний – сделался предметом забот и опеки, как маленький жеребенок в табунае»¹³. П.Н. Базанов в биографии Н.И. Ульянова дает описание его учителей этого «театрального» периода, заслуживающее уважения за собранный исследователем материал.

Но обращаясь к тому времени, стоит вспомнить не только о революционной романтике, но и о крови и массовых арестах в Петрограде. Страх пришел в петербургские квартиры не в период Большого террора Сталина, он господствовал уже с первых дней большевистского переворота. Волны репрессий не стихали никогда. Предпринятая советскими историками идеализация революционного периода жизни страны тяжелым шлейфом тянется от поколений к поколениям как удобный нарратив для легитимизации этой власти и ее преступлений.

СТУДЕНЧЕСТВО И АСПИРАНТУРА. 1922–1927

Н.И. Ульянов стал студентом в 1922 году. Этот период ознаменован первыми «более спокойными, не кровавыми годами советской власти» после Гражданской войны, отказом партии от стратегии Военного Коммунизма и началом НЭПа; это короткая передышка в Большом терроре большевиков.

В июле 1922 г. Николай Ульянов поступил в «Петроградский университет на общественно-педагогическое отделение общественных наук, и только в 1925 г. перевелся на 4-й курс Историко-архивного цикла факультета языкознания и материальной культуры»¹⁴.

Уровень подготовки к университету у семнадцатилетнего Николая Ульянова в 1922 г. по сравнению с близкими ему по происхождению детьми крестьян и рабочих был значительно выше. Уровень других студентов, принятых в советские вузы по классовому принципу, оставлял желать лучшего. Большевики нашли решение проблемы путем введения с 2 февраля 1919 г. т.н. «рабфаков» (рабочие факультеты), подготовительных курсов для вузов.

Николаю Ульянову-студенту как выходцу из крестьянской семьи,

казалось бы, нечего было страшиться в Стране Советов. Но даже и для крестьян была введена квота и нужна была обязательная рекомендация для поступления в университет. П.Н. Базанов упоминает, что «рекомендация была дана культурно-просветительским отделом Дворца Труда Петроградского Совета профсоюзов по квоте профорганизаций»¹⁵.

Думается, что именно в этот период Н.И. Ульянов начинает критически осмысливать утвердившуюся систему социальной селекции – даже на примере получения права на высшее образование. Это подтверждает и С.Л. Голлербах: «В наших немногочисленных беседах с Ульяновым он рассказывал, что система строгого учета граждан и их проверки началась в стране уже с января 1918 г. для выявления социально чуждых. Анкеты разных уровней использовались для поступления в школу, институт, профсоюз, спортклубы и на работу. Это была та машина контроля за гражданами, от которой невозможно было спрятаться и которая создавала другую систему – доносов друг на друга для выявления кто есть кто»¹⁶. Сам Ульянов так характеризует засилье анкет и опросов как метода контроля в СССР: «Захваченные с детства величайшим в истории вихрем, росшие в условиях, которых ни прежняя русская, ни любая из современных западных интеллигенций не знала, мы достигли зрелого возраста в такое время, когда в анкетах не существовало больше рубрики о ‘сочувствии’ советской власти. Создавалась ‘служилая интеллигенция’, жившая не под знаком ‘убежденных или мировоззрения’, а под знаком тягла. Ее уже не спрашивали ‘како веруеши’, а смотрели, так ли она пишет, как надо. В Советской России людям оставлено право писать, но у них отнято право думать»¹⁷.

В июле 1923 года был издан Декрет СНК и ВЦИК РСФСР «Об удостоверении личности», в котором определялся уведомительный характер жилищной прописки. Поначалу это правило действовало лишь в городах. Ужесточение требования обязательной жилищной прописки и сдача анкетных данных всех граждан начались с 1932 г. на всей территории СССР, вследствие чего и были введены внутренние паспорта. Оформление прописки и выдача паспортов находились в ведомстве НКВД. Вот как этот факт оценивал С.Л. Голлербах: «Введение различных анкет при поступлении на учебу и работу, обязательная жилищная прописка давала абсолютный контроль за гражданами своей страны. Для нас, советских, это было само собой разумеющимся, и лишь в эмиграции после войны – сначала в Германии, а затем в США, – мы поняли всю чудовищность этого инструмента тотального наблюдения за человеком в СССР»¹⁸.

Николаем Ульяновым, студентом, контроль ощущался остро. Ему пришлось заполнить множество анкет в процессе учебы и работы. Так, например, в октябре 1925 г. он перевелся на 4-й курс историко-археологического отделения факультета языкознания и материальной

культуры – процесс перевода также был связан с заполнением многочисленных анкет. Парадокс заключается в том, что именно благодаря этим документам исследователи имеют сегодня необходимый биографический материал о том или ином лице и событии в СССР. Однако надо понимать, что те анкеты и указанные в них данные не всегда соответствовали действительности. Так, например, Н.И. Ульянов указывал в студенческих анкетах «Петербург» как место рождения. Вероятно, он делал так из формальных соображений, а возможно и для того, чтобы не быть связанным с репрессиями, начавшимися в деревнях по раскулачиванию крестьян с конца 1920-х – начала 1930-х годов. Судьба родственников Н.И. Ульянова, оставшихся жить в Ганеше, могла бы повлиять на карьеру будущего историка.

П.Н. Базанов сообщает факты о материальном положении Ульянова-студента, которые известны именно из этих студенческих анкет: Н.И. находился на иждивении матери, содержащей двух взрослых детей и работавшей уборщицей с месячным окладом 20 рублей. Зарабатывать студент Ульянов стал лишь на последнем курсе, получая 10 р. 17 копеек в месяц, – он возглавлял драмкружок при 3-й Ленинградской школе Северо-Западной железной дороги (там же, где работала его мать).

Говоря о студенческих годах Н.И. Ульянова, стоит вспомнить и о характере высшего образования в Советской России. Стремясь создать идеологически лояльную и преданную коммунистическую трудовую интеллигенцию, советская власть увеличила число вузов. Так, «в 1920 г. имелся уже 91 вуз по сравнению с 1913 г. – 8 вузов по всей обширной России; число студентов возросло со 125 тысяч до 206 тысяч человек, в годы НЭПа вновь сократилось число студентов до 167 тысяч»¹⁹. Сеть созданных советских институтов была обширнее дореволюционной, но обучение – гораздо ниже по качеству. Ограничения для абитуриентов, связанные с социальным происхождением, были сняты лишь в 1936 году. С 1920 года появился особый вид вузов для подготовки партаппарата и пропагандистов – комвузы и совпартшколы, открытые параллельно системе классического высшего образования. Так, в 1921 г. начал работу Институт красной профессуры (ИКП) в Москве, основателем которого стал Михаил Николаевич Покровский²⁰, один из носителей идеи идеологизации высшего образования, яркий противник немарксистских отечественных историков. Его крылатая фраза «История – это политика, опрокинутая в прошлое» стала опорной в преподавании общественно-политических наук и истории на протяжении всего периода существования СССР.

Активная борьба М.Н. Покровского с оппонентами выразилась в подготовке списков «инакомыслящих» немарксистских историков для дальнейших чисток в Академии Наук СССР. От него зависели жизни многих людей. Он – непосредственный инициатор «Академи-

ческого дела» – ареста, физического уничтожения и ссылок в ГУЛАГ большой группы ученых-историков, среди которых был и учитель Ульянова – профессор С. Ф. Платонов. П. Н. Милуков так характеризовал Покровского в своих воспоминаниях: «В нем было заложено начало той мстительной вражды к товарищам-историкам, которую он потом проявил, очутившись у власти»²¹. Юридической ответственности за уничтожение плеяды лучших русских историков М.Н. Покровский²² никогда не понес, даже постфактум. Напротив, за свои «заслуги» он был удостоен почетного захоронения в Кремлевской стене на Красной площади, где и покоится по сей день. Масштабный разгром его собственной исторической «школы» начался уже после его смерти в 1936 году, однако это было лишь одним из обычных эпизодов репрессивной истории СССР.

Николай Иванович Ульянов получил диплом историка в ЛГУ в 1927 году, а в 1929 г. началась масштабная травля историков, архивистов, краеведов, гуманитариев в Ленинграде, санкционированная М.Н. Покровским. Этим завершался процесс установления государственного и партийного контроля над Академией Наук (АН), начатый с середины 1920-х годов. В 1925 году АН была подчинена Совнаркому СССР, в 1927 г. ей был навязан новый Устав, в 1928-м избран новый состав членов, в 1929 г. правительственная комиссия во главе с Ю.П. Фигатнером была направлена в Ленинград для «чистки» АН. После 1934 года Академия Наук была переведена в Москву.

Всё это происходило на глазах молодого историка Н.И. Ульянова, в начале его профессионального пути. Так, во время его каникул в июне 1929 г. начались массовые увольнения в Академии Наук в Ленинграде: «были уволены 128 штатных сотрудников из 960, а также 520 сверхштатных из 830. Увольнениями дело не кончилось, были арестованы свыше 100 человек». «Приговорены к разным срокам заключения были 29 человек, в их числе С.Ф. Платонов, Е.В. Тарле, Н.П. Лихачев, М.К. Любавский, Н.В. Измайлов, А.М. Мерваг, С.В. Рождественский, Ю.В. Готье, С.В. Бахрушин, Д.Н. Егоров, В.Н. Бенешевич и другие. Назовем также группу бывших гвардейских офицеров, работавших в различных учреждениях АН (А. А. Кованько, Ю.А. Вержбицкий и другие, все расстреляны), группу сотрудников АН, связанных с экспедиционной работой (Н.В. Раевский, П.В. Виттенбург, Д.Н. Халтурин и другие). Среди репрессированных оказались следующие группы: т.н. 'церковная группа' (А.В. и М.В. Митроцкие, А.И. Бриллиантов, М.М. Гирс и другие), т. н. 'немецкая группа' (Э.Б. Фурман, А.Ф. Фришфельд и другие), группа издательских работников (Ф.И. Витязев-Седенко, С.С. и Е.Г. Барановы-Гальперсон)»²³. Мишенью травли в Ленинграде стала не только Академия Наук, но и вся академическая элита; очищены от «чуждых» были также Русский музей и Центральный архив. Из самых известных имен арестованных лиц

назовем таких, как А.С. Путилов, С.В. Сигрист, Н.С. Платонова, Ф.Ф. Скрибанович, Б.М. Энгельгардт, А.А. Достоевский, А.А. Бялыницкий-Бируля, М.Д. Приселков, С.И. Тхоржевский, А.И. Заозерский и др.). Это длинный и трагический мартиролог Ленинграда! С конца 1920-х гг. начался процесс превращения истории из независимой науки в орудие борьбы с идеологическими противниками и «чуждыми».

Итак, летом 1927 г. Н.И. Ульянов закончил ЛГУ, но не был оставлен на кафедре. Он поступил в Москве в аспирантуру Института истории РАНИОН (Российская ассоциация научно-исследовательских институтов общественных наук). Тема диссертации была сознательно выбрана аполитичной – «Кола и Мурман XVII». Большое участие в поступлении Ульянова в аспирантуру принял его учитель профессор С.Ф. Платонов (еще до его ареста и ссылки)²⁴. В октябре 1929 г. РАНИОН как организация была ликвидирована, а аспиранты, в числе которых и Н.И. Ульянов, переведены в ведомство Коммунистической академии. Последний год в аспирантуре Н.И. Ульянов учился в Комакадемии.

После расформирования РАНИОН профессор С. Ф. Платонов предложил Николаю Ульянову перевестись в аспирантуру при АН СССР в Ленинграде. Но сама мысль об этом была опасной, ибо Академия к тому времени стала уже мишенью нападков. П.Н. Базанов утверждает, что Ульянова спас от этого шага историк проф. Сигизмунд Натанович Валк (1887–1975), предупредив молодого ученого об атмосфере доносов в Академии. В 1929 г. Ульянов пишет под влиянием Валка письмо Платонову с просьбой снять его кандидатуру с конкурсантов на аспирантуру АН СССР. В период разгара травли над учителем Ульянов уже находится в Кольской экспедиции АН СССР, собирая материалы для проекта «Исторические материалы о Кольском полуострове». Возможно, это спасло ему жизнь.

К моменту масштабной расправы с независимыми историками в Ленинграде в 1929 году Николаю Ульянову, дипломированному историку, исполнилось 25 лет. Основной удар репрессивной кампании был направлен на проф. С.Ф. Платонова, возглавлявшего два учреждения: Библиотеку Академии наук и Пушкинский Дом. Стоит вспомнить о Сергее Федоровиче Платонове (1860–1933), чтобы осмыслить атмосферу травли и страха в Ленинграде 920-х годов. Окончивший историко-филологический факультет Петербургского университета, Платонов посвятил себя преподавательской деятельности. Он был приглашен преподавателем истории к Великим князьям Михаилу Александровичу, Дмитрию Павловичу и Андрею Владимировичу, а также к Великой кн. Ольге Александровне (1895–1902). Затем он получил место директора Женского педагогического института (1903–1918). С 1913 года Платонов был на пенсии. К большевистскому захвату власти в октябре 1917-го он отнесся крайне отрицательно. Однако в 1918 г. пошел на сотрудничество с большевиками исключительно из

побуждений спасти петроградские архивы и библиотеки от уничтожения. С.Л. Голлербах вспоминал об оценке Н.И. Ульянова, данной учителю: «Именно благодаря инициативе таких людей, как профессор С.Ф. Платонов, мы имеем сегодня книжное русское наследие в СССР. В те страшные месяцы захвата власти большевиками нужно было иметь огромное мужество, чтобы отстоять брошенные на мостовые книги, которые топтали пьяные матросы в Петрограде»²⁵.

С.Ф. Платонов смог «продержаться на плаву» десять лет, до 1929 года, лишь благодаря международному признанию его авторитета как ученого. Процесс разгрома старой исторической школы подготовливался несколько лет. Полномасштабно он начался со статьи в «Красной газете» (Ленинград) в 1929 г. и с тотальной проверки на лояльность всего аппарата Академии Наук. В ночь на 12 января 1930 г. профессор С.Ф. Платонов был арестован вместе с младшей дочерью Марией и обвинен в антисоветской деятельности. Профессор в свои 71 год провел долгие 19 месяцев без предъявления обвинения в переполненной камере тюрьмы на Шпалерной в Ленинграде. 8 августа 1931 г. он был приговорен к ссылке на три года в Самару. В ссылку его сопровождали дочери Мария и Нина. Там он, не прожив и двух лет, скончался от сердечной недостаточности 10 января 1933 года²⁶.

Тема предательства в научной среде историков была осмыслена Николаем Ульяновым на примере его учителя, когда один за другим бывшие коллеги и ученики Платонова давали показания против него. Какую роль в этом процессе отречения сыграл сам Н.И. Ульянов, нам неизвестно. Но уничтожение знаменитого историка, которого не спасла от советского террора даже мировая слава, – это запомнилось Ульянову навсегда и, очевидно, стало уроком в освоении новой модели поведения – социальной мимикрии, ибо по-другому выжить не представлялось возможным. Думается, что именно с этого момента начинается для Н.И. Ульянова период «внутренней эмиграции». Весь путь от студента «из пролетариев» до преподавателя в университете стал для него путем переосмысления советской системы ценностей.

Возможно, именно принятой им стратегии социальной мимикрии, а не разделяемой идеологией, стало для Ульянова вступление в комсомол и, позднее, подача документов в кандидаты в партию.

В 1925 г. он вступает в комсомол; статус кандидата ВКП(б) молодой историк получает в 1931 году, заручившись рекомендациями ленинградских рабочих, друзей его отца. П.Н. Базанов указывает на то, что Н.И. Ульянов в эмиграции тщательно скрывал факты своего членства в комсомоле и кандидатства в партии. Позволим себе прокомментировать этот момент. Зная судьбу Н.И. в предвоенные годы (ссылка на Соловки и в Норильск), мы можем с уверенностью сказать, что эти шаги были вынужденной социальной мимикрией для выживания в условиях тоталитарной системы. В эмиграции Н.И. Ульянов

много размышлял о судьбах тех, кто остался в живых и приспособился к советской власти: «Выиграла бы русская культура, если бы эти ученые сопротивлялись до конца, стояли бы насмерть и погибли? Нет, думаю, что русская культура от этого не выиграла бы»²⁷. В статье «Русские историки XX века» («Новое русское слово», 27 марта 1958) он высказывает сочувственное понимание тех, кто вынужден был приспособливаться к режиму, не в силах ему противостоять.

Умолчание фактов принадлежности к ВЛКСМ и кандидатура в ВКП(б) при оформлении документов на въезд в США в период маккартизма в 1955 году точнее оценивать не как проявление социальной мимикрии, а как формальный акт заполнения анкеты беженцем, лишенным возможности осветить все детали своей полной драматизма жизни. В силу того, что проверить факты членства в партии, профсоюзе, комсомоле в Министерстве внутренних дел США было невозможно, то утверждения «не состоял» в письменной или устной форме было достаточно для лица, въезжающего в США.

По мнению Базанова, вопреки проблемам Н.И. Ульянова с идеологическими предметами в период учебы в университете, «отчисления, видимо, спасало пролетарское происхождение»²⁸. Возможно, не только происхождение, но и первый брак с коммунисткой Ниной Ивановной Смородиной (1905 – ?). «Она была идейной большевичкой, член ВЛКСМ в 1924–1931 гг., окончила партшколу и стала кандидатом в ВКП(б) в 1929. Родителями первой жены Н.И. Ульянова были рабочие завода им. Казизкого, отец – коммунист с июля 1917, мать – с марта 1923»²⁹. Смородина была секретарем по академическому сектору в ЛГУ (параллельно она работала помощником библиотекаря в школе и экскурсоводом в Эрмитаже и Детском Селе). Можно предположить, что она смогла вовремя предупредить мужа об опасности ареста.

Как считает В.Э. Багдасарян, «первый брак Ульянова (1926 г. – Е.К.) еще в годы аспирантуры оказался кратковременным и неудачным, сохранилось упоминание о жалобах, подаваемых супругой на него в местком». В браке родился сын Сергей, названный Ульяновым, вероятно, в память учителя Сергея Федоровича Платонова. (Однако, П.Н. Базановым высказано предположение, что ребенок не был кровным сыном Ульянова.)

В «разгар» травли С.Ф. Платонова в октябре 1929 года «Н.И.Ульянов переводится в Комакадемию под непосредственное наблюдение М.Н. Покровского», инициатора этой травли³⁰. Был ли этот шаг Н. И. Ульянова защитой от «цунами» террора? Нам неизвестно. В своих мемуарах об этом компромиссе он не упоминает вовсе. В 1930 году Ульянов заканчивает академию.

РАБОТА В АРХАНГЕЛЬСКЕ. 1930–1933

Работу Ульянова в Архангельске Багдасарян объясняет «нехват-

кой преподавательских кадров в провинции»³¹, а Базанов называет этот период «добровольно-принудительной командировкой»³². Оба исследователя дополняют друг друга, однако не называют открыто, что пребывание на Севере было не чем иным, как возможностью для Н.И. Ульянова «исчезнуть» на какое-то время из поля зрения вездесущего НКВД.

Сопоставляя временные рамки «Академического дела» по уничтожению петербургской исторической элиты в 1929–1932 годах, можно с уверенностью утверждать, что именно так и было. После перевода из ликвидированной РАНИОН в Комакадемию в октябре 1929 года, Ульянов, как «бывший ученик» С.Ф. Платонова, был поставлен под особое наблюдение историка С.А. Пионтковского (1891–1937), который был «самый яркий ‘проработчик’ среди организаторов ‘дела Платонова’, ультрабольшевик, в своих работах щедро вешавший ярлыки ‘великоросских шовинистов’ В.О. Ключевскому, С.Ф. Платонову, М.К. Любавскому и др.»³³.

Итак, молодой историк Николай Ульянов был направлен в качестве доцента в Северный краевой комвуз им. В.М. Молотова³⁴ в Архангельск. Комвуз был создан на базе расформированного в 1920 г. «Учительского института»³⁵, созданного в 1916 году как среднее специальное учебное заведение в системе подготовки учителей городских школ Российской империи. Он занимал одно из красивейших зданий города³⁶ – помещение бывшей Духовной семинарии, открытой в 1723 году³⁷. Так, через 200 лет после основания Духовной семинарии в Архангельске, в ее стенах начали преподавать атеизм и «искаленную» историю. Еще в бытность Ульянова в Архангельске комвуз был переименован в Высшую коммунистическую северную школу сельского хозяйства (ВКСХШ).

П.Н. Базанов упоминает работы Н.И. Ульянова архангельского периода по истории народа Коми. Очевидна их идеологическая направленность: «Борьба на два фронта в изучении истории Коми», «Октябрьская революция и Гражданская война в Коми области»... Эти исследования были заказаны правительством Автономной области Коми (зырян). Однако интерес руководства Коми-региона к коми-зырянам в действительности выражался в циничном использовании коренного населения в качестве обслуживающего персонала для советских исправительно-трудовых лагерей по добыче нефти, газа, радиоактивной воды³⁸. Нам неизвестно, занимался ли Ульянов исследовательскими «полевыми работами» в период написания этих монографий или сосредоточился исключительно на материалах архивов. Но известно о его посещении Ухты, второго по величине города АО Коми, основанного коми-зырянами еще в XV веке как поселение Чибь. В 1929 году, времени написания Н.И. Ульяновым работы о коми-зырянах, в этом регионе началось строительство исправитель-

но-трудовых поселений; коренное население использовалось как дешевая рабочая сила и обслуживающий персонал для лагерей ГУЛАГа. Стал ли историк Ульянов непосредственным свидетелем создания лагерной системы в этих краях, нам неизвестно.

Столица Русского Севера печально «прославилась» как один из крупных центров ГУЛАГа, начиная с открытия первых советских лагерей в селе Холмогоры (1919) и на о. Соловки (1920)³⁹. Сам Архангельск был превращен к 1930 г. в важный транзитно-транспортный пункт для пересылки заключенных в Соловецкий, Холмогорский, Котласский и другие лагеря. Из 30 тысяч мест заключения в системе ГУЛАГа правозащитный центр «Мемориал» называет восемь самых страшных лагерей, два из которых находились в Архангельской области (Соловецкий и Холмогорский). В 1929 г. была организована Ухтинская (г. Ухта в Коми ССР), в 1930 г. – Вайгачская (о. Вайгач) «экспедиции» ОГПУ, руководившего организацией добычи нефти, угля, радиоактивной воды и поставлявшего заключенных в эти малозаселенные регионы. Именно через Архангельск осуществлялся весь многотысячный транспорт заключенных⁴⁰.

Период 1930-х годов в Архангельске и области – это переполненные улицы несчастных измученных людей, прежде всего – раскулаченных крестьян, свозимых на Русский Север из разных уголков СССР⁴¹. Многотысячный поток не иссякал вплоть до начала Великой Отечественной войны; с осени 1939 г. состав репрессированных сменился представителями аннексированных регионов Прибалтики, Западной Украины, Западной Белоруссии, Буковины. В 1930-х годах труд заключенных широко применялся на крупнейших промышленных стройках СССР; в 1938 году для строительства Архангельского целлюлозно-бумажного комбината («Мечкастрой») и Архангельского судостроительного завода (Завод № 402) были организованы Архангельский и Ягринский исправительно-трудовые лагеря НКВД. К 1933 году в системе архангельских лагерей насчитывалось около 150 тысяч заключенных⁴². Нехватка мест проживания в 1930-е годы в Архангельске и пригородах была настолько ощутима, что жители города сдавали для спецпереселенцев в аренду даже хозяйственные пристройки, несмотря на суровость климатических условий.

Архангельск 1930-х гг. – это еще и строительство железных дорог силами заключенных. Коноша–Котлас, Котлас–Воркута, Хабарово–Воркута – эти дороги соединили новые советские концлагеря. Не видеть происходящего Н.И. Ульянов просто не мог. Весь размах террора он смог ощутить в июне 1936 года на себе, оказавшись в рядах осужденных и этапированных из Архангельска в Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОИ) на долгие пять лет. По словам С.Л. Голлербаха, «в 1936 г. это было страшное дежавю Н.И. Ульянова с Архангельском». Сам же историк ничего не пишет

ни об Архангельске времени его преподавания в Комвузе, ни о его второй «встрече» с городом через тюремную решетку, словно это время выпало из его жизни. Возможно, Ульянов и хотел, чтобы оно «выпало». Думается, что вавилонское столпотворение заключенных в Архангельске, преимущественно крестьян, не осталось не замеченным Н.И. Ульяновым, крестьянином по рождению. Именно в Архангельске он ощутил масштабность репрессивной системы, царящего насилия и безнаказанности и преступности власть имущих.

«Ульянов рассказывал об удушливой атмосфере в Комвузе, где историческая наука была превращена в идеологический фарш, пропущенный через коммунистическую мясорубку. Уровень подготовки студентов, набранных их архангельских деревень, удручал. Эти молодые люди не были виноваты в том, что их, без достаточного школьного образования, приняли в Высшую партийную школу; они были пытливы к знаниям, но еще не готовы к уровню высшего образования. Особенно тяжелой была атмосфера доносов и постоянного наблюдения преподавателей и студентов друг за другом»⁴³.

«Жить и работать в Архангельске Н.И. Ульянову очень не нравилось»⁴⁴, – пишет П.Н. Базанов. Эта формулировка кажется нам настолько неподходящей, что мы сознательно описали реальную атмосферу Архангельска 1930-х как города с неприкрытым характером огромного трудового лагеря. Репрессии в Ленинграде и Москве были масштабны, как и в Архангельске, но имели внешне скрытый характер. Большевики перестали публиковать списки расстрелянных уже в 1920-е годы. Террор в провинции носил цинично неприкрытый характер.

В архангельском вузе Николай Ульянов был наблюдателем результатов деятельности ГУЛАГа, что заставило его искать возможности переезда обратно в Ленинград. В начале 1933 г. он подал заявление с просьбой о его переводе в Ленинград «по состоянию здоровья». Географическая отдаленность от столиц для Н.И. Ульянова-историка означала также отдаленность от центральных архивов и невозможность дальнейших исследований. Вероятно именно это стало дополнительной причиной, заставившей Н.И. Ульянова активно что-то предпринять, чтобы выбраться из северной провинции. Предварительно поданное им заявление о вступлении в партию было удовлетворено осенью 1931 года, что могло ускорить позитивное решение руководства ЛГУ. Уже через 3-4 месяца, к 11 апреля 1933 года, был оформлен приказ о переводе историка «по состоянию здоровья» из Архангельска обратно в Ленинград. В протоколе отмечалась благодарность руководства Комвуза за его трехлетнюю работу.

В Архангельске все эти годы Н. И. Ульянов жил вместе с женой Н.И. Смородиной. По сведениям П.Н. Базанова, «она работала в должности заведующей Краевым музеем революции с 1930–1932 гг. и являлась фактическим создателем местного музея революции. Их брак

существовал формально вплоть до 1935 г., после их возвращения из Архангельска»⁴⁵.

У нас нет информации об академическом круге общения Ульянова в этот период. Тот же исследователь упоминает об участии Ульянова в художественном совете городского театра – но также без указания имен. Интересным нам кажется краткое упоминание П.Н. Базановым имени Бориса Михайловича Зубакина (1894–1938) и его монографии «Холмогорская резьба по кости: история и техника производства»⁴⁶, которая вышла под редакцией Н.И. Ульянова. Борис Михайлович Зубакин – «поэт, скульптор, художник и философ, петербуржец, высланный за участие в масонских организациях»⁴⁷. Мы позволим себе несколько подробнее остановиться на этой личности. Электронный архив Фонда Иофе дает краткую, но исчерпывающую информацию на этот счет. Б.М. Зубакин – потомственный дворянин, петербуржец, учился в Кенигсбергском университете на факультете археологии и славянской мифологии, с 1912 г. состоял в масонской ложе «Свет звезд», которая в 1916-ом была преобразована в Философский институт. После захвата власти большевиками он был насильно призван в Красную армию, остался в России, в 1920 г. экстерном сдал экзамены для получения диплома археолога. В звании профессора преподавал в Московском Археологическом институте. В Петрограде Зубакин был близок к кругу В. Брюсова, в Москве входил в Союз писателей как поэт-импровизатор. Стоит упомянуть, что Б.М. Зубакин принадлежал в 1918 году к кругу друзей М. Бахтина в городке Невель Псковской области, где многие скрывались в провинции от беспредела в Петрограде. В 1922 году Павел Антокольский познакомил его с Анастасией Цветаевой, которая стала его личным секретарем; через нее была установлена спасительная связь с М. Горьким, защищавшим Зубакина какое-то время от нападков советской власти. Однако в результате масштабной идеологической чистки всех «социально чуждых» Зубакин был арестован в 1922 году. Благодаря, вероятно, защите М. Горького он относительно быстро был освобожден. Однако в 1929 году последовал второй арест Б.М. Зубакина и ссылка на три года в Холмогоры. Мы можем предположить, что М. Горький, заступившийся за М. Бахтина в июне 1929 года, знал также и о судьбе Зубакина и смог как-то облегчить его положение. Во всяком случае, после трехлетнего пребывания в лагере Зубакин был освобожден в 1932 году. Третий арест в 1937 году оказался роковым. В возрасте 44-х лет Б.М. Зубакин был расстрелян на Бутовском полигоне вблизи Москвы.

Нам неизвестны обстоятельства встречи Н.И. Ульянова и Зубакина в Архангельске в 1932-м; неизвестно также, были ли они знакомы прежде. Вероятны их встречи в Петрограде в голодные 1919–1921-е в кругах революционных театров.

После холмогорского лагеря Б.М. Зубкин был освобожден без

права проживания в обеих столицах, поселился в Архангельске, работал в Союзе северных художников и скульпторов, освоил лепку бюстов в мастерской скульптурно-формовочных работ. Известно о встрече Н.И. Ульянова и Б.М. Зубакина в 1932 году. В этот период Ульянов – свободный, формально «социально адаптированный к советской системе» человек, доцент в Комвузе, тогда как Зубакин – «бывший», за плечами которого два ареста и ссылка.

Свою монографию о холмогорской резьбе Зубакин написал, скорее всего, еще во время заключения в лагере, но издана она была уже после его освобождения в 1932 году. Очевидно, что изданием этой работы Ульянов пытался поддержать Зубакина.

ЛЕНИНГРАД. 1933–1936

После возвращения из Архангельска Ульянов прожил в Ленинграде три года. Во времена Большого террора, когда тысячи людей мгновенно и бесследно исчезали, три года кажутся почти вечностью. В этот период он занимает должность доцента кафедры истории России и народов СССР Ленинградского института истории и лингвистики (ЛИЛИ, позднее – Ленинградский институт истории, философии и лингвистики, ЛИФЛИ), совмещая ее с работой в Историко-археологической комиссии АН СССР и в Военно-политической академии им. Н.Г. Толмачева. С 1 сентября 1934 г. Н.И. Ульянов возвращается на восстановленный исторический факультет ЛГУ им. А.С. Бубнова – сначала доцентом, потом профессором-совместителем, а через полгода, 19 января 1935 г., он назначен исполняющим обязанности заведующего кафедрой истории СССР. Эти факты свидетельствуют о начинающейся блестящей карьере советского и лояльного к системе ученого-историка.

Судя по всему, статья Н.И. Ульянова «Советский исторический фронт» стала основным поводом начавшихся на него нападок поздней осенью 1935 года. Статья была опубликована 7 ноября к 18-ой годовщине Октябрьской революции и представляла собой попытку осмысления истории как науки. Смелость высказываний и роковая фраза Ульянова «Наша историческая наука быстро шла к своему вырождению» была наваяна, вероятно, «Постановлением Совнаркома и ЦК ВКП (б) о восстановлении преподавания гражданской истории в школе» от 16 мая 1934 г. и начавшейся критикой исторической школы М.Н. Покровского, недавнего знаменосца большевистской доктрины истории как идеологического оружия и одного из активных организаторов гонений на историка С.Ф. Платонова. Кампания против Покровского, вероятно, дала Ульянову повод надеяться, что история обретет свою независимость от диктата партии. Эта наивность обошлась историку очень дорого. Только что обретенная стабильность после «принудительно-добровольной» архангельской трехлетней

командировки начала стремительно рушиться: сначала он был исключен из кандидатов в члены ВКП (б), а 29 ноября 1935 г. уволен из ЛИФЛИ. (Отчисление из состава сотрудников «было произведено задним числом, 19 июня 1936», утверждает П.Н. Базанов.) С момента злополучной статьи до увольнения Н.И. Ульянова из ЛИФЛИ не прошло и трех недель. Далее начался унижительный процесс «оправданий» и «объяснений» «этого недоразумения», апелляций в КПК, обращений к директору института. В ЛГУ 1 марта 1936 года «ему возвратили первоначальную ставку (не персональную), а исключен из состава университета он был только 27 апреля 1937 г., т.е. почти через год после ареста»⁴⁸. Это время обвинительных показаний коллег-историков против него и абсолютной юридической незащищенности закончилось для Н.И. Ульянова пятилетним лагерным сроком. Он, как и его учитель проф. С. Ф. Платонов, на себе почувствовал весь ужас предательств.

К моменту ареста Николаю Ивановичу Ульянову исполнился 31 год. Он, как и многие советские историки, молодые или принадлежащие к старой предреволюционной академической исторической школе, пытались сосредоточиться только на исторических исследованиях, не вмешиваясь в политику. Но политика вмешивалась в их жизни.

После 74-летнего периода советской власти (1917–1991) и крайне короткого восьмилетнего (1991–1999) процесса общественного осмысления преступлений советского периода, после 22-х лет (2000–2022) систематичного деформирования истории как науки в путинский период трудно говорить об объективной, академически нейтральной исторической мысли российской науки. Очевидно, что изучение последствий почти векового идеологического давления на исследовательскую мысль отложено на будущее. Наш анализ предвоенной, военной и послевоенной судьбы Николая Ивановича Ульянова выстроен в перспективе осмысления эволюции мировоззрения историка: от периода социализации юноши «из народа», выстраивания его базовых общечеловеческих ценностей и профессионального академического фундамента, через опыт «своих университетов» ссылки, лагеря и войны, от состояния внутреннего эмигранта – до решения стать «внешним» эмигрантом и навсегда покинуть «родные пределы» во всех их смыслах. Нам интересен также процесс осмысления историком Н.И. Ульяновым использования исторической науки как политического оружия на службе тоталитарных систем; интересен аспект формирования коллективного сознания и процесс аберрации национальной исторической памяти в СССР.

АРЕСТ И ССЫЛКА. 1936–1941

В дальнейшей судьбе Николая Ивановича Ульянова нет ничего исключительного для периода Большого террора. «Арест и пять лет

лагерей» выглядели относительно «мягко» на фоне широко распространенных, декларированных «25 лет лагерей» для сотен тысяч граждан СССР. Н.И. Ульянов был арестован 2 июня 1936 года, помещен в следственный изолятор тюрьмы на Шпалерной улице в Ленинграде, где до него, в 1931 году, провел 19 месяцев его учитель С.Ф. Платонов. Ульянов пробыл в этой тюрьме четыре месяца, без предъявления обвинения, окончательный приговор был вынесен 15 октября 1936 года. Ему вменялись в вину пропаганда и агитация, призыв к свержению, подрыву или ослаблению советской власти по Статье 58. Стандартная формулировка того времени. В период его ареста и тюремного заключения в Ленинграде Н.И. Смородина⁴⁹ отреклаась от мужа.

Сопоставляя даты рождения сына Ульяновых, удивительным кажется, что уже в январе 1936-го, т.е. спустя месяц после рождения ребенка, Николай Иванович женился на Надежде Николаевне Калнинш. Это дает повод предполагать, что знакомство Ульянова и Калнинш началось еще до развода с первой женой. Вот какие биографические данные сообщает П.Н. Базанов о второй жене Ульянова: «Надежда Николаевна Калнинш (Калнинш) (3.09.1914 – сентябрь 2003) родилась в семье инженера, работавшего на КВЖД. Ее мать была домохозяйкой. Новая супруга окончила Иркутский медицинский институт и работала врачом-гинекологом. С Н.И. Ульяновым она познакомилась в Москве на студенческих каникулах»⁵⁰. По сообщению С.Л. Голлербаха, тридцатилетний Ульянов и двадцатилетняя Калнинш начали переписываться друг с другом после возвращения Надежды Николаевны из Москвы в Иркутск; завязалась переписка, он сделал ей предложение, она согласилась и переехала в Ленинград. Исходя из даты бракосочетания в январе 1936 года, ее переезд из Иркутска в Ленинград состоялся, вероятно, уже в 1935-м. Этому брачному союзу предстояло пережить арест, советские лагеря, войну. Брак Николая и Надежды Ульяновых с достоинством выдержал все жизненные трудности и просуществовал около 50 лет, до кончины историка.

Николаю Ульянову и Надежде Калнинш, потерявших друг друга с арестом Николая Ивановича, удалось соединиться уже после его освобождения из советского лагеря, в суматохе войны; вместе пережить немецкую оккупацию, вместе быть депортированными в лагерь в Мюнхене во время войны. Всё это время они оставались неразлучны.

Начавшаяся новая супружеская жизнь была прервана уже через шесть месяцев. Надежде Николаевне Ульяновой, жене и дочери «врагов народа», было предписано покинуть Ленинград. «Вначале она поехала обратно в Сибирь. В это время в лагерях уже был и ее отец, поэтому Надежда Николаевна посылала посылки и мужу, и отцу»⁵¹. Об отце Надежды Калнинш подробной информации не имеется.

В октябре 1936 г. Н. И. Ульянов был приговорен к 5 годам исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ) и направлен в БелБалтлаг, обслуживающий строительство Беломоро-Балтийского канала. Лагерь был создан в ноябре 1931 г. на базе одного из первых советских концлагерей ОГПУ на острове Соловки⁵² – Соловецкого лагеря особого назначения (СЛОН). Ровно через три года Н.И. Ульянов вновь оказался в Архангельске. Свой 32-й день рождения он встретил в СЛОНе. К этому моменту соловецкий лагерь существовал уже 13 лет, через эти «Врата ада» прошли многие десятки тысяч человек. «В 1930 г. численность заключенных насчитывала на Соловках 63 тысячи человек.»⁵³

К моменту прибытия Н.И. Ульянова на Соловки лагерный комплекс был частично расформирован, это случилось еще в 1933 году, а лагерное имущество было передано Беломоро-Балтийскому лагерю. На территории Соловков оставались отделения БелБалтлага. В период пребывания Н.И. Ульянова в 1936–1939 гг. на Соловках размещалась только Соловецкая тюрьма особого назначения (СТОН) ГУГБ НКВД СССР⁵⁴; бараки этой тюрьмы размещались на территории отдаленных монашеских скитов по всему архипелагу Соловков. Н.И. Ульянов был размещен на Соловках с октября 1936-го по осень 1939-го, времени расформирования лагеря и вывоза заключенных на «материк» ввиду готовящейся аннексии регионов Финляндии. Где именно размещался Н.И. Ульянов на огромном архипелаге, неизвестно. П.Н. Базанов и В. Э. Багдасарян в своих работах цитируют вторую жену историка, которая в письме к Ю.В. Линнику сообщает, что о Соловках у мужа нет никаких записок, но приводит стихотворение поэта Юрия Милославского с упоминанием следующих соловецких мест: Голгофа, Кремль (здание самого монастыря), Муксалма и Савватьево. Опишем эти соловецкие места человеческих страданий.

Муксалма – это обобщенное название, которое использовали заключенные, имея в виду два соединенных между собою острова с исконной топонимикой «Большая Муксалма» и «Малая Муксалма». Оба острова соединены с главным Соловецким островом, где размещен Кремль, искусственной каменной дамбой между проливами «Южные» и «Северные Железные Ворота». В период существования монастыря здесь находились птичья ферма, животноводческий комплекс для племенных коров и лошадей, закупаемых на аграрных выставках в Европе. С 1920 года, начала уничтожения монастырской обители и создания соловецкого лагеря в 1923-ем, был сельхоз, с 1926 года здесь работала химическая лаборатория для лесохимии. В здании бывшей фермы также размещались бараки для заключенных. Работа здесь считалась не самой тяжелой, так как зерновой корм для животных ели и заключенные, что спасало в суровые северные зимы.

Савватьево – это бывший Савватеевский (или Савватьевский) скит, расположенный в 13 км от главного монастыря (Соловецкого

Кремля). С упразднением мужского монастыря все скиты были осквернены и превращены в тюремные помещения, многие монахи остались там уже в качестве заключенных. Так как монахи хорошо знали местность, часто их назначали руководителями трудовых бригад. Савватьево было центром 2-го отделения Соловецкого лагеря, поставляющего основной объем лесозаготовок. Это место слыло гибельным для заключенных – четверть работавших погибла, а выжившие, если и покидали лагерь, то инвалидами.

Голгофой называли бывший Голгофо-Распятский скит, основанный в XVII веке на острове Анзер. С главного острова Соловки он хорошо виден со стороны Капельской бухты. Голгофу надсмотрщики и заключенные называли «больницей». Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ» так описывает это место: «В этой больнице лечили смертью». На о. Анзер имеется огромное безымянное кладбище. В 1930-е годы скончавшихся просто слегка засыпали землей, особенно зимой. Весной, в период таяния снега, трупы начинали гнить, были часты случаи вспышки холеры среди заключенных.

После полного расформирования лагеря в ноябре 1939 года позднее здесь же размещалась школа юнг. Вплоть до конца 1980-х гг. приехать на о. Анзер можно было только по особому разрешению. Описание острова как места массовой гибели множества людей и безымянных захоронений началось с 1994 года. Лишь тогда стали возможны и богослужения в заново освященном Голгофо-Распятском ските. Мы с уверенностью можем сказать, что здесь Н.И. Ульянов никогда не был, он знал об этом гибельном месте от других заключенных.

Мы можем предположить, что историк в лагерный период работал в одном из «спасительных мест». По утверждению Д.С. Лихачева, узника Соловков с 1928 года, такими «островками спасения» были биосад, агрокомбинат, биостанция, питомник пушных зверей. Возможно – библиотека, канцелярия, медпункт. Пример одного такого «спасительного места» на Соловках называет и Олег Волков, потомственный дворянин, петербуржец 1900 года рождения, прошедший тяжелый 28-летний путь советских лагерей. Он был этапирован в Соловецкий лагерь в 1931 году; от смерти его спасла работа в питомнике пушных зверей.⁵⁵

Нет пока данных и о том, что Н.И. Ульянов работал в отделение Архангельского общества краеведения (СОАОК) на Соловках, которое было создано заключенными еще в ранний период существования лагеря в 1924-м и просуществовало до 1939 года. В СОАОК было четыре секции: историко-археологическая, криминологическая (социокультурные исследования уголовного дела), охотоведческая и естественно-историческая.

2 ноября 1939 г. был подписан приказ НКВД СССР № 001335 о

закрытии Соловецкой тюрьмы. В суровом декабре 1939 года заключенных перевезли на «Большую землю» и дальше – по назначению: в Норильлаг, Владимирскую и Орловскую тюрьмы. Военные действия СССР по аннексии финских территорий начались через 28 дней после приказа о закрытии лагеря, 30 ноября 1939-го. По ходатайству Наркомата Военно-морского флота территория Соловецких островов, все постройки и подсобное хозяйство были переданы Северному флоту. Там были размещены матросы и офицеры (с 1942 по 1945 гг. – школа юнг), чьи бесстыдные надписи отборного русского мата можно было читать на стенах трапезной в Соловецком Кремле вплоть до 1991 года, времени постепенной передачи монастыря монахам. В 1967 г. Соловки были провозглашены музеем-заповедником, прошло еще 23 года, прежде чем Соловки вновь стали местом паломничества верующих людей и до начала возобновления церковно-монашеской жизни в Соловецком Кремле.

Н. И. Ульянов был этапирован с Соловков осенью 1939 года в Норильлаг (Норильский исправительно-трудовой лагерь), находившийся в Красноярском крае. Такие этапирования длились порой до трех-четырех месяцев с остановками в многочисленных пересыльных пунктах. Этапирование проводилось как морским путем, так и по суше, и представляло собой бесконечный мученический путь с огромным количеством жертв.

Вывоз заключенных старались осуществить к моменту образования льда на Белом море. С Соловков заключенных перевозили на грузовых баржах в пересыльный пункт города Кемь, расположенный в месте впадения реки Кемь в Белое море (62 км, 3 часа при хорошей погоде. В ноябрьских штормовых условиях иногда до 6-8 часов). Дальнейший сухопутный маршрут этапирования проходил через промежуточные станции: из Кеми вывозили грузовыми поездами в Архангельск (636 км, примерно 15 часов езды), далее поезд шел до Красноярска от 7 до 10 дней, более 3 тысяч км. Из Красноярска до Норильска перевозили в грузовых машинах, закрытых брезентом. Зимой это означало верную смерть.

От сухопутной транспортировки руководство ГУЛАГа отказалось в 1939 году; морской путь был более надежным в весенне-летний сезон. С 1939 г. был налажен перевоз заключенных морским путем с острова Соловки до Кеми (Карелия), а далее всех выживших отправляли баржами без отопления до порта Дудинка, самого северного в Сибири; он был связан с Архангельском и Карелией только во время весенне-летней навигации.

Гулаговская транспортная логистика перевоза заключенных работала на всех мощностях. Еще с июня 1936 г. началось строительство узкоколейной линии силами заключенных от порта Дудинка до Норильлага. Расстояние между Дудинкой и Норильлагом составляло

96 км вечной мерзлоты. Официально строительство завершилось 17 мая 1937 г., первый поезд был в пути три дня. Однако железнодорожная насыпь, сооруженная из льда, стала разрушаться при майском солнце. В июне 1937 г. движение было полностью прекращено. В 1938 г. узкоколейка была восстановлена невероятными усилиями заключенных со множеством жертв. Транспортировка людей в Норильлаг осуществлялась вплоть до 1957 года.

К моменту прибытия Н.И. Ульянова в Норильлаг осенью 1939 года транспортная логистика была уже «отработана». В Норильске вокруг строительного комбината Норильстроя начал расти город-лагерь уже с 1937 года. Отделение правозащитной организации «Мемориал» в Норильске сообщает следующее: «Строить промышленный комплекс начали в 1935 г. заключенные, которых бросили на вечную мерзлоту, выкинули на пустынное место, заставили жить зимой в палатках. Всё, начиная от железных дорог и заканчивая бараками для себя, заключенные строили вручную. В 1939 г. Норильск получает статус рабочего поселка, а в 1953 году – города»⁵⁶. Исходя из этой информации, мы можем предположить, что историк Н.И. Ульянов был размещен в 1939 г. не в палатке, а уже в одном из деревянных домов-землянок, что, без сомнения, спасло ему жизнь.

С. Л. Голлербах цитировал Н.И. Ульянова: «Осмысливая этот долгий мученический путь понимаешь, что даже в логистике транспорта страшной машины ГУЛАГа не было у советской власти ни смысла, ни умения. Он служил спланированным дополнительным мучением для заключенных. Унижение ради унижения, убийство ради убийства. Осенью и зимой смертность обессилевших людей была самой высокой. Но эта машина смерти не уставала. Все знаменитые сталинские стройки не оставались без рабочей силы, на индустриализацию требовались всё новые и новые 'поставки' бесплатных советских рабов. Машина смерти работала непрерывно, только в этом палачи оказались большими умельцами»⁵⁷.

Лагерь Норильлаг⁵⁸, куда был этапирован Н.И. Ульянов, в Красноярском крае был создан 25 июня 1935 году для обслуживания огромного военно-промышленного химического комплекса СССР: «медно-никелевого комбината, наземных и подземных рудников по добыче платины, никеля, кобальтового завода коксохимических батарей, теплоэнергетической станции, цеха для хлора, выпускающего каустическую соду и др.»⁵⁹. «В первые годы существования Норильлага, с 1935-й по 1939-й, от истощения, паралича сердца, цинги, туберкулеза умерли около 400 заключенных. В тот период в лагере одновременно содержалось от двух до десяти тысяч заключенных. Большинство из них получило срок по политическим мотивам – это контрреволюционеры, кулаки, их дети и родственники. Они добывали уголь, вырабатывали кокс, трудились на углесортировке, строили

шахты, рудники, железную дорогу, другие промышленные объекты, работали в порту – всего к 1939 году на территории Норильска и Дудинки было пять лагерных отделений. Среди умерших и расстрелянных в Норильлаге подавляющее большинство – русские, но есть и подданный Финляндии, корейцы и китайцы крестьяне, немцы, евреи, украинцы, белорусы, молдаване, представители прибалтийских стран и Польши. К началу 1940 года появляются новые лагерные пункты, лагерное население возрастает до 19.575 з/к – рабсила нужна для строительства новых промышленных объектов, из которых главный – металлургический комбинат»⁶⁰.

Н. И. Ульянов не описал в своих воспоминаниях ни трехлетнее соловецкое заключение, ни двухлетний норильский период. Нам неизвестно, почему историк решил умолчать об этом периоде своей жизни. Мы уверены, что работа с материалами норильского «Мемориала» смогла бы пролить свет на время пребывания Ульянова в Норильске.

Уже будучи в лагере в Норильске, Н.И. Ульянов в феврале 1940 г. подал прошение на пересмотр его дела, а год спустя, в январе 1941-го, ему пришел отказ. В.Э. Багдасарян сообщает: «По решению секретариата окружного совета от 29 января 1941 г. было постановлено ‘в пересмотре дала отказать’»⁶¹. Ульянов отсидел весь срок заключения. Точная дата освобождения – 2 июня 1941 года.⁶² Это было ровно за 20 дней до начала вторжения частей вермахта в пределы СССР.

У нас нет данных об отъезде Н.И. Ульянова из Норильска. Однако мы можем восстановить этот путь. По сведениям норильского «Мемориала», после освобождения от Норильлага маршрут шел до порта Дудинка по железной дороге, примерно 100 км. Эта железнодорожная узкоколейная ветка также была построена силами заключенных. В мае 1941 г. она была заменена на «ширококолейку». Именно по этой дороге уезжал Н.И. Ульянов. Из порта Дудинка пути распределялись, ибо были изначально определены строгим предписанием места будущего проживания. В летний период самым быстрым путем было отплытие пароходом из Дудинки по трассе Северного морского пути до Архангельска и далее в европейскую часть страны.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ ЛАГЕРЯ

Освобождающиеся из заключения должны были подписать документ «о неразглашении». Так советская система создала стену молчания, превратив свидетелей и жертв преступлений в послушных рабов. В 2014 году был издан межведомственный приказ правительства России об уничтожении архивных учетных карточек (и электронных баз данных) со сведениями о репрессированных, что стало официальной командой путинской власти по систематическому уничтожению национальной памяти и исторической правды о ГУЛАГе.⁶³

В 2023 году было ликвидировано и Общество «Мемориал», собиравшее сведения о репрессированных на протяжении трех десятилетий. Это стало дополнительным препятствием для исследователей в поиске фактов преступлений советской диктатуры и препятствием дальнейших исследований.

Приходится сожалеть о том, что историк Ульянов не описал сталинские репрессии, жертвой которых он стал, и будучи уже свободным человеком после войны в Европе, а затем в США. Мотивы его молчания нам неизвестны. Чаще всего в эмиграции это объяснялось тем, что в СССР оставались родственники, которым не хотелось навредить. Например, мать Н.И. Ульянова жила с начала войны в Ленинградской области. Были и другие причины: в мае 1945 г. в Мюнхене он, иностранец-беженец, мог опасаться выдачи советским репатриационным комиссиям. Для получения статуса Ди-Пи осенью 1947 года его стратегией выживания стала легенда о его «нансенском статусе» старого эмигранта. С декабря 1947 года Н.И. Ульянов, работая по договору сварщиком в Марокко до 1953 года, мог опасаться быть отправленным обратно в Германию или в СССР. Угроза депортации сохранялась и в Канаде – вплоть до получения американского гражданства в 1955 году.

Но вернемся в последний предвоенный год Ульянова. Ульянов не успел добраться до Ленинграда, сообщает Базанов. Напомним, что осужденным по 58-й статье возвращение в большие города, прежде всего в Ленинград и Москву, было категорически воспрещено. Для них, ограниченных в правах, даже покупка железнодорожного билета без разрешения ОГПУ была невозможна. Важно помнить время, условия жизни и царящее бесправие освобожденных из ГУЛАГа во времена Большого террора. Выражение «режимные города» было введено в 1940 году, а знаменитый «сто первый километр» был до 1980-х годов реальной чертой ограничения места жительства для определенной категории бывших заключенных в СССР. Ульянов после пятилетнего заключения принадлежал именно к такой категории лиц (58-я статья), которым запрещалось селиться в пределах 100-километровой зоны вокруг больших городов. Выбор места жительства определялся Главным управлением лагерей ГУЛАГа.

Первая жена Н.И. Ульянова утверждала, что местом проживания для него после освобождения был назначен Стерлитамак, второй по численности город после Уфы в Башкирской АССР, известный крупный центр нефтехимической промышленности и машиностроения. П.Н. Базанов называет два места пребывания Н.И. Ульянова после освобождения: Стерлитамак и Ульяновск, между ними расстояние 700 км. Вероятней всего, первоначально Ульянову было предписано проживание в поселке для освобожденных вблизи Стерлитамака. В основном, в этих местах жили башкиры, но также и татары, чувашаи,

русские; в многочисленных рабочих поселках обитали бывшие заключенные. Увы, и этот маленький городок известен как место создания лагеря, заключенные которого были заняты на добыче нефти с 1932 года (поселок Ишимбай). В первые сталинские пятилетки руками заключенных в тяжелейших климатических условиях была построена железная дорога Уфа – Ишимбаево, проходящая через Стерлитамак. Нам неизвестно ни как долго пробыл Н.И. Ульянов там, ни подробности его жизни в Ульяновске.

После заключения Н.И. Ульянов и думать не мог о дальнейшей преподавательской деятельности историка и о возвращении в любимый Ленинград. Ему, как и миллионам советских граждан с «волчьими билетами» бывших заключенных, разрешено было трудиться лишь чернорабочим. Биограф С. Крыжицкий упоминает, что Ульянов в свою бытность в Ульяновске работал ломовым извозчиком.

НАЧАЛО ВОЙНЫ

Лица, освобожденные из ГУЛАГа перед войной, были подчинены машине срочной всеобщей мобилизации. Война определила ритм жизни для всех, уравнивая в правах бывших эзков с остальными гражданами СССР. Лица, отсидевшие по 58-й статье, мобилизовывались исключительно в трудовые отряды, а не в действующую Красную армию. Впрочем, ввиду огромных потерь с осени 1941 года на фронт мобилизовывали всех, в том числе и заключенных. Уже осенью на фронт отправлялись первые 420 тысяч эзков. В последующие два года – еще 157 тысяч. В общей сложности за годы войны через фронт прошли около 1,2 млн арестантов.

С первых дней Великой Отечественной войны началась массовая добровольная сдача в плен солдат и офицеров Красной армии. 16 августа 1941 г. был отдан Приказ № 270 Ставки Верховного Главнокомандующего, согласно которому советские военнопленные приравнивались к изменникам родины. Семьям военнопленных грозил арест⁶⁴, конфискация имущества, лагерь.⁶⁵ Но только Приказ № 227 «О мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной армии и запрещении самовольного отхода с боевых позиций» от 28 июля 1942 г., вошедший в историю как «Ни шагу назад!», смог замедлить процесс массовой сдачи в плен. Замедлить, но не остановить, – статистика ярко подтверждает это.⁶⁶

Н.И. Ульянов в сентябре 1941 г. был мобилизован на рытье окопов и на строительство оборонительных сооружений под Вязьмой. С.Л. Голлербах вспоминает рассказ вдовы историка: «Перемещение Ульянова из центрально-русско-уральского региона в европейскую часть страны, под Вязьму на Смоленщину, было легально возможно только в составе трудовых отрядов»⁶⁷. «Николай Иванович Ульянов с началом войны был зачислен в состав 'Трудовой армии'. Тех, кого

мобилизовали из этой категории, выполняли принудительно-трудовую повинность в составе таких рабочих отрядов со строгой армейской структурой; проживали люди на казарменном положении при лагерях НКВД, позднее – в составе особых групп при регулярных войсковых частях. Нередко на рытье окопов их водили под охраной. Ульянову повезло, его не водили под охраной на рытье окопов, он был освобожденный из заключения, но жил и работал в специальных 'зонах' с воинским внутренним порядком». (Голлербах, 05.09.2018) Для Николая Ивановича такое перемещение в европейскую часть страны, хоть и в составе «трудоармии», стало воистину «счастьем».

Оборонительная Вяземская операция проходила со 2-го по 13-е октября 1941 года. Обстановка на этом участке фронта была критической для Красной Армии: силы немецкой группировки «Центр» прорвали оборону советских войск, «была уничтожена большая часть войск Западного и Резервного фронтов СССР, окружены четыре советских армии в составе тридцати семи стрелковых дивизий, девяти танковых бригад, тридцати одного артиллерийского полка. Потери убитыми и ранеными Красной армии в Вяземском направлении превысили 380 тысяч человек, в плен попало свыше 600 тысяч человек»⁶⁸. Среди военнопленных оказался и Н. И. Ульянов. «Вяземской катастрофой Красной армии» называет историк Л.Н. Лопуховский этот этап войны не только из-за разгрома армии, но и из-за массовой добровольной сдачи в немецкий плен.

Это сознательно замалчивалось советскими историками на протяжении пяти десятилетий, вплоть до начала перестройки.⁶⁹ Немецкие историки пишут о том, что вермахт не готов был к принятию такого огромного количества советских военнопленных. Отсутствовала инфраструктура и логистика приема⁷⁰. В имеющемся списке немецких лагерей⁷¹ есть данные о двух пересыльных лагерях под Вязьмой: Дулаг № 184 и Дулаг № 230. Смертность в этих лагерях достигала 300 человек в день. Ульянов оказался в Дорогобужском лагере для советских военнопленных, как и большинство попавших в плен из воинских соединений на данном участке фронта⁷².

Хронология немецкой оккупации города такова: 5 октября 1941 г. город был захвачен немцами, тогда же организован Дорогобужский лагерь. 15 февраля 1942 г. Дорогобуж был освобожден партизанами и находился под их контролем четыре месяца, до 7 июня 1942-го, затем снова перешел к немцам. «По свидетельству ряда авторов, Ульянову удалось совершить побег из Дорогобужского лагеря, хотя, скорее всего, этому побегу должно было способствовать освобождение Дорогобужа в феврале 1942 г.» (Багдасарян, 30). Именно в это время был распушен Дорогобужский лагерь военнопленных. Кто-то из выживших вошел в состав партизанских подразделений, большинство разошлось и затаилось в ожидании развития событий.

Николай Ульянов отправился в долгий путь в Ленинградскую область к матери и жене через оккупированную территорию. Если учесть, что от Дорогобужа до Гдова примерно 700 км, или от Дорогобужа до Петергофа около 719 км, представляется почти чудом в военное время успешно продвигаться по оккупированным немцами районам.

Маршрут Ульянова из лагеря в Ленинградскую область неизвестен. Багдасарян и Базанов по-разному описывают этот путь. В.Э. Багдасарян сообщает: «Он проник в пригород Ленинграда, в прифронтовой Пушкин, разыскал там супругу и затем с ней переехал под Гдов на родину Ульянова» (Багдасарян, 30). П.Н. Базанов, цитируя автобиографический рассказ Ульянова «Первого призыва», указывает два места: райцентр Ярцево между Смоленском и Вязьмой, где находился Николай Иванович в немецком плену, и деревню Ярцево в Ленинградской области, вблизи бывшего волостного центра Осьмино, в 10 верстах от деревни Ганеша, где родился Ульянов. Ульянов пишет: «Ярцево я буду помнить до самой смерти. Оставалось десять верст до села, где жила моя мать. Я шел к ней из немецкого плена. И тут меня схватили»⁷³. То есть упоминаемое Ярцево – однозначно вблизи его родных мест. К тому же мать Николая Ульянова к моменту его побега из лагеря уже жила в родной деревне Ганеша Гдовского района. Мы можем предположить, что она переехала из Ленинграда туда еще до прихода немцев и до введения блокады, в конце июня – начале июля 1941 года. С момента вторжения немцев в СССР территория Ленинградской области считалась прифронтовой зоной, а все передвижения позволялись лишь лицам, мобилизованным на оборонительные работы⁷⁴.

Н.И. Ульянов, покинув Дорогобужский лагерь, всеми силами стремился как можно скорее добраться до родной деревни. Голлербах сообщает в некрологе Н.И. Ульянова, что Надежда Николаевна, вторая жена историка, поддерживая с ним связь через письма и во время его заключения, и после освобождения из лагеря, вернулась из Сибири в надежде соединиться с мужем. Она сумела поселиться в Петергофе еще перед войной, устроилась работать в местной больнице и жила в комнате в коммунальной квартире⁷⁵.

П.Н. Базанов сообщает о встрече Ульянова с женой в деревне, предположительно в Ганеше: «Там Надежда Николаевна работала врачом среди местного населения, а Николай Иванович учил детей. Л. Владимиров и В. Варская в своей статье, написанной на основе переписки Н.И. Ульянова с А.Н. Богословским, приводят подробности: ‘В одной из деревень на оккупированной территории напал на след Надежды Николаевны, с трудом отыскал ее. Когда появился в избе, где она жила, жена долго не могла признать его в заросшем, обносившемся человеке.’» (Базанов, 161) Надежда Николаевна Ульянова по специальности была врач-гинеколог, но, думается, что в

военное время медицинская специализация была неважна; она оказывала в деревне любую помощь: «там, среди местного населения, жена Ульянова применяла свои знания в медицинском деле, а сам Ульянов, лишенный какой было литературы, пытался создать поэтический сборник, по памяти записывал стихи русских классиков, что в условиях немецкой оккупации, которая неизвестно как долго должна была продлиться, и геноцида русской культуры рассматривалось им как деятельность по нелегальному ее сохранению и представлялась серьезной формой духовной борьбы»⁷⁶.

Мы бы не стали называть хранение и переписывание стихов «формой духовной борьбы». Чтение и переписывание стихов любимых авторов было для него, скорее, наслаждением. Вот как описывает С.Л. Голлербах свою жизнь под немецкой оккупацией в Пушкине, где он оказался с матерью: «В ноябре 1941 г. мне исполнилось 18 лет, но за спиной были уже 3 года ссылки моих родителей в Воронеж. После ссылки в 1938 г. нам было позволено поселиться лишь в пригородах Ленинграда. <...> Помню, как в первые дни немецкой оккупации моя мама достала с чердака наши любимые книги, которые были запрещены советской властью. Например, моя мать была еще в молодости поклонницей лирики Николая Гумилева и акмеистов, при немцах она начала их перечитывать, уже не боясь, что НКВД войдет и распнет ее за это. <...> В 1942 году мы были депортированы на работу в Германию»⁷⁷.

В деревне Ганеша немцев на постое не было, они квартировали лишь при комендатурах в Осьмино и Гдове. К управлению привлекалось местное население со знанием немецкого языка. Николай Ульянов в оккупации работал на лесозаготовках. В автобиографии, написанной для Б.И. Николаевского, Ульянов упоминает, что трудился на заготовке дров под Лугой на протяжении зимы 1942 года.

После шести месяцев оккупации немцы решили восстановить колхозы как форму объединения крестьян. После трагических лет коллективизации, массовой депортации зажиточного и среднего крестьянства, с немецкой оккупацией появилась надежда на ликвидацию колхозов и совхозов. Однако отказаться от советской системы хозяйствования в деревнях в условиях огромного дефицита продовольствия оказалось сложно. По немецким документам известно, что в сельской местности на оккупированных территориях было введено непосильное бремя сдачи зерновых, картофеля, молока, что сделало жизнь крестьян невыносимой. И уже к весне 1942 года на большинстве оккупированных территорий немцы восстановили форму колхоза.

Чтобы представить количество трудоспособных во время немецкой оккупации в Гдовском районе, приведем некоторую статистику в ретроспективе: «...на момент переписи населения в России в 1937 г. и 1939 г. в состав Осьминского сельсовета входили 9 населенных пунк-

тов, 611 хозяйств, 7 колхозов, где проживало примерно 800 человек»⁷⁸. Ленинско-сталинские чистки привели к значительному сокращению численности населения в регионе. Появилась демографическая асимметрия из-за сокращения численности мужчин, отправленных в лагеря и мобилизованных в 1939 году в связи с советско-финской войной, т.к. брали на войну в основном крестьян из Ленинградской и Архангельской областей. К моменту немецкой оккупации Ленинградской области в июле 1941 г. в этом регионе оставались преимущественно старики, женщины и дети.

В период весны–лета 1943 года гражданское население (мужчины и женщины) этого региона принудительно привлекались также к строительству оборонительно-укрепительных позиций немецкой армий группы «Север», особенно на рубеже реки Нарва – Чудского озера – Пскова – Острова – Идрицы – Луги, где была возведена мощная линия немецкой обороны.

Н.И. Ульянову было 37 лет на момент прибытия в родные места из Дорогобужского лагеря. Как «трудообязанный», он был призван немцами на лесозаготовки и отправлен под Лугу. Весной 1943-го ему удалось бежать с лесозаготовок, как сообщает сам историк в своей автобиографии. То, что его не арестовали в деревне после возвращения, можно объяснить отсутствием расквартированных в этой местности немцев и, в связи с этим, ослабленным полицейским контролем. Активные действия партизан на железнодорожной ветке Псков – Гдов – Сланцы также отвлекали от тотального контроля за населением.

Ульянов находился в родных местах во время немецкой оккупации до депортации в Германию немногим больше года, с февраля 1942-го по осень 1943 года.

ДЕПОРТАЦИЯ В ГЕРМАНИЮ

Депортационных волн в рейх из Ленинградской области было несколько: с осени 1941 года шел добровольный выезд в Германию по рабочему контракту, с лета 1942-го по осень 1943 года проводилась насильственная депортация населения.⁷⁹

Супруги Ульяновы были оба зарегистрированы на работу в Германию осенью 1943 года. «Депортация гражданского населения из Осьминско-Гдовского региона проходила параллельно с подготовкой к отступлению частей 18-й Германской армии. Немецкое командование группы ‘Север’ планировало постепенное отступление в несколько этапов с нескольких оборонительных рубежей до января 1944 года. Этим военным планам вермахта, к счастью, не суждено было реализоваться: стратегическая Ленинградско-Новгородская наступательная операция советских войск началась 14 января 1944 г. и закончилась снятием блокадного кольца Ленинграда, полным освобождением Ленинградской области. Трагедия многомиллионного

города была остановлена.»⁸⁰ Приближение линии фронта и наступление советских войск ощущалось уже по тому, что немцы начали мобилизацию населения на строительство оборонительных сооружений. На работы призывалось то немногочисленное мужское население, которое еще оставалось в деревнях, а также женщины и подростки.

Полное освобождение Гдовско-Осьминского региона от немцев Красной армией было осуществлено 1 февраля 1944 года. Немецкая оккупация этого региона продолжалась два с половиной года, из них полтора года Ульянов прожил в родной деревне. Об этом времени он как очевидец и как историк не оставил никаких воспоминаний – как и о своем заключении в двух лагерях ГУЛАГа. Весь этот период его жизни покрыт загадками и тайнами. Существует лишь краткое сообщение Николая Ивановича Ульянова в автобиографии, написанной по просьбе Б.И. Николаевского: «Когда стало известно о готовящемся отступлении немцев, мы с женой дали согласие ехать на работу в Германию и через местный Arbeitsamt (Биржа труда. – Е.К.) были отправлены в Дахау в Durchgangslager⁸¹, а оттуда в Карлсфельд (филиал Дахау, принадлежащий военно-строительной организации Тодта), где я работал на заводе BMW в качестве автогенного сварщика, а жена как врач в прилагерной амбулатории»⁸².

В 2022 году нами были обнаружены документы, касающиеся периода депортации и жизни Николая Ивановича Ульянова в лагерях в Баварии с 2 ноября 1943-го по 30 апреля 1945 года.

В БАВАРИИ. НОЯБРЬ 1943 – АПРЕЛЬ 1945

О времени пребывания Николая Ивановича Ульянова в немецких лагерях найдены два надежных источника: его собственные краткие сообщения в автобиографии, написанные им для Б. Николаевского, и документ, обнаруженный нами в архиве Арользен (вблизи Касселя), а именно – карточка заключенного на имя Николая Ульянова в базе данных отправленных на работу по контракту или насильно депортированных. Карточка на имя Надежды Николаевны Ульяновой не найдена, что позволяет предположить, что она не была в статусе «остовки», а работала, как указывал сам историк, в «прилагерной амбулатории».

Карточки заключенных стандартны, записи в них предельно кратки и предельно точны, ибо информация о депортированном лице составлялась еще «на местах», т.е. в родных деревнях и городах, с предоставлением свидетельства о рождении для согласования данных. В карточке на имя Николая Ульянова содержится следующая информация:

Имя, фамилия: Nikolai Uljanow⁸³ (отчество не указано)

(Транскрипция русскоязычного имени / фамилии Н.И. Ульянова

будет меняться уже в документах после войны, в период Американской Военной Администрации в Мюнхене, где он был освобожден как «принудительный рабочий из СССР» / Zwangsarbeiter / UdSSR.)

В немецких нацистских лагерях действовала опознавательная система категорий заключенных, когда нашивки-буквы обозначали страну происхождения заключенного. Так, например, буквы «SU» относились к советским военнопленным и принудительным рабочим, что означало СССР (нем. Sowjetunion), таковые дополнялись цветными треугольниками в зависимости от классификации заключенного. Это служило опознаванию для охраны лагеря и быстрой идентификации заключенного. Различались также типы нацистских лагерей: концлагеря и рабочие лагеря. Так, например, для граждан СССР, использованных как рабочая сила на немецких предприятиях тяжелой промышленности, выделялись две категории лиц: первая – выехавшие в Германию по рабочему договору добровольно, таких называли остовцами – остарбайтер (нем. Ostarbeiter),⁸⁴ они не получали спецодежду и распознавательные знаки; вторая категория – лица, насильно депортированные в Германию, таких называли «цвангсарбайтер» (в послевоенной историографии понятия «остовцы» и «цвангсарбайтер» российскими историками часто смешиваются). Содержание этих двух групп рабочих в лагерях сильно разнилось: качество и количество еды, дисциплинарные требования, охрана. Одежду заключенных получали лишь в лагерях типа КЦ (KZ).

Далее в карточке Ульянова:

Национальность: СССР

Вероисповедание: греко-православный

Дата и место рождения: 23.12.1904 в д. Ганеша

Семейное положение: женат

Место регистрации (Registrierungsort / Heimatzuständigkeit): д. Ганеша, район Осьмино, Ленинградская область. (Что еще раз подтверждает: во время немецкой оккупации Ульяновы жили в его родной деревне.)

В Германии: с 2 ноября 1943 г., направлен в Дулаг Ротшвайге (Dulag Rothschaige)

Обозначение «Дулаг» является сокращением немецкого слова «Durchgangslager», т.е. лагерь / сборный пункт для дальнейшего распределения принудительной рабочей силы в лагеря при предприятиях тяжелой промышленности или в немецкие семьи для работы в сельском хозяйстве или городских квартирах. В автобиографии, как уже упоминалось, Н.И. Ульянов сообщает «Дулаг Дахау». Альберт Кнолль (Albert Knoll), историк из музея лагеря Дахау, уточнил по нашей просьбе, что в списках нет такого обозначения: «Вероятно, это название русские рабочие использовали из-за общего названия лагеря Дахау; Дулаг

Ротшвайге был распределительным пунктом рабочей силы из СССР»⁸⁵.

Дальнейшее распределение: лагерь Муна (Muna)

Переведен в другой лагерь: 16 октября 1944 г., Аллах (Allach BMW) (Указано на обратной стороне карточки.)

Прокомментируем эту краткую, но очень важную информацию. Исходя из вышеприведенных данных мы можем с точностью утверждать, что Н.И. Ульянов был зарегистрирован на депортацию через биржу труда в своей родной деревне Ганеша, прибыл в Германию 2 ноября 1943-го. Процесс регистрации на бирже труда в Гдовском районе и подготовка к депортации, выезд из СССР и въезд в Германию был осуществлен с августа по октябрь 1943 года, т.е. до начала наступательной операции советских войск в Ленинградской области. Дата регистрация «2 ноября 1943» относится непосредственно к лагерю Дахау и времени заполнения карточки принудительного рабочего, не являясь точной датой прибытия в Германию. Обычно для упрощения формальностей в разветвленной лагерной системе Германии дата регистрации в лагере и считалась датой въезда в рейх.

ЛАГЕРЬ «МУНА». 2 НОЯБРЯ 1943 – 16 ОКТЯБРЯ 1944

По дате перевода Николая Ивановича Ульянова из лагеря «Муна» на завод BMW Allach (Аллах) в его карточке принудительного рабочего мы можем с точностью определить время пребывания в его первом лагере – «Муна»; оно насчитывало ровно год, а именно – с 2 ноября 1943 по 16 октября 1944-го.

Нам хотелось бы подробнее остановиться на лагере «Муна». «Муна» не является топонимическим обозначением конкретного места, это сокращение, производное от слова «Heeresmunitionsanstalt» – MUNA (подчеркнутые нами буквы составляют аббревиатуру). «Heeresmuniti^on^osanstalt» – это завод для производства боеприпасов, построенный в 1938 году, в период активной подготовки Германии к войне.

Лагерь «Муна» находился на юге-востоке Мюнхена, в 15 км от его центра Мариенплац (Marienplatz). В лесном массиве вблизи села Хоенбрунн (Hohenbrunn) и частично на территории селения Хёенкирхен-Зигертсбрунн (Höhenkirchen-Siegersbrunn) был создан огромный военно-промышленный комплекс площадью 180 га. Вся территория была хорошо укрыта и защищена от налетов англо-американской авиации.

В течение войны комплекс включал в себя, наряду с заводом по производству боеприпасов, обширную подземную коммуникацию из многочисленных складов для боеприпасов, а также 120 подземных и

наземных бункеров, соединенных между собой подземной сетью узкоколейных железнодорожных сообщений от цехов производства к складам и выходящих на наземную железнодорожную сеть к местной ж-д станции Вэхтерхоф (Wächterhof), ведущей напрямую к транспортно-логистике «Восточный ж-д вокзал» в Мюнхене на Кройцштрассе (München-Ost, Kreuzstraße). В комплексе «Муна» имелись также наземные постройки: здание для управления заводом и лагерем, бараки для заключенных и охраны.

Первыми рабочими в лагере «Муна» были чехи и словаки из протекторатов, т.е. аннексированных в 1938–1939 гг. регионов Богемии (Böhmen) и Моравии (Mähren). Состав и национальность рабочих менялись со скоростью захваченных вермахтом территорий. Так, с сентября 1939 г. это были поляки, с июня 1940-го – французы, с апреля 1941-го – греки. После нападения Германии на СССР к осени 1941-го в лагерь «Муна» стали поступать гражданские лица и военнопленные украинцы, русские, белорусы, цинично считавшиеся Управлением нацистского лагеря более выносливыми при рабочем дне в 12 часов и скудном питании.

Общая численность в лагере «Муна» достигала 4 тысяч заключенных разных национальностей, среди них были взрослые обоих полов, а также подростки и даже дети. Зарегистрированное число «восточных рабочих», прежде всего русскоговорящих (граждан СССР), составляло 780 человек⁸⁶.

Лагерь «Муна» считался одним из самых больших на территории Верхней Баварии. Работа на заводе боеприпасов была чрезвычайно опасна, из-за взрывов при транспортировке боеприпасов часто гибли заключенные. В качестве охраны лагеря были заняты представители т.н. «Германского трудового фронта» (Deutsche Arbeiterfront, DAF⁸⁷). По воспоминаниям заключенных, прошедших разные нацистские лагеря, охрана в лагере «Муна» была строга, но не так беспощадна, как части «СС-охраны», например, в главном лагере Баварии – Дахау.

Лагерь «Муна» не входил в разветвленную систему лагерей Дахау. А вот второй лагерь, куда был переведен Н.И. Ульянов, входил в лагерьный комплекс филиалов Дахау.

ЛАГЕРЬ BMW В АЛЛАХЕ. 16 ОКТЯБРЯ 1944 – 30 АПРЕЛЯ 1945

Согласно дате в карточке заключенного Н.И. Ульянова, нам точно известно время его перевода из лагеря «Муна» в лагерь Аллах (Allach) – 16 октября 1944 года. Таким образом, мы можем утверждать, что в Аллахе он провел больше полугода, до момента вступления частей Седьмой Американской армии в Мюнхен 30 апреля 1945 г. и обнаружения лагеря американцами 1-2 мая 1945 года.

Чтобы понять, как прошли эти полгода для Ульянова в его втором нацистском лагере, позволим себе немного описать Аллах. Лагерьный

комплекс в Аллахе размещался на северных окраинах Мюнхена, примерно в 13 км от городского центра на Мариенплац. Лагерь в Аллахе был построен в мае 1942 года руками самих заключенных в рамках децентрализации военно-промышленного производства в период начавшихся бомбардировок Мюнхена британской и американской авиацией. В Аллахе производились моторы для военных самолетов (BMW-Flugmotoren № 801). Знаменитый автомобильный концерн BMW⁸⁸ в период войны перешел от производства машин на изготовление моторов для штурмовиков и истребителей. Из-за систематических бомбардировок производство было размещено в подземном мощном бункере «Грецкий орех» (Rüstungsbunker «Wallnuß») – 160 м длиной, 125 м шириной, 17 м высотой, с толщиной бетонных стен 3,5 м. Общая численность заключенных в лагере Аллах достигала 17 тысяч человек, тогда как в лагере «Муна» – 4-х тысяч. В Аллахе работали представители 20 национальностей из числа военнопленных и принудительных рабочих из разных стран. В лагере был построен 31 барак, вся территория обнесена электрической проволокой. В состав охраны входили части СС, отличающиеся особой жестокостью в обращении с заключенными.

Начальником лагеря Аллах на протяжении всей войны был СС-оберштурмфюрер Иосиф Яролин (SS-Obersturmführer Josef Jarolin, 1904–1946), его помощником – СС-гауптшарфюрер Себастьян Эберль (SS-Hauptscharführer Sebastian Eberl, 1909–1982), оба после войны предстали перед судом над нацистскими преступниками.

Тяжелый труд по 12 часов в день, особая жестокость СС-охраны, плохое питание, антисанитария, неотопливаемые зимой бараки, регулярно вспыхивающие эпидемии холеры и тифа привели к тому, что к февралю 1945-го от 17000 человек осталось около 10000.

Н.И. Ульянов пишет о своей работе сварщиком на заводе в Аллахе. В этой связи стоит упомянуть тот факт, что согласно документации лагеря, с 12 апреля 1943 года на заводе BMW из-за нехватки немецкого персонала начали обучать заключенных профессиям сварщика, фрезеровщика, токаря и слесаря. Курсы длились от двух до шести недель. В 1944 г. заключенных привлекли даже к работе по ремонту авиадвигателей и изготовлению головок цилиндров, гальванопокрытий, к сборке капотов двигателей и практическим испытаниям. Думается, что именно в этот период Ульянов получил свое второе «негуманитарное» образование. Именно оно помогло ему в конце 1947 г. получить разрешение на выезд из Германии в Марокко по рабочей квоте на сварщиков и устроиться на завод «Шварц-Омон» (Schwartz Naumont⁸⁹). Это французское предприятие было создано немецким евреем, переехавшим в Марокко с приходом власти Гитлера в Германии; завод работал до 1963 года.⁹⁰

Положение заключенных в концлагерях Баварии усложнилось

еще и тем, что «ковровые» американско-британские налеты на Мюнхен и пригороды разрушали не только военный комплекс Германии, приближая конец гитлеровской диктатуры, но и вели к гибели заключенных на этих заводах. Выжить в условиях постоянных «ковровых» бомбардировок было очень сложно. А после бомбежек изможденных людей привлекали к расчистке заводских территорий и захоронению погибших.

Николай Иванович Ульянов упоминает в своих кратких мемуарах место Карлсфельд. Это северо-западная окраина Мюнхена, прилегающая к лагерю Аллах, входящая в административный округ Дахау. Во время войны в Карлсфельде был также создан лагерь (KZ-Außenlager Karlsfeld). В карточке Н.И. Ульянова ничего не сказано о том, что он был зарегистрирован или переведен туда. Версии перемещения Ульянова в лагерь Карлсфельд противоречит и тот факт, что там были размещены только румынские и венгерские евреи, общей численностью 1350 человек, депортированные летом 1944 года. Они находились под охраной военно-промышленной «Организации Тодт (Todt)»⁹¹, с опознавательным знаком на одежде «OT». Этих заключенных называли «командой смерти», потому что именно они были привлечены к строительству подземных бункеров; работа была ужасающе тяжелой (скажем, по нормативам они должны были носить мешки с цементом в 50 кг), продолжительность жизни заключенного в лагере Карлсфельд была не дольше полугода.

Надежда Николаевна Ульянова была «трудообязанной» в этом лагере – сначала как помощница лагерного врача, а с января 1945-го – как лечащий врач. Возможно, из-за этого Н.И. Ульянов вспомнил и Карлсфельд в своей автобиографии. Оба лагеря были расположены близко друг от друга.

Мы можем говорить о «везучести» Ульянова: перед самым вступлением американцев в Мюнхен его не отправили в т.н. «марши смерти», как других заключенных лагерей Аллах, Карлсфельд, Дахау. Например, 26 апреля 1945 года – всего за три дня до вступления американцев в Мюнхен – из этих лагерей было отправлено 9 тысяч заключенных, из них выжили только 1300 человек. Цель этих «перемещений» была не только скрыть следы чудовищных преступлений нацистов, но и перенести военное производство в другое место.

Николай Иванович Ульянов родился, вероятно, под счастливой звездой, ибо ему удалось выстоять и выжить пять лет в двух советских концлагерях и два с половиной года – в двух не менее страшных немецких лагерях смерти. Это был своеобразный опыт анализа двух тоталитарных систем, единых по своей сущности, но противоборствующих. Думается, что для Николая Ивановича именно этот горький опыт и стал основным доводом в принятии решения вырваться навсегда из советской тоталитарной системы, стать невозвращенцем.

МЮНХЕНСКИЙ ПЕРИОД

Начало нового мюнхенского периода наступает для Николая Ивановича и Надежды Николаевны Ульяновых с момента вступления американцев в Мюнхен и пригороды, после освобождения из лагерей. Нам хотелось бы описать атмосферу этих первых недель мая 1945 года, которые пережили Ульяновы.

Вальтер Деммель (Walter G. Demmel), местный краевед деревни Аллах, так описывает атмосферу тех дней: «Путь 232-го американского пехотного подразделения Седьмой Американской армии в Мюнхен лежал через Дахау, через пригороды Аллах, Унтерменцинг 29-30 апреля 1945 г. Всё население сидело по домам, улицы были пусты. Лагерь в Аллахе был оставлен немецкой охраной за два дня до вступления американцев в черту Мюнхена. Заключенные, оставленные без еды, начали «вылазки» в поиске пищи в окрестные огороды, спасаясь от голодной смерти, тем самым наводя страх на местное немецкое население, ожидающее мести со стороны заключенных. Мародерство заключенных из лагеря Аллах в ближайших окраинах, в домах баварских крестьян продолжалось и после прихода американцев. Это были русские, поляки, итальянцы и французы. Стоит отметить также, что не они одни были виновны в мародерстве. Священник местной церкви Фихтер (Fichter) сообщал, что был свидетелем мародерства также и самих жителей близлежащих деревень. Именно они опустошили магазины и военные склады, а также начали воровство вагонов на железнодорожных станциях, где были найдены большое количество тканей, обуви, продуктов из военных запасов вермахта, оставленных на станции и не переправленных в конце войны по назначению. Местные жители также начали грабеж квартир местных партийных начальников. 1 мая 1945 г. в Аллахе и окрестных селениях распространялись слухи о «Варфоломеевской ночи длинных ножей» для бывших нацистов и их семей со стороны заключенных и немецких антифашистов в деревнях. Это был абсолютный вакуум власти, началась анархия. Но люди организовали местные группы обороны и воспрепятствовали начавшейся анархии в Аллахе, обратившись за помощью к американцам. Какое-то время всё поутихло, но мародерство продолжалось дальше, особенно со стороны заключенных, голодных и обессиленных. Так, они воровали у крестьян свиней, кур, гусей, яйца, велосипеды, мотоциклы, машины. Этот беспредел продолжался 2-3 недели»⁹².

Части 7-й Американской армии вступили на территорию завода и лагеря Аллах 1 мая 1945 года.⁹³ Они обнаружили там 10 тысяч обессиленных больных заключенных. Несмотря на радость освобождения и страстное желание измученных людей поскорее покинуть пределы ненавистного лагеря, это было невозможно из-за вспыхнувшего в лагере тифа. Американцы ввели условия строгого карантина во избежание эпидемии и дальнейшего распространения тифа за преде-

лы лагеря. Всем заключенным было приказано оставаться в бараках, вход и выход в лагерь был строго воспрещен около трех недель, до конца мая 1945 года. Многие немецкие историки сомневаются, была ли эта строгость обусловлена только тифом или же введена американцами в силу начавшегося мародерства. У регулярной армии не было возможности выстроить логистику послевоенного существования такой массы бывших заключенных, этот процесс требовал времени и привлечения иных служб.

Такой была атмосфера, в которой чета Ульяновых прожила май 1945-го. В течение мая–июня продолжалась проверка списков заключенных на основе лагерных нацистских картотек. Все, проходящие по документам «заключенные нацистских лагерей» получили новый юридический статус «перемещенных лиц» (DP, Displaced Person). После первичной регистрации люди находились под юридической защитой Американской армии с 30 апреля по 15 июня 1945 года. 15 июня 1945-го юридическая ответственность за дипийцев в Мюнхене была передана организации УНРРА⁹⁴, а с 1 июля 1947 г. ее сменила другая организация ООН – ИРО⁹⁵. С 1 июля 1951 года эти компетенции были переданы немецкому Министерству по делам беженцев.

Для советских военнопленных и остовцев юридический статус «Ди-Пи» давался на очень короткое время, лишь до момента вывоза людей в пункты передачи советским репатриационным комиссиям. Пункты были установлены на демаркационных границах между оккупационными зонами западных союзников и советской зоной Германии. Массовые репатриации из Мюнхена начались в июне 1945 года, только после восстановления железнодорожных коммуникаций, сильно разрушенных британско-американской авиацией.

Дипийская категория «бывшие советские граждане» подлежала полной репатриации в СССР, согласно договоренностям, достигнутым на Ялтинской конференции 4-11 февраля 1945 года. Массовая репатриация осуществлялась на основе картотек нацистских лагерей, и избежать ее для советских граждан было очень сложно, но возможно – ибо лагеря Ди-Пи не имели строгой охраны из американских солдат, выход и вход в лагерь был свободным по выданной карточке дипийца.

Западные союзники строго выполняли требования Сталина по быстрой выдаче советских граждан из Германии. Советская Военная администрация в Германии (Militäradministration in Deutschland, SMAD) дает следующую статистику по репатриации: «До 1 сентября 1945 г. были репатриированы 5115709 советских граждан из трех зон западных союзников, оставалось еще 560000 советских граждан.»⁹⁶

*Цифры по репатриированным разнятся в зависимости от источника. Так, ГАРФ дает следующую статистику: До 1 июля 1952 г. было репатриировано 4305035 советских граждан, из них 162403 – в 1944 году, 3888721 – в 1945, 195273 – в 1946, 30346 – в 1947, 14272 – в 1948, 6542 – в 1949, 4527 – в 1950, 2297 – в 1951, 654 – в январе–июне 1952 года. (Л. 81-82; Ф. 9526. Оп. 4. Д. 33. Л. 120.) – (Ред.)

Жилые бараки бывшего нацистского лагеря Аллах, где Ульяновы встретили окончание войны, использовались вплоть до 1948 года как лагерь для Ди-Пи разных национальностей.⁹⁷ Именно отсюда, из Аллаха и из лагеря Дахау, началась первая кампания планомерной, организованной репатриации западно- и восточноевропейских Ди-Пи на родину. Бывшие заключенные из стран Западной и Южной Европы с радостью покидали ненавистные лагеря, часто самовольно репатриировались, штурмуя поезда и машины, чтобы как можно скорее уехать из Германии. Ситуация с восточноевропейскими, особенно с советскими, Ди-Пи была сложной, так как большинство советских граждан массово сопротивлялись возвращению на родину и искали пути, как избежать репатриации. О приказах Сталина⁹⁸ об отношении к советским военнопленным люди знали не понаслышке.

Общее настроение «невозвращения на родину» в рядах советских граждан, освобожденных американцами, начало меняться после массивной пропаганды со стороны советских репатриационных комиссий. Бавария, являясь самым большим по площади регионом в американской зоне оккупации, имела наибольшее число лагерей Ди-Пи, в соответствии с этим и наибольшее число советских репатриантов по сравнению с другими регионами Германии. Согласно договоренностям Ялтинской конференции, советским репатриационным комиссиям был предоставлен беспрепятственный доступ в лагерь Ди-Пи западных союзников, где они выявляли советских граждан, проводили собеседования и организовывали т.н. «комитеты по возвращению на родину». Пропаганда велась советскими репатриационными бригадами⁹⁹ через распространение агитационных брошюр и плакатов, а главное, через показы советских фильмов довоенного производства о «счастливой советской жизни». Такие фильмы, как музыкальная комедия «Веселые ребята» (1934), «Цирк» (1936), «Волга-Волга» (1938), «Светлый путь» (1940) – со звездой советского экрана Любовью Орловой – воздействовали эмоционально на бывших заключенных, возбуждали воспоминания о родине, погружали в ностальгию. Советские граждане организованно переправлялись американцами на машинах в советские сборные пункты, далее проходила их скрупулезная фильтрация СМЕРШем. Трагические судьбы вернувшихся на родину печально известны.

Свободный доступ репатриационных комиссий в американские лагеря Ди-Пи продолжался вплоть до середины 1946 г., до начала открытой конфронтации между СССР и западными союзниками. В феврале 1946 г. была принята резолюция Конгресса США о добровольном принципе принятия решения о возвращении на родину для восточноевропейских Ди-Пи. Массовые насильственные выдачи советских перемещенных лиц практически прекратились, хотя отдельные случаи встречались вплоть до начала 1948 года. К 1 сентября 1945 г.

число советских граждан, находящихся на территории оккупационных зон союзников в Германии, сократилось до полумиллиона человек.

Советское правительство предприняло все возможные меры для дальнейшего насильственного возвращения в СССР этих оставшихся. Одним из наиболее распространенных методов была нелегальная охота оперативных групп НКВД/СМЕРШа за «невозвращенцами» на территории зон западных союзников. Практика убийств, кражи людей, их нелегальный насильственный вывоз в советскую зону оккупации Германии, а также внедрение советских агентов под видом Ди-Пи в лагерь союзников была широко распространена.

ДИПИЙСКИЙ ПЕРИОД УЛЬЯНОВЫХ.

МАЙ 1945 – ДЕКАБРЬ 1947. НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Дипийский период жизни Николая Ивановича Ульянова наименее изучен российскими историками в связи с идеологической табуированностью темы второй волны эмиграции. Лишь с перестройкой начался процесс постепенного освоения текста «Русское Зарубежье», запрет на тему «второй волны» эмиграции был снят и начался процесс углубленного изучения ее культурно-исторического наследия. В 2020-е эта тема в РФ опять оказалась закрыта.

Наш анализ дипийской судьбы Ульяновых базируется на следующих первоисточниках:

– автобиография Н.И. Ульянова, написанная им для знаменитого архива Б. И. Николаевского¹⁰⁰;

– новые документы, обнаруженные нами в немецких архивах, прежде всего в архиве в г. Бад-Арользен (вблизи Касселя) и в Баварском Центральном Государственном архиве в Мюнхене.

Данные источники дополняют друг друга. Благодаря этому мы с уверенностью можем определить точное время пребывания четы Ульяновых после войны в Мюнхене. Этот послевоенный период насчитывает не более двух с половиной лет, с начала мая 1945-го до конца декабря 1947 года, что кажется почти чудом, если учесть, что для многих других русских Ди-Пи это время затянулось на долгие семь лет – до расформирования дипийских лагерей в 1953 году.¹⁰¹ Судьба Николая и Надежды Ульяновых сложилась удачно только благодаря их собственной стратегии выживания в первый, сложный период массовой репатриации советских граждан из американской зоны оккупации.

Следующие документы были обнаружены нами в архиве Арользен – они в хронологическом порядке освещают послевоенную череду событий в жизни Ульяновых:

– 15 августа 1945. Список иностранцев с советским гражданством (категория №3 в системе определения категории Ди-Пи), проживающих в селении Хоенбрунн (Hohenbrunn);

- 10 августа 1946. Список иностранцев без подданства (категория №2 в системе определения категории Ди-Пи);
- 15 августа 1946. Список иностранцев с советским гражданством (категория №3), проживающих в селении Хоенбрунн (Hohenbrunn);
- 21 марта 1947. Список лиц советского гражданства в Мюнхене (категория №3);
- 2 июня 1947. Стандартная анкета-опросник на имя Николая Ульянова в рамках проверки идентичности личности при отсутствии статуса Ди-Пи при организации ПЦ-ИРО (PCIRO);
- 16 июля 1947. Приглашение на имя Николая Ульянова (транскрипция «Nikolai Uljanov») на собеседование в Опросную Комиссию организации ПЦ-ИРО;
- 16 июля 1947. Приглашение на имя Надежды Ульяновой (транскрипция «Nadeshda Uljanov») в Опросную комиссию организации ПЦ-ИРО. Текст приглашений идентичен с приглашением на имя Николая Ульянова;
- 23 июля 1947. Стандартная анкета-опросник на имя Надежды Ульяновой в рамках проверки статуса Ди-Пи при организации ПЦ-ИРО (PCIRO).

Представленные документы являются стандартной формой учета иностранцев, живших вне лагерей Ди-Пи в Баварии, введенной Американской Военной Администрацией с 17 июля 1945 года, момента установления демаркационных линий между четырьмя зонами оккупации Германии. Имелось два вида учета иностранцев: проживающих в лагерях и вне их. Иностранцы из нацистских лагерей регистрировались на основе лагерных картотек и получали краткосрочный статус Ди-Пи до момента репатриации на родину. Эти картотеки нацистских лагерей стали основой для идентификации советских граждан, информация согласовывалась с советской репатриационной комиссией, по этим же спискам составлялись списки репатриантов в СССР.

Иностранцы, проживавшие *вне лагерей*, были двух категорий. Первая – зарегистрированные как Ди-Пи, но не получившие места в дипийских лагерях и проживающие на частных квартирах, оплачиваемых американцами. Эту категорию называли «free living DP». Во вторую категорию входили люди, нигде не отмечавшиеся, старающиеся «затеряться» в общей массе иностранцев. К этой группе лиц относились прежде всего советские гражданские беженцы, попавшие в Германию с отступлением немецкой армии из оккупированных регионов СССР. Эта группа лиц проживала на частных квартирах и обязана была пройти регистрацию по месту жительства. Без регистрационной отметки невозможно было получить карточки на продукты и выжить в трудные голодные послевоенные годы. Каждое село, деревня, город были обязаны предоставить списки иностранцев, проживающих в их местности, в Главную квартиру Американской Военной

Администрации в Баварии, размещенную в Мюнхене. Все немецкие предприятия, даже малые и не военно-промышленного комплекса (пекарни, пивоварни, больницы и т.п.), а также сельскохозяйственные предприятия и крестьянские дворы обязаны были сообщать американцам об использовании труда иностранных рабочих во время войны и о том, где они находились после подписания капитуляции. В августе 1945 года была введена обязательная ежегодная регистрация иностранцев по месту жительства при офисе бургомистра. (Ввиду денацификации роль официального регистрационного ведомства отводилась офисам бургомистров на местах. По настоянию американцев состав сотрудников этих офисов был обновлен.) С января 1946 г. регистрация иностранцев в американской зоне оккупации была передана в ведомство местной полиции. В стандартных формулярах Американской Военной Администрации советские граждане относились к категории №3, а к категории №2 относились лица без подданства.

Имя Николая Ульянова не было найдено нами в прекрасно сохранившейся картотеке лагеря Аллах, однако оно встречается в т.н. «Русском лагере» Дулаг Ротшвайге (Russenlager, Dulag Rothschaige), входившем в состав лагеря Аллах. Н.И. Ульянов был зарегистрирован не как заключенный, а как принудительный рабочий из СССР с ноября 1943 года. Чета Ульяновых была идентифицирована как советские граждане и подлежала обязательной репатриации.

Надежда Ульянова также не являлась заключенной, а была «трудообязанной» лагеря Карлсфельд – сначала помощником лагерного врача, а с января 1945 года врачом.

Массовая репатриация советских граждан из упомянутых лагерей началась в конце июля 1945 года, однако имен Ульяновых в списках нет. Вероятно, им удалось покинуть лагерь до начала массовой репатриации в СССР.

Прокомментируем более подробно обнаруженные документы.

Список иностранцев с советским гражданством, проживающих в селении Хоенбрунн (Hohenbrunn) от 15 августа 1945 года.

Указана категория №3 в системе определения категорий Ди-Пи. Вместо национальности написано: «UdSSR» (СССР). Документ составлен Проверочной Комиссией при офисе бургомистра селения (Bürgermeisteramt Hohenbrunn). В списке – имена «Uļjanow Nikolai» и «Uļjanow Nadeshda». Этот список составлен для иностранцев с советским гражданством, живущих вне лагеря. Список составлен по алфавиту, на этой странице указаны лица по фамилии, с буквы «Т» по «W». В списке указаны даты рождения лиц, места рождения указаны выборочно. У Ульяновых места рождения не указаны.

Этот список советских граждан в местечке Хоенбрунн может свидетельствовать о том, что супруги самостоятельно покинули лагерь Аллах в июне–июле 1945 года. С мая 1945-го по 15 августа 1945 года,

момента обязательной жилищной регистрации, прошло три месяца. Вероятно, именно за это время у Ульяновых созрело решение остаться в Германии.

Из-за вспыхнувшей в лагере Аллах эпидемии тифа около трех недель, с конца мая 1945-го, заключенные не имели права покидать территорию лагеря. Очевидно, что Николай и Надежда Ульяновы ушли из лагеря после снятия карантина и поселились в местечке Хоенбрунн, знакомом им по работе в лагере Муна (с 2.11.1943 по 16.10.1944 г.). Здесь супруги Ульяновы прожили ровно год. Следующие два списка регистрации – от 10 августа 1946 г. и от 15 августа 1946 г. – подтверждают, что они жили вне дигийского лагеря. Только в 1947 году в одном из списков встречается имя Надежды Ульяновой, получившей работу лечащего врача в одном из американских лагерей (лагерь Ди-Пи № 107, «СС-казарма»).

За 1946 г. мы обнаружили две регистрации с разницей лишь в пять дней: регистрация от 10 августа 1946 г. только для Николая Ульянова как иностранца без подданства, на частной квартире в Мюнхене с указанием точного адреса, и регистрация от 15 августа 1946 г. для Николая и Надежды Ульяновых как советских граждан в местечке Хоенбрунн.

В списке иностранцев без подданства от 10 августа 1946 года сообщены следующие данные о дате и месте рождения Николая Ульянова: 23.12.1904, Санкт-Петербург. Николай Ульянов отмечен как живущий вне лагеря, в Мюнхене, по адресу Gotzingerstr. 25. Это центральный район Мюнхена между районами «Изарфорштадт» и «Зендлинг».

Из мемуаров коренных мюнхенцев и русских Ди-Пи, известно, что в первый период после вступления американцев в Мюнхен (май – август 1945), а также весь 1946 год в городе царил хаос. Большинство коренных мюнхенцев, эвакуированных в последние месяцы войны в ближайшие деревни из-за частых бомбардировок города, еще не вернулись в свои дома и квартиры; туда нередко самовольно заселялись немецкие беженцы из других регионов страны, а также иностранцы, в том числе и советские беженцы, прячущиеся от агентов СМЕРШа, переодетых в гражданскую одежду. Списки обязательной регистрации для иностранцев, живущих вне лагерей, с указанием адреса подтверждают лишь то, что чета Ульяновых не жила в лагерях Ди-Пи.

В списках документа Проверочной Комиссией при офисе бургомистра селения Хоенбрунн от 15 августа 1946 года дата рождения Ульянова та же, Надежды Ульяновой («Uljanow Nadeshda») дата рождения 3.9.1916 (не 1914 года. – Е.К.), место рождения не указано.

Список «лиц советского гражданства в Мюнхене» (категория №3) от 21 марта 1947 года составлен Проверочной Комиссией при Полицейском управлении г. Мюнхена (Polizeipräsidium München). В этом списке написание имени и фамилии Ульяновых разнятся:

Uljanov Nikolaj и Uljanowa Nadeshda. В этом списке впервые место рождения Николая Ульянова указано как Ленинград, а Надежды – Алатырь (страна не указана). Отмечен также регион, откуда они прибыли в Германию, у обоих – Ленинград, а не Ленинградская область. Деревня Ганеша не фигурирует вовсе.

Дата рождения Надежды Ульяновой указана как 3 сентября 1916 года (по другим спискам указан 1914 год). По другим документам послевоенного периода Надежда Ульянова указывала Алатырь как селение в Латвии. Место с таким названием в Латвии не обнаружено, однако нами найден Алатырь в Чувашии, недалеко от Ульяновска. Вероятнее всего, на Латвию как место рождения Надежда Ульянова указала сознательно, ибо представители Прибалтийских стран не подлежали насильственной репатриации в СССР. Так поступали многие диппийцы.

«Надежда Николаевна на склоне своих лет рассказывала мне, – вспоминал Сергей Львович Голлербах, – что в американских анкетах она назвала Алатырь как место своего рождения по двум причинам: будто бы Алатырь находится в Латвии, потому что представителей всех Балтийских стран не выдавали Советам, не признав эту чудовищную аннексию. Я спросил ее, почему она назвала именно Алатырь, а не какой-нибудь другой латвийский городок – Сигулда или Лигатне. Секрет раскрыла Надежда Николаевна так: Николай Иванович любил мифы и сказки, и при нашем обсуждении, что указать в анкете на Проверочной Комиссии, он предложил указать мое место рождения в Латвии, в несуществующем местечке Алатырь, таинственно прошептал, что Алатырь – это название священного камня мудрости и места проживания древних славянских богов. Я слушала его завороженная, а он успокаивал меня, волновавшуюся до предела перед Проверочной Комиссией. Согласно старинной славянской легенде, Алатырь находится между ‘явью’ – нашей землей, ‘навью’ – царством мертвых и ‘правью’ – небесной обителью божеств. ‘Алатырь – это древо Жизни, а мы хотим жить!’ Вот так знания Николая Ульянова о славянах, их мифах спасли им жизнь, ибо никто не подумал им задавать вопросы, а где же находится этот Алатырь. Все Ди-Пи знали, какой наплыв лиц был в этих американских проверочных комиссиях, да и кто мог проверить такую массу информации»¹⁰².

Интересен титульный лист документа стандартной проверки статуса Ди-Пи от 2 июня 1947 года. Здесь фамилии Ульяновых, в особенности девичья фамилия Надежды Николаевны, написаны как Nadeshda Uljanow, девичья фамилия Kalninsch – с вариантом порусски «Кальнинш» (место рождения – город Алатырь / Alatyry); и Nikolaj Uljanow (местом рождения указан Петербург / Petersburg).

Записи имен и фамилий осуществлялись со слов опрашиваемых, под диктовку, сотрудниками Проверочной Комиссии при ИРО, часто

это были люди из рядов Ди-Пи, владеющие соответствующими языками. Подлинность записи заверялась. Таким образом, девичья фамилия Надежды Ульяновой, «Kalninsch», по-русски пишется как «Кальнинш», что в анкете подтвердила сама Ульянова.

Фамилия «Кальнинш» указывает на латвийско-немецкие корни семьи. По-немецки это пишется как «Kalninsch», по-латышски «Kalniņš». История рода Н. Н. Ульяновой-Кальнинш нам не известна.

Стандартный опросник для иностранца-беженца на имя Николая Ульянова от 2 июня 1947 года был заполнен в рамках проверки идентичности при отсутствии статуса Ди-Пи после подачи заявления о желании выезда из Германии. Опросник составлен организацией ПЦ-ИРО (PCIRO) при Главной квартире Третьей Американской армии в Баварии (Headquarters Third United States Army). Документ насчитывает пять страниц (включая титульный лист), 20 вопросов анкеты, составленной на русском языке. Место составления – Мюнхен (Control Center, München).

Организация Preparatory Commission of the International Refugee Organisation (PCIRO / ПЦ-ИРО) действовала с 15 декабря 1946-го по 20 августа 1948 года, главный офис находился в Женеве. Комиссия проверяла идентичность личности беженца-иностранца и оказывала услуги по выезду из послевоенной Германии. ПЦ-ИРО сменила аналогичную организацию УНРРА (с 9.11.1943), международную организацию ООН¹⁰³. УНРРА подверглась критике со стороны европейской общественности и США из-за насильственных выдач советских беженцев в послевоенной Германии и Австрии.

Для получения статуса Ди-Пи и проверки идентичности личности беженца была введена практика «скринингов» (от англ. «screening»). Для уставших от войны и неизвестности людей это была тяжелая процедура повторяющихся системных проверок. Был разработан четкий «каталог вопросов», по которым велись опросы. Спасительный статус Ди-Пи с последующим разрешением на выезд в другие страны выдавался тем, кто действительно проживал на 1 сентября 1939 года за пределами СССР; кто не принадлежал к категории «коллаборантов», т.е. не сотрудничал с немцами и не служил в немецких воинских частях; чье нахождение в Германии во время войны было принудительным. Цель «скринингов» открыто не сообщалась, но была очевидна для всех беженцев: сокращение численности «перемещенных лиц», а вместе с этим – уменьшение денежных расходов, связанных с обеспечением многотысячной массы диппийцев. Страх перед выдачами советским властям, угроза Третьей мировой войны мотивировал людей создавать различные стратегии выживания, фабриковать биографии, уверять, что документы потеряны при бомбежках и т.п.

Ульяновы, согласно обнаруженному опроснику, сохранили свои имена, даты рождений, но выдали себя за эмигрантов «первой»

волны, изменив даты выезда из России на 1920-е годы. То есть объявили себя нансенскими беженцами.

В Баварии, самом крупном субъекте американской зоны оккупации Германии, было создано четыре центра по проверке идентичности беженцев разных национальностей: в местечке Ашау (Aschau, Kreis Mühldorf), Дорфен-Маркт (Dorfen-Markt), Розенхайм (Rosenheim) и в Мюнхене. В Мюнхене Проверочная Комиссия ПЦ-ИРО, позднее названная «Контрольным Центром» (Control Center, размещался в Луитпольд-Казарме / Luitpold-Kaserne по адресу Infanteriestraße 19), имела два отделения – Постоянное и Транзитное (Static и Transient). В Постоянном центре были размещены иностранцы со статусом Ди-Пи и лица со статусом «гражданских беженцев». Проверка проходила по приглашению в самом учреждении. Живущим в Мюнхене жилье не предоставлялось. Этот Центр проверки предназначался лишь для приезжих из дальних регионов Баварии. Транзитный центр предназначался для тех, кто уже прошел проверку и получил разрешение на выезд из Мюнхена на поезде в Бремен. Рядом с Бременом был открыт лагерь Грон, где люди жили в ожидании транспортных кораблей, предназначенных для перевозки дипийцев в другие страны. Из лагеря Грон их перевозили в порт Бремерхафена, откуда американские военные корабли отправлялись в Южную и Северную Америки. Первые рейсы отплавались весной 1947 года.

Опросная анкета при ПЦ-ИРО на имя Николая Ульянова от 2 июня 1947 года выглядела так:

Вводная часть анкеты: номер лагеря Ди-Пи не указан, номер карточки Ди-Пи не внесен. Это означает, что Николай Ульянов не был зарегистрирован и не состоял в базе данных как Ди-Пи.

Возраст на момент заполнения анкеты: 42 года

Пол: мужской.

Общие инструкции: Обязательно нужно ответить на все вопросы. Писать печатными буквами. Неполные или ложные ответы будут караться по американским военным законам.

1. Полное имя на родном языке: Ульянов Николай (Отчество не указано)

2. а) Страна и место рождения: Россия, Санкт-Петербург

б) Дата рождения: 23 декабря 1904

3. а) Национальность: русский. Вероисповедание: православный

б) Какое подданство на момент 31 августа 1939 г.: бесподданный (Нансен)

Адрес: Польша, город Жихлин (польск. Żychlin) ул. Калееви, д. 9

4. а) Напишите полное имя, как оно пишется по-немецки: Nikolaj Uljanow

б) Перечислите все другие имена и фамилии, под которыми Вы известны и были известны, места и время их употребления: прочерк

5. Перечислите всех членов Вашей семьи, находящихся теперь в Германии, место нахождения и находится ли на положении Ди-Пи? Ульянова Надежда, жена, в Мюнхене, нет статуса Ди-Пи.

6. а) *Ваше ремесло, профессия или занятие?* Учитель, зубной техник, сварщик

б) *Впишите дальше род и место Вашей работы и положения, занимаемые Вами (например, рабочий, надзиратель, канцелярский служащий, заведующий и т.п.) за все годы, начиная с сентября 1939-го и кончая маем 1945-го:*

1939 – прочерк

1940, 1941, 1942 – помощник учителя (место не указано)

1943, 1944, 1945 – Двигательный сварщик, рабочий, – BMW Мюнхен

Карлсфельд.

7. *Перечислите внизу, к какой политической или юношеской организации Вы принадлежали последние 10 лет?* прочерк

8. а) *Когда Вы покинули родину?* В 1926 г.

б) *Почему?* Переехал к матери, пребывающей за границей

9. а) *Когда Вы прибыли в Германию?* В 1940 г.

б) *Почему?* Взят на работу преподавателем

10. *Какое немецкое учреждение дало Вам разрешение на въезд в Германию?* прочерк

11. *Приехали ли Вы в Германию добровольно или нет, в организованной группе?* Нет, не добровольно

12. *Во время Вашего пребывания в Германии был ли Вам выдан какой-нибудь из указанных документов:*

– *Kennkarte für Umsiedler* (удостоверение личности для немецких переселенцев с 1939 г.)

– *Umsiedlerausweis* (удостоверение личности переселенцев разных национальностей)

– *Volkslistenausweis* (удостоверение личности из т.н. «Немецкого списка» этнических немцев из других стран)

– *Vorläufige Kennkarte* (временное удостоверение личности во время войны для иностранцев без определенного гражданства)

– *Volkssturmasweis* (удостоверение личности в подразделениях «фольксштурма», отрядов народного ополчения в нацистской Германии в конце войны)

– *Rückkehrausweis* (удостоверение личности при возвращении на территорию Третьего рейха во время войны, прежде всего этнических немцев)

– *Staatsangehörigkeitsausweis* (удостоверение о получении немецкого гражданства во время войны)

– *Reichsdeutsche-Kennkarte* (удостоверение личности для коренных, т.е. «рейхских» немцев, проживающих до войны в Германии)

– *Fremdpass* (паспорт для иностранцев с указанием страны выезда во время войны)

– *Flüchtlingsausweis* (удостоверение личности беженца-немца и беженца-иностранца)

(На все пункты Ульянов поставил прочерк.)

13. *Укажите все другие документы, удостоверяющие личность, выданные Вам от сентября 1939-го до мая 1945 г., обозначив время и место выдачи. Всякая рабочая карточка или рабочая книжка, выданная Вам, должна быть указана.*

1939 – прочерк

Май 1940. Жилищная прописка без указания места (Polizeimeldungen)

1942. Лагерное удостоверение (Lagerausweis)

Май 1943. Удостоверение принудительного рабочего в БМВ Мюнхен Карлсфельд (Werkausweis, BMW München-Karlsfeld)

1943. Трудовая книжка для иностранцев БМВ Мюнхен Карлсфельд (Arbeitsbuch für Ausländer, BMW München-Karlsfeld)

14. Были ли Вы когда-нибудь вписаны в *Фолькслисте*?¹⁰⁴ Нет

15. Были ли Вы когда-нибудь связаны с одним из нижеуказанных учреждений?

– *Volksdeutsche Mittelstelle* (Регистрационный центр для этнических немцев в Третьем рейхе для посредничества места проживания и работы) Нет

– *Deutsche Volkslisteverfahren* (Оформление признания права на проживание в рейхе для этнических немцев) Нет

– *Einwanderungszentralstelle* (Центр по оформлению документов для беженцев-иностранцев в рейхе / центральное иммиграционное управление) Нет

– *Reichskommissar für Festigung deutschen Volkstums* (Уполномоченный Рейхский Комиссар по вопросам консолидации немецкого этноса) Нет

– *Deutsche Treuhänder-Umsiedlungsgesellschaft* (Германская доверенная компания по переселению) Нет

– *Rasse und Siedlungsamt* (Управление по вопросам рас и расселения) Нет.

16. Какой был Ваш номер *EWZ*?¹⁰⁵ прочерк

17. Какое Ваше законное подданство теперь? Staatenlos (бесподданный)

18. а) Хотите ли Вы сейчас вернуться на родину? Нет.

б) Если нет, то почему? Как эмигрант, дважды лишенный прав возвращения

19. Хотите ли Вы получить немецкое подданство? Нет

20. а) Были ли Вы когда-либо преследованы немцами по:

– Расовому признаку? Нет.

– Вероисповеданию? Нет.

– Политическим убеждениям? Нет.

б) В случае положительного ответа опишите, какую форму носило преследование? прочерк

в) Перечислите название, номер и местонахождение концентрационных лагерей, в которых Вы были заключены, а также и даты? прочерк

Анкета заканчивается стандартным параграфом, после которого надо было поставить свою подпись: «Клянусь, что на все предыдущие ответы, мною написанные или продиктованные, я ответил полностью и правдиво, по мере моих знаний и уверенности».

16 июля 1947 года Николай Ульянов на имя Nikolai Uljanov получил от Регионального представительства по иммиграционному переселению (Area Representative Immigration Resettlement) приглашение в Проверочную Комиссию ПЦ-ИРО перед предстоящим выездом из Германии. Текст приглашения написан по-английски и по-немецки¹⁰⁶: «Данным письмом мы уведомляем Вас, что ПЦ-ИРО приглашает Вас для проверки в Луитпольд-Казарму для установления Вашего статуса Ди-Пи. Вам необходимо явиться, как это предусматривает прилагаемое здесь письмо, для проверки Вашего статуса беженца / Ди-Пи прежде, чем Вам будет разрешено эмигрировать.

Время явки: 8:30». На обратной стороне указано: «Soviets Previously non established in Laim» (Предыдущее советское (гражданство) не установлено в Лайме). Лайм – это городской район Мюнхена (полное название Berg am Laim), куда входил также городской район Пасинг, где в здании Карл-гимназии была размещена Главная квартира УНРРА и ПЦ-ИРО (декабрь 1946 – январь 1948), а потом ИРО (1 июля 1947 – 1 июля 1951). В Control Center в Луитпольд-казарме проходили скрининги, дополнительные уточнения – в Главной квартире ПЦ-ИРО в Пасинге-Лайме. Интересно отметить, что дата приглашения на скрининг и заполнения анкеты у Николая Ульянова одинаковы, а в анкете у Надежды Ульяновой даты идут с разницей в семь дней. Это означает, что проверка данных Надежды Ульяновой заняла больше времени, прежде чем ей было выдано разрешение на выезд из Германии.

16-м июля 1947 года помечено и приглашение на имя Надежды Ульяновой (Uljanov Nadeshda) в Проверочную Комиссию ПЦ-ИРО. Текст приглашения идентичен полученному Николаем Ивановичем. То есть, работа по проверке их данных была начата одновременно.

Надежда Николаевна получила Опросную анкету 23 июля 1947 года – пять страниц (включая титульный лист) с 20-ю вопросами на русском языке. Место составления – Мюнхен.

Вводная часть анкеты состояла из следующих данных:

– номер лагеря Ди-Пи № 107¹⁰⁷. (Дипийский лагерь № 107 в списке лагерей в американской зоне оккупации Германии соответствует лагерю «СС-казармы» в Мюнхене¹⁰⁸.);

– номер карточки Ди-Пи (Соответствует лагерному номеру, что нетипично для документов дипийки и лишний раз указывает на то, что она не имела статус «Ди-Пи», а работала там, как врач.);

Возраст на момент заполнения анкеты: 32 года

Пол: женский

Общие инструкции: «Обязательно нужно ответить на все вопросы.

Писать печатными буквами. Неполные или ложные ответы будут караться по Американским военным законам.»

1. *Полное имя на родном языке:* Ульянова Надежда (Отчество не указано). *Девичье имя:* Кальнинш (Красным цветом отмечено по-английски сокращенно «Nans», обозначающее «Нансенский беженец»).

2. а) *Страна и место рождения:* Латвия, Алатырь (внесено латинскими буквами «Alatyr»)

б) *Дата рождения:* 3 сентября 1914¹⁰⁹

3. а) *Национальность:* русская. *Вероисповедание:* православная

б) *Какое подданство на момент 31 августа 1939 г.:* бесподданная

Адрес: Польша, город Жихлин, ул. Калаёви, д. 9

4. а) *Напишите полное имя, как оно пишется по-немецки:* Nadeshda Uljanow

б) *Перечислите все другие имена и фамилии, под которыми Вы известны и были известны, места и время их употребления:* прочерк

5. *Перечислите всех членов Вашей семьи, находящихся теперь в Германии, место нахождения и находится ли на положении Ди-Пи?* Ульянов Николай, муж, проживает в Мюнхене, статуса Ди-Пи не имеет.

6. а) *Какое Ваше ремесло, профессия или занятие?* Лечащий врач. (медицинский профиль не указан)

б) *Впишите дальше род и место Вашей работы и положения, Вами занимаемого (например: рабочий, надзиратель, канцелярский служащий, заведующий и т.п.) за все года, начиная с сентября 1939 и кончая маем 1945:*

1939–1940.: домашняя хозяйка в г. Жихлины, Польша.

1940–1942: домашняя хозяйка в г. Хелмно.¹¹⁰

1943–1944: медицинский помощник врача в Мюнхен-Карлсфельд (München – Karlsfeld), Германия. (Не указано, была ли она врачом в лагере Карлсфельд или в селении Карлсфельд, в котором был выстроен лагерь. Мы можем предположить, что Надежда Ульянова не имела права работать лечащим врачом в Германии и, как медицинский работник, вероятно, жила рядом с лагерем, а не в лагерных бараках.)

1945: лечащий врач, Мюнхен-Карлсфельд (München – Karlsfeld), Германия. (На 1945 год она указала, что была врачом, а не помощником врача. После освобождения узников лагеря Карлсфельд Ульянова была подключена к работе для борьбы с тифом в двух близлежащих лагерях – Аллах и Карлсфельд, позднее переведена для работы в лагерь «СС казармы» № 107 (DP-camp UNRRA-Team 107). Очевидно, во время эпидемии она выполняла функции врача, а не ассистента.)

7. *Перечислите внизу, к какой политической или юношеской организации Вы принадлежали последние 10 лет?* прочерк

8. а) *Когда Вы покинули родину?* В 1920 г.

б) *Почему?* Эмигрировала с родителями.

9. а) *Когда Вы прибыли в Германию?* В 1943 г.

б) *Почему?* Транспортирована на работу

10. *Какое немецкое учреждение дало Вам разрешение на въезд в Германию?* Без письменного оформления

11. *Приехали ли Вы в Германию добровольно или нет, в организованной группе?* Нет, не добровольно, вывезена.

12. *Во время Вашего пребывания в Германии был ли Вам выдан какой-нибудь из указанных документов (список)?* (Здесь Н.И. в каждой графе поставила «Нет», что может служить косвенным доказательством того, что она владела немецким языком и понимала, о каких документах идет речь.)

13. *Укажите все другие документы, удостоверяющие личность, выданные Вам от сентября 1939 до мая 1945 г., обозначив время и место выдачи. Всякая рабочая карточка или рабочая книжка, выданная Вам, должна быть указана.* Ответ дан не по годам, а коротко, по-немецки: Werkausweis, BMW München-Karlsfeld (Документ предприятия BMW в Мюнхене-Карлсфельд, регистрация с мая 1943 года. Это означает, что оригинал был представлен в Проверочную Комиссию.)

14. *Были ли Вы когда-нибудь вписаны в Фолькслисте?* Нет

15. *Были ли Вы когда-нибудь связаны с одним из нижеуказанных учреждений (список)?* Ответ на каждую графу: Нет

16. *Какой был Ваш номер EWZ? № 107 (Ответ дан, как лагерь Ди-Пи №107.)*

17. *Ваше законное подданство теперь?* Staatenlos (бесподданный)

18. а) *Хотите ли Вы сейчас вернуться на родину?* Нет

б) *Если нет, то почему?* Как дважды лишенная права возвращения

19. *Хотите ли Вы получить немецкое подданство?* Нет

20. а) *Преследовались ли Вы немцами по:*

Расовому признаку? Нет

Вероисповеданию? Нет

Политическим убеждениям? Нет

б) *В случае положительного ответа, опишите, какую форму носило преследование?*

в) *Перечислите название, номер и местонахождение концентрационных лагерей, в которых Вы были заключены, а также и даты?* прочерк

Анкета заканчивается обязательным параграфом об истинности предоставленных данных и заверена подписью Н.Н.Ульяновой с местом и датой: Мюнхен, 23.07. (здесь год не указан). Подпись: Надежда Ульянова.

В нашем распоряжении также имеется Список лиц, занятых на службе Американской Военной Администрации, в отделе «Ведомство финансовых расходов оккупационной администрации», подотдел «Оплата персонала» (Besatzungskostenamt München, Abteilung Personalkosten), в Мюнхене от 9 декабря 1947 года. Правописание имен Ульяновых и даты / места рождения в этом списке таковы:

Uljanow Nikolaus, geb. 26.12.1904, St. Petersburg.

(Деятельность после войны указана как «канцелярский служащий» с 1 августа 1945 по 31 мая 1946, время / место работы не указано.)

Uljanowa Nadya, geb. 3.09.1914, Alatur.

(Указана работа лечащим врачом, с мая 1945-го по сентябрь 1947-го.)

Получается, что Николай Ульянов работал на Американскую Военную Администрацию девять месяцев; Надежда Ульянова, в качестве врача, – два с половиной года. Срок занятости в этой должности указан с 1 августа 1945-го по 28 февраля 1947 года.

В этом списке-отчете для оплаты сотрудников содержатся данные на всех иностранцев-беженцев / Ди-Пи, работавших в Американской Военной Администрации. В списке 20 человек с фамилиями на буквы «Т» и до «V»; анализируя имена и фамилии и места рождения, приходишь к выводу, что все они имели русские корни. Все лица в списке указаны как бесподданные, что предполагало наличие у них Нансенского паспорта. В списке нет информации о зарплате. Обычно выплаты производились ежемесячно, но по завершению работы в списке указывался общий период занятости.

Таким образом, на основании представленных документов, обнаруженных нами в архиве Арользен (Германия), мы можем с точностью утверждать: Николай и Надежда Ульяновы не были заключен-

ными в нацистских лагерях, а имели статус «трудообязанных» во время войны. Перед вступлением американцев в Мюнхен 30 апреля 1945 г. они находились на территории лагеря Аллах, были идентифицированы как советские граждане, но избежали репатриации в СССР.

Как видим, дальнейшее развитие событий могло пойти по двум путям. Первый вариант: Ульяновы, воспользовавшись ситуацией хаоса, сумели покинуть лагерь до вступления американцев, нашли убежище у баварских крестьян или получили помощь от немецких медиков – коллег Надежды Николаевны. Второй вариант: Ульяновы были освобождены американцами и зарегистрированы как советские граждане, однако сумели вовремя самовольно покинуть лагерь в период июня–июля 1945 г., добравшись до местечка Хоенбрунн, где зарегистрировались как иностранцы-беженцы. Наблюдая за трагедией насильственной репатриации соотечественников, Ульяновы при второй регистрации в августе 1946 года подделывают документы, выдавая себя за «старых» русских эмигрантов с паспортом Нансена. Такая стратегия выживания спасла им жизнь и оберегла от долгих мучений.

После многочисленных проверок Ульяновы получили разрешение на выезд из Германии, их путь лежал в Марокко. Каким образом они смогли так быстро выехать из послевоенной Германии, остается загадкой. С началом работы ИРО с 1 июля 1947 г. была запущена «Программа расселения» Ди-Пи и беженцев-иностранцев в разные страны. Была создана биржа труда, запросы и рабочие квоты из разных стран поступали в представительства ИРО в зоны оккупации западных союзников. Имелась также возможность получить частное приглашение. В 1947 году в составе второй партии по квотам ИРО Ульяновы уехали в Марокко.¹¹¹ Новые документы, найденные нами, уточняют время переезда: декабрь 1947 года.

Отсутствие имен Ульяновых в списках выезжающих из Германии на военном корабле в 1947 году может означать, что в Марокко они вылетели на самолете (что было чрезвычайно дорого, однако зачастую переезд оплачивался предприятиями, которые набирали рабочую силу); документального подтверждения этой версии пока не обнаружено. Возможен был и выезд долгим и непростым наземным путем через Австрию, Швейцарию, Италию, Францию, Испанию и через Гибралтар – в Марокко¹¹². В порту Рабат, в Касабланке, Маракеш, Бурназель еще с 1920-х годов были сформированы центры русской диаспоры.

Анализируя жизнь Николая и Надежды Ульяновых в военный и послевоенный периоды, мы отмечаем типичность их судьбы для многих советских граждан. Вывезенные на работы в Германию, после войны они отстаивали свое право на свободу, путем разных стратегий избежали насильственной репатриации, воспользовались Программой переселения и иммигрировали в Новый Свет.

Начинался новый этап жизни уже на новом континенте. К моменту переезда Ульяновых из Марокко в Канаду весной 1953 года Николаю Ивановичу было около 50 лет, Надежде Николаевне – 40 лет. Позади оставался десятилетний трудный путь с момента их выезда из СССР в 1943 году. Впереди – надежды на новую жизнь без страхов за свое будущее. В дальнейшем Ульяновы переселились из Канады в США. В 1955 г. они выехали в Нью-Йорк, затем поселились в Нью-Хейвен (штат Коннектикут), где Николай Иванович Ульянов при дружеском содействии Г.В. Вернадского¹³ смог устроиться преподавателем русской истории и литературы в Йельском университете. Г. В. Вернадского и Н.И. Ульянова связывал их петербургский учитель С.Ф. Платонов, учениками которого первый был до революции 1917-го, а второй после нее. Так в Йельском университете круг свободной исторической русской науки сомкнулся через разные поколения русских историков.

А для Николая и Надежды Ульяновых начался новый, американский, период жизни. Только в США историк Николай Ульянов обрел возможность вести свободные научные исследования в области истории и заняться литературным творчеством.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. И. Одоевцева, Е. Трауберг, Н. Ровская, К. Померанцев, Р. Герра. Н.И. Ульянову – 80 лет. // «Русская мысль», № 3555 от 7.02.1985, Париж.
2. Об этой «игре календарного омоложения» Н.Ульянова благодаря разнице в 13 дней между юлианским и грегорианским календарями нам поведал С.Л. Голлербах в Нью-Йорке 5 сентября 2018 года.
3. Некрологи в «Новом Журнале» (№ 158, 1985), а также некрологи: *Зенковский С.* «Верный флагу», *Крыжицкий С.* Н.И. Ульянов / «Новый Журнал» (№ 160, 1985); некрологи в «Русской мысли» (№ 3560 от 14.03.1985), в «Русском возрождении» (№ 30, 1985), в «Вече» (№ 18, 1985), в «Свободном Слове Руси» (№ 5-6, 1985), в «Новом русском слове» (10.03.1985).
4. Мы используем это написание названия деревни со ссылкой на анкету в американской Проверочной Комиссии от июля 1947 г., которую Ульянов собственноручно заполнял.
5. *Дойков, Ю.* Личное дело № 43, или судьба эмигранта Ульянова / «Волна». Архангельск, 7.11.1991, С. 6. В кн.: *П.Н. Базанов.* Н.И. Ульянов – русский эмигрант, историк, публицист, писатель: библиографический указатель / С.-Петербург: Комитет по культуре и туризму Ленинградской обл. 2021, С. 10.
6. После захвата власти большевиками осенью 1917 года в здании лицея был размещен штаб Красной гвардии Петроградской стороны. Ценнейшая библиотека Царскосельского лицея была растащена, частично вывезена в Екатеринбург. В 1938 г. усилиями Бонч-Бруевича, директора Государственного музея литературы, часть книг была перевезена в Москву в ГМЛ. Однако говорить о его «героическом поступке» по спасению библиотеки Царскосельского лицея не приходится, ибо достоверно известно, что именно Бонч-Бруевич отдавал приказ о расформировании этой библиотеки в 1918 году.

7. Владимир Васильевич Стасов (1824–1906), музыкальный и художественный критик, историк искусств, архивист, общественный деятель.
8. *Дойков Ю.* Указ. сочинение. В кн.: П.Н. Базанов: Н.И. Ульянов – русский эмигрант, историк, публицист, писатель: библиографический указатель / Указ. изд., С. 11.
9. Дневники Теодора Шварца. Из частного архива семьи Шварц-Майер-Кулен, банкира Санкт-Петербурга. 1917–1922. С 1922 г. жил в Берлине.
10. *Багдасарян, В.Э.* Историография русского зарубежья: Н.И. Ульянов / Российская АН, Институт этнологии и антропологии / М. 1997, С. 6.
11. Беседа автора статьи с С. Л. Голлербахом. Нью-Йорк, 03.09.2018.
12. *Базанов, П.Н.* Петропольский Тацит в изгнании. Жизнь и творчество русского историка Николая Ульянова / СПб, 2018, С. 49.
13. Там же. С. 69.
14. *Багдасарян, В.Э.* Историография русского зарубежья: Н.И. Ульянов / Указ. изд., С. 8.
15. *Базанов, П.Н.* «Петропольский Тацит» в изгнании... С. 72.
16. Беседа автора статьи с С.Л. Голлербахом, Нью-Йорк, 04.09.2018.
17. *Ульянов, Н. И.* «Дело Ульянова» / Нью-Йорк: «Новое русское слово». 1961. 5 янв. С. 2.
18. Беседа автора статьи с С.Л. Голлербахом. Нью-Йорк, 03.09.2018.
19. *Пушкарёв, С. Г.* Россия в 19 в. / Нью-Йорк: Изд.им. Чехова, 1956. Также: *Пушкарёв, С. Г.* Самоуправление и свобода в России / Франкфурт: Посев, 1985.
20. Михаил Николаевич Покровский (1868–1932), советский историк-марксист, общественный и политический деятель. Лидер советских историков в 1920-е годы, глава марксистской исторической школы в СССР. Член РСДРП(б) с апреля 1905 года. С 1908 по 1917 гг. жил в эмиграции в Финляндии, Франции. В 1918 г. участвовал как историк-консультант в подписании Брест-Литовского мира. С мая 1918 г. – заместитель Луначарского, министра просвещения.
21. *Быкова А. Г., Рыженко В. Г.* Курс лекций «Культура Западной Сибири: История и современность». Глава «Исторические взгляды М. Н. Покровского» / Омск. 2001.
22. Уже перед своей кончиной М.Н. Покровский в апреле 1932 г. способствовал аресту и ссылке в советские лагеря большой группы историков, чья карьера пришлась на предреволюционную пору.
23. По материалам книги «Академическое дело 1929-1931 гг.: Документы и материалы следственного дела, сфабрикованного ОГПУ». Вып. 1: Дело по обвинению академика С.Ф. Платонова / СПб., 1993; Вып. 2: Дело по обвинению академика Е.В. Тарле. Ч. 1-2 / СПб., 1998.
24. Академия Наук СССР как правопреемница Российской Академии наук (1917–1925) была создана в 1925-м и до 1934 года находилась в Ленинграде, затем переехала в Москву.
25. Беседа автора статьи с С.Л. Голлербахом в Нью-Йорке, 03.09.2018.
26. Три дочери из шести взрослых детей проф. Платонова скончались в блокаду Ленинграда, сына расстреляли в 1942 году.
27. *Ульянов, Н.И.* Русские историки XX века / «Новое русское слово», 27 марта 1958 года.
28. *Базанов, П.Н.* Указ. соч. С. 72.
29. Там же. С. 81.

30. Там же. С. 95.
31. *Багдасарян, В.Э.* Указ. соч. С. 18.
32. *Базанов, П.Н.* Указ. соч. С. 98.
33. *Базанов, П.Н.* Там же. С. 95
34. История университета восходит к 1916 г., когда в Архангельске был создан Учительский институт. В 1920-е гг. преобразован в Архангельский практический институт народного образования. 23 октября 1932 г. решением Краевого исполнительного комитета Северного края был создан Архангельский вечерний педагогический институт с отделениями физики, истории, литературы, биологии. В 1938 г. преобразован в Архангельский государственный педагогический институт (АГПИ). С мая 2011 г. в составе Северного (Арктического) федерального университета.
35. Учительские институты стали учреждаться со времени издания положения о городских училищах от 1872 г., с целью подготовки преподавательского состава. К 1 января 1878 г. действовало девять учительских институтов (599 учащихся), включая два еврейских (269 учащихся). После революции 1905–1907 гг. учительские институты стали открытыми учебными заведениями, принимавшими лиц мужского пола всех званий и состояний.
36. Здание Духовной семинарии было построено в 1908–1910 гг. по проекту архитектора Василия Андросова. После вывода частей Антанты в 1920-м из Архангельска Духовная семинария была закрыта.
37. Учреждена в 1723 г. в Холмогорах. Содержалась Духовная школа на средства архиерейского дома. Первоначально (до 1730 г.) именовалась «Славено-русской школой».
38. Лагерь в Ухте (Чибби) насчитывал на лето 1933 г. 4666 заключенных, 206 вольнонаемных, 421 колонизированного, 313 спецпереселенцев. Т.н. «колонизированные поселки» создавались в 1930-х гг. для проживания и работы заключенных, к которым могли приехать их семьи. Такая практика называлась «перевод заключенного на колонизацию» (лагерную).
39. В 1919 году ВЧК учредила ряд принудительных трудовых лагерей в Архангельской губернии: в Пертоминске, Холмогорах и рядом с Архангельском. Лагеря существовали на хозрасчете. Соловецкий трудовой лагерь с подчинением подотделу принудительных работ Архгубисполкома предназначался для заключенных военнопленных Гражданской войны. Просуществовал до 1939-го, до начала Советско-финской войны.
40. В 1938 году для строительства Архангельского целлюлозно-бумажного комбината («Мечкастрой») и Архангельского судостроительного завода (завод № 402) были организованы Архангельский и Ягринский исправительно-трудовые лагеря НКВД.
41. *Хлевнюк, О. В.* История ГУЛАГа: от коллективизации до большого террора. 2004. С. 9.
42. Сайт Александра Копейна: ГУЛАГ и спецпереселенцы Архангельской губернии. URL: <https://alex-kopein.livejournal.com/60673.html>
43. Указанные беседы автора статьи с С.Л. Голлербахом.
44. *Базанов, П.Н.* Указ. соч. С. 99
45. *Базанов, П.Н.* Указ. соч. С. 82.
46. Там же. С. 99.
47. О Б.М. Зубакине см.: «Вы, сударь, изумительно талантливый человек...»: к 125-летию Б. М. Зубакина (1894–1938): Библиогр. список / Сост. Е. И. Тропи-

- чева. Архангельск, 2019, С. 8; *Дойков, Ю. В.* Борис Зубакин и Владимир Пяст. Письма из ссылки в ссылку / *Ю. Дойков*. Невельский сборник: статьи, письма, воспоминания. СПб., 1998. Вып. 3. С. 111-116; *Волынская, А. В.* Потерянная рукопись. О книге Бориса Зубакина «Новое и забытое о Ломоносове» 1930–1931 гг. / *А. В. Волынская*. М. В. Ломоносов – великий сын России : материалы Междунар. науч. конференции / Архангельск, 2011. С. 174-177.
48. *Базанов, П.Н.* Указ. соч. С. 138.
49. О судьбах первой жены Ульянова и его сына ничего неизвестно. Предположительно, они скончались во время блокады Ленинграда.
50. *Базанов П.Н.* Указ. соч. С. 152-153.
51. *Голлербах С.Л.* Надежда Николаевна Ульянова // Нью-Йорк: «Записки Русской академической группы в США». Т XXXIII. 2004. С. 280.
52. Одними из первых советских лагерей считаются принудительно-трудовые лагеря в Архангельской губернии. В начале 1923 года ГПУ, сменившее ВЧК, предложило увеличить количество северных лагерей, построив новый лагерь на Соловецком архипелаге.
53. *Шульгина, М.В.* Развитие производственной деятельности Соловецких лагерей особого назначения в 1923–1930 гг.: Стратегии и дискуссии / «Молодой ученый». Вып. 14. 2010. С. 240-243.
54. *Моруков, Юрий.* «Соловецкий лагерь особого назначения (1923–1933 гг.)» / Альманах «Соловецкое море». № 3. 2004.
55. *Волков, О. В.* Погружение во тьму / М.: «Молодая гвардия». 1989.
56. Сайт «Мемориал». URL: [http:// archive.org](http://archive.org)
57. Указ. беседы автора статьи с С.Л. Голлербахом.
58. На месте лагеря в 1990 г. был создан Музейный мемориальный комплекс «Норильская Голгофа», собрание национальных мемориалов, памятников русским, литовцам, эстонцам, полякам, евреям. Комплекс был организован по инициативе Музея истории Норильского промышленного района и городского общества «Мемориал», усилиями энтузиастов Норильска, стран Прибалтики, Польши, при поддержке администрации города и ГМК «Норильский никель».
59. Система исправительно-трудовых лагерей в СССР. URL: <http:// memo.ru>
60. Биографии известных людей – заключенных Норильлага. История Норильска и Норильлага. URL: <http:// LiveJournal>
61. *Багдасарян, В.Э.* Указ. соч. С. 29.
62. Там же.
63. Сообщение директора Музея истории ГУЛАГа Романа Романова / «Коммерсант». 2014. URL: <http:// kommersant.ru/doc/3652040>
64. Приказ № 227 Народного комиссара обороны СССР И.В. Сталина был публично зачитан личному составу Красной армии; широкие массы узнали об этом лишь на волне перестройки в августе 1988 года.
65. Судьба военнопленных и депортированных граждан СССР. Материалы Комиссии по реабилитации жертв политических репрессий / М.: РАН. Новая и новейшая история. 1996. № 2. С. 91-112.
66. Массовая сдача в плен отражена в статистике осужденных красноармейцев после введения в силу Приказа № 227. Общее количество личного состава Красной армии, осужденного по этой статье, составило 994300 человек, из них 436600 отправились в места лишения свободы после вынесения приговора. Через штрафные подразделения (роты и батальоны) за период с сентября 1942 г. по май 1945 г. прошло 427 910 человек. Не включены в статистику

- 212400 дезертиров, которые не были найдены либо были направлены заградительными отрядами к месту службы. Отменили заградительные отряды лишь Приказом № 0349 от 29 октября 1944 года. См.: *G. I. Krivosheev. Soviet Casualties and Combat Losses. Greenhill, 1997. Pp. 91-92.*
67. Беседа автора статьи с С.Л. Голлербахом в Нью-Йорке, 05.09.2018.
68. *Лопуховский, Л. Н. Вяземская катастрофа 41-го года / М.: Яуза, Эксмо, 2007, С. 25.*
69. См.: *Roberts, Geoffrey. Stalin's Wars: From World War to Cold War, 1939–1953 / New Haven, CT; London: Yale University Press, 2006; Dimensionen eines Verbrechens / Dimensions of a Crime: Sowjetische Kriegsgefangene im Zweiten Weltkrieg / Soviet Prisoners of War in World War II // Taschenbuch, 2021; Poljan, Pavel. Deportiert nach Hause: Sowjetische Kriegsgefangene im «Dritten Reich» und ihre Repatriierung: Sowjetische Kriegsgefangene im «Dritten Reich» und ihre Repatriierung (Kriegsfolgen-Forschung).*
70. *Keller, Rolf. Sowjetische Kriegsgefangene im Deutschen Reich 1941-42: Behandlung und Arbeitseinsatz zwischen Vernichtungspolitik und kriegswirtschaftlichen Zwängen: ... der Stiftung niedersächsische Gedenkstätten/ Verlag Wallstein, Celle, 2011.*
71. Немецкие лагеря для военнопленных во время Второй мировой войны. URL: <http://oldat.ru>
72. *Багдасарян, В.Э. Указ. соч. С. 29.*
73. *Ульянов, Н.И. Первого призыва. В: Под каменным небом / Нью-Хэвен, 1970. С. 97, С.13.*
74. По директиве Главного командования намечалось к 15.07.1941 завершить строительство оборонительного рубежа Кингисепп, Толмачёво, Огорели, Бабино, Кириши и далее по западному берегу реки Волхов, а также отсечной позиции Луга, Шимск. На строительстве оборонительных сооружений общей протяженностью около 900 км ежедневно работали до 500 тыс. человек. Вокруг Ленинграда система обороны включала несколько поясов. На ближних подступах к городу с юго-запада и юга строился Красногвардейский укрепленный район. Оборонительные сооружения с узлами сопротивления создавались и по линии Петергоф (Петродворец), Пулково.
75. *Голлербах, С.Л. Надежда Николаевна Ульянова / Указ. изд. С. 281.*
76. *Базанов, П.Н. В кн.: П.Э. Багдасарян. Историография Русского Зарубежья: Николай Иванович Ульянов / Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухи-Маклая РАН // М, 1997. С. 30.*
77. Беседа автора с С.Л. Голлербахом, 5.09.2018.
78. Сравнительный анализ: Перепись 1959 года, Демоскоп Weekly. Приложение. Справочник статистических показателей. URL: <http://demoscope.ru>
79. *Schiller, Thomas. NS-Propaganda für den “Arbeitseinsatz”. Lagerzeitungen für Fremdarbeiter im Zweiten Weltkrieg: Entstehung, Funktion, Rezeption und Bibliographie / LIT Verlag, Hamburg, 1997. Linne Karsten, Dierl Florian (Hrsg.): Arbeitskräfte als Kriegsbeute. Der Fall Ost- und Südosteuropa / Metropol Verlag, Berlin, 2011.*
80. *Tessin, George. Verbände Und Truppen der Deutschen Wehrmacht Und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939–1945. Vol. IV / Biblio Verlag, Osnabrück, 1976.*
81. Распределительный лагерь, откуда прибывшую принудительную рабочую силу распределяли далее в другие рабочие лагеря при предприятиях

тяжелой промышленности Германии. В Дахау не было сборного пункта с таким названием.

82. *Базанов, П.Н.* Указ. соч. С. 162-163.

83. Написание имени и фамилии в послевоенных списках Николая и Надежды Ульяновых разнится в использовании «v» или «w» (Uljanow / Uljanov), а также «j» / «i» (Nikolaj/Nikolai).

84. *Kogon, Eugen.* Der SS-Staat. Das System der deutschen Konzentrationslager. Christa Schikorra. Kontinuitäten der Ausgrenzung. «Asoziale» Häftlinge im Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück / Berlin, Metropol, 2001.

85. Ответ Альберта Кнолля на запрос автора статьи о чете Ульяновых, от 31.01.2023 (телефонат 24.01.2023 и электронное сообщение от 31.01.2023).

86. 30 апреля 1945 года лагерь «Муна» был освобожден частями Американской армии, в 1958 г. отдельные участки комплекса были переданы в собственность Бундесверу. В 2007 г. закончилась военная эра этого комплекса, началось общественное обсуждение об использовании территорий в музейно-культурных целях и как лесной массив для отдыха. В 2011 г. на территории бывшего лагеря были обнаружены скелеты 21 ребенка в возрасте от 6 до 11 лет, скончавшихся в 1943 г., как подтвердили специалисты. В связи с этим возведение музейно-культурного центра было отложено. Установлен камень в память погибших рабочих. См: *Christina Hertel.* Muna-Areal soll Erholungsgebiet werden. In *Sueddeutsche.de.* 25. Oktober 2017.

87. DAF был создан 10 мая 1933 г. в противовес свободным профсоюзам рабочих Германии, позднее уничтоженным; весь финансовый фонд был национализирован в пользу партии национал-социалистов НСДАП. См: *Hachtmann, Rüdiger.* Das Wirtschaftsimperium der Deutschen Arbeitsfront 1933–1945 / Wallstein, Göttingen. 2012.

88. BMW был основан Карлом Рapp (Karl Rapp) и Густавом Отто (Gustav Otto) изначально как производство моторов самолетов в 1916 г., имел аббревиатуру BFW (Bayerische Flugzeug Werke) а не BMW (Bayerische Motoren Werke).

89. Сайт фирмы: www.shcm.es

90. С 1963 г. предприятие было перенесено в Испанию, в порт Таррагона. Сегодня это одно из самых крупных нефтехимических перерабатывающих предприятий в Южной Европе.

91. «Организация Тодт» была основана в 1938 г., по имени ее организатора Фритца Тодта (1891–1942). Была парамилитаристской строительной организацией. С 1940 г. включена в состав Министерства амуниции и вооружения Альберта Шпеера. Силами заключенных «ОТ» выстроила знаменитый «Западный Вал» – сооружение на французском побережье Атлантики для размещения подводных лодок, в 1943 г. были выстроены подземные заводы для производства ракет V1+ V2.

92. Перевод автора статьи / Региональная газета «Münchener Wochenanzeiger» от 25.09.2019. К юбилею освобождения лагеря Аллах.

93. Данные местного краеведа Вальтера Деммеля (Walter G. Demmel).

94. UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration), В русс. написании встречается как УНРРА и ЮНРРА. Создана в 1943 г. для оказания помощи в освобожденных районах. 52 страны-участницы внесли средства в размере 2% от их национального дохода. Более половины всех средств поступило от США, все три генеральных директора УНРРА были американцами. Порядка 4 млрд долларов было потрачено на снабжение продовольствием и

медикаментами, восстановление коммунальных услуг, сельского хозяйства и промышленности. Большая часть помощи поступила в Китай, Чехословакию, Грецию, Италию, Польшу, Белорусскую ССР, Украинскую ССР и Югославию. При содействии УНРРА около 7 миллионов «перемещенных лиц» вернулись на родину. Были созданы лагеря для «перемещенных лиц», где размещалось около 1 миллиона беженцев, не пожелавших вернуться.

95. ИРО (International Refugee Organization, IRO) – организация, сменившая УНРРА по юридической ответственности за Ди-Пи в Германии, Австрии, Италии с 1 июля 1947 г. по июнь 1951 года. Позднее все полномочия были переданы Федеральному правительству ФРГ.

96. Repatriacija sowjetskich graschdan, Moskwa 1945, S. 29. In: SMAD-Handbuch. Die Sowjetische Militäradministration in Deutschland 1945–1949, Hrsg. Horst Möller, Alexander O. Tschubarjan / Oldenburg Verlag, München, 2009, S. 419.

97. Бараки бывшего нацистского лагеря Аллах использовались в 1948–1951 годах как лагерь для немецких переселенцев из Чехословакии (StEG-Lager), с середины 1951 года – для солдат Бундесвера и немецких беженцев.

98. Приказ наркома обороны СССР № 227.

99. С января 1946 г. репатриационные офицеры получили подкрепление (бригады в 5–7 человек) от СМЕРША для деятельности по выявлению советских граждан в американских лагерях и для пропаганды программы возвращения на родину. Нередки были случаи нападения на них со стороны Ди-Пи.

100. Б.И. Николаевский продал свой значительный по объему и содержанию архив по истории революционного движения в России в 1963 г. Гуверскому институту войны, революции и мира при Стэнфордском университете; до своей кончины в 1966 г. был его директором.

101. Для решения проблемы Ди-Пи ИРО предложила в 1947–1953 гг. Программу по расселению Ди-Пи по рабочей квоте в страны Северной и Южной Америки, Австралию или отдельные европейские страны. Для выезда депортированных были созданы Опросные Комиссии в нескольких пунктах американской и британской зон оккупации Германии. Выезд больных людей (прежде всего, с туберкулезом) был запрещен. Этой категории лиц предстоял сложный процесс социальной интеграции в немецкое послевоенное общество после принятия закона об иностранцах без подданства в 1951 г., когда юридическое попечение о Ди-Пи перешло в ведомство правительства ФРГ.

102. Беседа автора статьи с С.Л. Голлербахом в Нью-Йорке, 5.09.2018.

103. Большое количество оставшихся в Германии Ди-Пи были граждане СССР или происходили из стран, вошедших в соцлагерь после войны. Для продолжения благотворительной работы по обеспечению «перемещенных лиц» в Европе, прежде всего в послевоенной Германии, было принято решение об основании International Refugee Organization (IRO). Сознательно был выбран широкий по смыслу термин «Refugee» (беженцы), что предполагало включение в программу этнических немцев.

104. Фольксliste – сокращение от «Deutsche Volksliste» (Германский народный список) – название документа, введенного для этнических немцев, проживавших до начала Второй мировой войны на территории Польши (Восточная Пруссия и Западная Пруссия, Вартегау, Верхняя Силезия). Позднее в группу «Фольксliste» вошли лица немецкого происхождения, проживающие в Рейсхкомиссарате Франции и Украины. Процедура получения немецкого гражданства в период нацизма предусматривала строгую селекцию по этни-

ческому признаку. Было четыре группы немецкого гражданства с предоставлением прав и привилегий в зависимости от принадлежности к той или иной группе.

105. EWZ – немецкая аббревиатура для «Einwandererzentralstelle» (Главный Центр по иммиграции), созданный нацистами в октябре 1939-м в городе Готенхафен (польск. Гдыня) для получения немецкого гражданства для 1 млн этнических немцев по расово-биологическим критериям.

106. Перевод сделан автором статьи.

107. Номер американского лагеря Ди-Пи № 107 без указания номера карточки Ди-Пи подтверждает то, что она не была дипийкой, но работала там в качестве лечащего врача.

108. Об этом лагере и о всех упомянутых в этой статье подробно написано нами в НЖ за 2021 г. в статье о поэте Иване Елагине. Лагерь был многонациональный, преимущественно там жили поляки, украинцы, представители прибалтийских стран. Общая численность лагеря в 1947 г. достигала 7 тысяч человек, группа русских Ди-Пи – 1 тысяча человек.

109. В других списках, представленных нами, Надежда Ульянова ошибочно указана с годом рождения «1916».

110. Хелмно (нем. Kulmhof, Кульмхоф; 1941–1945 гг.) первый нацистский концентрационный лагерь смерти, предназначенный для уничтожения евреев и цыган, созданный в оккупированной Польше. Располагался недалеко от города Домбе, рейхсгау Вартеланд, в 70 км к западу от Лодзи. Лагерь состоял из двух частей, удаленных на четыре километра друг от друга: замок в деревне Хелмно и т.н. «лесной лагерь» в соседнем Жуховском лесу.

111. *Базанов, П.Н.*, Петропольский Тацит. С. 182

112. Чтобы осмыслить историю русской эмиграции в Марокко, отсылаем читателя к интересной книге: *Сухов, Н.В.* История русской эмиграции в Марокко в XX в. / Институт востоковедения РАН, М., 2019.

113. Георгий Владимирович Вернадский (George Vernadsky, 1887–1973) русский и американский историк-евразиец. После захвата власти большевиками переехал в Пермь, потом в Симферополь, был профессором Таврического университета. В сентябре 1920-го эвакуировался вместе с армией Врангеля в Константинополь. Жил в Афинах, Праге. С 1927 г. в США, с 1931 г. в Йельском университете. В 1956 г. вышел в отставку.

Мюнхен

Юкио Накано

«Новый Журнал». 1950-е годы*

В данной статье рассматривается история «Нового Журнала» на основе эпистолярного наследия его редакторов и авторов из материалов Бахметевского архива Колумбийского университета в США; особое внимание уделяется периоду редакторства проф. Михаила Карповича в поздние 1940-е и в 1950-е годы.

Если сравнить «Новый Журнал» с другими русскими изданиями, то следует отметить, что он имеет самую долгую историю, выходя непрерывно в течение 80 лет. «Континент» и «Грани» в свое время переехали в Москву и освоили российский контекст, контент парижской «Русской Мысли» значительно изменился, а «Новое русское слово» прекратило свое существование.

Как вспоминал Роман Гуль в год сорокалетия журнала, Анна Ахматова через «известного русского слависта» передала привет редакции «Нового Журнала», заметив, что внимательно читает его¹. По словам Гуля, от «литератора-француза русского происхождения», ездившего в Москву, он узнал, что тот видел НЖ и в редакции «Нового Мира»².

Роман Гуль в 1967 году разделяет историю журнала на три периода: с первого номера в 1942 году до конца Второй мировой войны, с конца войны до смерти Сталина в 1953 году и с 1953-го до настоящего времени (1967)³. Первый период совпадает с периодом редакторства Марка Алданова, Михаил Карпович работал в журнале с 1946 по 1959 год. Сам Роман Гуль прожил с журналом долгие тридцать пять лет, до кончины в 1986 году.

Несколько раз журнал оказывался перед угрозой закрытия. На страницах русской эмигрантской газеты «Новое русское слово» Михаил Карпович в 1959 году и Андрей Седых в 1979 году обратились к читателям, чтобы собрать пожертвования на «Новый Журнал»⁴. Светлана Аллилуева, иммигрировавшая в США дочь Сталина, выделила на поддержку издания 5000 долларов из гонорара

* Доклад «New Review and Russian Émigré Editors in Correspondence» на английском был прочитан на международной конференции славистов ASEES в октябре 2022 на секции «Exterritoriality and Russian Émigré Literature: Dedicated to the 80th Anniversary of The New Review / Novyi Zhurnal», организованной «Новым Журналом».

за свою первую книгу⁵. Как отмечает Белла Езерская, сравнивая «Новый Журнал» с «Континентом» и «Гранями», решение остаться в Нью-Йорке после распада СССР в 1991 году оказалось правильным и сохранило журналу «собственное лицо»⁶.

По оценке М. Адамович, финансирование журнала в первые послевоенные десятилетия было «связано и с изменением самой американской политики в отношении Советского Союза – с началом Холодной войны»⁷, «спонсорская политика определялась всегда внутренними задачами самих фондов и общим характером государственной политики, а не литературными потребностями эмиграции и ее периодических изданий»⁸.

Согласно переписке, Михаил Карпович в 1940-х годах заботился о послевоенной творческой русской эмиграции, всячески помогал ей. Так, 22 ноября 1949 года Карпович попросил Николая Вредена помочь Юрию Иваску «устроиться по книжному делу»⁹. Николай Вреден был директором Издательства имени Чехова в Нью-Йорке, до этого он работал менеджером книжного магазина издательства «Скрибнер» (Scribner)¹⁰. В письме от 15 декабря 1949 года геологу Павлу Гудкову профессор Карпович просит поддержать и дипийца Владимира Маркова, поэта, историка русского модернизма, после приезда в США работавшего на апельсиновых плантациях в Калифорнии¹¹. В письме Карповичу от 7 марта 1950 года Сергей Зеньковский попросил его о возможности помочь Маркову стать научным сотрудником (research fellow) в Гарварде¹². В 1955 году 150 экземпляров журнала из тиража в одну тысячу были бесплатно розданы новым эмигрантам¹³.

14 февраля 1953 года Карпович написал Устав журнала для получения статуса общественной организации в формате корпорации. В данном документе М. Карпович определяет цели «журнала на русском языке»¹⁴:

– Служить инструментом для творческой деятельности писателей и исследователей из числа русских эмигрантов и, таким образом, обеспечить развитие свободной русской мысли, невозможное теперь в России из-за коммунистического контроля.

– Знакомить русских эмигрантов, особенно послевоенных беженцев, с западной, особенно американской, жизнью и мыслью; выделять тесную связь между западной мыслью и лучшими традициями русской культуры; и, таким образом, помочь русским беженцам интегрироваться в американскую жизнь.¹⁵

В письме Восточно-Европейского фонда¹⁶ Михаилу Карповичу от 14 ноября 1955 года подчеркивается, что грант выделяется журналу, который ставит целью помочь русским иммигрантам сохранить добольшевистскую традицию¹⁷. Михаил Карпович в Уставе пишет:

«Ни одно из направлений деятельности [журнала] не будет содержать пропаганды или любых подобных попыток повлиять на законодательство. Новый Журнал будет приветствовать выражение всех беспристрастных оттенков мысли, за исключением тех, что отражают все тоталитарные тенденции, независимо – коммунистические или фашистские»¹⁸.

Как было обозначено в редакционной статье (НЖ, № 1, 1942), страницы журнала открыты «писателям разных направлений – разумеется... люди, сочувствующие национал-социалистам или большевикам, у нас писать не могут». В обращении, написанном Романом Гулем в Восточно-Европейский фонд от 10 января 1952 года, уделяется особое внимание новым эмигрантам-писателям, нуждающимся в финансовой поддержке. Гуль упоминает, что «Новый Журнал» издал статьи Михаила Корякова, бывшего офицера Красной армии, сбежавшего из советского посольства в Париже в Бразилию; стихи С. Юрасова (В.И. Жабинский), советского подполковника, бежавшего в 1946 году в Западный Берлин; воспоминания Н. Войнова, бывшего советского беспризорника; поэтов Елагина, Кленовского, Маркова и других¹⁹.

Марк Алданов, первый главный редактор «Нового Журнала» (наряду с М. Цетлиным), имел большой журнальный опыт работы еще в Европе: «Дни», «Последние Новости», «Грядущая Россия» и «Современные Записки». Идея издать «Новый Журнал» в США была связана с идеей восстановления «Современных Записок», переставших выходить в 1940-м. Иван Бунин разделял эту мечту с Алдановым. В письме от 25 октября 1941 Алданов сообщает: «...наш журнал почти осуществлен, иными словами, обеспечена уже одна книга и есть надежда на вторую. В первой на первом месте появятся 'Руся' и 'В Париже'... во второй книге, если она выйдет... мы напечатаем 'Натали'; это, по-моему, самый лучший и просто изумительный рассказ, одна из лучших Ваших вещей вообще... Журнал мы редактируем с Цетлиным...»²⁰

Алданов был одним из основателей журнала. Но в документах об учреждении «Нового Журнала» и тексте Устава, написанном Карповичем, от 14 февраля 1953 года основателем журнала назван Михаил Цетлин. Журнал издавался под началом Цетлина (и во многом – на деньги его семьи и гонорары Алданова) с последующим активным подключением к работе Михаила Карповича.

Карпович вспоминает о первых годах в редакции журнала: «Первые девять с половиной лет существования журнала он сильно страдал от недостатка средств. В те годы не только редакционная работа, но и практически вся техническая работа выполнялась на основе волонтерства, без вознаграждения; авторам платили, но копеечные гонорары»²¹.

Михаил Карпович был единственным человеком, который мог

подавать на гранты Фонда Форда. Главным редактором он работал без какого-либо вознаграждения; помощник редактора и машинистка получали скромную зарплату: согласно «Доходам и расходам *Нового Журнала* в 1954 году», ответственный секретарь получал 250 долларов в месяц, секретарь-машинистка – 150 долларов²². Расходы на зарплату за один год составляли 4800 долларов. Все другие сотрудники, как отмечалось выше, работали на добровольной основе²³.

После смерти Карповича в 1959 году Роман Гуль стал главным редактором. В письме Р. Гуля к Ф. А. Мозли от 26 января 1953 года он говорит о финансовом кризисе журнала:

1. Типография Братьев Раузен категорически требует оплаты за № 31, который уже вышел и рассылается подписчикам. Из-за того, что мы не можем уплатить за кн. 31, у нас задерживается набор № 32, и он не может выйти вовремя. Мы должны Раузену 1493 доллара.

2. Ко мне приходят авторы за гонораром за материал, опубликованный в № 31. Я никому ничего не могу заплатить, ибо у нас в банке ничего нет...

Я совершенно не знаю, что мне делать. Кредиторы наступают на меня со всех сторон. И я не могу даже обещать им, что мы оплатим [долги].²⁴

Согласно «Доходам и расходам» 1954 года, Гуль сумел получить субсидию в размере 20565 долларов от Восточно-Европейского Фонда. Благодаря этому удалось преодолеть финансовый кризис.

«Новый Журнал» был основан как общественная организация «исключительно в благотворительных, научных, литературных и образовательных целях»²⁵. Возможно, Карпович позаимствовал эту стандартную формулировку из Сертификата корпорации Гуманитарного Фонда (Humanities Fund, Inc.):

ВТОРОЕ: цель, с которой основана организация:

(а) использовать фонды и активы корпорации в некоммерческих, но исключительно в благотворительных, научных и образовательных целях...

ТРЕТЬЕ: Никакая часть чистого дохода корпорации не поступит частным или физическим лицам, и ни один член, служащий или работник корпорации, не получит или не будет иметь по закону право получать денежную выгоду любого рода...²⁶

По-видимому, Карпович сам подчеркнул карандашом одну из фраз документа. Подобные формулировки были в США стандартными для этого типа общественных некоммерческих организаций, создаваемых с общекультурными целями. «Новый Журнал» был тоже задуман как некоммерческая, хотя и издательская, корпорация «исключительно в благотворительных, научных и образовательных целях».

В письме Мозли к Карповичу от 4 июня 1953 года говорится о

положительном решении в утверждении «Нового Журнала» некоммерческой корпорацией штата Нью-Йорк²⁷. Официальный Сертификат (хранящийся и ныне в редакции журнала) выписан 22 июня 1953 года.

Программы поддержки русской эмиграции в рамках Холодной войны были свернуты в середине 1960-х годов. Наступила «оттепель» в отношениях США и СССР. Роспуск Восточно-Европейского Фонда в 1965 году привел к закрытию Издательства имени Чехова и к остановке выдачи грантов эмигрантским организациям. Фонд Форда решил напрямую финансировать отдельные проекты, непосредственно связанные с антисоветской пропагандой, а не с общими целями развития культуры диаспоры и ее адаптации к многокультурному американскому контексту²⁸. Это решение погрузило «Новый Журнал» в очередной финансовый кризис.

Однако Филип Мозли, глава Восточно-Европейского Фонда, принял шаги в поддержку издания. В письме Карповичу от 17 октября 1955 года он упоминает о ликвидации Издательства имени Чехова и о своих планах произвести перерасчет средств на нужды «Нового Журнала»: «Я ожидаю, что мои поиски будут исчерпаны в течение еще одной недели, и тогда я надеюсь обсудить с вами подробно планы повернуть закрытие Чехова в пользу Нового Журнала»²⁹. Кроме средств, оставшихся от Издательства имени Чехова, Мозли также упомянул о финансовой поддержке журнала со стороны YMCA. Мозли еще раз коснулся своих переговоров с YMCA о помощи НЖ после роспуска Восточно-Европейского Фонда. В письме от 3 мая 1956 года он пишет:

Я очень рад, что Восточно-Европейский Фонд может продолжать помогать работе Нового Журнала в текущем году. Мы сейчас ведем переговоры с Национальным советом ИМКА по поводу нашего предложения о предоставлении 20000 долларов (первоначально 25000 долларов, теперь минус 5000 долларов, которые переводятся уже сейчас) в поддержку в период с 1 января 1957 года. Все ранние прогнозы носят положительный характер, но на данный момент вопрос следует рассматривать строго конфиденциально между нами.³⁰

В письме от 30 января 1956-го Мозли также упомянул об «остатках средств Восточно-Европейского Фонда» и предложил Карповичу 2500 долларов в помощь изданию³¹.

Согласно финансовым документам «Нового Журнала» на 31 марта 1958 года, издание получило следующие субсидии:

От подписки – 1049.93

От Гуманитарного Фонда – 1000.00

От ИМКА – 6500.00³²

В письме от 9 февраля 1958 года М. Карпович поблагодарил доктора Пола Андерсона из YMCA за чек на 6500 долларов как грант на «Новый Журнал» в текущем году³³.

26 мая 1959 года в «Новом русском слове» Михаил Карпович опубликовал обращение к читателям о пожертвованиях на «Новый Журнал». Эта просьба отражает тяжелую финансовую ситуацию издания в 1959 году.

Михаил Михайлович Карпович скончался 7 ноября 1959 года. На посту главного редактора его сменил Роман Гуль, который уже работал помощником редактора и ответственным секретарем.

В заключение следует сказать, что функционирование и финансирование «Нового Журнала» в 1950-х годах было тесно связано с личной активностью его редакторов – Михаила Карповича и Романа Гуля. На основе архивных материалов мы хотели проанализировать проблему существования русской независимой прессы за рубежом и процесс создания русскоязычного интеллектуального сообщества в США. И Фонд Форда, и его филиал Восточно-Европейский Фонд, и ИМКА сыграли значительную роль в поддержке «Нового Журнала» и в сохранении добольшевистской русской культурной традиции эмиграции. Можно сказать, что в Русском Зарубежье «Новый Журнал» – единственный журнал, который сумел выжить и прослужить 80 лет интеллектуальным центром многонациональной русскоязычной диаспоры в ее рассеянии по миру.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Гуль. Роман. 40-летие «Нового Журнала» / Новое Русское Слово. 12 дек. 1982. С. 6.
2. Там же.
3. Раковский, Григорий. 25-летие «Нового Журнала» / «Новое русское слово». 11 апр. 1967. С. 3.
4. Карпович, Михаил. К друзьям и читателям «Нового Журнала» / «Новое русское слово». 26 мая 1959. С. 3; Седых, А. Судьба «Нового Журнала» / «Новое русское слово». 13 ноября 1979. С. 2.
5. Гуль. Р. 40-летие «Нового Журнала» / «Новое русское слово». 12 дек. 1982.
6. Езерская, Белла. Золотой юбилей / «Новое русское слово». 1 декабря 1992. С. 14.
7. Адамович, Марина. М.М. Карпович и «Новый Журнал» / «Новый Журнал», № 266, 2012. С. 276.
8. Там же. С. 277.
9. Michael Karpovich Papers. Series 2, Box 6. Bakhmeteff Rare Books and Manuscript Archive, Columbia University. Letter of 22 November 1949 from Michael Karpovich to Nikolai Wreden.
10. Накано, Юкио. Американский период Марка Алданова / «Новый Журнал». № 286. 2017. С. 310.
11. Michael Karpovich Papers. Series 2, Box 6. Bakhmeteff Rare Books and Manuscript Archive, Columbia University. Letter of 15 December 1949 from Michael Karpovich to Vladimir Gudkov.
12. Michael Karpovich Papers. Series 2, Box 6. Bakhmeteff Rare Books and Manuscript Archive, Columbia University. Letter of 7 March 1950 from Sergei Zenkovsky to Michael Karpovich.

13. Michael Karpovich Papers. Series 2, Box 6. Bakhmeteff Rare Books and Manuscript Archive, Columbia University. Note on the Circulation of the New Review. Letter of 14 November 1955 from Michael Karpovich to Ford Foundation.
14. Michael Karpovich Papers. Series 2, Box 6. Bakhmeteff Rare Books and Manuscript Archive, Columbia University. Constitution of the New Review. 14 February 1953.
15. «(1) to provide a vehicle for the creative activity of writers and scholars from among Russian emigrants, and thus to insure the development of free Russian thought which has been made impossible in Russia by the establishment of Communist control; (2) to acquaint Russian emigrants, particularly the post-war refugees, with Western, and especially American, life and thought; to emphasize the close relationship between Western thought and the best traditions of Russian culture; and in these ways to help the Russian refugees to become integrated in American life.» / Michael Karpovich Papers. Series 2, Box 6. Bakhmeteff Rare Books and Manuscript Archive, Columbia University. Constitution of the New Review. 14 February 1953.
16. Free Russia Fund / East European Fund (1951–1961), создан на базе Ford Foundation с целью моральной и материальной поддержки эмигрантов из СССР для помощи их адаптации в свободном западном обществе и распространения правды о Советском Союзе среди американцев.
17. Michael Karpovich Papers. Series 2, Box 6. Bakhmeteff Rare Books and Manuscript Archive, Columbia University. Letter of 18 December, 1952 from East European Fund to Michael Karpovich.
18. «...no part of its activities shall consist of carrying on propaganda, or otherwise attempting, to influence legislation. With the exception of all totalitarian trends, whether of the Communist or Fascist variety, The New Review shall welcome the expression of all shades of thought on a non-partisan basis.» / Michael Karpovich Papers. Series 2, Box 6. Bakhmeteff Rare Books and Manuscript Archive, Columbia University. Constitution of the New Review. 14 February 1953.
19. Michael Karpovich Papers. Series 2, Box 6. Bakhmeteff Rare Books and Manuscript Archive, Columbia University. Memorandum written by Roman Gul on 10 January 1952.
20. *Грин, М.* Письма М.А. Алданова к И.А. и В.Н. Буниным / «Новый Журнал», № 81 (1965). С. 119.
21. «During the first nine and a half years of its existence the journal was greatly handicapped by the lack of sufficient means. In those years not only the editorial work, but practically all of the technical work as well is done on a voluntary basis without remuneration(sic), and the contributors were paid but token fees.» / Michael Karpovich Papers. Series 2, Box 6. Bakhmeteff Rare Books and Manuscript Archive, Columbia University. Letter of 14 November 1955 from Michael Karpovich to Ford Foundation.
22. Michael Karpovich Papers. Series 2, Box 6. Bakhmeteff Rare Books and Manuscript Archive, Columbia University. Income and Expenses of the New Review in 1954.
23. Ibid.
24. «1. Printing House BR Rauzen categorically demands the payment for the 31st issue, which already came out and was distributed to the subscribers. Due to the fact that we can't pay for the 31st issue, setting the 32 issue is delayed and it won't come out in time. We owe 1493 dollars to Rauzen.

2. The authors come to me to receive the royalty for the materials published in the 31st issue. I can't pay anything to anyone, because we don't have anything in the bank... I absolutely don't know what to do. Creditors come to me from all sides. And I can't even promise to them when we will pay.» / Michael Karpovich Papers. Series 2, Box 6. Bakhmeteff Rare Books and Manuscript Archive, Columbia University. Letter of 26 January 1953 from Roman Goul to P.A. Mosely.
25. Michael Karpovich Papers. Series 2, Box 6. Bakhmeteff Rare Books and Manuscript Archive, Columbia University. Constitution of the New Review. 14 February 1953.
26. «HUMANITIES FUND, INC. <...> SECOND: The purpose for which it is formed are: To employ the funds and assets of the Corporation not for profit but exclusively for charitable, scientific and educational purposes. THIRD: No part of the net income of the corporation shall inure to the benefit of any private member or individual, and no member, officer, or employee of the Corporation shall receive or be lawfully entitled to receive any pecuniary profit of any kind therefrom.» / Michael Karpovich Papers. Series 2, Box 6. Bakhmeteff Rare Books and Manuscript Archive, Columbia University. Certificate of Incorporation of Humanities Fund, Inc. pursuant to the Membership Corporation Law.
27. Michael Karpovich Papers. Series 2, Box 6. Bakhmeteff Rare Books and Manuscript Archive, Columbia University. Letter of 4 June 1953 from P.E. Mosely to M.M. Karpovich.
28. *Chester, Eric Thomas*. Covert Network. Progressives, the International Rescue Committee and CIA. Routledge: New York, 1995. P. 248.
29. «I expect that my exploration will be exhausted within another week and at that time I shall hope to discuss in detail with you plans for turning the termination of Chekhov to the advantage of *Novy Zhurnal*.» / Michael Karpovich Papers. Series 2, Box 6. Bakhmeteff Rare Books and Manuscript Archive, Columbia University. Letter of 17 October 1955 from P.E. Mosely to M.M. Karpovich.
30. «I am very glad that the EEF can continue to assist the work of *Novy Zhurnal* during the current year. We are now negotiating with the National Board of the YMCA concerning our proposal to provide \$20,000 (originally \$25,000, now minus the \$5,000 to be transferred now) for support in the period beginning January 1, 1957. All early indications are favorable, but the matter should be treated as strictly confidential between you and me for the time being.» / Michael Karpovich Papers. Series 2, Box 6. Bakhmeteff Rare Books and Manuscript Archive, Columbia University. Letter of 3 May 1956 from P.E. Mosely to M.M. Karpovich.
31. Michael Karpovich Papers. Series 2, Box 6. Bakhmeteff Rare Books and Manuscript Archive, Columbia University. Letter of 30 January 1956 from M.M.Karpovich to P.E.Mosely.
32. Michael Karpovich Papers. Series 2, Box 6. Bakhmeteff Rare Books and Manuscript Archive, Columbia University. The New Review, Inc. Balance Sheet. March 31, 1958.
33. Michael Karpovich Papers. Series 2, Box 6. Bakhmeteff Rare Books and Manuscript Archive, Columbia University. Letter of 9 February 1958 from M.M.Karpovich to Paul Anderson from YMCA.

Михаил Сергеев

Религия в глобальном мире

Философские размышления

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Рассуждая о религии в глобальном мире, ученые обычно исходят из нескольких стандартных предпосылок. Во-первых, они разделяют современное представление о том, что религия должна быть отделена от государства и, следовательно, не должна участвовать в публичном дискурсе, ограничивая сферу своего влияния личной верой и духовностью. Во-вторых, ученые зачастую обсуждают устоявшиеся религиозные традиции, которые развивались на протяжении веков, уделяя меньше внимания новым религиозным движениям, поскольку их численность относительно невелика, равно как и их влияние на мировой арене. В-третьих, они фокусируют свой анализ на «религиозных разрушителях», то есть на тех сектах и группах, которые бросают вызов социальным нормам и представляют угрозу для цивилизации. В результате изучение исламского терроризма или различных апокалиптических культов зачастую оказывается в центре религиозоведческих исследований в глобальном контексте.

Нетрудно увидеть, что все эти предположения в значительной степени упрощают роль, которую религия и религиозные убеждения играют в обществе, будь то на местном, национальном или глобальном уровне. Например, католические взгляды на смертную казнь и аборт являются неотъемлемой частью общественного обсуждения государственной политики в США. Современные религиозные движения, такие как мормонизм, с его почти двухсотлетней историей и в настоящее время более чем шестнадцатью миллионами приверженцев по всему миру¹, оказывают всё более значительное влияние на жизнь общества. Американский политик Митт Ромни, бизнесмен и действующий епископ Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, был кандидатом от Республиканской партии на пост президента США на выборах 2012 года. Наконец, в нашем глобальном мире, раздираемом культурными противоречиями и предрассудками, религиозоведы, несомненно, должны уделять больше внимания тем духовным учениям, которые способствуют человеческому единению и моральному совершенствованию, нежели их воинствующим и вредоносным антиподам.

Есть еще один фактор, который неявно влияет на обсуждение религиозных вопросов в современную эпоху. Это распад СССР, который произошел несколько десятилетий назад и был совершенно неожиданным как для стран коммунистического блока, так и для их либерально-демократических оппонентов. Вспомним, что двадцатое столетие прошло под знаменем «смерти Бога» и привело к краху организованной религии и расцвету светской культуры. Религиоведы двадцать первого века вместо этого говорят о воскрешении веры и «постсекулярном веке». Однако никто, как мне кажется, не предлагает правдоподобного объяснения семидесятипятилетнему существованию Советского Союза – единственной антирелигиозной империи за всю историю человечества. Теодор Адорно заметил как-то об ужасах нацистского Холокоста, что «писать стихи после Освенцима – это варварство»². Как же тогда быть с изучением теологии после ГУЛАГа? В конце концов, советские репрессии намного превосходили преступления нацистского режима. И несмотря на это, экзистенциальная загадка атеистического бунта в России не получила, на мой взгляд, адекватного и исчерпывающего объяснения ни на родине, ни за ее пределами.

РЕЛИГИЯ ПОСЛЕ ГУЛАГА

Современные российские философы знают об этой проблеме не понаслышке, поскольку национальная идентичность России в постсоветское время напрямую связана именно с ней. Предложенные ими решения сводятся к четырем основным положениям.

Российские коммунисты, пережившие распад СССР и реорганизовавшиеся под марксистско-ленинскими знаменами, относятся к советскому периоду, по большей части, с гордостью и пропагандируют преимущества плановой социалистической экономики. Православные националисты, напротив, рассматривают коммунистическую теорию и практику как социальную болезнь, которую Россия подхватила от деградирующего Запада, стремительно катящегося к неизбежному упадку. В отличие от коммунистов и националистов, российские постмодернисты рассматривают советскую идеологию как последний бастион мета-идеологии. Ее окончательная гибель означала победу неустрашимого человеческого разнообразия и плюрализма. Наконец, российские глобалисты утверждают, что советский эксперимент, несмотря на его провал, был одной из первых практических попыток создания планетарного человеческого общества.

Все эти подходы, будучи, на мой взгляд, отчасти верными, существенно недооценивают духовное измерение советского периода российской истории, которое я исследую сквозь призму своей теории религиозных циклов³. Согласно моей гипотезе, религия является органической системой, которая в процессе своей эволюции прохо-

дит шесть стадий: первоначальную, ортодоксальную, классическую, реформаторскую, критическую и посткритическую. Для каждой из этих фаз характерно особое соотношение между фундаментальными компонентами любой религиозной системы – священными писаниями и священным преданием. Дисбаланс между этими двумя элементами приводит к структурному кризису религии, для которого характерно сомнение верующих в подлинности священного предания. Такая ситуация приводит к появлению новых ветвей внутри устоявшейся духовной традиции и сигнализирует о ее переходе на новый этап развития. В отличие от структурного кризиса, который трансформирует священное предание, но оставляет нетронутыми священные писания, системный кризис религии ставит под сомнение саму основу системы, подвергая критике священные тексты. Обычно такого рода проблемы решаются путем создания новых религиозных движений в лоне материнской веры. (Диаграмма 1)

Христианство служит, пожалуй, лучшей иллюстрацией моей теории религиозных циклов. Первоначальная, ортодоксальная, классическая, реформаторская и критическая стадии в христианстве нашли выражение в раннецерковной, православной, католической, протестантской и модэрновой формах этой конфессии. Остановимся более подробно на европейском Просвещении семнадцатого и восемнадцатого веков, которое заложило основу современного периода христианской Церкви и ознаменовало начало системного кризиса христианства. Мыслители эпохи Просвещения – будь они критически мыслящими богословами, деистами, агностиками или атеистами – поставили под сомнение абсолютный авторитет Библии. Впервые в истории Европы они создали всеобъемлющее мировоззрение, которое имело не божественное, а чисто человеческое происхождение. (Диаграмма 2)

Рациональный подход к природе и социальной реальности ознаменовал приход Нового времени, которое в итоге привело к созданию демократических политических институтов, распространению светской культуры и стремительному росту научных и технологических инноваций. Проект Просвещения оказался настолько жизненным и привлекательным, что в течение последующих двух веков завоевал сердца и умы людей по всему миру. К сожалению, проповедуемый им образ жизни, как это и следовало предполагать, был в лучшем случае нейтрален по отношению к религии, а в худшем – относился с подозрением или вовсе открыто выступал против нее. Члены современных обществ зачастую относятся к религиозным верованиям как к устаревшим, донаучным и отжившим предрассудкам. В результате преимущества политической, социальной и культурной модернизации обычно сопровождаются снижением интереса к религиозным практикам и деформацией традиционных моральных ценностей.

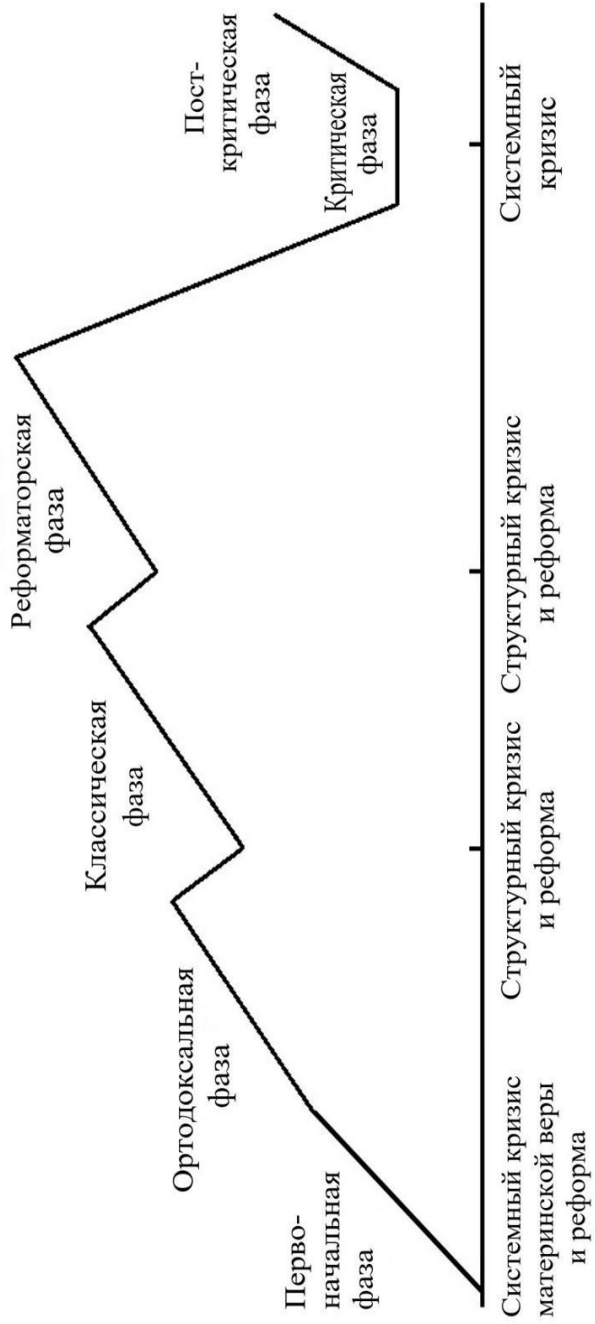


Диаграмма 1. Модель религиозного цикла

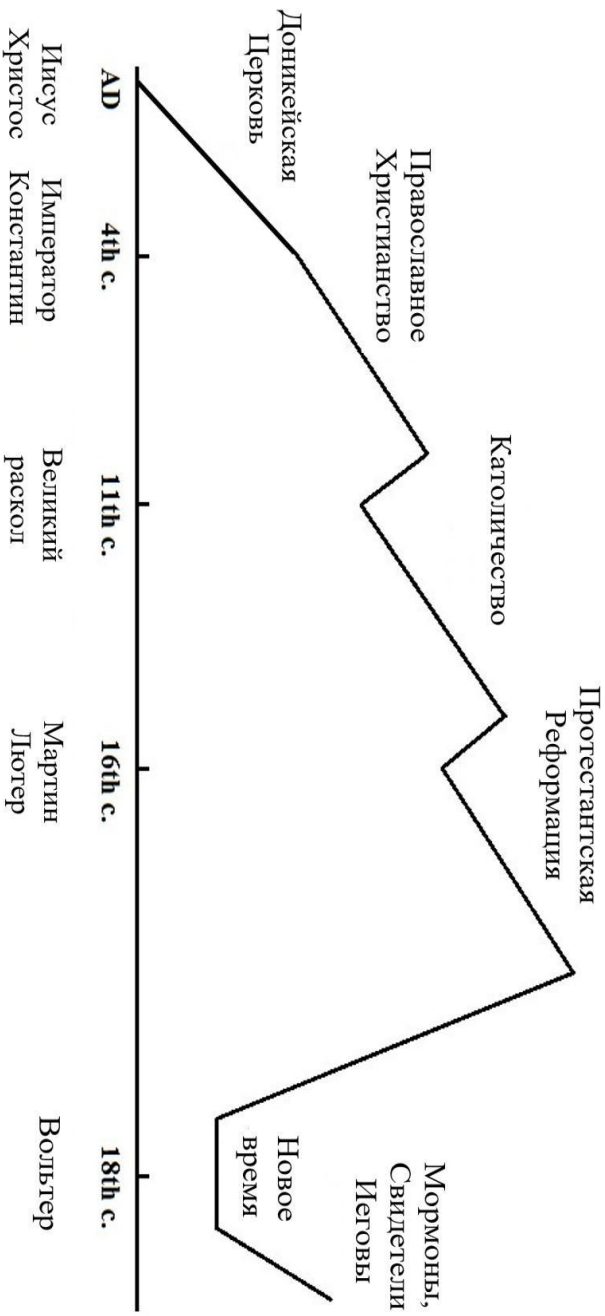


Диаграмма 2. Религиозный цикл христианства

Не ограничиваясь сферой влияния христианской конфессии, ее системный кризис глубоко затронул другие культуры и мировые религии, в первую очередь индуизм, конфуцианство, буддизм и ислам. А в двадцатом веке он принял планетарные масштабы и превратился в кризис религиозного сознания как такового, который и привел к созданию Советского Союза. Возникшая на шестой части земной суши атеистическая империя ставила одной из своих целей уничтожение религиозных верований любого рода и преследовала традиционные и современные религиозные группы и секты. Последующий крах советской системы существенно изменил политическую, экономическую и социальную ситуацию в странах-участницах и во всем мире. Но он не устранил духовное измерение кризиса, который до сих пор углубляется и порождает религиозную напряженность и угрозы иного порядка.

Согласно моей теории, системные проблемы религии решаются только с появлением и созреванием новых религиозных движений, способных возродить прежние духовные традиции. Из истории религий мы знаем, что процесс этот длительный и занимает обычно до четырех столетий. Поэтому, находясь в эпицентре глубоких религиозных трансформаций, мы должны учитывать духовное измерение глобализации, которое не менее сложно, чем ее экономические, политические или социальные составляющие.

КУЛЬТУРА ИЛИ ЦИВИЛИЗАЦИЯ?

Один из ведущих современных российских специалистов в области глобальных исследований Александр Чумаков во втором томе трилогии, посвященной этой тематике, «Метафизика глобализации», рассматривает философские аспекты глобальных процессов с точки зрения двух базовых категорий – «культура» и «цивилизация». Согласно Чумакову, «каждый человек, каждое сообщество людей, будь то определенная группа, государство или общественное объединение, включая глобальное человечество, представляет собой уникальную культурно-цивилизационную систему»⁴. Эти два компонента, которые всегда переплетены и тесно связаны друг с другом, выполняют, как он утверждает, совершенно разные функции. Религиозные верования, традиционные обычаи и общий язык, как правило, составляют основу любого культурного объединения. Но именно в силу своей социальной природы культурам присущи как своеобразие, так и разнообразие. По словам Чумакова, «все люди и их сообщества – особые, отличные от других культурные образования, которые порождают, разделяют, делают их уникальными и неповторимыми. [Это] естественные корни того культурного разнообразия и религиозного плюрализма, с которым мы имеем дело в реальности»⁵.

В отличие от различных и уникальных культур, цивилизационная составляющая человеческих обществ, по мнению Чумакова, представляет собой реальный и эффективный инструмент достижения единства противоположных и даже конфликтующих культурных образований. Взгляды Чумакова здесь явно расходятся с позицией американского политического философа Самуэля Хантингтона и его утверждением о неустранимом разнообразии не только культур, но и различных цивилизаций. Согласно Хантингтону, западная цивилизация с ее ориентацией на парламентскую демократию, верховенство закона, индивидуальные права и свободы является уникальной для Запада. Она не может и не должна быть экспортирована в другие цивилизационные регионы, например в мусульманские страны, Китай или Россию. Хантингтон пишет:

Некоторые американцы продвигают мультикультурализм у себя дома; некоторые продвигают универсализм за рубежом, а некоторые делают и то, и другое. Мультикультурализм внутри страны угрожает Соединенным Штатам и Западу; универсализм за рубежом угрожает Западу и всему миру. И те, и другие отрицают уникальность западной культуры. Глобальные монокультуралисты хотят сделать мир похожим на Америку. Отечественные мультикультуралисты хотят сделать Америку похожей на мир. Мультикультурная Америка невозможна, потому что незападная Америка – это не Америка. Мультикультурный мир неизбежен, потому что глобальная империя невозможна⁶.

Другой американский политический философ и не менее знаменитый оппонент Хантингтона, Фрэнсис Фукуяма, в своем труде «Конец истории» утверждает прямо противоположное. Фукуяма анализирует политические и военные баталии двадцатого века, а также перспективы постсоветского мира с точки зрения гегелевского взгляда на историю. Согласно Гегелю, всеобщая человеческая история состоит из продвижения к полностью реализованной свободе. В «универсальном и однородном государстве» будущего, считал он, «противоречие, существовавшее в отношениях господства и рабства, [полностью исчезает, поскольку] бывшие рабы становятся своими собственными хозяевами... каждый человек, свободный и осознающий свою самоценность, [будет признавать] каждого другого человека за те же качества»⁷. Вполне возможно, как считает Фукуяма, мы живем на пике этого исторического процесса. Ближе всего к гегелевской идее человечество подошло в западных республиканских обществах. По его словам, «два параллельных исторических процесса, один из которых направлялся современной естественной наукой и логикой желания, а другой – борьбой за равноправие [equal recognition] <...> удачно завершились в одной и той же конечной точке – капиталистической либеральной демократии»⁸.

В своем взгляде на культурно-цивилизационную идентичность Александр Чумаков гораздо ближе к Фукуяме, чем к Хантингтону. Признавая наличие в мире уникальных культурно-цивилизационных систем, Чумаков утверждает, что они порождают «противостояние и конфликты... из-за несовпадения культур», но могут достигать «согласия и взаимопонимания на цивилизационной почве». Под «цивизованностью» и «цивилизацией» он подразумевает, конечно, не нечто абстрактное, а вполне конкретные черты современных западных обществ, обладающие, по оценке Чумакова, универсальной ценностью, а именно, «признание и уважение прав человека, толерантность, разделение властей, верховенство закона и равенство всех перед законом». Он подчеркивает, что «чем выше уровень цивилизованности взаимодействующих сторон и чем больше у них общего опыта, тем эффективнее и плодотворнее будет взаимопонимание и сотрудничество»⁹.

В этом продолжающемся диалоге между сторонниками уникальности западной цивилизации и теми, кто подчеркивает ее универсальность и применимость ко всем культурам, автор данного эссе придерживается промежуточной позиции. Я охотно соглашусь с Хантингтоном в том, что западная цивилизация, как и любая другая цивилизационная конструкция, уникальна для Запада и столкнется с огромными трудностями, если будет навязана силой незападным странам. Внешние власти не должны навязывать другим суверенным государствам никакие политические системы, включая демократию, которая обычно вызревает изнутри. Под давлением извне она вряд ли приживется на чужой земле. Недавние исторические примеры, а именно, результаты американского вторжения и войн в Ираке и Афганистане, наглядное тому подтверждение.

В то же время я согласен с Фукуямой, а равно и с Чумаковым, в их утверждении об универсальной ценности западной цивилизации. Капиталистическая демократия действительно является наиболее эффективной экономической и политической системой, которую люди смогли выработать на протяжении тысячелетней истории. К тому же, идеология европейского Просвещения, заложившая основы западного либерализма, была сформулирована как чисто рациональное предприятие, которое в теории может быть успешно применено ко всему человечеству.

Однако я не могу согласиться с Чумаковым, который полагает, что объединить человечество сможет не культура, а цивилизация. Точнее, западная цивилизация, которая основана на либерально-демократических ценностях и которая является самым надежным средством свести к минимуму и, в конечном счете, уничтожить социальные, политические и экономические конфликты, раздирающие человечество и представляющие реальную угрозу его глобальному

выживанию. Мой аргумент в данном случае относится не к позиции Хантингтона о неустрашимой множественности цивилизаций и уникальности Запада. Речь идет о происхождении любой цивилизационной конструкции, которая, как известно, не возникает из ничего.

Цивилизации рождаются и процветают, развиваясь из семян, посеянных основателями и героями культурных революций. Современная западная цивилизация, к примеру, является продуктом христианской культуры. В то же время она отражает кризис христианства, поскольку основана на чистой рациональности. Когда эта современная цивилизация проникает в пласты других культурных формаций, а тем более навязывает себя им, она сильно подрывает основания этих культурных образований, вытесняя присущие им ценности, особенно в области морали.

Фукуяма считает, что у человечества есть два главных устремления – удовлетворение желаний и жажда равноправия. Однако он полностью игнорирует третье стремление, которое является универсальным и лежит в центре любого культурного организма: поиск духовного освобождения, просветления или спасения. Современная западная цивилизация не может предложить никакого сколько-нибудь значимого коллективного ответа на этот трансцендентный вызов, поскольку основана на философских предпосылках научного эмпиризма и рационализма. Такая цивилизационная модель может быть распространена на всё человечество, но она всё равно не сможет удовлетворить его глубинные духовные потребности. Поэтому я считаю, что глобальное общество будущего должно строиться на культурных, а не цивилизационных основах, какими бы прогрессивными и уникальными они ни казались.

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ РЕЛИГИИ

В качестве примера современного религиозного движения, выступающего за глобальное единство человечества и построение «вечно развивающейся цивилизации», я беру веру Бахаи – религию, которая зародилась в Персии (ныне Иран) в середине XIX века с провозглашения Баба («Врата»), урожденного Сейида Али Мухаммада из города Шираз (1819–1850), чья пророческая миссия продолжалась шесть лет. После публичной казни Баба в 1850 году персидскими властями его религию продолжил и обновил Мирза Хусейн Али (1817–1892), уроженец области Нур, более известный под именем Бахаулла («Слава Божья»), который провозгласил свою божественную миссию в 1863 году в Багдаде.

С тех пор вера Бахаи развилась в независимую и самобытную религию с миллионами приверженцев по всему миру. Как пишет историк Питер Смит, «цифра более пяти миллионов бахаи по всему миру широко цитировалась с 1990-х годов, но, по последним сведе-

ниям, полученным из базы данных 'Всемирной христианской энциклопедии', [их численность] оценивается в 7,9 миллиона на 2015 год»¹⁰. Это же подтверждает и одно из недавних писем Всемирного Дома Справедливости – главного руководящего органа этой религии с 1963 года. Из него мы узнаем, что «на основе информации, полученной от общин Бахаи во всем мире и из авторитетных внешних источников», число сторонников веры составляет «примерно восемь миллионов» человек¹¹.

В каждой духовной традиции есть важнейшее понятие, которое связано с основными ее доктринами. В христианстве это любовь, в буддизме – самоотречение. Бахаи проповедуют единение или единство, идея которого занимает центральное место в их учении. Последователи Бахауллы различают три уровня единства – единство Бога, религии и человечества. Поскольку наш Создатель един, а цель «поступательного откровения»¹² состоит в том, чтобы объединять людей во всё более широком масштабе – от семей, родов и племен до национальных и международных сообществ, – то, как учил Бахауллу, пришло, наконец, время для интеграции человечества на глобальном уровне.

Изложение различных принципов, доктрин и стратегий – как индивидуальных, так и коллективных, – направленных на объединение человечества в научно и технологически развитое и в то же время мирное, нравственное и гуманное планетарное сообщество, составляет нерв послания Бахауллы. В связи с этим хочу подробнее рассмотреть некоторые темы, проходящие красной нитью сквозь все его послания.

Первая из них касается взаимоотношений между учением Бахаи и идеологией Просвещения.

Во многих отношениях мировоззрение Бахаи представляет собой подтверждение большинства идей Просвещения, но в особом, религиозном, контексте, тем самым придавая духовную глубину этим теориям и превращая современные цивилизационные практики в подлинно культурные верования и нормы. Бахаи утверждают в качестве незыблемых такие принципы, как верховенство закона, свобода совести и вероисповедания, свобода слова и свобода объединений, защита прав человека, равенство мужчин и женщин и многие другие. Речь идет о социальных доктринах и практиках, имеющих вполне конкретное духовное наполнение. Базируясь на иудейском Декалоге, регламентирующим взаимоотношения между людьми, и их поклонении единому Богу, а также на христианском вероучении о самоценности любой человеческой личности, священные писания Бахаи расширяют и развивают эту общую для монотеистических религий иудео-христианскую традицию в применении ко всему человечеству.

В «Благих вестях» Бахауллу пишет:

В прежних религиях такие предписания, как священная война, уничтожение книг, анафема общению и сотрудничеству с иными народами или чтение определенных книг, были изложены и укреплены в согласии с крайними нуждами времени; однако в этом могущественном Откровении, в сем величайшем Возглашении многообразные дары и покровительство Бога осеняют собою всех людей и от горизонта Воли Вечнонеизменного Господа Его непогрешимый указ предписал то, что Мы изложили выше¹³.

В области политики Бахаулла отвергает автократические и деспотические режимы, которые осуждает как несправедливые и бесчестные по отношению к народу. В то время, как другие мировые религии предлагают самые разнообразные формы общественного миропорядка – от кастовой системы в индуизме и теократии в мусульманстве до христианских монархий и республик, – основатель веры Бахаи в своих писаниях ясно и однозначно одобряет республиканские демократии, но отдает предпочтение конституционной монархии как политической системе, сочетающей интересы простого люда и аристократов с королевской властью, которая являет собой божественную санкцию. В своем «Послании Королеве Виктории» Бахаулла выражает похвалу верховной правительнице за то, что она «доверила... бразды совета рукам представителей народа. Поистине, хорошо ты поступила, ибо укрепится основание здания дел твоих и успокоятся сердца всех, кто под сенью твоей, высоких и низких»¹⁴. А в «Благих вестях» он советует ученым мужам: «Хотя республиканская форма правления и приносит пользу всем народам мира, всё же величественность королевской власти суть один из знаков Бога. Мы не желаем, чтобы страны мира остались бы сего лишены. Коли дальновидные соединят сии две формы в одну, велика будет им награда в присутствии Бога»¹⁵.

Рассматривая глобальное устройство мира в будущем, Бахаулла не дает подробного описания исполнительной и законодательной ветвей власти, подчеркивая лишь общую значимость равноправия и справедливости, совещаний, коллективного принятия решений и тому подобных вещей. Его предложения по судебной власти гораздо более конкретны – возможно, потому что независимая судебная система является основой любого стабильного и долговечного сообщества. Бахаулла предусмотрено создание Верховного трибунала, целью которого будет разрешение территориальных споров и международных конфликтов, что позволит предотвратить возникновение и ведение смертоносных войн. Будучи старшим сыном Бахауллы и лидером веры Бахаи после кончины отца, Абдул-Баха (1844–1921) изложил четкий план создания всемирного судебного органа, который предстоит реализовать народам в отдаленном будущем. Для этого, сказал он:

...национальные собрания каждой страны или нации – то есть парламенты – должны избрать по два-три человека из числа достойнейших своих представителей, которые будут хорошо осведомлены в области международных законов и межправительственных отношений, а также будут представлять, в чем заключаются насущные нужды человечества в данный момент. Число представителей должно быть пропорционально населению каждой страны. Избрание этих людей, выдвинутых национальным собранием или парламентом, должно быть утверждено высшей палатой, конгрессом и кабинетом, а также президентом или монархом, дабы они представляли всю нацию, а также правительство. Эти представители войдут в Верховный Трибунал, в нем будет представлено, таким образом, всё человечество, и при этом каждый делегат будет лучшим представителем своей нации. Если Верховный Трибунал вынесет решение по какой-либо международной проблеме единогласно или большинством голосов, возражения заинтересованных сторон приниматься не будут. Случись так, что какое-либо правительство или нация не подчинится непреложному решению Верховного Трибунала или будет оттягивать его исполнение, все прочие нации, как члены и устроители Верховного Трибунала, восстанут против нарушителя¹⁶.

В целом Абдул-Баха выдвинул одиннадцать фундаментальных принципов, вытекающих из учения Бахауллы, которые должны вести человечество к устойчивой глобальной цивилизации. Для Бахаи они служат современным эквивалентом Десяти заповедей Моисея, развивая моральные и социальные нормы, выработанные христианством, в применении ко всему человечеству. И так же, как и прежние божественные наставления, они могут быть исполнены каждым, независимо от религиозной принадлежности или ее отсутствия.

Наиболее ясно и систематически Абдул-Баха рассказал об этих положениях во время своего миссионерского путешествия по Европе, когда он останавливался в Париже с октября по декабрь 1911 года. Одиннадцать принципов, которые он изложил на встрече в Парижском теософском обществе, выглядят следующим образом:

1. *Поиск истины.* – «Человек должен освободиться от своих предубеждений и от результатов своего собственного воображения, лишь тогда он сможет беспрепятственно искать истину. Во всех религиях существует одна-единственная истина, благодаря которой единство всего мира может стать реальностью.»

2. *Единство человечества.* – «Все [люди] ветви древа Адама и у всех у них общее происхождение... Единственное различие, которое в самом деле существует и которое разъединяет их, заключено в том, что есть дети, нуждающиеся в руководстве, есть невежественные, которых необходимо обучать, есть больные, требующие ухода и лечения.»

3. *Религия должна быть источником любви и дружбы.* – «Религия должна объединять сердца, устранять войны и раздоры с лица земли, быть источником духовности, дарить свет и жизнь каж-

дой душе. Если религия станет причиной антагонизма, ненависти или разногласий, то лучше обходиться без нее, и отчуждение от такой религии было бы истинно религиозным шагом.»

4. *Единство религии и науки.* – «Любая форма религии, противоречащая или противопоставляемая науке, означает невежество, ибо невежество противоположно знанию.»

5. *Отказ от предрассудков.* – «Религиозные, расовые или политические предубеждения разрушают основы человечности... Весь мир следует рассматривать как одну-единственную страну, все народы – как один-единственный народ, а всех людей – как представителей одного рода. Разделение людей по расовому, национальному и религиозному признакам придумано человеком и существует лишь в его мыслях.»

6. *Равенство возможностей для всех в отношении средств к существованию.* – «Все люди обладают правом жить, отдыхать и иметь определенную степень благосостояния... Люди не должны умирать от голода, у каждого должно быть достаточно одежды, и никто не должен обладать чрезмерным богатством, когда другой не имеет средств к существованию.»

7. *Равенство людей перед законом.* – «Лишь Закон, а не личность, должен править обществом. Благодаря этому земля наша станет прекрасной и наступит истинное братство.»

8. *Всеобщий мир.* – «Народы и правительства всех стран должны избрать Высший международный суд, в котором будут участвовать представители каждой страны и каждого правительства в духе полного согласия. Все спорные вопросы должны выноситься на обсуждение этого Суда, задача которого – предотвращать войны.»

9. *Невмешательство религии и политики в дела друг друга.* – «Религия занимается духовными вопросами, а политика – мирскими... Деятельность духовенства состоит в том, чтобы просвещать людей, воспитывать их, помогать советом и наставлять во всем, что ведет к духовному развитию человека. Это не имеет ничего общего с вопросами политики.»

10. *Равноправие полов. Образование женщин.* – «Женщины имеют равные права с мужчинами... До тех пор, пока женщины будут лишены возможности в полной мере развивать свои высшие способности, мужчины не смогут достичь того высокого положения, которое уготовано для них.»

11. *Сила Святого Духа.* – «Только благодаря дуновению Святого Духа возможно духовное развитие... Тело само по себе не имеет существенного значения. Без благословения Святого Духа материальное тело оставалось бы инертным.»¹⁷

Сегодня, более чем через столетие после провозглашения этих

принципов в Европе, многие из них стали движущей силой социального прогресса и перемен во всем мире, а также неотъемлемой частью жизни западных обществ. Конечно, эти основоположения предусматривают столь глубокие социальные преобразования, что потребуется много времени и усилий, чтобы воплотить их на практике. Тем не менее, идеальный образ будущего, который они сулят человечеству, несомненно духовен по качеству и глобален по масштабу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В своей работе «Конец истории» Фрэнсис Фукуяма утверждает, что «либеральная демократия может представлять собой ‘конечный пункт идеологической эволюции человечества’ и ‘окончательную форму человеческого правления’, и в этом качестве ознаменовать ‘конец истории’»¹⁸. Позиция Фукуямы основывалась не только на исторических успехах либеральной демократии и крахе ее главного соперника, Советского Союза, в конце двадцатого века. Его философское исследование глубоко затронуло внутренние ценности либерально-демократической политической системы в сочетании с капиталистической экономикой свободного рынка. Являются ли современные западные общества настолько развитыми, чтобы полностью удовлетворить своих сограждан? Или, быть может, эти системы имеют скрытые недостатки, которые в итоге приведут их к гибели, как это произошло со всеми прежними культурами? Иными словами, сможет ли западная цивилизация продержаться без внешних конкурентов или врагов? Фукуяма отвечает на эти вопросы положительно. Он пишет:

Несомненно, что современные демократические страны сталкиваются с целым рядом серьезных проблем – от наркотиков, бездомности и преступности до ущерба окружающей среде и легкомысленности потребительства. Но эти проблемы не являются очевидно неразрешимыми на основе либеральных принципов и не настолько серьезны, чтобы обязательно привести к краху общества в целом, как это произошло с коммунизмом в 1980-х годах¹⁹.

Учение Бахаи косвенно затрагивает этот же вопрос, проводя различие между так называемым Малым и Величайшим миром. Малый мир может наступить в результате политического объединения человечества. Хранитель веры Бахаи и руководитель общины с 1922-го по 1957 год Шоги Эффенди (1897–1957) писал: «Должна развиваться какая-то форма мирового Сверхгосударства, в чью пользу все нации мира добровольно откажутся от всякого права вести войну, от некоторых прав взимать налоги и от всех прав содержать вооруженные силы, кроме как в целях поддержания внутреннего порядка в своих владениях». Это глобальное сверхгосударство, скорее всего, будет

построено на основе современной идеологии, включая выборность должностных лиц, различные ветви власти и разделение религии и политики. Как продолжает Шоги Эффенди:

Такое государство должно будет состоять из Международной Исполнительной власти, компетентной применять свой верховный, неоспоримый авторитет ко всякому непокорному члену содружества; из Мирового Парламента, члены которого будут избираться народами соответствующих стран и выбор которых будет утвержден их правительствами; из Верховного Трибунала, чье решение будет иметь обязательную силу даже в тех случаях, когда заинтересованные стороны не согласятся добровольно представить свое дело на его рассмотрение²⁰.

Тем не менее, прекращение войны, каким бы замечательным и прогрессивным оно ни было, не равнозначно установлению мира между государствами, которые всё еще могут быть раздираемы внутренними распрями и конфликтами на этническом, национальном, расовом, политическом, социальном и религиозном уровнях. Следовательно, разницу между Малым и Величайшим миром можно сравнить с различием между внешним объединением и внутренним единством, подобно брачному союзу, который держится на трезвом расчете или же скреплен взаимной любовью супругов. В Писаниях Бахаи Величайший мир выступает как идеал духовной, а не материальной гармонии; как проект культурного, а не исключительно цивилизационного строительства. Бахаи верят, что в те далекие времена «миссия Бахауллы будет полностью признана народами Земли, а ее принципы осознанно приняты и применены всем человечеством»²¹. Последующее окончательное «объединени[е] всех рас, народов, классов и племен»²² прочно обеспечит долгосрочную стабильность, мир и процветание на планете. Шоги Эффенди описывает эту будущую цивилизацию как мировую общину,

в которой все экономические преграды будут навсегда уничтожены и взаимозависимость капитала и труда будет определено признана; в которой навсегда утихнет шумиха религиозного фанатизма и раздора; в которой пламя расовой вражды будет, наконец, потушено; в которой единый кодекс международного права, плод обдуманного решения представителей мировой федерации, будет применять как санкцию немедленное и принудительное вмешательство объединенных сил членов федерации; и наконец, всемирная община, в которой ярость капризного, воинствующего национализма будет превращена в постоянное осознание мирового гражданства, – таким в действительности представляется в самых общих чертах порядок, предвиденный Бахауллой, порядок, который будет рассматриваться как прекраснейший плод постепенно созревающей эпохи²³.

Пример веры Бахаи – молодой религиозной системы, развив-

шейся из ислама в середине девятнадцатого века, – убедительно показывает, что религия как таковая вовсе не является анахронизмом или очевидным препятствием на пути прогресса. Духовные традиции человечества также претерпевают кардинальные изменения. Они шагают в ногу со временем и, наряду с наукой и современными технологиями, стремятся выработать новые концепции и формы человеческого сосуществования. И уже по этой причине заслуживают внимательного и всестороннего изучения – особенно в связи с процессом глобализации, усиливающей экономическую, социально-политическую и культурную взаимозависимость и интеграцию народов Земли и ведущей к созданию в недалеком по историческим меркам будущем единой планетарной цивилизации.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints: Fact and Statistics, <https://newsroom.churchofjesuschrist.org/facts-and-statistics>
2. Adorno, Theodore. 1967. Cultural Criticism and Society. *Prisms*. Trans. Samuel and Shierry Weber. Cambridge, Mass.: MIT Press. P. 34.
3. Подробное изложение моей теории религиозных циклов см. в статье «The model of religious cycle: theory and application» in *SENTENTIA. European Journal of Humanities and Social Sciences*, 3(2017). Сс. 71-92, URL: http://e-notabene.ru/psen/article_23930.html; или мою монографию *Theory of Religious Cycles: Tradition, Modernity, and the Bahá'í Faith* (Brill, 2015).
4. Chumakov, Alexander and Sergeev, Mikhail. 2018. «Religion and Globalization: Crossroads and Opportunities» in *Occasional Papers on Religion in Eastern Europe*: Vol. 38: Iss. 5, Article 7. P. 112. URL: <https://digitalcommons.georgefox.edu/ree/vol38/iss5/7>.
5. Там же. P. 111.
6. Huntington, Samuel. 2011. *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. New York: Simon & Schuster. P. 318. Хантингтон часто использует термины «культура» и «цивилизация» взаимозаменяемо, и когда он пишет об американской или западной культурах, то предполагает, что цивилизационные институты представляют собой неотъемлемую часть их культурной идентичности.
7. Fukuyama, Francis. 2006. *The End of History and the Last Man*. New York: Free Press (1-ое изд. 1992). P. 300.
8. Там же. P. 289.
9. Chumakov, A. and Sergeev, M. 2018. «Religion and Globalization: Crossroads and Opportunities». P. 112.
10. Smith, Peter. 2022. «The History of the Bábí and Bahá'í Faiths,» in *The World of the Bahá'í Faith*. Ed. Robert H. Stockman, London and New York: Routledge. P. 509. (Пер. с англ. автора статьи.)
11. Universal House of Justice, Secretariat, letter to Robert H. Stockman. Qtd. in *ibid*.
12. Это русский перевод английского термина «progressive revelation».
13. Бахаулла. «Бишарат – Благие вести», Библиотека исследователей Веры Бахаи. <https://bahai-library.com/russian/bha/bisharat.htm>

14. Бахаулла. «Послание Королеве Виктории» в: *Воззвание царям и правителям мира*, параграф 38. Библиотека исследователей Веры Бахаи. <https://bahai-library.com/russian/bha/proclamation.html>
15. Бахаулла, «Бишарат – Благие вести». Указ. ресурс.
16. *Абдул-Баха. Избранное из писаний*, A227.28. Библиотека исследователей Веры Бахаи. <https://bahai-library.com/russian/abh/selections5.html#pt5>
17. *Абдул-Баха. Парижские беседы. Выступления Абдул-Баха в Париже в 1911 году*. Библиотека исследователей Веры Бахаи. https://bahai-library.com/russian/abh/paris_talks.htm
18. Fukuyama, Francis. *The End of History, and the Last Man*. P. xi.
19. Там же. P. cxi.
20. *Шоги Эффенди*. «Цель нового мирового порядка». Библиотека Писаний Бахаи, Библиотека Писаний Бахаи. <https://www.bahai.ru/>
21. Hatcher, William S. and Martin, J. Douglas. 1998. *The Bahá'í Faith: The Emerging Global Religion*. Wilmette: Bahá'í Publishing Trust. P 144. (Пер. с англ. автора статьи.)
22. *Шоги Эффенди*. «Настал день обетованный». Библиотека исследователей Веры Бахаи. https://bahai-library.com/russian/sef/promised_day.htm
23. *Шоги Эффенди*. «Цель нового мирового порядка». Библиотека Писаний Бахаи, Библиотека Писаний Бахаи. <https://www.bahai.ru/>

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Абдул-Баха. Избранное из писаний*, A227.28., Библиотека исследователей Веры Бахаи. <https://bahai-library.com/russian/abh/selections5.html#pt5>
- Абдул-Баха. Парижские беседы. Выступления Абдул-Баха в Париже в 1911 году*. Библиотека исследователей Веры Бахаи. https://bahai-library.com/russian/abh/paris_talks.htm
- Adorno, Theodore. 1967. *Cultural Criticism and Society. Prisms*. Trans. Samuel and Shierry Weber Cambridge, Mass.: MIT Press.
- Бахаулла. «Бишарат – Благие вести». Библиотека исследователей Веры Бахаи. <https://bahai-library.com/russian/bha/bisharat.htm>
- Бахаулла. «Послание Королеве Виктории». *Воззвание царям и правителям мира*, параграф 38. Библиотека исследователей Веры Бахаи. <https://bahai-library.com/russian/bha/proclamation.html>
- Chumakov, Alexander. 2017. *Globalization. Contours of the Integrated World*. Moscow: Prospekt, 2005, 2nd ed., 2009, 3rd ed., 2017.
- Chumakov, Alexander. 2017. *Metaphysics of Globalization: Cultural and Civilizational Context*. Moscow: «Canon», 2006, 2nd ed., Moscow: Prospekt, 2017
- Chumakov, Alexander. 2018. *Global World: Clash of Interests*. Moscow: Prospekt.
- Chumakov, Alexander and Sergeev, M. 2018. «Religion and Globalization: Crossroads and Opportunities.» *Occasional Papers on Religion in Eastern Europe*: Vol. 38: Iss. 5, Article 7. <https://digitalcommons.georgefox.edu/ree/vol38/iss5/7>
- Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints. The: Fact and Statistics. <https://newsroom.churchofjesuschrist.org/facts-and-statistics>
- Fukuyama, Francis. 2006. *The End of History and the Last Man*, New York: Free Press, 1st ed. 1992.
- Huntington, Samuel. 2011. *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*, New York: Simon & Schuster, 1st ed. 1996.

Hatcher, William S., Martin, J. Douglas. 1998. *The Bahá'í Faith: The Emerging Global Religion*, Wilmette: Bahá'í Publishing Trust.

Sergeev, Mikhail. 2015. *Theory of Religious Cycles: Tradition, Modernity, and the Bahá'í Faith*, Leiden: Brill.

Sergeev, Mikhail. «The model of religious cycle: theory and application» in *SENTENTIA. European Journal of Humanities and Social Sciences*, 3 (2017). P. 71-92. http://e-notabene.ru/psen/article_23930.html

Шогу Эффенди. «Цель нового мирового порядка», Библиотека Писаний Бахаи. <https://bahai-library.com/russian/bha/bisharat.htm>

Шогу Эффенди. «Настал день обетованный», Библиотека исследователей Веры Бахаи. https://bahai-library.com/russian/sef/promised_day.htm

World of the Bahá'í Faith, The. 2022. Ed. Robert H. Stockman, London and New York: Routledge.

ЭССЕ. ОЧЕРКИ

Сергей Манукян

Очерки подлых времен

Очерк первый. 1950-й

Пятидесятый год – как бы водораздел,
Вершина славного невиданного века,
Заря величия, свидетель мудрых дел,
Свершенных волей человека...

*А. Ахматова. «1950»
Декабрь 1949 г.*

Загнанная в угол новым арестом сына, историка Льва Гумилева, переживавшая новый страх от не забытого властями ее расстрелянного еще в двадцать первом мужа-врага, поэта Гумилева, не приставшая «никак и по разным причинам» к новым берегам, русская поэтесса Анна Ахматова, дабы спасти сына и себя, писала эти строки – в том году вышел целый цикл с «правильной» темой и названием («Гимн миру» и т. д.). Удар и расправа, совершенная в 1946 году над ней и Михаилом Зощенко, были уникальными по своей изощренности и убийственно детальными по своей щепетильности. Постановление оргбюро ЦК ВКП (б) «О журналах ‘Звезда’ и ‘Ленинград’» от 14 августа 1946 г. привело к исключению «не нашей» Анны Ахматовой и «пошляка и подонка от литературы» Михаила Зощенко из Союза писателей СССР и настороженной фильтрации других сомнительных литераторов. «Пустейшая штука, ни уму, ни сердцу ничего не жающая», по выражению Сталина, рассказ Зощенко «Приключение обезьяны» взбудоражил высшее руководство, а за ним – «всё советское общество».

Под раздачу попали все журналы и творения культуры вообще. Основную партию, конечно, разыгрывал прибывший в «свой» Ленинград Жданов. В зачитанном им в «колыбели революции» постановлении указывалось, что персональную ответственность за идеологическую направленность в «Звезде» несет первый секретарь Ленинградского обкома и горкома Петр Попков (впоследствии будет расстрелян); другие партийцы и редакторы получали увольнение или выговоры. Идеолог и творческая натура, Жданов раскрывал, что Зощенко изображал «людей и самого себя как гнусных похотливых

зверей» и что поэзия Ахматовой, «взбесившейся барыньки, мечущейся между будуаром и моленной», – «это любовно-эротические мотивы, переплетенные с мотивами грусти, тоски, смерти, мистики, обреченности и предсмертной безнадежности...» Великую страну с грандиозными планами пугали обезьяна из детского журнала «Мурзилка» и грусть. Правда, грусть была не испанской, воспетой когда-то поэтом Михаилом Светловым в своей знаменитой «Гренаде»...

«Моральная тягота разрядилась, столбы подрублены, заборы повалятся сами», – когда-то в смертном 1937 году вешал в Башкирии командированный туда для наведения порядка Андрей Александрович (из зала сразу увели на казнь первого и второго руководителей республики), победивший и тут врагов. Теперь, через десять лет, намечалось что-то очередное – громадное и эпохальное. Однако произошло невероятное: 31 августа 1948 г. в Валдайском санатории в законном отпуске в возрасте пятидесяти двух лет Андрей Жданов скоропостижно умер. Сразу в тот же день прилетели к нему из Москвы его «птенцы» Кузнецов, Вознесенский¹, из Ленинграда – Попков. Стояли и с ужасом понимали, что потеряли отца родного, может быть, скорее первого, чем второго. А вождь в Кремле уже давно понимал, что он им, может, не первый, а второй.

Два года назад Сталин приблизил, привел в Москву, в Кремль, Кузнецова, поднял еще выше Жданова и Вознесенского. Почти одновременно ограничил сферы влияния Берии и Маленкова. Убрал береговского протезе Меркулова с поста министра государственной безопасности Союза. Самого Лаврентия снял с руководства НКВД-МВД, на котором тот сидел семь лет. Маленкова убрал с поста секретаря ЦК ВКП (б) и вывел из состава Секретариата. Поставил на его место Жданова. В секретариат включил Кузнецова, этого смелого ленинградского молодца. Иосиф Виссарионович, то есть товарищ Сталин (никому не позволено обращаться к нему по имени и отчеству – «товарищ»), соблюдал систему стяжек и противовесов и придерживался теории балансов. Маленков сильно «получил» за авиацию, за грубый недогляд, граничащий с преступлением. Он, Сталин, – хозяин единоличный, без него страна пропадет, как пропала бы в июне–июле 1941-го, не прими он меры; однако преемник нужен, но кто?

Так думал вождь, имевший высшее воинское звание на планете, – генералиссимус Советского Союза.

Знал он, что съедят теперь Берия с Маленковым «ленинградцев», должны попытаться... Или он не знает жизни и психологии, или товарищ Сталин не знает марксизма и диалектики. Как Ленин говорил про Бухарина: «Не знает диалектики, никогда не учился», – и позиб под стеной. А какие письма писал перед смертью, смертные письма, слезные, любовные. Зачем писать – вот и Ахматова пишет, по-другому пишет, через силу пишет:

*И Вождь орлиными очами
Увидел с высоты Кремля,
Как пышно залита лучами
Преображенная земля...*

Как там Эйзенштейн говорил: «Не верю!» Странный человек, самый великий в мире режиссер, «Броненосца Потемкина» снял, а Ивана Грозного не понимал, неправильно снимал, сказал ему, что «царь Иван сделал всего одну ошибку – ему осталось только вырезать несколько боярских семей и все...», и Опричнину не понимал, думал, это зло, а это было прогрессивным явлением, – втолковывал ему, – а он взял, заболел и умер, год назад, – размышлял Сталин. – Сергей – имя хорошее. Киров Сергей – один друг верный был... Впрочем, не он – не Эйзенштейн сказал про веру, это говорил Мейерхольд. Врагом оказался. В 1939-м сидел в Сухановской, писал письма жалобные, что «больного шестидесятишестилетнего старика клали на пол лицом вниз, резиновым жгутом били по пяткам и по спине, когда сидел на стуле, той же резиной били по ногам...» Был на его спектакле в 1934 году. Спектакль (как же он назывался, помню, «Дама с камелиями») – оказался говно. Главную роль жена его вторая исполняла, Зинаида Райх. И осмелилась же мне лично письмо написать с обвинением, что не разбираюсь в искусстве. Органы разобрались. Была женой Сергея Есенина (хорошее имя – Сергей, и поэт хороший, настоящий русский, только непутевый, как мой Вася), ушла к еврею Мейерхольду... С Райх тогда, в 39-м, разобрались, чисто разобрались: семь ножевых ранений и ни одного следа. А в Минске год назад, с Михоэлсом, идиоты, нечисто сработали, насрали везде, напортачили, наследили спецы абакумовские...

«Не верю!» – это все-таки сказал Станиславский, – вспомнил ОН. Настоящий артист, первый народный артист СССР, сам подписывал предствление на звание, и не еврей. Евреи... – Сталин вернулся в своих мыслях к Ахматовой: «...Легенда говорит о мудром человеке, что каждого из нас от страшной смерти спас...» – написала она на день рождения, так стихотворение и называется – «21 декабря 1949 г.», и в другом, тоже в декабре, пишет: «Он будет наречен народом навсегда преобразителем вселенной». Будет. И в семьдесят лет. Он им всем покажет еще...

Смерть второго (после Сталина) секретаря Андрея Жданова была вторым и необратимым «поражением» Жданова. Первое он получил в мае 1948 года, когда в целях укрепления ВАСХНИЛ раскритиковал ее руководителя – академика Трофима Денисовича Лысенко, а молодой ученый, заведующий отделом науки ЦК партии Юрий Жданов, сын старшего Жданова, выступил с разгромным докладом против «Мичурина в агротехнике». Но Сталин лично подержал Лысенко. И обвинил «не сыновей, а отцов», и разносил Юрия Жданова с его «личным мнением» при побелевшем от страха отце, при членах Политбюро и других свидетелях...

15 февраля 1949 г. на заседании Политбюро ЦК ВКП (б) сталинский любимец Алексей Кузнецов и другие «ленинградцы» будут

обвинены в стремлении противопоставить ленинградскую партийную организацию всей партии и центральным органам власти. Еще через несколько месяцев они станут главными обвиняемыми по так называемому «Ленинградскому делу». Вчера пан – сегодня пропал. Ничего не изменилось в «этом» плане за десять лет: и великая победа, и освобождение, и покорение Европы не изменили правил в тюремных казематах. Вывеска только изменилась: вместо ВД теперь ГБ. И число следователей-сидистов не уменьшилось – одному такому, Комарову, Алексей Кузнецов после «обработки» признался, будто надеялся, что «со временем Жданов станет преемником Сталина, а мы – близкие к нему люди – также зайдем высокие посты». Сталин до этого несколько раз публично высказывался в пользу Кузнецова и Вознесенского. Казалось, что хотел видеть на посту Генерального секретаря ЦК сначала Жданова, а когда тот умер – Кузнецова; на месте председателя союзного правительства – Вознесенского. Последний часто заменял вождя, когда тот не являлся на заседания Совета Министров.

Почитаем немного из воспоминаний Н. С. Хрущева («Время. Люди. Власть». Воспоминания. Часть III. От дня Победы до XX съезда. 1968 г.). Эти абзацы имеют ценность первоисточника, хотя читать их нужно внимательно, ведь автор сам был долгое время в той же компании и мог быть субъективен, особенно в отношении Л. Берии. Замечу, что после устранения секретаря по кадрам А. А. Кузнецова его место занял прибывший из Украины Никита Хрущев.

«Помню дни, когда Вознесенский, освобожденный от прежних обязанностей, еще бывал на обедах у Сталина. Я видел уже не того человека, которого знал раньше: умного, резкого, прямого и смелого. Именно смелость его и погубила, потому что он часто схватывался с Берией, когда составлялся очередной народнохозяйственный план...»

А за обедами у Сталина сидел уже не Вознесенский, но тень Вознесенского. Хотя Сталин освободил его от прежних постов, однако еще колебался... Помню, как не один раз он обращался к Маленкову и Берии: 'Так что же, ничего еще не дали Вознесенскому? И он ничего не делает? Надо дать ему работу, чего вы медлите?' – 'Да вот думаем', – отвечали они. Прошло какое-то время, и Сталин вновь говорит: 'А почему ему не дают дела? Может быть, поручить ему Госбанк? Он финансист и экономист, понимает это, пусть возглавит Госбанк'. Никто не возразил, но проходило время, а предложений не поступало.

В былые времена Сталин не потерпел бы такой дерзости... Теперь же только говорил: 'Давайте, давайте ему дело', но никто ничего не давал. Кончилось это тем, что Вознесенского арестовали...

Помню, что Сталин поднимал не раз вопрос о Шахурине, который был в заключении. Сидел и Главный маршал авиации Новиков, тоже посаженный после войны за то, что принимал 'недоброкачественные самолеты', то есть по тому же делу авиастроения... У Сталина, видимо, шевелился червя-

чок доброго отношения к Шахурину и Новикову. Смотрит он на Берию и Маленкова и говорит: 'Ну что же они сидят-то, эти Новиков и Шахурин? Может быть, стоит их освободить?' Вроде бы размышляет вслух. Никто ему, конечно, ничего на это не отвечает. Все боится сказать 'не туда', и всё на этом кончается. Через какое-то время Сталин опять поднял тот же вопрос: 'Подумайте, может быть, их освободить? Что они там сидят? Работать ещё могут'...

Со мною о 'Ленинградском деле' Сталин никогда не говорил, и я не слышал, чтобы он где-то в развернутом виде излагал свою точку зрения. Только однажды он затронул этот вопрос, когда вызвал меня с Украины в связи с переходом в Москву и беседовал со мной о 'московских заговорицах'...

Хрущев в этом долгом рассказе обмолвился и про «возможно» свою подпись в следственных материалах, ведь Сталин, пуская по кругу, «давал» (надо понимать – заставлял) им подписывать бумаги.

В «ленинградскую антипартийную группу» якобы входили член Политбюро ЦК партии, председатель Госплана СССР, заместитель председателя Совета Министров СССР Н.А. Вознесенский, секретарь ЦК А.А. Кузнецов, председатель Совета Министров РСФСР М.И. Родионов, первый секретарь Ленинградского обкома и горкома ВКП (б) П.С. Попков, второй секретарь Ленинградского горкома Я.Ф. Капустин, председатель горисполкома П.Г. Лагутин. Формальным поводом для «Ленинградского дела» и арестов стала организация в Ленинграде в январе 1949 года Общероссийской оптовой ярмарки. Выдвигались самые страшные обвинения – во фракционности. Ленинградских руководителей обвиняли в намерении создать Российскую коммунистическую партию (свои компартии были во всех республиках) и в противостоянии ЦК. Летом 1949 года «Ленинградское дело» полностью раскрутилось, начались аресты.

Чтобы «взять» Вознесенского по высокопоставленному доносу нашли изъяны в его ведомстве – Госплане: занижения общесоюзного плана и потерю нескольких секретных документов. Более года шло следствие, арестованных подвергали мучительным допросам и пыткам. Уже в январе 1950 г. неожиданно произошло восстановление смертной казни, отмененной всего два года назад. Высшую меру наказания ввели конкретно к «изменникам Родины, шпионам и подрывникам-диверсантам».

На дворе стоял переломный и непонятный 1950-й год, продолжал сидеть в самой страшной советской тюрьме, Сухановской, бывший маршал авиации Сергей Худяков (1902–1950), он был арестован на Дальнем Востоке в декабре 1945 года, два года шло следствие, и обвинение было предъявлено еще в августе 1947 года. Бывший маршал, бывший заместитель главнокомандующего ВВС Красной Армии, бывший советник и консультант Сталина по авиации на Ялтинской конференции был первым высокопоставленным арестан-

том после победоносной войны, именно с него пошло и поехало – «дело авиаторов», затем «трофейное», «адмиральское», «ленинградское»... Очевидно, до узников дошла и самая страшная весть – о восстановлении смертной казни.

В марте 1950 г. министр государственной безопасности СССР Виктор Абакумов представил уставшему от проделанной работы вождю «Список арестованных МГБ СССР изменников родины, шпионов, подрывников и террористов» за разные годы, «застрявших» в тюрьмах – Лефортове, Бутырке, Сухановской – и к нему докладную записку:

«Центральный Комитет ВКП (б), товарищу Сталину И. В.

Докладываю, что после того как 14 марта с. года в ЦК ВКП (б) вызывались Министр юстиции СССР тов. Горшенин, Председатель Верховного Суда СССР тов. Волин и Генеральный прокурор СССР тов. Сафонов, – они теперь понимают и считают правильным, что в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 января 1950 г. они должны рассматривать дела на лиц, подпадающих под Указ, и применять смертную казнь к изменникам родины, шпионам, подрывникам-диверсантам, исходя из тяжести их преступления, независимо от времени его совершения, но не осужденных до дня опубликования этого Указа.

В связи с этим Министерство государственной безопасности СССР вновь пересмотрело законченные следствием дела и представляет список на 85 арестованных изменников родины, шпионов, подрывников и террористов, дела на которых велись в центральном аппарате МГБ СССР и, по моему мнению, подлежат рассмотрению в Военной Коллегии Верховного Суда СССР с применением к перечисленным в списке арестованным смертной казни.

Заседания Военной Коллегии, по опыту прошлого, считаем необходимым провести без участия сторон в Лефортовской тюрьме, с рассмотрением дел на каждого обвиняемого в отдельности, без права обжалования, помилования и с приведением приговора суда в исполнение немедленно. Рассмотрение дел в Военной Коллегии намерены начать 27 марта с. г.

Прошу Вашего разрешения.

Абакумов

№ 6596/А 23 марта 1950 г.».

Небольшая «Записка» (могла быть и короче) представляет собой вершину фундаментального права тогдашнего Времени; десяток строк – а столько познавательных деталей «Факультета ненужных вещей»².

Товарищи Министр юстиции, Председатель Верховного Суда и Генеральный прокурор после «вызова» *наверх* (ЦК) – «теперь понимают и считают правильным... что должны рассматривать дела на лиц, подпадающих под Указ, и применять смертную казнь... независимо от времени его совершения...» Министерство государственной безопасности СССР, уникальный орган, переживающий пик своего

могущества и права, пересматривает *«законченные»* следствием дела по-новому и настоятельно рекомендует рассмотреть вновь дела (Военной коллегии Верховного суда) и *что применить* к арестованным (казнь). Орган также считает необходимым провести *заседание в тюрьме* с рассмотрением дел на каждого обвиняемого в отдельности, однако *«без участия сторон», «без права обжалования»* и *помилования*. Да и приговор привести в исполнение *«немедленно»*. (Выделено мною. – С.М.) Такой «протокол» применялся много тысяч раз в предвоенные годы и после войны.

Можно гадать, почему «немедленно». Что это – революционная целесообразность, партийная беспощадность или гранитный юридический символизм? «Немедленно!» – это когда уже не прибежит галопом, не успеет гонец от царя с указом о замене казни на двадцать, к примеру, лет каторги, как было с Достоевским и прочими при постылом и кровавом царизме.

11 апреля этого же года министр Абакумов подал Сталину еще один документ, тоже под грифом «Совершенно секретно»: «При этом представляю список на 35 арестованных изменников родины, шпионов и террористов, которых МГБ СССР считает необходимым в первую очередь осудить в Военной Коллегии Верховного Суда СССР к смертной казни... Прошу Вашего разрешения».

Среди прочих в списке был и находящийся в заключении пятый год Худяков Сергей Александрович. Сталин прошелся по безнадежным для фигуранта смертно-исчерпывающим хлестким строкам справки:

«...он же Ханферянц Арменак Артемиевич, маршал авиации, бывший командующий 12 воздушной армией, 1902 года рождения, армянин, сын владельца рыбного промысла, бывший член ВКП (б) с 1924 г. Арестован 18 марта 1946 г. Обвиняется в шпионской деятельности. Агент английской разведки. В 1918 г. был завербован в гор. Баку английской разведкой, по заданию которой, скрыв свою настоящую фамилию, национальность и социальное прошлое, внедрил на военную службу в Красную Армию и пролез в ряды ВКП (б). На протяжении многих лет выдавал себя за Худякова Сергея Александровича, сына железнодорожного машиниста, тогда как на самом деле происходит из семьи владельца рыбного промысла Ханферянц. Являясь агентом английской разведки, в 1918 г. дезертировал из красновардейского отряда и, перейдя на сторону дашнаков, участвовал в вооруженной борьбе против Советской власти. В том же 1918 г. входил в состав конвойной команды, сопровождавшей на расстрел 26 бакинских комиссаров. По заданиям английской разведки перебрасывался в период 1918–1919 гг. в расположение частей Красной Армии и доставлял англичанам шпионские сведения...»

Черкнул красным карандашом последнюю абакумовскую строку и поставил свою коронную – «И. Ст.». Разрешил...

Расстреливали весь год, словно подустали от трехлетнего загибья и боялись, что смертную казнь в широкой и веселой стране опять отменят. Абакумов, жалуясь Сталину на один-три процента оставшихся врагов, ранее клячил у Сталина вернуть казнь: «Народ просит...» – «Знаю, знаю», – отмахивался вождь. Всему свое время, и время пришло.

10 июня 1950 г. был расстрелян заместитель командующего 37-й армией по тылу, попавший в плен в сентябре 1941 г. в «киевском котле», генерал-майор Павел Артеменко. В августе 1950 г. расстреляли до двадцати генералов. В какой-то день могли после приговора расстрелять одного, а в иной день сразу троих и больше. 24 августа распрощались с жизнью два героя Советского Союза – маршал Советского Союза (казнили его в звании генерал-майора), бывший сталинский выдвигенец Григорий Кулик и генерал-полковник Василий Гордов. На следующий день расстреляли генерал-майоров: Филиппа Рыбальченко, бывшего командира 13-го стрелкового корпуса 12-й армии Южного фронта Николая Кириллова и бывшего командующего этой армией Павла Понеделина. 26 августа под пули пошли еще трое: бывший командующий ВВС 2-й ударной армии генерал-майор авиации Михаил Белешев (тут шансов было очень мало – командиром 2-й ударной был повешенный в 1946 году в Москве генерал Андрей Уласов), генерал-майор войск связи Михаил Беляничик и начальник артиллерии 61-го стрелкового корпуса 13-й армии Западного фронта комбриг Николай Лазутин (попал в плен в июле 1941 г.). 28 августа расстреляли генерал-майоров: начальника штаба 3-й гвардейской армии Юго-Западного фронта Ивана Крупенникова (попал в плен в конце Сталинградской битвы, в декабре 1942 г.), начальника военных сообщений 24-й армии Резервного фронта Максима Сиваева (попал в плен после окружения армии в октябре 1941 г. под Вязьмой) и командира 43-й стрелковой дивизии Владимира Кирпичникова (был в плену у финнов).

28 октября 1950 г. в Сухановской тюрьме МГБ поставили к стенке заместителя командующего Черноморским флотом по политчасти контр-адмирала Петра Бондаренко (другие адмиралы сидели свой срок). В этот же день в этой же тюрьме под жестоким следствием умер забитый чекистами генерал-лейтенант танковых войск Владимир Тамручи, арестованный еще в 1943 г. и осмелившийся написать Сталину письмо по поводу причин провала Харьковской операции. Ранее, 23 августа 1950 г., уже в Бутырской тюрьме умер от пыток бригадный врач (генеральское звание, один ромб в петлице) Иван Наумов из того же списка. На второй день войны, 23 июня 1941 г., под Белостоком заместитель начальника Санитарного управления Западного фронта (ранее Белорусского военного округа) бригадир Наумов попал в немецкий плен вместе с госпиталем 10-й армии.

В плену был главным врачом госпиталя, в котором лечились советские военнопленные... Был арестован, как и маршал Худяков, в декабре 1945 г., согласно постановлению генерал-полковника Абакумова, также пять лет длилось следствие по обвинению по 58-й статье. В заключении о смерти писалось о «двухсторонней пневмонии, хронической аневризме и инфаркте».

Среди расстрелянных генералов были и те, которые, очевидно, этого заслужили за сотрудничество с немцами в плену в период войны: комбриг Иван Бессонов был начальником отдела боевой подготовки Главного управления погранвойск НКВД СССР и затем командующим Забайкальским пограничным округом; комбриг, бывший командир 48-й стрелковой дивизии Михаил Богданов; генерал-майоры командир 171-й стрелковой дивизии Александр Будыхо, командир 13-й стрелковой дивизии Андрей Наумов, командир 48-й стрелковой дивизии Павел Богданов и командир 4-го корпуса 3-й армии Западного фронта генерал-майор Евгений Егоров.

Но большинство расстрелянных в 1950-м генералов и маршалов честно и по-боевому, а кто и героически, выполняли свой долг на фронтах. Например, генерал-майор Михаил Николаевич Белянчик (1904–1950). Во время Великой Отечественной войны – полковник, был начальником связи 1-й гвардейской армии, участник Сталинградского сражения, потом воевал в составе 1-го Украинского фронта. Двенадцать раз упомянут в приказах Верховного Главнокомандующего. Имел семь боевых наград, орденов. У иного военачальника на послевоенной фотографии, наверное, больше, однако нужно учитывать, когда получены награды. У Белянчика орден Ленина, два ордена Красного Знамени, орден Богдана Хмельницкого II степени, орден Отечественной войны и два ордена Красной Звезды получены за три года войны (1943–1945). После войны генерал Белянчик – слушатель Высших академических курсов при Военной академии связи имени Буденного. Был арестован 15 мая 1947 г. и обвинен в том, что в декабре 1946 г. «в здании академии учинил антисоветскую надпись с террористическим выпадом». А в январе 1947 г. «в период перевыборной кампании в Верховный Совет РСФСР написал антисоветскую листовку. Проводил антисоветскую агитацию». Интересно, что это была за надпись да еще «с террористическим выпадом»? В августе 1950 г. был приговорен к расстрелу за «контрреволюционную агитацию и пропаганду террора».

1 октября 1950 г. в два часа ночи, спустя час после оглашения приговора, расстреляли показательно, во второй столице, первых жертв «Ленинградского дела»: Н.А. Вознесенского, А.А. Кузнецова, М.И. Родионова, П.С. Попкова, Я.Ф. Капустина и П.Г. Лазутина. Их прах тайно захоронили на Левашовской пустоши под Ленинградом.

В конце октября министр Виктор Абакумов подал Сталину еще одну «совершенно секретную» записку:

«При этом представляю список на остальных арестованных по ленинградскому делу.

МГБ СССР считает необходимым осудить Военной Коллегией Верховного Суда СССР в обычном порядке, без участия сторон, в Лефортовской тюрьме, с рассмотрением дел на каждого обвиняемого в отдельности:

Первое. – Обвиняемых, перечисленных в прилагаемом списке с 1 по 19 номер включительно: СОЛОВЬЕВА, ВЕРБИЦКОГО, ЛЕВИНА, БАДАЕВА, ВОЗНЕСЕНСКОГО, КУБАТКИНА, ВОЗНЕСЕНСКУЮ, БОНДАРЕНКО, ХАРИТОНОВА, БУРИЛИНА, БАСОВА, НИКИТИНА, ТАЛЮШ, САФОНОВА, ГАЛКИНА, ИВАНОВА, БУБНОВА, ПЕТРОВСКОГО, ЧУРСИНА, – к смертной казни – расстрелу, без права обжалования, помилования и с приведением приговора суда в исполнение немедленно... (Ниже следует список из 19 человек – к 25 годам заключения в тюрьму и в особый лагерь каждого. – С.М.)

Прошу Вашего разрешения.

В. Абакумов.

7220/А

24 октября 1950 г.»

Через три дня были расстреляны, уже в Московской Лефортовской тюрьме, А. А. Вознесенский – министр просвещения РСФСР (родной брат расстрелянного за три недели до этого председателя госплана СССР Н. А. Вознесенского), в годы войны бывший ректором ЛГУ; М. А. Вознесенская – первый секретарь Куйбышевского райкома партии Ленинграда (родная сестра Н. А. Вознесенского); Н. В. Соловьев – первый секретарь Крымского обкома, ранее председатель исполкома Ленинградского областного Совета; Г. Ф. Бадаев – второй секретарь Ленинградского обкома ВКП (б); А. А. Бубнов – секретарь Ленгорисполкома и другие руководители-питерцы. Еще одиннадцать человек казнили через день, 28 октября. В последний день месяца, 31 октября 1950 г., ВКВС был приговорен по обвинению «в преступной связи с врагами народа и способствовании им в проведении вредительско-подрывной работы» и в тот же день в Лефортовской тюрьме расстрелян беспартийный служащий 1908 года рождения, коренной петербуржец, заведующий спецхозхозяйством Ленинградского горисполкома Валентин Осипович Белопольский. Место захоронения – Донской крематорий, могильник № 3⁴.

Вся абсурдность происходящего уже в «новое» и «светлое» послевоенное время заключалась в том, что никто из пострадавших жертв не мог предположить такого расклада событий и такой участи.

Аресты и судебные процессы продолжались и в следующие, 1951–1952, годы; общее количество погибших по «Ленинградскому делу» составило около 30 человек. В этом скорбном расстрельном списке маршал авиации Сергей Худяков стоял первым, первой «черной» ласточкой. 18 апреля 1950 г. он был приговорен к высшей мере наказания и в тот же день расстрелян.

«Черная ласточка»... Старинную грузинскую застольную песню «Лети, черная ласточка», «Гапринди шаво мерцхало», – любил слушать вождь. «Ни власть, ни кровь врага, ни вино никогда не давали ему такого наслаждения. Всерастворяющей нежностью, мужеством всепокорности, которого он в жизни никогда не испытывал, песня эта, как всегда, освобождала его душу от гнета вечной настороженности... Она окрашивала всю его жизнь в какой-то фантастический свет судьбы, в котором его личные дела превращались в дело Судьбы. Лети, черная ласточка, лети...» – размышляет прозорливый Фазиль Искандер в романе «Сандро из Чегема». Фантастический свет... До смерти «бессмертного» оставалось два года.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. А.А. Кузнецов (1905–1950), секретарь ЦК ВКП (б), в годы войны, в блокаду, секретарь Ленинградского горкома партии, после войны заменил А.А. Жданова на посту руководителя Ленинградского обкома. Н.А. Вознесенский (1903–1950), член Политбюро ЦК ВКП (б) партии, председатель Госплана СССР, заместитель председателя Совета Министров СССР, возможный преемник Сталина, вождь сам как-то об этом обмолвился.
2. Писатель Юрий Домбровский, «уцелевший свидетель трагедии тридцать седьмого года», назвал свою главную книгу «Факультет ненужных вещей». Речь идет о советском правоведении периода А. Вышинского и В. Ульриха, когда признание считалось «царицей доказательств».
3. «Надпись» и «террор» были настолько фундаментальным обвинением, что М. Беляничка реабилитировали только в апреле 1991 года.
4. «Общая могила № 3», здесь были захоронены «политические», казненные в 1945–1952 годах. В «Общих могилах» № 1 и № 2 покоятся жертвы репрессий 1930–1942 гг. и 1942–1944 гг. соответственно. Сброшенный в общие ямы прах сожженных в крематории считался «захоронением невостребованных прахов».

ОБ АВТОРАХ

АЛАЕВ Амин (Амангулов Анвар). Родился и вырос в городе Фрунзе (ныне Бишкек). Окончил механико-математический факультет Новосибирского ГУ и отделение информатики CDI College of Business and Technology (Барнаби, Канада). Прозаик, разработчик программного обеспечения. Публиковался в журналах «Аврора», «Дарьял», «Сибирские Огни», «Уральский Следопыт», DARKER, «Союз Писателей», в азербайджанском журнале «Литературный Азербайджан» и в киргизских литературных журналах «Литературный Кыргызстан» (на русском языке) и «Ала-Тоо» (на киргизском языке). Живет в Британской Колумбии (Канада).

АНДРЕЕВА Ольга. Поэт, прозаик. Автор восьми поэтических сборников. Стихи опубликованы в журналах «Новый мир», «Эмигрантская лира», «Нева», «Формаслов», «Prosodia», «Южное сияние», «День и ночь», «Новая Юность», «Крещатик» и др. Лауреат конкурса «Эмигрантская лира», 2-е место (2019), конкурса «Русский Гофман» (2019, 2020), премии «Антоновка 40+» (2020). Проза публиковалась в ж. «Нева», «Дальний Восток», и др. Живет в Ростове-на-Дону.

БАТШЕВ Владимир (1947, Москва). Прозаик, поэт, издатель. В СССР был членом нелегальной группы СМОГ, приговорен к 5 годам ссылки. Участник диссидентского движения. Окончил ВГИК. 23 года публиковался под псевдонимом. Возглавлял московское представительство изд-ва «Посев» (1989–1991). В 1993 году организовал издательство «Мосты». В 1995 г. эмигрировал в Германию. Редактор журналов «Литературный европеец» и «Мосты». Автор двух десятков книг, в том числе романа «1948» (Часть 1, 2019). За 4-томное литературное исследование «Власов» удостоен международной премии «Veritas» (2005). Лауреат Литературной премии им. Марка Алданова (2007).

БЫЧКОВ Сергей Сергеевич (1946, Ереван). Писатель, историк Церкви, доктор исторических наук. Окончил филфак МГУ, преподавал. Кандидатскую защитил в Пушкинском Доме (ИРЛИ РАН), докторскую – в РАГС. Принимал участие в издании Библиотеки всемирной литературы (в 200 тт.). Занимается книгоиздательской деятельностью. Подготовил и издал 8 томов двенадцатитомного Собрания сочинений Г.П. Федотова. Автор книг «Русская Церковь и императорская власть» (1998) и «Большевики против Русской Церкви», а также «Святые земли русской», «Страдный путь архимандрита Тавриона» и др. В 2005 году по его сценариям были поставлены телефильмы «ВЧК против патриарха Тихона», «Живое слово отца Александра Меня» и «Завтра меня убьют» (о ходе расследования убийства проतोерея Александра Меня).

ВЕЙЦМАН Александр (1979, Москва). Поэт, прозаик, эссеист, переводчик. Окончил Гарвардский и Йельский университеты. Автор публикаций в журналах «Знамя», «Интерпоэзия», «Новая Юность», «Дети Ра» и др. Автор книги стихотворений «Лето, взятое в скобки». Член редколлегии журнала «Интерпоэзия». Живет в Нью-Йорке.

ГРЖОНКО Владимир (1960, Баку). Писатель, сценарист, журналист, переводчик. Автор романов «The House» (2003), «Свадьба» (2004), «Дверной проем для бабочки» (2007), «Странник: американская рулетка» (2008), рассказов в сборнике «Городу и миру» (2008). Публикуется в «Новом Журнале» и других литературных журналах США. Дважды лауреат Литературной премии им. Марка Алданова, первое место (2020 и 2021). В авторский сборник «Время сурка» (2022) вошли роман «Время сурка» и две повести-лауреаты Алдановской премии «Повести Скворлина» и «Разочарованный странник». Живет в Нью-Йорке.

ДУБРОВИНА Елена (Ленинград). Поэт, прозаик, литературовед. Член редколлегии «Нового Журнала». Эмигрировала в конце 1970-х. Автор книг на русск. и англ. языках, в их числе сборники поэзии, прозы, книги по литературоведению. Составитель и переводчик антологии «Russian Poetry in Exile. 1917–1975. A Bilingual Anthology», а также Собрания сочинений Юрия Манделштама (в 3-х тт.) и сборника Ю. Манделштама «Эссе. Литературная критика. Письма. 1939–1940» (2022), а также книги «Литература русской диаспоры. Пособие для ВУЗов» (2020). Была гл. редактором ж. «Поэзия: Russian Poetry. Past and Present» и ж. «Зарубежная Россия: Russia Abroad. Past and Present» (США). Лауреат Национальной литературной премии им. Шекспира за мастерство перевода (2013). Живет в США.

КОЗЛОВ Владимир Иванович (1980). Поэт, литературовед, медиамеджер. Доктор филологических наук. Возглавляет Аналитический центр «Эксперт ЮГ» и АНО «ИНГУП»; в 2014 году создал журнал «Prosodia». Автор книги «Русская элегия неканонического периода» (2013). Поэтические книги: «Самостояние», «Опыты на себе», «Красивый добрый страшный лживый смелый человек-невидимка», «Техники длинного дыхания» (2022). Лауреат премии Фонда А. Вознесенского «Парабола» (2017). Живет в Ростове-на-Дону.

КУЛЕН Елена (1964, Архангельск). Историк культуры, переводчик. Окончила историко-филологический факультет Северного университета (Архангельск), Институт Восточной Европы при Свободном Университете Берлина (Freie Universität). Работает в качестве историка-слависта в рамках научного исследования о русских Ди-Пи в

послевоенной Баварии. Автор книги «Шляйсхайм / Schleissheim» (2021).

КУРАС Игорь Джерри (Ленинград). Поэт. Редактор литературно-художественного журнала «Этажи». Автор пяти поэтических сборников. Публиковался в журналах «Интерпоэзия», «Крещатик», «Новый Берег», «Новый Журнал», «Сура», «Новый Свет», «Нева» и др. Лауреат премии журнала «Textura» по прозе (2019), лауреат премии журнала «Сура» по поэзии (2019), лауреат конкурса прозаической миниатюры имени Ю. Н. Куранова (2022), призер поэтической премии «Фонарь, 2022» (Издательский дом «Перископ-Волга»). С 1993 года живет и работает в Бостоне.

КРУГ Ада (Ахметова Айгуль Разитовна). Прозаик. Родилась в 1990 году в г. Воркута Республики Коми. Окончила Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина в Екатеринбурге (красный диплом, экономист). Работает в банке. Лауреат литературного конкурса среди студентов и преподавателей, посвященного Б. Пастернаку (2011, первое место в номинации «Проза»). Живет в Екатеринбурге.

ЛЬВОВ Василий (1989, Москва). Поэт, филолог. Окончил ф-т журналистики МГУ; диссертация по русскому формализму. Преподает в CUNY и Hunter College (Нью-Йорк). Автор научных статей, опубликованных в США, России, Англии и Новой Зеландии, а также публикаций в ж. «Звезда», «Новый мир», «Интерпоэзия», «Gastarbajter»; поэтических переводов в ж. «Inventory» (Принстон) и на ресурсе «National Translation Month». Живет в Нью-Йорке.

МАНУКЯН Сергей Ишханович (1961, Баку). Публицист, историк, экономист. Окончил Ленинградский финансово-экономический институт. Опубликовал более 200 статей социально-экономической направленности, статьи и очерки по военной истории, также – литературные очерки. Автор книг «Боевые награды Второй мировой войны», «ФБР. Не секретные материалы», «Полет и кара. История одного падения», др. Публикации в журналах: «Наука и техника» (Харьков), «Знамя», «Литературная Армения», в альманахах. С 1989 проживает в Харькове.

МЕЛОДЬЕВ Мартин (1953, Новосибирск) Поэт. Окончил экономический факультет Новосибирского университета, работал в Академгородке. В конце 1989 года иммигрировал с семьей в США, работал программистом. Автор пяти книг стихотворений: «Сочетания», «Шлюз», «Цветной проезд», «Как по нотам», «Я не люблю

Владимирскую Русь» (2020). Публикации в журналах «Интерпоэзия», «Сибирские огни», «Литературный европеец», «День и ночь», в поэтических альманахах и сборниках в США и в России. С 1995 г. живет в Калифорнии.

НАКАНО Юкио (1977, Фукуока). Литературовед, историк культуры. Окончил русское отделение факультета иностранных языков Токийского университета иностранных языков (2000), МГУ (2007); доктор литературы (Doctor of Letters, Токийский ун-т, 2013), ассистент-профессор Университета Досия (Киото, Япония). Автор работ по истории Русского Зарубежья; исследователь творчества Г. Струве, М. Алданова, Е. Замятина, А. Снявского и др.

ПАРЗЕН Бенцион (1963). Писатель. Изучал естественные науки в советском вузе, затем в Тель-Авивском университете (Израиль). Публиковался в периодических изданиях разных стран на русском языке, в том числе в интернет-изданиях. Автор романа «Не в тему» и трактата «Мифы и ложь, или Как перестать верить и начать жить». Живет в Швейцарии.

СЕРГЕЕВ Михаил. Историк религии, философии и модернистского искусства. Доктор философии по религиоведению. Окончил Темпльский университет (Филадельфия, США); Работал научным редактором книжной серии «Современная русская философия», в издательстве «Брилл» (Голландия); заведующим кафедрой религии, философии и теологии в Уилмет институте. Аффилированный профессор Объединенной теологической семинарии городов-близнецов в Нью-Брайтоне (Миннесота). Преподает в Университете искусств (Филадельфия), и Аспирантском теологическом союзе (Беркли, Калифорния). Опубликовал более двухсот академических, литературно-публицистических статей в США, Канаде, Великобритании, Голландии, Польше, Чехии, России, Украине, Японии и др. Автор и редактор-составитель четырнадцати книг, включая антологию современной русской мысли *Russian Philosophy in the Twenty-First Century: An Anthology* (Brill, 2020).

СИПЕР Михаил (1954, Нижний Тагил). Поэт. Окончил Уральский политехнический институт. Автор семи поэтических книг. В 1991 году переехал в Израиль, где и проживает в настоящее время в кибуце Кфар Масарик.

СМИРНОВ Роман (1979, Электросталь, Московской области). Поэт. Окончил МИСиС. Публиковался в изданиях «Номо Legends», «Урал», «Дружба народов», «Зеркало», «Плавающий мост», «Формаслов»,

«Гостиная» и др. Лонг-лист Международного поэтического конкурса имени Николая Гумилева «Заблудившийся трамвай» (2020, 2021); шорт-лист Международного литературного конкурса имени Гавриила Каменева «Хижицы» (2020, 2021).

ТИМ Настя (Анастасия Тимофеева). Поэт, инженер. Родилась в 1986 году в Малой Вишере (Новгородская область). Окончила СПбГТИ. Публиковались в ж. «Сетевая словесность», «Интерпоэзия», «Дактиль». С 2011 года живет в Калифорнии.

The New Review / Novyi Zhurnal is the oldest continuously published Russian-language literary quarterly

The New Review Inc. gratefully acknowledges the support of our loyal friends:

Patrons: Association of Russian-American Scholars in the USA; Russian Nobility Association in America; Prince Nikita D. Lobanov-Rostovsky;

Benefactors: Eli & Ludmila Flam Living Trust; Mrs. Larisa Vulfina & Mr. Yan Vulfin;

Sponsors: American-Russian Aid Association “Otrada”; Mr. A. Neratov;

Fellows: Mr. A. Nemirovsky; Mr. Ara Moussaian; Mr.&Mrs. S. Pinkhasov; Mr. B. Lvoff;

Friends: Ms. C. Raeff; Mr. P. Khlebnikov; Mr. G. Cheron; Mr. S. Kirjanov.

The complete list of Fellows & Friends see at: <https://newreviewinc.com/fundraising-2022>

It requires the support of loyal friends for year 2023:

Patron – \$ 5,000 and up

Benefactor – \$ 2,000 and up

Sponsor – \$ 1,000 and up

Fellow – \$ 500 and up

Friend – \$ 100 and up

The Internal Revenue Service has determined that The NEW REVIEW, Inc. is a tax-exempt organization and a «public charity» pursuant to the provisions of the Internal Revenue code 501 (c) (3). Contributions to The NEW REVIEW, Inc. are tax-deductible under the provisions of section 170 of the code.

Checks must be made payable to

THE NEW REVIEW
1216 Broadway, 2nd floor
New York, NY 10001

НАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Москва, Россия: Андрей Красильников – 111024 Москва, а/я 61

Санкт-Петербург, Россия: Евгений Голлербах – тел.: 7-921-940-0421

Париж, Франция: Виталий Амурский: vitaly.amoursky@gmail.com

Израиль: Марина Кособок-Полонски: Polonskybooks@gmail.com

«НОВЫЙ ЖУРНАЛ» в 2023 году можно купить в магазинах:

Librairie du Globe: 67, Bd. Beaumarchais 75003 Paris, France

Polonsky Books: Haifa, Huri Street, 2, Migdal ha Nevi'im, Israel;

+972 55 968 24 16

На сайте журнала через PayPal (страница: Подписка)

Вы можете оформить электронную подписку на журнал.

Подробности на сайте: www.newreviewinc.com (Подписка)

Новый Журнал THE NEW REVIEW

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ на 2023

Подписная цена (4 книги, включая пересылку):

для университетов и организаций
в США – \$ 150.00, за границу – \$ 200.00
(10% скидка для подписных агентств)

Индивидуальная подписка
(4 книги, включая пересылку):
в США – \$ 80.00, за границу – \$ 120.00

Цена отдельного номера – \$ 16.00
дополнительно за пересылку:
в США – \$ 7.00, за границу – \$ 25.00

E-access на год – \$ 185.00

Комбинированная подписка на год
(E-access и 4 журнала)
в США – \$ 320.00
за границу – \$ 360.00
(10% скидка для подписных агентств)

Все подробности о подписке на сайте
www.newreviewinc.com (Подписка)

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В РЕДАКЦИЮ:

The New Review
1216 Broadway, 2nd floor, New York, NY 10001

Телефон и факс редакции: (212) 353-1478
www.newreviewinc.com
newreview@msn.com
